

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

**ПОСЛЕДНЯЯ  
ПЕРЕСТРОЙКА**

*Хроника*

---

По окончании событий, в последний четверг февраля восемьдесят пятого, около пяти утра, все еще несколько сомневаясь в бессмысленности бытия и лукавстве предначертаний, он умер легко и быстро, не успев осознать своей последней, а возможно, и единственной удачи.

---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Вряд ли все станет совершенно ясно. Сам еще до конца не разобрался. Не знаю даже, что получится: рассказ, повесть или роман.

Вчера я вышел из дома и увидел на газоне под деревом милую девушку. Хотел подойти и познакомиться, но, как всегда, не решился. К девушке подбежал молодой мужчина и ударил ее по лицу. Я направился в их сторону — не без опаски, но с благородными намерениями. Приблизившись, рассмотрел: мужчина стоит красный, плачет, руки трясутся. Девушка смеется тихим, но крайне мелодичным и доброжелательным смехом, без примеси истерики. Пошел дальше. Возвращаясь вечером домой, я решил пройтись от метро пешком, это недалеко. Возле ресторана гостиницы «Дружба» на парапете сидели три женщины. Одна держала в руках маленький магнитофон, игравший

---

плохую музыку. Вторая слегка ударяла друг о друга двумя пустыми фужерами. У ног третьей стояла открытая бутылка шампанского. Та, что с фужерами, вежливо обратилась ко мне: «Выпейте, пожалуйста, за здоровье нашей подруги, ей сегодня тридцать, и мы угощаем». Хотел отказаться, не люблю пить из посуды, в чистоте которой не уверен. Но третья, до того совсем безучастная, взглянула исподлобья, и я сразу выпил, сказал: «Ваше здоровье». Оставалось еще перейти улицу. Задержался на светофоре и обнаружил рядом с собой мужчину, который утром дрался. Он держал за руки двух близнецов лет пяти и имел счастливый вид. Вдруг один из близнецов вырвался и с дурацким видом выбежал на мостовую. Прямо под колеса новенькой «шестерке» с родным двигателем. Но шофер успел повернуть и врезался в столб. Мы с папашей (?) подбежали к машине, помогли открыть покореженную дверь. Водитель выбрался с трудом, но как будто без повреждений. Внимательно осмотрел то, что осталось от автомобиля, раскрыл рот, взглянул на ребенка и рот закрыл. Во владельце «шестерки» я узнал председателя соседнего кооператива. Мне его как-то приятель показывал. Он в том кооперативе живет. Как сейчас помню, показал и говорит: «Смотри внимательно на эту сволочь, если его зарежут когда в подворотне, то запомни — я не виноват». А теперь этот председатель остался без машины. Внешне спокоен. Сплюнул и пошел куда-то. То ли ГАИ вызывать, то ли спать. Время позд-

---

нее. Я еще удивился, почему близнецы не в постели. И тоже пошел спать.

Сегодня утром выглянул из окна. Папаша (?) гулял с близнецами. Из подъезда выбежала вчерашняя битая девушка и на ходу послала всем троим воздушный поцелуй. Мальши запрыгали и помахали ей руками. Мужчина не шевельнулся. Девушка села в троллейбус, а я решил написать про все это рассказ. То есть не про это, естественно, здесь еще рассказа нет, но определенное настроение начало появляться, остальное вторично. Писал весь день. Вечером снова подошел к окну размяться. У соседнего кооператива остановилась белая двадцать четвертая без номеров, со следами мела на стеклах. Из нее вылез председатель, закрыл машину и направился к дому. Тут я понял, что весь мой рассказ расплывается по швам. Он столь тонок и психологичен, что ошалевший от наглости ворюга-председатель никак туда не лезет. А проходит действующим лицом. Решил вымарать. Вымарал. Рассказ исчез окончательно. Я без председателя и писать бы не сел. Без того, как он при виде ребенка рот закрыл. Попытка восстановить вычеркнутый персонаж привела к совсем плачевным результатам. Однако в процессе самой попытки мне вдруг стало ясно, что главное во всей истории — три женщины, что угощали шампанским на парапете. Они же в рассказе отсутствовали вовсе. Испугавшись полного провала затеи, решил сделать перерыв и вновь подошел к окну. Видимо, подсознательно

---

стал привыкать смотреть там интересное. Не обманулся. Появился председатель, сел за руль. Следом выбежала из подъезда битая девушка, расположилась рядом с водителем, и они уехали. Я немного постоял, взял почти готовый рассказ и порвал его. Серьезный труд пропал. А рассказ был весьма неплох. Но трех женщин с шампанским в нем не было. Я снова побоялся ответственности творца по наведению порядка в хаосе. Вернее, который раз груз ответственности этой сыграл со мной злую шутку, уничтожая результаты и делая бессмысленным сам акт творения.

Я воспринял произошедшее как очередной и, хочется верить, последний урок. Отныне главное для меня — смирение точности, а не гордыня отбора.

## 2

Андрей Петрович Кузнецов сидел на диване и читал книгу. Вдруг за окном раздался свист. Андрей Петрович не обратил на него никакого внимания. Хотя свист предназначался Андрею Петровичу и смысл имел призывный.

У Андрея Петровича мало знакомых, а друзей нет совсем. По причине крайне тяжелого характера Андрея Петровича.

У Андрея Петровича был близкий друг Борис Аветисян из старой московской семьи армян-

---

адвокатов, женатый на дочке маршала, покойного, оставившего в наследство четырехкомнатную квартиру в хорошем доме. Так сложилось, что с женой Аветисяна Кузнецов лично знаком не был, много лет общался по телефону, всегда сразу здоровался, и она безошибочно узнавала его голос. Ее же голос казался Андрею Петровичу несколько менторским, представлялась сухоощавая дама с поджатыми губами и морщинистой шеей. К себе домой Аветисян друзей обычно не приглашал. Атмосфера там была напряжена до крайности. Борис при росте метр шестьдесят и носе четырнадцать с половиной умудрялся неделями пропадать по бабам. Когда поход заканчивался, Бориса всегда прощали, и мир восстанавливался. Напряженный. Не до гостей. И в день своего сорокалетия Аветисян никого специально не звал. Однако несколько раз как бы невзначай намекнул. Андрей Петрович идти не собирался, но, со свойственной ему в те времена и утерянной впоследствии импульсивностью, вдруг созвонился еще с одним общим знакомым и решил нагрянуть. Купили две парные хрустальные вазы. Не очень дорогие, но и не дешевые. Сунули туда по розе и заявили. Дверь открыла жена Бориса. Оказалась красавицей. Стол был накрыт как бы экспромтом, но за ним чувствовались мощные распределители самого генерального штаба. Компания тоже как бы разношерстная и случайно зашедшая поздравить. Мол, никого особенно не приглашали. Однако тон чувствовался. Дипломат

---

из самых дружественных, замминистра с третьего этажа и жена его юрист. Она все время искала случая сказать, что она юрист, и довольно-таки быстро нашла его и сказала: «Я, как юрист...» Еще была просто очень красивая женщина, подруга хозяйки. Они хорошо смотрелись вдвоем, в несколько разном роде, но гармонично. Впрочем, и у этой красавицы не все оказалось так просто, муж из самых верхов, сейчас, к сожалению, в командировке, а то зашел бы непременно. Поприсутствовал востоковед с отличной выправкой, отбыл рано, повез домой притомившуюся маму хозяина. Да и чего ему было сидеть, пить нельзя, приехал на машине, постоянно по сему поводу сокрушался. Впрочем, мало пили все. Более произносили поздравительные речи. Кузнецов по рассеянности внимания на это не обратил и первые четыреста граммов принял минут за пятнадцать. На него взглянули с удивлением, но Аветисян вовремя вставил: «Андрей Петрович, наш художник...» — и все успокоились. Художнику, ему и положено безобразничать. Художником Кузнецов не был, хоть и закончил в свое время соответствующее училище, а был диспетчером на автобазе. Возражать против художника не стал. Повторил под осетрину и начал коситься на красивую подругу. Между тем дипломат произнес очередной тост, а замминистра следом, без малейшего перерыва, рассказал анекдот. Все захихикали. Аветисян быстро донес до гостей суть этого анекдота. Хихикнули еще раз и включили музыку. Кузнецов пошел танцевать

---

с хозяйкой дома. Потом все дамы хотели танцевать с Андреем Петровичем, он единственный не наступал им на ноги. Замминистра очень быстро опьянел, хотя совсем не пил, и, решив почему-то, что Кузнецов писатель, стал рассказывать ему свою биографию с намеком совместно писать роман. Дипломат опять сказал тост, но русский язык к ночи забыл, и Аветисян быстро перевел. Снова похихикали. Хотя тост был то ли в память павших, то ли за космос. Опять потанцевали. За дипломатом пришла машина, и он увез подругу-красавицу, которой действительно по дороге, но которая совершенно не хотела с ним уезжать, однако все знали, что по дороге, и отказаться было неудобно. Затем Андрей Петрович выпил еще стакан и распрощался. Больше никогда он не виделся со своим приятелем Борисом Аветисяном, хотя до этого лет шесть-семь общался с ним довольно регулярно. Борис хоть и не большого ума, но и не дурак далеко. В компании приятен, искренне готов оказать практическую услугу, и не раз оказывал, безо всякой корысти. Да просто человек предельно к Кузнецову расположенный. Но с тех пор Андрей Петрович его не видел. Он когда кого не хотел видеть, то не видел. У него это хорошо получалось. Так Андрей Петрович всех друзей и приятелей растерял. Осталось несколько знакомых. И несколько человек, отношения с которыми определить трудно, как будто и близкие до родственности, а за год можно ни разу по телефону не поговорить без особой тоски.

Даже Кузнецову спрятаться от Васи удавалось с большим трудом. Когда-то Кузнецов-ребенок жил с родителями в коптевском бараке, и соседский Вася считался его лучшим другом. Лет до шести. Потом Андрюшу начали готовить к школе, и мама осваивала с ним по вечерам «Детство Никиты», а про Васю стало понятно, что образование ему в обозримом будущем не грозит. Вскоре Кузнецовым дали отдельную квартиру, и дружба закончилась автоматически. Однако Кузнецовы-родители с родителями Васиными связь окончательно не теряли. Как часто бывало между прожившими многие годы бок о бок соседями, время от времени созванивались, иногда поздравляли с большими праздниками, передавали приветы через общих знакомых и даже изредка встречались. Не на уровне гостей и банкетов, конечно, а так: то Кузнецова-мама очутится в Коптево, забежит в свой старый барак чайку на кухне попить, то Васин папа, проезжая с дачи мимо Коломенского, заглянет, свежих яблок закинет и четвертинку с Кузнецовым-папой наскоро раздавит. Так и продолжались уже лет двадцать полудальнеродственные отношения.

Тем временем Васю родители лечили, воспитывали и учили по мере сил. Годам к двенадцати он перестал мочиться в постель, к пятнадцати читал почти бегло и знал первую половину таблицы умножения, к восемнадцати пошел работать и сильно из

толпы не выделялся. Устроили его в солидный академический театр что-то таскать за сценой, получил Вася красивое удостоверение с золотым тиснением. Там должность называлась непросто и вполне могла сойти за творческую. Удостоверение Вася показывал всем сразу после знакомства и тут же начинал называть народных артистов уменьшительными именами. Причем никогда не путался, на это память была исключительная.

В театре Андрей Петрович и встретил Васю. Кузнецов ждал за кулисами свою старую знакомую по художественному училищу Татьяну Томилину. Теперь Татьяна работала декоратором. Кузнецов и Томилина изредка виделись, хотя роман давно закончился и даже забылся. Вася тащил какую-то балку и сразу узнал Андрея Петровича. Андрей Петрович не сразу, но узнал Васю и в самом деле был рад. Дал свой адрес, просил заходить. Благо жил от театра недалеко. Вася стал заходить. Сначала иногда, потом все чаще. Тогда у Кузнецова бывало много народу, частью из-за удобного расположения квартиры, частью из-за того, что характер Андрея Петровича еще не испортился окончательно. Васе несколько удивлялись, потом начинали подшучивать. Люди неглупые и незлые, шутки тоже достаточно мягкие. Если же они переходили грань, то Кузнецов грань быстро восстанавливал. Так Вася стал здесь своим человеком. К нему привыкли. Даже бывало, когда он долго не появлялся, болел или уходил в отпуск — ему роди-

---

тели всегда на отпуск доставали путевку в специальный санаторий, — кто-нибудь из девиц спрашивал с искренней заинтересованностью, не случилось ли что с Васей, и куда это он пропал. Причем чаще всего интересовались те девицы, что обычно плохо помнили своего вчерашнего партнера и плохо старались запомнить имя сегодняшнего. Они постоянно бывали в гостях у Андрея Петровича, некоторые годами оставаясь в ранге приятельниц, не более.

Привыкнув к людям, Вася прекращал раскрывать удостоверение и перечислять артистов. Оживлялся он только при новых лицах, но те или вскоре становились привычными, или исчезали, что тоже Васю быстро успокаивало.

Была и особая причина, по которой Вася имел успех у женщин. Кто-то из специалистов подсказал его родителям, что Васе очень полезно жениться. Сам он стремился не особо, но родителей уважал и потому идею воспринял с полной основательностью. Появился даже конкретный объект, дочь знакомых, на пять лет старше, двое детей, в прошлом муж-алкоголик и несколько переломов ребер. Ее звали Варя Павшина, усталые и очень красивые глаза стального цвета, остальное невзрачное, но без намека на уродливость. Родители, те и другие, были полностью за брак. Но только родительских договоров и решений все же недостаточно, какой-то, хоть самый элементарный самостоятельный шаг нужно сделать и лично Васе. А вот тут начиналась загвоздка. Вася попрос-

---

ту боялся остаться с Варей наедине. И боялся он не ее, а того, что сделает что-нибудь не так — и Варя сразу не захочет даже и думать о замужестве. А оно совершенно необходимо, в этом Вася тем больше убеждался, чем меньше смелости у него оставалось. И от этой увеличивающейся убежденности смелость все уменьшалась. Получался замкнутый круг, выход из которого Вася искал, советуясь с людьми наиболее умудренными, то есть именно с теми самыми женщинами, что плохо помнят мужские лица. А те, в свою очередь, как раз больше всего на свете любят дать совет и вообще порассуждать насчет нюансов устройства семейной жизни и прочего к этому относящегося. Так что здесь у Васи существовала самая отзывчивая аудитория, и он с этой аудиторией подружился настолько, что, как уже говорилось, его отсутствие замечалось.

Для Кузнецова Вася имел один-единственный недостаток. Он решительно не мог освоить понятие «нет дома». А Кузнецова или часто действительно не оказывалось дома, или иногда приходило настроение, когда телефонная трубка не поднималась, дверь не отпиралась, и тут исключений ни для кого не существовало. Но Васе и тот, и другой варианты были непонятными. Если он звонил в дверь, а она не открывалась, то Вася шел на улицу и, глядя в окна Андрея Петровича на втором этаже, начинал свистеть. Не все время, конечно, а так, раз в пару минут издавал унылый посвист и опять затихал. Стоял и свистел он ров-

---

но столько, сколько отпущено времени на сам визит, то есть иногда по два, а то и по три часа. Одно спасало Кузнецова: из-за Васиной сильной близорукости и можно было передвигаться по комнате без опаски, что Вася с улицы заметит. Свист приятеля стал так привычен Кузнецову, что в периоды своего затворничества он научился полностью отключаться от него, как от тиканья часов или гула трансформатора.

Именно по этой причине Андрей Петрович и на сей раз не обратил никакого внимания на свист под своим окном, а продолжал спокойно читать. Но затем в его стекло ударился какой-то звонкий предмет, то ли камешек, то ли монетка, что совсем уж не в Васином стиле. Да и сам свист, когда Кузнецов, наконец, отреагировал, оказался не Васиным заунывным, а резким и требовательным, явно принадлежащим человеку, который привык, что к его свисту прислушиваются. Кузнецову пришлось подойти к окну.

#### 4

На тротуаре, задрав голову, стоял огромный парень с дипломатом под мышкой, в великолепном финском костюме за двести сорок рублей, такие этим утром начали продавать в универмаге напротив. Парень делал Кузнецову решительные знаки, не оставляющие сомнения в том, что он считает встречу необходимой. Кузнецов кивнул и пошел открывать дверь.

---

Парень сунул пожать руку величиной с большую чугунную сковороду для жарения картофеля, в комнату пройти отказался, говорить стал глухо и быстро, но без суеты, а просто спешил:

— Ты Кузнецов Андрей? Я Варфоломеев Семен. Извиняюсь, что пятак запустил, но ты не открывал, окно твоё вычислил и тень заметил, а мне срочно, извиняюсь. До самолета час, а у вас такси — волки. Пахал три года, Гагры ждут. На сорок седьмом в Магадане два дня загорал с одним, ждал борт на материк, а он в Уэлен, прогноз ловили. Велел передать тебе, сам, говорит, не могу, ухожу из зоны видимости. Отдай, говорит, если с самого раньше не потребуют. Пусть, говорит, Кузнецов передаст тогда, передаст и все, больше никаких дел, без объяснений, я, говорит, отказываюсь.

И Варфоломеев Семен, извлеки из дипломата деревянную шкатулку, типа палехской, но без рисунка, сунул ее в руки Андрея Петровича.

— Погоди, Варфоломеев, от кого передать-то и кому? Что там в коробке?

— Годить не могу, что в коробке — не знаю, а тебя сами найдут, скажут, чтоб отдал, ты и отдай, скажи, не надо, мол, и все. Бывай.

Семен опять потряс своей сковородой и кинулся к лестнице. На площадке притормозил только чуть, застегивая дипломат:

— Да, парня того на сорок седьмом Пашей звали, Пашей Ломовым.

---

Кузнецов взял коробку, закрыл дверь и пошел в комнату. Сел за стол, поставил перед собой ларчик и увидел, что тот заперт, а ключа нет. Пашей же Ломова давным-давно уже не звали. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР и не академик только из-за своих тридцати четырех лет, почетный член многих зарубежных и прочая... автор, и создатель, и так далее... Павел Николаевич Ломов никаким образом не мог два дня ждать в магаданском аэропорту самолета на Уэлен, загорая в буфете с Семеном Варфоломеевым. И ничего он не мог передавать Кузнецову, да еще таким нелепым образом. Чья-то дурная и совсем не смешная мистификация.

И в то же время Кузнецов уже прекрасно понимал, понимал с того момента, как Семен протянул ему шкатулку, а на самом деле даже еще раньше, как только услышал непривычный требовательный свист под своим окном, что никакая это не мистификация и никто и не пытается над ним подшутить. Больше для очистки совести он набрал номер Томилиной:

— Танюшка, у меня к тебе очень странная просьба, мне нужно узнать, как можно связаться с Ломовым. Нет, я его не вдруг вспомнил, а мне о нем вдруг напомнили. Телефоны его не нужны, ты уж, пожалуйста, сама выясни, где он, как и что, перезвони потом.

Томилина перезвонила очень быстро и выдала исчерпывающую информацию, содержание которой Кузнецов в глубине души предчувствовал. В инсти-

---

туте у Ломова жуткий скандал, он должен был лететь на какой-то симпозиум в Сан-Франциско, но внезапно взял бюллетень, вернее, сказал секретарше по телефону, что взял, и дней пять назад исчез. Дома телефон не отвечает.

Кузнецов запер шкатулку в стол, взял отложенную книгу и прилег на диван в прежней позе. Раз велено отдать тому, кто попросит, остается ждать, пока попросят. Надо при этом отметить, что умением ждать Андрей Петрович овладел исключительно, это единственное дело, обучение которому доставляло ему истинное удовольствие, и в котором он и впредь собирался совершенствоваться постоянно.

## 5

На следующий день Кузнецову предстояло ехать на работу. На основную (по ряду причин необходимо сразу уточнить, что по совместительству Андрей Петрович был еще оформлен ночным вахтером в ЖСК и литературным секретарем у одного известного члена ССП), где раз в трое суток он становился предельно нужным и важным человеком для сотни шоферов родной автодормехбазы. Находилась она хоть и за городом, но вся дорога вместе с электричкой занимала всего чуть больше получаса, и Кузнецова это очень устраивало. До вокзала можно проехать несколько остановок на метро, но если было время,

---

Андрей Петрович предпочитал пройтись не спеша пешочком вдоль любимого Садового кольца, а то и, притормозив у памятника Лермонтову, выкурить рядом с поэтом сигарету, поживаясь на утреннем ветерке. Сегодня как раз времени должно хватить с избытком и на прогулку, и на сигарету, которую Кузнецов уже предвкушающе разминал, выходя из подъезда... Тут на него наскочил в дверях бледный гундосый юноша с огромной брезентовой сумкой на боку и мерзко заверещал:

— Ой, вы не из седьмой будете? Кузнецов фамилия? Заказное, распишитесь, ручка вот, да не здесь, ниже, вот так, приветик!

Юноша упорхнул, непонятно чем больше поразив Кузнецова: то ли этим своим неожиданно фамильярным «приветик» под конец, то ли тем, что оставил в его руках совершенно чистый белый конверт без единой надписи и вообще каких-либо указаний на адресата или отправителя, а, возможно, удивительнее всего показалась книга, в которой он заставил Кузнецова расписаться, извлеченная из брезентовой сумки, величиной с самый большой альбом для фотографий, а по толщине страниц в несколько тысяч. И все страницы заполнены подписями. Мелко-мелко заполнены. Кузнецов чиркнул чуть не в самом конце. Но юноша исчез, а конверт остался. Дойдя в некотором недоумении до памятника, Кузнецов все-таки присел, закурил и вскрыл конверт. В нем обнаружил билет на выставку в новый салон на набережной и буклетик

---

с этой выставки, рассказывающий, что представлены работы любителей, в основном крупных ученых, главные успехи которых, конечно, не в области живописи, но все равно интересно. Кузнецов еще раз повертел буклетик, прочел все, вплоть до выходных данных, но так ничего и не понял. Только потом сообразил взглянуть на число в билете и увидел, что оно завтрашнее. Единственное письменное сообщение как раз и оказалось на билете, там, где число. Довольно властным и четким почерком: «Желательно с 18.00 до 19.00».

Сигарета докурена, ждать больше нечего, времени в обрез, Кузнецов встал со скамейки и сразу понял, что опаздывает, так как к нему направлялась стандартная парочка небритых рож с полиглотным выражением глаз «дай закурить», удивительная только тем, где это так успела накушаться в столь ранний час. Разбора не миновать, а это время, и Кузнецов уже собирался постыдно ускорить шаг, надеясь на малые ходовые качества предполагаемых собеседников. Но вдруг тот, что казался из двух по пьянее и почти висел на плече приятеля, сделал неожиданный рывок и оказался прямо перед Кузнецовым, нелепо ухмыляясь и приседая, расставив руки, как это делают обычно бабы, загоня курей во двор. Кузнецов решил было выложить все недоумение сегодняшнего утра на эту улыбающуюся физиономию, как сзади раздался очень ласковый и даже чуть грустный голос:

---

— Андрюша, ты им не верь, пожалуйста. Они и просить, и хитрить станут, а ты не давай. Скажи: нету, мол, и все тут. Ведь не видел никто.

Кузнецов резко повернулся, но даята парочка, непомерно хмелея на глазах, снова сцепилась в неразрывном объятии и покатила прочь, явно нацелившись в министерство сельского хозяйства.

## 6

Андрей Петрович пошел к вокзалу. Его электричка уже стояла. Обычно он садился в третий вагон от конца, но сегодня утренняя нервозность несколько рассеяла его внимание, он автоматически дошел до самого начала поезда и вскочил в тамбур в тот момент, когда начали закрывать двери. Возвращаться назад по забитым вагонам не хотелось, в тамбуре было просторно, дышалось легко, в окно напротив показывали неплохую видовую картинку в мягких тонах притомленного Подмосковья, а у окна этого стояла двадцатилетняя девчонка и ослепительно лучилась утренней свежестью, и так ей было хорошо, и так все вокруг нее должно было быть хорошо, просто обязательно, что просветлел заплеванной тамбурный пол и когда-то никелированные поручни вдоль стекол стали пыжиться под блеск линкоровской меди.

На следующей остановке зашел разбитной парнишка, правда, при ближайшем рассмотрении лет

---

ему оказалось под сорок, но такого шпанистого вида, шапчонка какая-то замызганная, парусиновая, нараспашку бушлат неизвестно каких флотов и времен, папироска в углу рта. Вошел и встал прямо рядом с девочкой. И начал на нее так поглядывать, что сразу ясно — сейчас приставать начнет. А она на него смотрит спокойно, но видно, что напряглась, подобралась вся, и небрежность позы исчезла — еще красивее стала. Кузнецов прямо залюбовался.

Поезд остановился. Бушлат наклонился и чмокнул девочку в щеку. А она положила ему на плечо руку, на мгновение прижалась всем телом и легонько оттолкнула парнишку к открытой двери. Тот на прощанье взмахнул рукой и исчез в проеме. А через две была остановка Кузнецова, и девочка сошла там же, но он сразу потерял ее из виду, да, честно говоря, не очень и всматривался, до рабочего дня оставалась всего сотня шагов.

Работа эта, конечно, устраивала Кузнецова и тремя свободными сутками после дежурства, и недалей по нынешним понятиям дорогой, и отдельным вагончиком-кабинетом с двумя городскими и одним местным телефоном, и великолепным лесом прямо за забором, куда в любой момент можно выскочить поразмяться. Но все же любил, именно любил свою работу Кузнецов не за все эти удобства, а за то, что, переступив линию ворот, он переставал здесь быть Андреем Петровичем Кузнецовым, а становился просто носителем определенной идеи — функции. Он

---

становился диспетчером, важным винтиком довольно громоздкого механизма, и относились к нему здесь исключительно как к диспетчеру. Если и хвалили, то не Андрея Петровича, а «ничего диспетчер, волокет», и материли тоже не его, а «суку рваную — диспетчера». Он оказывался плох или хорош, приятен или неприятен людям исключительно в зависимости от этих вот простыней с номерами, пунктами и километрами, от бланков путевок, талонов на бензин, от всего, что к нему как к личности, собственно, никакого отношения не имело, и потому ситуация эта давала Кузнецову именно то ощущение свободы и покоя, к которому он более всего стремился и которым более всего дорожил. Так что теперь на сутки он мог быть каким угодно, все равно его не было. А был диспетчер, который как вошел в ворота, так и заорал: «Опять ты, Хабидулин, эту свою...» — ну и так далее.

Ночью работы никакой, удалось вполне прилично выспаться, так что, приехав домой, Кузнецов добрал всего часа три, еще часок поплескался в ванне и оказался вполне в форме.

Мне сейчас пришла в голову мысль, которая в данный момент никакого отношения к действию, видимо, не имеет, но я ее все-таки изложу, может, будет иметь к чему-нибудь впоследствии, а я ее забуду. В крайнем случае, можно ее потом в то место перенести, если окажется такое место. А мысль следующая. Когда человек в своей жизни принимает, наконец, самое важное и принципиальное решение,

---

то у него уже никаким образом не остается времени решение это осуществить. Это всеобщий закон, и его можно было бы назвать жестоким, если бы законы вообще могли быть жестокими или милосердными. Но я бы не стал называть его так даже в этом случае. Подумайте, что было бы, если бы у людей появилось время на осуществление своих решений. Не прихотей, не вздорных мимолетных желаний, не своеобразных капризов, которые сегодня кажутся основным и бесценным, а завтра забываются, как головная боль, а действительно до предела продуманных и всей болью души выстраданных решений, бесповоротных, как трамвай, и окончательных, как пропитые деньги. Подумайте, что было бы. Подумайте, и вы поймете, что не надо.

## 7

До времени приглашения на выставку у Кузнецова оставалась еще пара часов, и он хотел устроиться на диване с книжкой. Помешал Вася. Я вот сейчас написал «с книжкой» и устыдился. Ведь собирался написать «с томиком Флобера», но это показалось мне слишком вычурным и манерным. Постеснялся. И плохо сделал. Кузнецов действительно последнее время мало что читал, кроме «Саламбо» и «Бовари». И говорит это отнюдь не о изысканности или особой утонченности Андрея Петровича, а скорее если не

---

о полной лени, то уж по крайней мере о сильной утомленности ума, желающего, с одной стороны, и не потерять полностью гибкости и быстроты реакции, а с другой — тренироваться все же на предельно знакомой площадке, чтобы, не дай бог, и не споткнуться ненароком, да и сил чтоб не так много уходило. Кстати, Флобер считал искусство фонарем, выхватывающим из темноты куски действия на сцене жизни. Я считаю, что это совершенно не так. Причем, бесспорно, прав именно я, но от этого ни я не стану Флобером, ни он не станет хуже.

Пришел Вася и стал рассказывать такую историю. У Таньки Томилиной завелся уматной ухажер. Вася вообще-то страшно гордился, что у него и у художника-декоратора театра, пусть не самого главного, но все же человека, бесспорно, принадлежащего к истинным людям творчества, есть общий знакомый, более того, товарищ, в доме которого они иногда встречаются и зовут друг друга по имени и на «ты». И от этого «ты» Татьяна даже в театре не отказывалась и при всех здоровалась с ним первая: «Привет, Вася». И он как можно более отчетливо, чтобы все слышали, отвечал: «Здравствуй, Танечка» — и был Томилиной за то предан бесконечно. Однако не такой Вася человек, чтобы совсем не чувствовать дистанцию, потому на службе с разговорами к Татьяне он особенно не лез и вообще, даже налет фамиллярности мог позволить себе разве что только чуть-чуть в слове, но никак не в тоне или поступке. А вот с Кузнецо-

---

вым Вася очень любил поговорить о Томилиной: с одной стороны, считал, что и Кузнецову это интересно, а с другой — тут появлялась некоторая возможность хоть намеком, хоть оттенком интонации показать несколько бóльшую близость свою к Томилиной, а это было ему приятно. Потому сегодня Вася начал с места в карьер: появился у Таньки новый уматной ухажер, красивый, но лысый, военный, хоть в штатском. Голопочек такой ласковый и обходительный, а как взглянет, хочется сразу штраф заплатить. Пока за кулисами маячит, Таньку ждет, со всеми успеет поговорить, о жизни расспросит, но, по-моему, все больше интересуется насчет Танькиных мужиков, то ли ревнует, то ли жениться хочет. Каждый день цветы таскает. Ну, не каждый день, а каждый раз, он с перерывами все же шляется, не бездельник. Тачка своя. А Танька что-то крутит, на днях вон сбежала через главный, а тот дурень час у служебного проторчал, пока не выяснил. И вообще, сказал Вася, он считает, что жениться ба... Тут Кузнецов резко отключился, так как на этой сложной теме Вася был слишком тренирован.

## 8

Подошло время. Кузнецов пошел на выставку. Буклет не врал. Действительно, главные достижения представленных авторов были сделаны ими явно не в области живописи.

---

Продуктивна только самая последняя стадия тоски. Не той тоски, что приходит вдруг и беспричинно, не той, что из-за угла схватит за горло и шаловливо сожмет пальцы ради интереса посмотреть, как ты будешь трепыхаться, а мягкой и ласково подкрадывающейся тоски, с которой нужно сжиться, как с кривой и придурковатой сестрой при отсутствии прочих родственников, способных подменить тебя хоть на час. И лишь тогда, когда ты полностью смиришься, поймешь, что дергаться не только бесполезно, но и просто не стоит, тогда станешь способен к воспроизводству, как бычок перед стельным стадом. Воспроизводство возможно лишь в полной тоске, радость приводит к бесплодию.

Картины на выставке оказались двух типов. Или классические пейзажи — иногда они, правда, были больше похожи на натюрморты, — сделанные в хорошей традиционной манере с заслуживающей всяческого уважения старательностью. Или попытки некоего фантастического осмысления мира с помощью поисков в цветовой гамме. Чувствовалось, что этим более грешат люди, которым менее дается рисунок. Но, конечно, самым интересным здесь были не картины, а подписи под ними. Генеральные конструкторы самолетов и всемирно известные летчики-испытатели, легендарные академики-атомщики, народные балерины, героини-водолазы... Что очень правильно сделали устроители, так это установили стенд с портретами и подробными биографиями авторов. Поско-

---

чав немного над картинками красивеньких березок и видами звездного неба в ясную погоду, Кузнецов наткнулся на этот стенд и застрял на час, зачитавшись действительно фантастическими судьбами удивительных людей и плохих художников. Затем, поняв, что делать здесь больше нечего, пошел к выходу. И, по ошибке повернув в другую сторону, оказался в не обследованном еще тупике. Там висели шесть картонов размером метр на полтора. Сплошная заливка черной тушью по белому фону. Только два цвета и предельно четкие контуры фигур. Это было настоящее. Особенно Кузнецова поразил портрет Ивана Грозного. И еще один картон, самый последний в ряду. Называется «Бегство». Жесткие дюны, тонкая черная полоска моря и крохотная фигурка человека в углу. Не очень понятно чем, но страшноватая такая картинка.

Все это мог написать только один человек. И Кузнецов слишком хорошо знал этого человека и его манеру письма, чтобы сомневаться. Но под картонами стояла совсем другая фамилия: Семушкин. И поскольку все авторы были представлены по своим основным профессиям, то и здесь стояло полностью: «Инспектор ОБХСС, майор Семушкин». Кузнецов вернулся к стенду с биографиями. Никакого майора там не было. Пришлось подойти к служительнице.

— Простите, но мне хотелось бы поделиться с одним из авторов кое-какими мыслями о его творчестве, не скажете, как можно связаться с товарищем Семушкиным?

---

— А, с товарищем майором! Очень удачно, он как раз сейчас у нас работает, знаете, какая-то плановая проверка, и очень просил, если кто заинтересуется, направлять прямо к нему, третий этаж, там увидите.

Кузнецов поднялся на служебный этаж и действительно сразу увидел дверь с большой черной лаковой табличкой, по которой золотом выведено: «ОБХСС. Инспектор Семушкин В. К.». Кузнецов постучался и вошел. За столом сидел человек в полевой полковничьей форме и фуражке. На идеально чистой поверхности стола с одной стороны размещалась детская игра «Хоккей», а с другой пол-литровая банка с тремя огромными темно-бордовыми розами. Полковник встал и, указывая рукой на стул, очень сердечно и ласково, что никак не вязалось с выражением его глаз, проворковал:

— А я ведь ждал вас, ждал, присаживайтесь, страшно любезно с вашей стороны, что нашли время выбраться, как вам картины?

— Это не ваши картины. — Кузнецов почему-то сразу решил, что излишняя вежливость тут не то чтобы неуместна, а попросту бессмысленна. Полковник, однако, продолжал таять в улыбке:

— Конечно, конечно, это, разумеется, ваши картины, я на авторство совершенно не претендую, желаете, можно исправить сейчас же...

— И не мои это картины.

— Ну, Павел Николаевич, давайте не слишком щепетильничать. То, что вы их еще не написали, ни-

---

чего не значит. Когда-нибудь написали бы. Если хотите, то в разговоре мы пока можем упоминать их как ваши будущие картины. Поэтому, что касается авторства, уважаемый и дорогой Павел Николаевич...

Кузнецов встал, и роза на столе качнулась:

— Вы явно что-то путаете, полковник, я не...

Полковник тоже внезапно поднялся, быстро и очень плавно, роза в банке замерла в самом неестественном положении. И улыбки больше не было на лице полковника. А глаза, плохие глаза, совсем нехорошими стали глаза полковника Семушкина. Да еще и усталыми.

— Хватит. Вы забылись, но только потому, что вам это по преступному легкомыслию позволили. Группа, которая вами занималась, уже выговор получила. Я, конечно, значения собственного не переоцениваю и место свое знаю прекрасно, но, между прочим, там... — Полковник почему-то кивнул в сторону вентиляционной решетки. — Там к моему мнению тоже кое-кто прислушивается. Так что не советую особенно зарываться. Потому как возникли уже даже некоторые сомнения. Из-за них, собственно, и пришлось проводить этот дурацкий тест с картинами. И если вы еще раз попытаетесь выйти из зоны видимости, последствия могут оказаться для вас самыми непредсказуемыми. Где шкатулка?

— Дайте же объяснить, наконец, — взмолился Кузнецов. — Трещите не переставая и сами все запутываете. Шкатулка действительно у меня. — Куз-

---

нецов почему-то сразу понял, о чем идет речь. — Но, во-первых, я совершенно не собирался ее сюда притаскивать, а во-вторых...

В этот момент полковник внезапно полностью успокоился, сел на стул и нажал кнопку в центре стола. Кузнецов готов был поклясться, что мгновение назад ее там не существовало. Пронзительный звонок прервал путаные возражения, и в комнату вошла дама лет сорока с невероятным бюстом и абсолютно седыми волосами, стриженными под Мирей Матье.

— Вот видите, сержант, — проворчал полковник довольно миролюбиво (на даме была форма капитана милиции), — видите, к чему приводит гнилой либерализм. Сколько ни вдалбливай им, что постоянное ношение документов при себе обязательно, они плевать хотели. А мы вынуждены транжирить казенные ресурсы. Подайте его дело.

Дама наклонилась куда-то в угол и протянула полковнику шкатулку, точно такую или — кто их теперь уже разберет? — может, и ту самую, что лежала запертой у Кузнецова в столе. Полковник чиркнул по ней ногтем, она раскрылась, и на стол посыпались какие-то бумаги. Семушкин окинул их взглядом и тут же смахнул всю кучу вместе со шкатулкой в тот угол, откуда она и появилась. Полковник снова млея в улыбке:

— Ну вот видите, все окончательно оформлено и в совершенном порядке. Наш аппарат свое дело знает, сидите спокойно в городе и не куролесьте, зави-

---

зуюем всю группу, тогда вызовем, у нас график. Мы строго, очень строго по графику... И не скандалить больше! — внезапно вскрикнув, закончил полковник, выскакивая из комнаты, как будто услышал из коридора крики о помощи. Дама с бюстом томно выплыла вслед.

Кузнецов несколько секунд постоял перед опустевшим столом, не очень понимая, что ему дальше делать, потому, решив, что ждать, видимо, бесполезно, последовал примеру странной парочки. На этаже никого не оказалось. Кузнецов оглянулся на дверь и заметил, что шикарная вывеска с золотыми буквами тоже исчезла. Мода эта — уносить с собой вывеску от собственного кабинета — показалась бы Андрею Петровичу, возможно, и странной, если бы он уже некоторое время назад волевым усилием не притупил все свои способности к удивлению и не решил пока просто посмотреть, чем дело кончится. Так как другого выхода все равно не было.

## 9

В зале выставки Кузнецов задерживаться больше не стал и спустился на первый этаж, где недавно открыли очень уютный бар с единственным недостатком — ни одна выпивка дешевле тройка не стоила. Потому народу здесь всегда минимум. Тетка за стойкой лениво плеснула в стакан сложный коктейль из

---

двухсот граммов коньяка и маринованной компотной вишни. Кузнецов съел вишню, разгрыз косточку и неприлично сплюнул ее на блюдце. Тетка посмотрела одобрительным взглядом, нажала клавишу магнитофона и ушла в свой закуток читать отложенного «Кандида». Мильва тихонько журчала из динамиков, и Кузнецов выпил граммов сто пятьдесят. Потом огляделся. У стойки он находился в одиночестве, а за единственным занятым столиком в углу сидела Лена и нервно поглядывала на дверь. Честно говоря, не помню, сообщал ли я о том, что подругу Бориной жены, с которой Кузнецов познакомился на дне рождения, увезенную потом до дома дипломатом чрезвычайно дружественной державы, звали Леной, но сейчас за столиком сидела именно она и, как уже сказано, явно нервничала. Кузнецов продолжения знакомства решил не навязывать, хотя женщина эта ему еще тогда понравилась, а теперь понравилась еще больше, и он подумал даже, что, решив в свое время вопрос сравнительных характеристик в пользу Бориной жены, может быть, оказался и не совсем прав, во всяком случае сейчас Лена смотрелась хорошо необыкновенно, а нетерпеливый и быстрый взгляд поблескивающих глаз придавал ей какое-то совсем особое очарование дикого зверька. (Во стиль! Руки мне пооборвать.) И все же Кузнецов остался сидеть на месте, мало ли кого она ждет, и может быть, напоминание о давнем и довольно мимолетном знакомстве ей неприятно или попросту неуместно в данный момент,

---

в общем, я хочу показать, что, несмотря на внешнюю бесцеремонность, Кузнецов иногда бывал весьма тактичен и вполне мог подождать, пока женщина сама заметит его и поздоровается или не заметит, если ей этого не надо.

Так они просидели минут сорок, за которые Кузнецов принял еще два по пятьдесят, а Лена постоянно то бросала взгляд на дверь, то, как будто испугавшись, опускала его в чашку с кофе и начинала быстро притрагиваться к ней губами, хотя даже по самым приблизительным расчетам, никакого кофе там давным-давно быть уже не могло. Наконец Лена, последний раз изобразив глоток, встала, подошла к стойке, резко стукнула по ней монетой, чем вызвала гневное недоумение увлекшейся Вольтером барменши, и потребовала пачку сигарет. Получив ее, она решительно направилась к выходу и уже на ходу почти через плечо бросила Кузнецову очень отчетливо, хотя и негромко:

— Здравствуйте, Андрей!

Во-первых, Кузнецов совсем этого не ожидал, во-вторых, никто давным-давно его так не называл, приятели звали по фамилии, а прочие по имени-отчеству. Так что он не сразу сообразил, что приветствие относится к нему, а когда опомнился, Лена была уже почти в дверях, и он пробормотал, конечно, что-то вежливое, но вряд ли его услышали. Получилось не очень ловко, однако Кузнецова в данный момент это не сильно расстроило. Почему-то, хотя сегодня день

---

практически выходной и бездельный, он чувствовал себя несколько утомленным и отправился домой даже в некоторой спешке, чтобы прийти в себя.

## 10

Но только он вошел, позвонила Томилина и, сказав, что находится рядом, попросила разрешения зайти.

— Это все, наверное, чепуха полная, но меня почему-то твоя просьба узнать о Ломове выбила из колеи. Ведь вы с ним лет десять не общались?

— Нет, Танюшка, мы не виделись ровно шестнадцать лет, с того дня, как вы с Пашей пригласили меня, второкурсника, на ваш выпускной вечер в училище. Высокая честь, у вас ведь был курс гениев, одни Дали.

— Ладно, тебя тоже прочили в Гогены.

— За то, видать, и приглашали.

— Я-то тебя приглашала потому, что спала с тобой, а Пашка — как своего друга детства. Твоя творческая мощь нас вряд ли поражала.

— Тебя — вполне возможно. А вот Ломову этот вопрос как раз был не безразличен. У него тогда имелась масса всяких мнений на эту тему.

— Потому вы и поцапались?

— Я тебе не раз говорил, что мы не цапались. Просто перестали общаться. И самое смешное, что это не моя отговорка, а действительно так.

---

— Без причин не перестают общаться люди, до этого десять лет встречавшиеся чуть не каждый день.

— Естественно, причина существовала, и, наверное, не одна. Но ссоры действительно не случилось. Я вдруг понял, что он мне неприятен и неинтересен. Думаю, что относительно меня он это понял сильно раньше. Он ведь был поразительного таланта художник. И, как я сегодня выяснил, остался им. Не уйдя он в науку, сейчас это получилось бы интереснейшее явление в живописи. Нешутейно оказался гением мальчик. Мы-то тогда все это воспринимали в свете иронии над собой и над всем миром, а он, видать, уже почувствовал. Он этот груз почувствовал на плечах, и потянуло его куда-то, как больную собаку на луг, за неведомой, но спасительной травой. И с высоты своей ответственности перед даром он вдруг и взглянул. И первый взгляд, естественно, упал на самое близкое, на меня. Я сначала отсмеивался, показалось очередной карнавальной маской. И вдруг понял, что он право имеет. Что ему дано, и он встал на путь. Он тогда и сам своего пути не знал, а я уже понял, что встал. И тут мне стало с ним смертельно скучно. Но и при этом бы еще ничего, продолжались бы, наверное, какие-то отношения, но он решил, что я тоже должен принять ношу, как имеющий дар. Ломов излагал все это гораздо пространнее и убедительнее, но именно эти слова там присутствовали — и «ноша», и «дар», и «путь». Тогда, на выпускном, я понял, что это не

---

очередная заумь, а предельно серьезно. И стал он мне еще и неприятен. Вот и все. А ссоры никакой не было.

— Если честно, то не поняла ничего. Думаю, все равно в чем-то темнишь. Мы ведь с Пашей перезванивались иногда, встречались даже изредка у общих знакомых, ты это знаешь. Он, правда, никогда о тебе не спрашивал, но если случайно заходил разговор — там ведь твои приятели тоже бывали, — то я чувствовала, что Ломову твои дела небезынтересны. Мне кажется, вы оба что-то по мальчишеской зауми преувеличили, а потом попросту закусили удила и сделали глупость. Но сейчас, наверное, поздно об этом говорить. Хотя ведь потребовался тебе сегодня зачем-то Ломов. Да, а что это ты выяснил насчет его художественных способностей?

— Пока не хочу объяснять, опять скажешь, что темно, а мне еще самому не очень ясно. Шла бы домой, а? Умотался нынче чего-то.

— Ладно, хамло, иду, только все равно беспокойно мне, и ты, Кузнецов, не нравишься, коньяком несет, а не добрый, а ведь ты добел с коньяка.

— Катись, психолог...

Кузнецов ласково подталкивал Томилину к двери и даже нежно чмокнул ее в щеку на прощанье, но был чуть не счастлив ее уходу и, вытягиваясь на диване с сигаретой, искреннейше надеялся, что сегодня больше ни звонков, ни визитов не предвидится. И надежда его почти исполнилась. Почти — потому что

---

следующий звонок, и прямо в дверь, раздался ровно в двенадцать ночи.

## 11

— Кто там? — глупо спросил Кузнецов. И получил довольно стандартный ответ, который обычно получает русский человек в это время суток:

— Телеграмма!

Но самое смешное, что это действительно была телеграмма. Ее протягивал вчерашний гундосый юноша и искательно лыбился:

— Виноват, побеспокоил, однако срочная...

Кузнецов почувствовал, что вся эта история начинает ему надоедать, и, взяв юношу за руку, грубо втащил его в квартиру. Потом, не слушая негодующе-удивленного верещания, запер дверь на два оборота и вскрыл телеграмму: «Андрей прости странное поручение есть причины кроме тебя некому тчк Отдай и все тчк». Юноша продолжал затравленно озираться.

— Ладно, а теперь давай выкладывай по порядку.

— Я совсем не понимаю, я вам телеграмму принес, вы меня пустите, пожалуйста, у меня знаете, сколько еще адресов сегодня? Мне вот сколько разнести надо! — Юноша расставил руки как можно шире, показывая, сколько ему еще надо разнести, но при этом ничего у него в руках не оказалось, и не было даже брезентовой сумки на плече, из кото-

---

рой вчера извлекалась замечательная книга. Так что вранье получилось слишком очевидным, и Кузнецов даже не счел нужным на него реагировать. Юноша еще постоял какое-то время с расставленными руками, затем медленно свел их на груди ладонь к ладони и вдруг сказал совсем чистым голосом, будто ему за эти несколько мгновений успели удалить полипы:

— Да вы не волнуйтесь, Андрей Петрович, я никому ничего не скажу, а им самим и в голову не придет. Им что, думаете, человек важен? Чепуха! Документ для них главное, и ничего более. Это же тупая машина, скажу я вам, почище любого исполкома. А документы у вас — надежней не бывает. Так что волноваться?

— А если я в милицию заявлю? — спросил Кузнецов, и ему сразу стало до противного стыдно, так, что он даже пробормотал: — Извините.

Юноша посмотрел на него с тревогой, как на тяжело больного:

— Вы, Андрей Петрович, действительно, легли бы, что ли, видать, у вас день сегодня тяжелый, а там на свежую голову все и решите.

— Что же я решать-то должен, милый ты мой? — уже совсем без раздражения, с крайней усталостью взмолился Кузнецов. — Скажи хоть пару слов в простоте, что за билеты ты таскаешь в конвертах без адреса, что за телеграммы носишь без подписи, что за документы эти надежные и на черта сдались они мне, и кому отдать их, наконец, а?

---

— Ну, насчет моей работы, это вы зря придираетесь, мне что дают, то и таскаю, у каждого свое дело. И я в рамках обязанностей никаких отступлений. А заниматься выяснением личностей я им не обязан. Вы в книге расписывались? Расписывались. А там пускай контролируют. Только я-то знаю, что никто контролировать не будет. И документы никому отдавать не надо. Незачем их отдавать. Что за мысли пионерские, право слово, это ведь не старушка кошелек потеряла. Не обеднеет никто. И не вздумайте отдавать.

— Не отдавать ничего, говоришь? Кто-то мне эту идейку уже не так давно подкидывал...

Юноша тут же помрачнел и даже насупилась чуть не в обиду:

— А вот этих гоните в шею. Пьянь болотная. Парочка хулиганов и ничего больше. Думаете, они из каких-нибудь принципов? Да нет у них принципов, один эгоизм и безответственность. И они вам наверняка не в том смысле говорили. Не надо их слушать совсем. Собирайтесь и ждите. Скоро уже. Да господа, — вдруг чуть не взмолился на тонкой ноте юноша, — чего жалеть-то, чего решать, что тут терять, Андрей Петрович?! — И с такой тоской при этих словах повел юноша взглядом вокруг, что Кузнецов невольно повторил это движение, заново пристально вглядываясь в покосившуюся вешалку с рваной пластиковой курткой, в прошлом году забытой кем-то из приятелей, ящик от посылки, набитый стары-

---

ми тапками, облезшими щетками и пустыми банками от гуталина, ослепшее зеркало, коврик — половую тряпку, светильник с треснувшим стеклом... Юноши уже не было, дверь мягко захлопнулась за ним, и Кузнецов пошел спать. Теперь окончательно. Но перед сном почему-то выдвинул ящик стола. Шкатулка лежала на месте.

А утром лил сильный дождь. Вообще, все это происходило в начале осени, и уже шли дожди. Этот был явно затяжной, под такие Кузнецов обычно спал долго и сладко. И он спал. А в это время...

Мне чем-то очень симпатичны эти вроде бы простенькие и совсем наивные титры немого кино. «За день до этого», «тем же вечером», «прошел год», «а в это время». Какое-то очень домашнее, почти родственное обращение со временем. Это был момент просветления, когда время уже перестали презирать, считая безграничным, и еще не научились бояться, поверив в краткость. А умудрялись просто и без особых затей уютно обставить и обжить свой скромный отрезок, так согласно вписав в него все мелочи, что даже пущенная порой пуля в висок под занавес казалась отнюдь не истерическим бунтом, а просто несколько экстравагантным украшением интерьера.

А в это время, пока Кузнецов спал под монотонную дробь, совершенно независимо друг от друга, очень рано утром проснулись две женщины, для которых ранний подъем тоже совсем нехарактерен. Для нашей истории это значимо потому, что, во-первых,

---

причины, заставившие их подняться, как впоследствии выяснилось, достаточно важны не только для них, а во-вторых, с каждой из них все равно придется познакомиться поближе, так что имеет смысл уже, наконец, начать.

## 12

Первой в то утро поднялась Татьяна Анатольевна Томилина. Мне, видимо, все же придется рассказать о ней поподробнее, хотя о женщинах говорю, вообще, с большой неохотой. Отношусь к ним предельно доброжелательно, но считаю, что человек не должен особенно вторгаться в нюансы существования противоположного пола. И не верю я в удачу этого дела, несмотря на всемирно известные успехи. И Ларина с Ростовой, и Изольда с Джульеттой, и «Бовари — это я», и слишком правдоподобные изыски «Черного принца» — пусть даже порой и гениальная, но всего лишь имитация. У талантливых людей очень неплохо получалось писать даже от имени собак и лошадей, но никто ведь не принимает это за чистую монету, зачем же в остальных случаях пытаться нарушать нормы литературной игры и делать окружающих дураками? Так что заранее хочу оговорить меру условности моего восприятия и самой Томилиной, и ее поступков, большинство из которых, очень даже вероятно, и вызваны совсем не теми причинами, и привели ее совсем

---

не к тем выводам, которые мне представляются предельно логичными и обоснованными.

Отец — полковник, инженер, все время в разъездах. Мать — завуч немецкой спецшколы. И еще младшая сестра. После окончания десятого класса Татьяна намеревалась поступать на филфак университета. Несколько раз посещала «дни открытых дверей», слушала лекции для абитуриентов и познакомилась с третьекурсником Рамизом. Сын министра одной из среднеазиатских республик имел под два метра росту, прямой мужественный взгляд и красные «Жигули». Началось самое романтическое ухаживание с букетиками ранних незабудок и нежным пожатием руки у подъезда в половине десятого — мать запрещала появляться дома минутой позже. Девчонки всей школы задерживали дыхание от зависти, когда, выбегая прямо с уроков, Татьяна закидывала портфель на заднее сиденье, и красная машина уносила ее в голубую даль. В самом конце мая, за несколько дней до выпускных экзаменов, Рамиз сказал, что забыл какие-то книги в аудитории, и они оказались под вечер в непривычно пустом и гулком здании, лишь изредка оглашаемом заунывными криками запоздалых уборщиц. Рамиз открыл аудиторию непонятно как оказавшимся у него ключом, им же запер ее изнутри и изнасиловал Татьяну, предварительно несколько раз очень сильно ударив по лицу, но так, что синяков не осталось. В тот день она пришла домой даже на полчаса раньше разрешенного, и у матери не было никаких оснований

---

для волнений за нравственность дочери, мирно пившей традиционную чашку вечернего чая в счастливом семейном кругу.

У Татьяны даже не появилось мысли рассказать об этом матери, не то что заявлять куда-то. И хотя во время самой первой непроизвольной реакции и промелькнуло что-то типа «ты у меня, сволочь, за это ответишь», десятиклассница предельно быстро проанализировала ситуацию и решила, что вряд ли удовлетворение оскорбленного самолюбия хоть в какой-то мере компенсирует весь тот ад, в который превратится ее жизнь, если что-нибудь станет известно. И ничего никому известно не стало.

Однако происшествие это имело все же для Татьяны два довольно важных последствия. Во-первых, она на довольно долгое время приобрела устойчивое физиологическое отвращение к мужчинам. А во-вторых, совершенно неожиданно для родителей и вопреки их самому гневному возмущению категорически отказалась поступать в университет и сразу же после выпускных экзаменов устроилась подсобной рабочей в типографию. Однако зарплату свою, с полного согласия и даже при некотором одобрении семьи, Татьяна в дом не приносила, а целиком тратила на преподаватель рисунка и живописи, которые несколько пообтесали ее способности в этой области, проявившиеся еще в детстве, но не являвшиеся предметом особого внимания, так как на их основе до того времени не строились никакие жизненные планы. Вышло же так, что через

---

год Татьяна поступила в очень престижное художественное училище, и родители еще очень удивлялись, как это все удачно совпало: и типография оказалась шефом этого училища, так что выданная рабочей Томиной рекомендация сыграла определенную роль, и репетиторы оказались преподавателями именно этого училища, а один даже зампредседателя экзаменационной комиссии... В общем, все неожиданно устроилось довольно прилично, и внешнее спокойствие было полностью восстановлено.

При этом внешнем спокойствии прошло два года, к завершению которых у самой Татьяны никакого спокойствия уже практически не осталось, и были тому следующие причины: она почувствовала, что может реально стать художником, и это ощущение собственной силы было довольно беспокоящим; она перестала выносить сосуществование вчетвером в маленькой двухкомнатной квартире, особенно после того как отец вышел на пенсию и осел дома, а сестра подросла и стала водить подружек табунами; она влюбилась в Кузнецова. Совершила чудесное открытие — от прикосновения мужчины можно испытывать не только отвращение. Наваждение кончилось. Все в мире встало на свои места, но оказалось, что от этого ничуть не легче.

Надо сказать, что на самом деле произошло это довольно случайно, так как Кузнецов был на курс младше, а общение с ребятами младших курсов считалось, даже не считалось, а как-то само собой разуме-

---

лось, нелепым, смешным, да попросту невозможным, так что ничего не произошло бы, если бы учившийся с Татьяной Паша Ломов не стал последнее время заглядывать ей через плечо, прищуриваясь на холст, и задумчиво мычать что-то нечленораздельное. За прошедшие два года Ломов, бесспорно, самый способный студент на курсе и вообще человек весьма неординарный, едва ли удостоил Татьяну пары брошенных на ходу междометий, а тут вдруг, случайно задержавшись взглядом на одной из ее работ, стал все чаще раздражать Татьяну этим своим мычанием и даже как-то, подняв, наконец, взгляд от холста на нее саму, пробормотал, удивленно разглядывая товарища по кисти, оказавшегося почти журнальной красавицей с иконным ликом, великолепными длинными ногами и фантастической грудью:

— В субботу вечером зашла бы, покажу кое-что, черкну адрес...

Татьяна в ответ буркнула что-то довольно грубое, но в субботу, конечно, пошла к Ломову, художник он был от Бога, и посмотреть на его работы не по программе ей, конечно же, хотелось. Она не пожалела. Ломов долго ворочал перед ней черно-белые карты, и она быстро поняла, что это уже не ученичество. А потом зашли еще какие-то ребята, и среди них Кузнецов, как оказалось — Пашин друг детства, в котором Татьяна узнала несколько раз встречавшегося на лестницах первокурсника. Ломов представил их друг другу, изложив про Татьяну что-то вроде «с

---

моего курса, оказалось — может иногда, а думал — дура...». Кузнецова же рекомендовал еще короче: «В сад вместе бегали». После этого отошел к другим гостям, а Татьяна неожиданно для себя очень просто и естественно разговорилась с первокурсником, и даже, когда они прощались у ее подъезда, до которого он ее совершенно невзначай проводил, договорились в конце той недели вместе поехать пописать какую-нибудь тающую полянку.

Они, действительно, даже случайно не встретились ни разу за ту неделю, и Татьяна была больше чем уверена, что он забыл о договоре, и даже считала это довольно естественным, и совершенно искренне не обратила бы на это большого внимания, если бы случилось именно так, не говоря уже о том, чтобы расстраиваться, но где-то в самой глубине души она все-таки надеялась, что звонок раздастся, и он раздался.

Они долго ехали на электричке. Сначала было прохладно, потом солнце стало все больше накатывать волну за волной теплоты и света, потом они набрали наконец на ту самую полянку, где снег еще практически совсем не тронут оттепелью и только поверху затвердел тонкой коркой от первых жестких лучей, ослепительно сверкая в голубых тонах. Они стояли, сцепившись пальцами на пригорке перед поляной, он подал ей руку, когда помогал взойти на этот пригорок, и так и не отпустил, и они шурились от безжалостного и резкого света, и просто нелепо им было не поце-

---

ловаться, и он чуть наклонился и неловко чмокнул ее в угол губ, совсем по-щенячьи неумело, но отнюдь не потому, что действительно был неловок или неумел, а потому что только такой поцелуй был уместен здесь и сейчас, и она поняла это и, не отвечая, тихо засмеялась, почувствовав, что, наверное, много плохого осталось позади, а теперь должна начаться большая радость.

Видно, какой-то очень добрый и мудрый ангел покровительствовал им тогда, если хватило инстинкта не оказаться тем же вечером в постели, а еще больше чем на месяц продлить это ощущение очень резкого и очень белого света, которое заставляло веки подрагивать от счастья. Когда же Татьяна пришла к Кузнецову, в его темноватую комнатушку на набережной заросшего тополями канала, это случилось настолько вовремя, что обоим показалось, будто давным-давно они договорились именно об этом дне и этом часе, хотя еще вчера и у того и у другого были совершенно иные планы.

Тот же ангел дал Татьяне в ту ночь столько смелости и опытности, что Кузнецов не догадался ни о чем. Да, надо сказать, он ни о чем и не задумывался тогда. Как, впрочем, и потом. И ни тогда, ни потом Татьяна не рассказывала ему о своем реальном опыте и о том, что значила для нее та ночь. Но сама именно его считала своим первым мужчиной и была благодарна ему, как редко бывает благодарна женщина даже действительно первому.

---

Все это было хорошо и продолжалось год. Они много любили, много работали, часто бывали у Ломова, спорили допоздна, ворочали картоны, пили много очень дешевого сухого вина, и спать не хотелось, и не пьянели, и с каждым днем чувствовали все обостренней, видели все четче, рисовали все уверенней, и дни бежали все быстрее и быстрее.

А когда год закончился, и Татьяна с Ломовым защитили дипломы, в считанные дни наступила совсем другая пора.

Однажды утром мы просыпаемся и понимаем, что манная каша, которую последние двадцать лет сначала мать, а потом жена готовили на завтрак, сегодня обязательно должна быть заменена яичницей. Извиняясь, начинаем объяснять удивленно вскидывающим брови родственникам, что нынче просто такое настроение, что манная каша по-прежнему является нашим любимым блюдом, что завтра все будет хорошо и по-старому, а пока надо бы все-таки яичницу или на крайний случай пару бутербродов. Но ни завтра, ни через год и вообще никогда в жизни не притронемся к манной каше. Будем поначалу объяснять это какими-то таинственными указаниями врачей, сложностями с крупой или любыми прочими, вполне объективными и заслуживающими внимания причинами, будем лукавить перед окружающими и перед собой, но, сами толком не понимая, что же с нами происходит, будем до смешного верны своим новым утренним блюдам.

---

А все очень обычно и не требует особых мотивировок, просто наступает совсем другая пора.

Предвижу, что это философствование на уровне манной каши может вызвать усмешку, но не надо с ней торопиться. Лучше вспомните. Вспомните, как прожили много лет с женщиной, которая изводила вас каждый день с утра до ночи, и вы мыли посуду, когда хотелось выпить, и пылесосили ковер, вместо того чтобы улечься на него и завывать. Она сделала, кажется, все, чтобы выжить вас из дома, но вы терпели, и жили, и жили, кстати, не хуже, чем живут миллионы. А потом однажды вы встали и ушли. Что, она сделала что-то из ряда вон? Нет, наоборот, с годами несколько подустала и была уже не столь изобретательна в выдумках, как прежде. Может быть, кончилось ваше терпение? Чепуха. Если бы могло кончиться, то кончилось бы давно. А за годы оно, наоборот, закалялось, нашло лазейки и возможности приспособиться хоть в мелочах. Так что на самом деле причин-то вроде бы не было. Конечно, друзьям вы потом приводили вполне резонные доводы, рассказывая о какой-то из последних серий истерик, устроенных супругой, и друзья одобряюще кивали и говорили, что, мол, ты, естественно, полностью прав, уж такого-то стерпеть совсем нельзя! Но друзья неискренни, если не сказать — лживы, потому что все те истерики, что они наблюдали в вашем доме долгие годы, были ничуть не меньшим, если не большим поводом и основанием для ухода, но тогда они молчали, понимая, что их

---

слова бесполезны и все останется как есть. А теперь оказалось, что уж этого-то терпеть нельзя? Полная чепуха с целью сохранить видимость объективности происходящего. И все понимают, и всем несколько неловко. Потому что иначе придется сказать приличному человеку, который ничего кроме хорошего тебе не сделал, прямо в глаза, что он лицемер и пытается попросту надуть и себя, и окружающих. Что все это ничуть не более обоснованно, чем история с манной кашей. Что просто наступает совсем другая пора.

А если вы не уходили от жены, то, может быть, вспомните, как уходили с работы? Первый раз изменили любимой? Однажды не позвонили и уже никогда не позвоните другу? Перестали ходить в театр после стольких сезонов, когда смотрелись вообще все спектакли? Отнесли под Новый год в букинистический альбом Пикассо, хотя еще осенью специально ездили в Ленинград смотреть «Любительницу абсента»? Сбрили бороду? Отрастили усы? Перешли с коньяка на водку, несмотря на возросшее благосостояние? Ну, впрочем, это уже опять из разряда манной каши. И все же сначала вспомните. Потом улыбайтесь.

Кузнецов уехал на юг, завербовавшись в какую-то археологическую партию на непонятную должность с обещанием что-то там с кого-то срисовывать, а Татьяна стала искать работу — денег на отдых не было — и познакомилась с хорошим парнем Володи́ Ильиным, молодым режиссером академического театра, большая часть славы которого (театра, а не

---

Володи) была, правда, в глубоком прошлом, но масса вполне реальных благ существовала в настоящем, и связи Ильина оказались тоже вполне настоящими, так что уже к осени Татьяна очутилась при должности, как раз к тому времени, когда их обоюдное с режиссером увлечение благополучно закончилось, не оставив, к счастью, в них ни малейшей пакости друг к другу. Но тут Томилина оказалась перед необходимостью решать самую кардинальную проблему.

Последний год большую часть времени она проводила в училище, много было преддипломной работы, у Кузнецова или вместе со всеми в просторной мастерской Ломова, домой приходила только ночевать, правда, приходила всегда, тут мать оставалась непреклонна, опасаясь дурного примера для младшей сестры Наташи. Однако крайний срок возвращения был либерально отодвинут до двенадцати ночи, и поскольку Татьяна практически всегда пользовалась именно крайним, то приходила уже в мирно спящий дом, ограничивая общение с семьей утренними междометиями во время бестолковой суеты перед умывальником. Теперь же, когда она стала все чаще возвращаться с работы домой как все нормальные люди или даже проводить дома почти весь день, если работа в этот раз в театре была вечерняя, Татьяна обнаружила, что наметившееся еще год назад получило самое полное и самое неприятное развитие. Отец, не умея толком найти себе применения после отставки, стал потихоньку попить. Их ровные, почти до агрессив-

---

ности доброжелательные отношения с матерью, закаленные двадцатипятилетним супружеством, разлетелись вдребезги за несколько недель. Оказалось, что эти люди, считавшие себя всю жизнь образцом взаимопонимания, знали и уважали только расписание друг друга, школьное и военное. А по-настоящему познакомиться друг с другом за все эти годы радостного и напряженного труда на благо Родины они так и не удосужились. Когда же это знакомство, наконец, по воле прекращения действий одного из расписаний, состоялось, обоим супругам оно совершенно не порадовало. Столько времени, сколько им пришлось теперь проводить вместе, они общаться друг с другом не умели и потому, естественно, не любили. Оказалось, что им попросту не о чем столько времени говорить, да еще когда отпала половина служебных тем. Поругаться проще, тут тема всегда найдется, особенно после того как отставник сделал открытие, что любой телевизионный фильм приобретает неожиданную остроту и увлекательность, если перед ним принять граммов триста пятьдесят крепленого, да столько же во время.

Этим же летом Наташа окончила школу и провалилась в медицинский институт. Вернее, не провалилась, а не прошла по конкурсу и винила в этом мать. Впрочем, доля истины в этих обвинениях присутствовала. Дело в том, что Наташа училась в той же школе, где мать была завучем, и училась блестяще, считалась единственным и бесспорным претендентом

---

на золотую медаль. Мать же была, с одной стороны, великой актрисой, с другой — очень легко попадала под влияние правильных красивых слов, независимо от их реального значения. В школу год назад пришла новая директриса, помешанная на принципиальности, и мать сделалась тоже самым принципиальным человеком в мире, других дел вроде и совсем не осталось. Но, как все великие актрисы, она несколько заигралась и в какой-то момент потеряла грань между ролью и действительностью. К несчастью, момент этот совпал с выпускными экзаменами, где мать поставила Наташе четверку по немецкому. Тут она, правда, несколько опомнилась, особенно когда все окружающие открыли рты от удивления — дочь говорила на языке ничуть не хуже матери, а произношение у нее было просто значительно лучше, так как мать начала постигать тайны фонетики по-настоящему на третьем десятке лет жизни, а дочь — на третьем году. Но поезд ушел, о медали не могло быть и речи, и дочь затаила некоторое неприязненное недоумение. Когда же именно эта четверка и не пустила ее в институт — с медалью Наташа прошла бы, — то тут дочь не только объяснила матери свои принципы отношения к ее принципиальности, но и постаралась всю свою жизнь в семье построить отныне на этих принципах. Плюс ко всем своим достоинствам они были еще и очень шумными.

По вечерам на двадцати восьми метрах совместной площади собирались четыре человека. Мать,

---

проведшая пять уроков и факультатив, или педсовет, или родительское собрание, или какой-то торжественный сбор, с охрипшим голосом, головной болью и пачкой тетрадей. Отец, вооружившийся «Агдамом», еженедельником «Футбол-хоккей» и телевизионной программой, успевший недавно пропустить пару пива и полностью готовый действовать по теме «Мото-стрелковый полк в обороне». Наташа после смены в больнице, куда она устроилась санитаркой зарабатывать характеристику, и разрывающаяся между десятками телефонных звонков какой-то бешеной своры юнцов, желанием спать и необходимостью сесть за учебник. И Татьяна.

Они смотрели друг на друга глазами, полными самых разнообразных чувств, и понимали, что долго так продолжаться не может. И все чаще взгляды троих скрещивались на Татьяне. У нее единственной был шанс. И она довольно быстро об этом догадалась. Историю их знакомства и непродолжительного предсвадебного романа с Аркадием я в подробностях не знаю, да и не интересовался никогда, думаю, ничего особо интересного там не было. В самом конце шоссе Энтузиастов у него имелась однокомнатная кооперативная квартира, оставленная недавно умершей бабушкой, к которой родители успели Аркадия вовремя прописать. Но квартира эта пока пустовала, родители держали двадцатидвухлетнего мальчика в полном повиновении на своей вполне достаточной площади из опасения, что обладание отдельной квар-

---

тирой может попортить его нравственность, а заодно и карьеру начинающего радиожурналиста одной из зарубежных редакций на Новокузнецкой. Таким образом, квартира береглась для будущей семьи, какую Аркадий, несмотря на глубочайшее уважение к родителям и отсутствие даже малейших помыслов о непослушании, стремился создать как можно скорее, потому как у него «все это тоже во где сидело».

Они поженились, и он ее любил. Был человеком добрым и очень домашним. Несколько инфантильным и прямолинейным, но первое качество, как выяснилось с годами и другой женой, у него прошло, а второе никогда не мешало в жизни, потому как жизнь у него получилось такая, где это не мешает. А вот с Татьяной ему не повезло.

На самом деле, она к нему относилась очень хорошо и за многое была просто благодарна. Когда вечером Татьяна могла вытянуться на подаренной Аркашиными родителями тахте за тысячу рублей из чешской спальни «Классик», зажечь преподнесенный его дядей на свадьбу бронзовый торшер прошлого века с финским голубым абажуром и перелистывать «Золотой век голландской живописи» из выделенной молодой семье части богатейшей библиотеки, слушая итальянцев на «Панасонике» недавно купленном по дешевке у вернувшегося из Японии Аркашиного коллеги, она прекрасно понимала, как бы прошел этот ее вечер, если бы не Аркадий, и как все-таки ей повезло. Но во всей этой замечательной

---

обстановке была единственная лишняя деталь. Сам хозяин дома.

Бывая с ним в компаниях или просто в присутствии любого третьего, Татьяна чувствовала постоянное напряжение и неловкость от ожидания со стороны мужа чего-то неуместного или смешного. Чаще всего ожидания ее муж успешно оправдывал, пусть даже брошенной вскользь фразой или мало приметным жестом, пусть обращала на это внимание только она и неловко становилось только ей, но все же гораздо спокойнее Татьяне было с ним наедине, без свидетелей. Спокойней-то, конечно, спокойней, но уж очень скучно. Попытка общаться с Аркашинными семейными друзьями, давно привыкшими к нему, при которых можно было не обращать внимания на чепуху, которую он нес, провалилась довольно быстро. Каждый из этих друзей почему-то считал своим долгом максимум при второй, если не при первой встрече, уловив момент где-нибудь в кухне или передней, предложить Татьяне немедленно, как только представится возможность, лечь с ним в койку. Татьяна, конечно, шума не поднимала и мило улыбалась, но знакомых совсем не осталось. Кроме того, Аркаша был еще помешан на искренности и абсолютной откровенности. Ему нельзя было сказать просто, что задерживаюсь после работы, есть дела. Какие такие дела? Ведь сам он про все рассказывал в подробностях. А ему и скрывать ничего не хотелось. И нечего было. Татьяна попробовала потаскать мужа по музеям, выставкам.

---

Рестораны он не любил, да и дорого... В театр ходили. В общем, не любила она мужа. А усталости, той тоскливой бабьей усталости, что взращивает из признательности за надежность и спокойствие нечто вроде чувства, еще не было у Татьяны, и даже не знала она, способна ли на такую усталость и такую признательность.

Завела несколько неинтересных романов. В какой-то момент даже возобновилось нечто с тем самым режиссером. Но скучно, скучно все. Потом развод, что-то Аркадию стало известно, разошлись они плохо, скандально, не поняв толком, что их так обидело друг в друге. Аркаша обиделся столь сильно, что совершил жест совсем для него не характерный, благородно оставив Татьяне квартиру и переехав к родителям. Родители его были людьми не с самой хорошей реакцией, поэтому им потребовалось какое-то время, чтобы решить, как отреагировать на столь идиотский поступок сына. Время это оказалось небольшим, но достаточным для того, чтобы сын успел найти себе скромную и послушную жену с двухкомнатной квартирой метров под пятьдесят на улице Воровского.

С тех пор прошло десять лет. Прожила их Татьяна спокойно. Так, качало иногда, но без бурь. Сама она почему-то твердо была уверена, что всю жизнь любила и продолжает любить одного Кузнецова. Любила она его так: с ним ей очень хорошо. Во всех отношениях хорошо. Но и без него она не особо тос-

---

ковала. Бывало ей хорошо и с другими. Может, не совсем так, но тут разве сравнишь? Бывало ей и одной совсем неплохо. Правда, в последнее время все реже. Стала ловить себя на том, что слишком много курит. Что может целый день проваляться в халате, даже не умывшись. Что несколько раз подряд сходила одна в кино. По утрам иногда синяки под глазами.

В театре получилось не очень. То есть как раз теперь ею все были вполне довольны. Поначалу она бредила арлекинадой Бенуа и намеревалась сказать новое слово. Потом поняла, что сказать ей его не дадут. Затем выяснила, что и сказать особо нечего. Но к этому времени уже пришел опыт, пришло понимание, что нужно какому режиссеру, какому зрителю и какому художественному совету. В руках оказалось конкретное ремесло, и дело постепенно пошло все лучше, к великому удивлению руководства, в какой-то момент поставившего крест на подававшей столь серьезные надежды девочке и только искавшего повода, чтобы ее убрать. Девочка явно нравилась больше и больше и, кстати, как-то незаметно стала очень прилично зарабатывать. Но интересовать Татьяну все это давно уже перестало. Последние несколько лет она писала портреты.

Начала неожиданно, никогда не считала делом стоящим, но засасывало это ее основательно. Долго, мучительно писала, вцеплялась в лица намертво, упорно копалась в рассыпающихся чертах, тратила

---

деньги на натурщиков, искала типы на улице, замутила всех знакомых. И чувствовала, уже чувствовала, что скоро начнет получаться. Существовала даже пара вещей, которые, казалось, почти получились, но еще не совсем верилось. Короче, работа была.

И вот жизнь эта, и со всеми минусами своими, и со сложностями, но вполне Томилину устраивавшая, дала в последнее время некоторый, не совсем понятный сбой. И хотя оснований вроде бы пока не было, Татьяна запаниковала. Ну, если не запаниковала, то во всяком случае вполне оказалась к этому готова. И причиной тому стал человек лет под пятьдесят, совсем не в ее вкусе, совершенно не ее круга и вообще какой-то очень странный. Более того, чувства, которые испытывала к нему Татьяна, предельно были далеки от даже намека хоть на какую-то чисто женскую заинтересованность. А вот, поди ж ты, так подействовало. И впервые за много лет говорила Татьяна с Кузнецовым неискренне.

Когда она пришла к нему поздним вечером с разговором о Ломове, то истинную причину своего прихода утаила. Хотя Кузнецов и не очень докапывался и в какой-то своей раздраженной усталости и скушал фразу о том, что вопрос о Ломове настолько выбил из колеи, что потащила на ночь глядя через всю Москву уточнять события пятнадцатилетней давности, все равно чувствовала Томила свою нечестность, неловко ей было, что не рассказала об истинной причине. Но что, собственно, она могла ему

---

рассказать? Что уже больше месяца ее соблазняет непонятный тип, причем, с одной стороны, говорит о своей любви, а с другой — соблазняет отнюдь не мужскими достоинствами или хоть видимостью ухаживания, а одними только разговорами, смутными и не очень понятными, но до какой-то жути звучащими убедительно в этих вечно поджатых устах? Или что этот темный чиновник темного ведомства постоянно, как бы вскользь, но очень подробно интересуется Ломовым? А последние дни этот интерес его был особенно повышен и конкретен? Стоило ли рассказывать обо всем этом Кузнецову? Что, кроме усмешки и совета сходить к невропатологу, мог вызвать такой рассказ? Но при этом ведь и сам Кузнецов заинтересовался Ломовым после стольких лет забвения. Потому и приехала Татьяна к Кузнецову выяснять даже для самой себя не очень понятно что, больше, наверное, для успокоения, но, так ничего и не выяснив, да и не успокоившись совсем, вернулась она домой. И тут раздался, наконец, телефонный звонок, совершенно неожиданный звонок, но почему-то абсолютно ее не удививший, а, более того, показавшийся на редкость естественным в контексте всех последних событий. Туманные намеки и соблазнительные речи получали, кажется, хоть какое-то реальное подтверждение. Правда, тоже несколько странноватое, но к этому Томила уже успела привыкнуть. Знакомый четкий голос без всякого представления и приветствия доложил, что ровно в во-

---

семь часов утра ее ждут. И дал адрес. Такова была причина, по которой Татьяна Томила встала этим утром в несусветную для себя рань и под мерзким дождем ловила такси на Коровинское. Это с шоссе-то Энтузиастов.

### 13

Чуть позже нее, но тоже в совершенно непотребное для себя время, часа на четыре раньше, чем обычно, вышла из дома та самая Елена, которую Кузнецов после не очень понятной встречи в баре выставочного зала вполне мог называть своей знакомой. Об этой женщине я могу рассказать гораздо меньше, чем о Томиной, только потому, что гораздо хуже с ней знаком и сведения имею очень скудные, а отнюдь не из-за каких-то приписываемых мне довольно безответственными лицами побуждений личного порядка, заставляющих быть не в меру скромным. Все это полная чепуха, совсем наоборот, уж теперь-то что я стал бы скрывать и кому от этого мог бы произойти вред? Да и вообще, не думаю, что там что-нибудь такое было. Слухи слухами, отвечать же могу только за факты. А у меня их нет.

Елена родилась и выросла в семье, где многие поколения предков прекрасно питались, соблюдали личную гигиену, физическим трудом занимались исключительно в меру потребностей организма, читали

---

самые умные книги, понемногу музицировали, писали акварелью и при этом оказывались вполне серьезными специалистами в своей области: кто врачом, кто юристом, кто математиком. И со стороны отца, и со стороны матери тут все было в полном порядке. Сами родители — тоже люди весьма почтенные, с положением. Их, несмотря на солидный возраст, не коснулись никакие исторические передряги, и они вкушали заслуженный покой. Елена волей случая получилась очень поздним и единственным ребенком. Нельзя сказать, чтобы ее слишком баловали, родители для этого были достаточно умны, но девочка имела все, что обычно имел ребенок в этом старом московском роду. То есть предельно много. Естественно, были с детства и языки, и музыка, и самые полезные виды спорта, и прекрасные преподаватели, в последние годы учебы помогавшие школьной программе, и, наконец, диплом с отличием по окончании института, само название которого столь одиозно, что я даже не буду его приводить. Плюс ко всем прелестям, институт этот давал еще и свободное распределение, так что молодой специалист особенно не спешила и вполне имела возможность оглянуться в поисках достойного места. Тем более что проблемы, даже в нравственном плане, относительно сидения на родительской шее не существовало. Там столько, что все равно не потратишь. Однако затягивать решение вопроса слишком Елена все же не хотела и присмотрела уже весьма respectable организацию с богатыми возможнос-

---

тями и перспективами, но тут начался у нее бурный роман, стало не до чего, а меньше чем через полгода роман этот завершился браком. Муж хоть на десяток лет старше, но по всем понятиям партия блестящая, другой, впрочем, быть в данной ситуации и не могло. Пока то да се, устройство собственного гнездышка и первые семейные радости, а там уже оказалась на четвертом месяце. Радостные охи и вздохи, потом выкидыш. Осложнения. Подлечили.

Красавицей Елена не смотрелась, черты лица довольно обычные, не без приятности некоторой, короткая стрижка волос неопределенного цвета, хотя все же скорее светлых, чем темных, остальное в соответствии с данностью, фигура спортивная и вполне женственная, руки изящные, ноги длинные, но главное — держалась прекрасно и холеной была очень. Тут высокий класс чувствовался. Потому рядом даже с действительно красивыми она отнюдь не тушевалась, а порой, через некоторое время, могла обратить сравнение и в свою пользу.

С мужем пошла сложности, уж очень бурным был роман, не по ним. Кстати, он ее девушкой взял. Болеть не умела, не привыкла, потому, когда началось, характер испортила. У него тоже не подарочный. Потихоньку затосковали оба. То интересное и достойное место давно уплыло, все остальное, как назло, подворачивалось хуже некуда, забеременеть не получалось, да и советовали сильно повременить. Внезапно умерли родители, один за другим в течение месяца.

---

Елена наспех переспала с предельно глупым, но довольно смазливym юнцом, потом пару раз сходила в ресторан с известным актером, с ним оказалось даже порой интересно, позволила некоторые вольности, но в последний момент совершенно неприлично удрала, и стало ей совсем тошнехонько.

И тут внезапно наметился выход. Да не просто выход, а нечто действительно блестящее и великолепное. Разом решение всех проблем. Разом и навсегда. Поистине, только такое было достойно ее, и она получала по достоинству, зря, абсолютно зря даже на миг усомнившись в высшей справедливости. Все было окончательно, не грозили никакие неожиданности, но почему-то стало странно затягиваться, и возникли совершенно до дикости нелепые помехи. Елена начала добиваться конкретности и разъяснений, но натолкнулась на стену недоумения и непонимания. Она даже ненадолго растерялась, однако быстро взяла себя в руки и добилась-таки. Ей назначили время и место. Что место это было дальше, а время раннее, обижаться уже не приходилось. Потому в это мокрое утро Елена, так же как Татьяна, ловила такси, правда, не на шоссе Энтузиастов, а на улице Герцена, но зато тоже на Коровинское. Чтобы не разводить излишней заинтригованности, скажу сразу, что ехать им надо было попросту в одно и то же место. Хотя они и не встретились и, более того, никогда не узнали, что были там одновременно.

Томилина приехала вовремя и сразу нашла странный среди окружающих многоэтажных панельных коробок домик — нечто среднее между бойлерной и электроподстанцией. Поверху строения, почти под самой крышей, шли два ряда крошечных круглых окошек типа иллюминаторов, посередине одной из стен имелись массивные стальные ворота. Как только Татьяна нажала кнопку звонка у этих ворот, в них открылась небольшая дверца, и выглянувший оттуда дворник — иначе как дворником человек такой наружности и с таким голосом быть не мог — пригласил следовать за ним. Они шли по темному, узкому и крайне неопрятному коридору, пахнувшему, как пахла когда-то черные лестницы старых московских домов, с потолка свисали ржавые трубы, из стен высывались кривые краны с огромными вентилями, время от времени попадались покореженные двери, из-за которых раздавалось неприятное тонкое гудение. Потом поднимались по шаткой железной лесенке, миновали два больших и совершенно пустых зала с кусками бумаги и ошметками цемента на полу и постучались, наконец, в неожиданно опрятно обитую балакромом дверь, на которой висели цифры «168» и почтовый ящик с приклеенными названиями журналов: «Стекло и бетон», «Лайф» и «Партийная жизнь». Из-за двери ответили утвердительно, и дворник, предупредительно пропустив Татьяну вперед, запер

---

за ней громко щелкнувший замок. Томилина оказалась в небольшой темноватой комнате, освещаемой теми самыми круглыми оконцами и всей обстановкой напоминающей красный уголок в среднем ДЕЗе. Плохонький телевизор в углу, несколько стеллажей с потрепанными разнокалиберными книжками и некомплектными настольными играми, рододендрон в кадке и большой, довольно замызганный стол посередине. За этим столом в один ряд, лицом к двери помещались: крепкий высокий старик с длиннющей седой бородой и очень сонными глазами, атлетического вида мужчина лет сорока, бритый наголо, и строгого стиля дама среднего возраста, в английском костюме и больших круглых очках. Сбоку стола пристроилась с блокнотом в руках женщина, уже единожды представленная читателям инспектором Семушкиным как сержант, правда, сейчас на ней была действительно сержантская форма, хотя и десантных войск. Перед свободной стороной стола находился единственный пустой стул, на который Татьяне и было предложено сесть. Говорил старик:

— Вас нам, Татьяна Анатольевна, рекомендовали. Не буду хитрить и сразу же подчеркну, что рекомендовали крайне настойчиво и с самой положительной стороны. Скажу больше: если бы не личность рекомендателя, его авторитет и всем известные заслуги перед общим делом, мы вообще не знали бы, как поступить. Но и в данной ситуации перед нами возникло множество сложностей. Не буду утомлять

---

вас излишними подробностями, но главное заключается в том, что предварительное посвящение категорически противоречит нашей практике. Испытуемый никаким образом даже не должен догадываться о реальных целях проверки, потому как само уведомление уже является признанием годности. В вашем случае ситуация чрезвычайно осложняется тем, что, ввиду некоторых... как бы это помягче... ну, скажем, не всегда учитываемых обстоятельств... одним словом, вы оказались совершенно преждевременно информированной. Нашей прямой обязанностью было бы немедленно исправить это упущение, но заслуги рекомендателя... Впрочем, я об этом уже говорил. Короче, мы пришли к единодушному решению — в виде исключения допустить вас до проверки, хотя, честно и откровенно говоря, никаких объективных показателей для этого нет. Однако чем кто не шутит. Но сразу же должен предупредить о последствиях. В случае отрицательного результата мы окажемся перед необходимостью принять меры сразу же. И они будут гораздо более действенными, чем если бы прямо сейчас... Так что, может, подумаете еще, стоит ли? Время есть, вас никто не торопит.

Татьяна резко встала со стула:

— Решать уже нечего, я готова.

Старик скорбяще пожевал губами, но не сказал больше ни слова и только повелительно кивнул строгой даме. Та медленно поднялась, поправила очки и походкой классной наставницы повела Томилину к ро-

---

додендрону. За кадкой оказалась небольшая дубовая дверца. Дверцу эту дама приоткрыла не полностью, а ровно настолько, чтобы Татьяна могла протиснуться боком, но перед тем, как вежливо подтолкнуть ее в образовавшееся отверстие, дама на мгновение попридержала Томилину за плечи и быстро прошептала, склонившись над ухом:

— Не бери в голову, шеф порожняк гонит, там все замазано...

Татьяна переступила порог и увидела нечто вроде зубокабинета. Посреди него в сверкающем всевозможными винтами и шарнирами кресле сидела немислимого вида безобразная старуха, подрагивая ножкой в бальной туфельке из-под доброго десятка цветастых цыганских юбок. Она подняла воробьиную головку и просипела из-под распушенного зонтика носа:

— Ну что ж, гражданочка, давай, пожалуй, начнем с ручки...

В это время к железным воротам подошла Елена. Ей было назначено в половине, она в половине и подошла. Могла, конечно, оказаться случайно раньше, и тогда был шанс встретиться с Томилиной. Или, что гораздо скорее, опоздать на часок-другой и тоже встретиться. Но такие это были ворота, что никто и никогда к ним не приходил раньше срока или с опозданием. И никто у них никогда ни с кем не встречался.

Тот же дворник проводил Елену пред очи той же компании с седобородым во главе, но вот разговор

---

поначалу был отнюдь не столь мирным. Особенно кипятился сорокалетний атлет, которому посетительница явно нравилась, и явно отнюдь совершенно не абстрактно нравилась, и это было заметно, а он, как раз наоборот, старался, чтобы заметно не было, и поэтому, видимо, кипятился еще больше:

— Это совершенное безобразие, что вы в последнее время устраиваете! Ну просто ни в какие рамки. Вам давали указания абсолютно конкретные относительно поведения и вообще, а вы поднимаете шум, привлекаете внимание, расспросы всякие, чуть не частное расследование какое-то затеяли. Вы что, не понимаете всей меры ответственности?!

Одним словом, спортсмен давил на психику недвусмысленно и явно больше надеялся на строгость тона и голосовые связки, чем на фактическую убедительность. Однако в данный момент уже чувствовалось, что с Еленой он не на того напал, и с каждым последующим моментом чувство это укреплялось и у него самого, и у прочих присутствующих тоже. А как только посетительница раскрыла рот, чувство это попросту переросло в уверенность. И вправду, не на того напали. А уж если у кого сомнения и оставались, то не много времени потребовалось Елене, чтобы их рассеять. Она быстренько объяснила высокому собранию, что зазя голову никому морочить не собирается и, конечно, обязательства свои помнит, но проделывать подобные процедуры со своей головой тоже не позволит, а насчет обязательств, то, насколько помнится,

---

они были взаимными. В последнее же время возникает впечатление, что кое-кто к своим прямым делам относится довольно халатно, если не сказать резко.

Одним словом, побазарили.

Но все это были малозначительные частности. Получалось, что в разговоре Елена взяла верх, однако никакие разговоры сами по себе ничего не меняли, Елене требовалось конкретное решение, а решение это зависело от компании за столом, и только от нее. Так что, когда перепалка закончилась, просительница так и осталась сидеть на своем стуле просительницей и прекрасно понимала, что никакого реального выигрыша не получилось, так, сладкая пилюлька для самолюбия. Наступила долгая пауза. Строгая дама достала таблетку валидола и с тяжелым вздохом засунула ее под язык. Тогда встал Седобородый:

— Елена Антоновна! Видимо, многое из того, что вы говорили, действительно, в какой-то мере не лишено справедливости. Но, тем не менее, у меня начало складываться впечатление, что вы все-таки не до конца понимаете свое положение. Конечно, с нашей стороны не обошлось без некоторых упущений, однако сейчас в срочном порядке принимаются меры для их устранения, и даже, может быть, в данный момент уже почти все исправлено. Но тут есть и другая сторона. Вы начали выступать с позиции человека, имеющего четко определенные права по договору и настаивающего на их неукоснительном соблюдении. На самом же деле, это, мягко говоря, не совсем так.

---

О чем вы прекрасно знаете. На вас лично никакие документы не оформлялись, вы всего лишь внесены в договор как один из пунктов, и хотя, конечно, это накладывает на нас некоторые обязательства, иначе с вами бы просто никто не разговаривал, но данный пункт внесен был отнюдь не по нашему требованию, на него мы всего-навсего дали согласие. Так что будем до конца откровенны. Нашей большой заинтересованности конкретно в вашей кандидатуре не имеется. Более того, если вас что-то уж совсем, категорически не устраивает, вы можете попросту отказаться, и никто ни в какой мере не будет этим расстроен. Правда, вы в курсе, какова процедура этого отказа, однако тут мы готовы сделать все возможное, чтобы максимально свести на нет негативные последствия. Но я почему-то уверен, что до этого не дойдет.

Елена встала:

— Ладно, считайте, что поставили на место. И все же помочь вы мне должны. Моей-то вины нет во всей этой неопределенности.

— Опять должны! Вам мы равным счетом ничего не должны. Однако помогаем. Я уже сказал, что многое сделано. Он в городе.

— Его нет в городе.

— Он в городе. Это подтверждено показаниями, и потом с ним встречались.

— Этого не может быть, здесь какая-то путаница.

— Все точно. Мы свое дело практически сделали. А уж остальное, извините, если не полностью, то

---

очень во многом в ваших руках. Действуйте. Мы вам тут не враги. Скажу более (хотя и не должен бы этого говорить): в данной ситуации наши симпатии полностью на вашей стороне. Вы сторонник стабильности, и этим все ваши действия не могут нам не импонировать. Добивайтесь своего, что в наших силах — пожалуйста, обращайтесь. Но давайте без взаимных претензий. Нечего нам с вами делить, Елена Антоновна.

Делить им, действительно, было нечего. И делать здесь ей стало тоже больше нечего. Вряд ли они врут. Хотя от этого ничуть не легче. Дождь на улице все так же мерзок. И откуда такси в такой дыре? И куда ехать теперь на такси?

## 15

Кузнецов к этому времени уже проснулся. Под утро он видел сон. Когда только чувствую намерение автора начать рассказывать сны своего героя, то мгновенно начинаю перелистывать страницы в поисках продолжения действия. А поскольку это сейчас кругом употребляется, мне приходится часто перелистывать, что раздражает. Читать можно только сны Раскольников и Веры Павловны. Но я все же рискну, и только потому, что сон очень коротенький, даже на страничку не хватит.

Снилось, что сидит за большим столом, где все едят и пьют. Он встает и говорит:

---

— Предлагаю устроить конкурс на лучшее исполнение песни. (Аплодисменты.) Победитель получит приз. Для этого давайте все скинемся по рублю. (Бурные аплодисменты.) Этот приз следует присудить тому, кто за весь вечер совсем ничего не спел. (Бурные продолжительные аплодисменты. Все кидают рубли в стоящую посреди стола вазу.) А теперь, поскольку я точно петь не буду, и от этого вам всем самая большая польза, то объявляю себя победителем и беру деньги. (Высыпает содержимое вазы себе в карман. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Пара минут сосредоточенной тишины. Затем мягкий голос из публики:

— А сколько же ты, сволочь, с нас возьмешь, чтобы мы тебя не только не слышали, но и не видели?

После этого Кузнецов проснулся. И сразу понял, что придется что-то наконец решать. Ждать дальше бессмысленно. Поскольку ход событий не контролируем и информация почти равна нулю, в любой момент может оказаться поздно. Конечно, лучше всего было бы спросить Ломова, но, поскольку в данный момент это нереально, придется совершать поступки практически вслепую. Итак, остается или послать все к черту и вернуть коробку, может быть, даже устроив крупный скандал (почему-то Кузнецов ни на секунду не усомнился, что проблемы, кому вернуть и кому устроить, не возникнет), или продолжить непонятные игры и рискнуть. Хотя чем, собственно, рискнуть? Даже это неизвестно.

---

Нужна хоть какая-то информация. Получить ее можно в трех местах — у полковника, почтальона и алкашей. Видимо, Семушкин обладает ею в наиболее полной мере, но с ним в открытую разговаривать пока нельзя. Почтальона Кузнецов уже пытался поприжать, но не очень-то получилось. Хотя, как вариант, он небезнадежен. Но наиболее реальной сейчас по всем признакам остается надежда на алкашей. Они в явной оппозиции и потому должны, с одной стороны, многое знать, а с другой — не быть слишком скромными в отношении своих знаний, особенно той их части, которая может оказаться неприятной основному составу. Ясно, что хорошо бы поскорее найти эту парочку кривляк, но не очень понятно как. Может быть, они и появятся к следующему перекуру у памятника Лермонтову, но это совсем не факт, да и ждать надо два дня, а такого времени нет. Значит, остается как-то спровоцировать их появление. Надо думать, на что они реагируют. То есть на что они уже среагировали, когда появились. Думать — это, конечно, хорошо, когда время есть или когда его хоть и мало, но точно известно сколько. А так очень нервирует.

## 16

Сейчас, когда я пишу обо всем этом, на дворе глубокая зима. Хорошая зима, со снегом, солнцем и небольшим морозом без ветра. Я лучше всего чувствую себя в такую погоду, особенно если дадут как

---

следует выспаться. А осенью было плохо. Паршивое, прямо скажем, складывалось настроение. И потому не особенно приятно мне все время вспоминать, какой постоянно шел дождь, но он шел, и все от него хандрили, и в разговорах он половину места занимал, и ноги мокли, и носы хлюпали. Впрочем, как раз Кузнецов ко всему этому относился спокойно. У него были отличные осенние сапоги, на подошвы и каблуки которых он только что набил дополнительные резинки, и еще имелся замечательный плащ, о каком я давно мечтаю, но мне никак не попадается, такой длинный двубортный плащ темно-синего цвета (хотя я на самом деле предпочел бы черный), сильно притален, с большим воротником, который можно поднять и закрыться им почти как зонтом. Этот английский плащ носил Кузнецов много лет и каждую осень чувствовал себя в нем очень уютно.

Признаюсь, что в ближайшее время мне предстоит приступить к роману, то есть в смысле описания романа между мужчиной и женщиной. Скажу более, в видах художественности, думаю, стоило прямо с этого романа и начать повествование, чтобы сразу же придать ему достаточный эмоциональный заряд, но у меня были чисто личные и совершенно необъективные причины этого не делать. И сейчас я всячески оттягиваю неприятный момент, но прекрасно понимаю, что без этого не обойтись. Было. Все это было, и никуда не денешься. Роман со всеми обычными атрибутами. Разве что, возможно, не все они

---

стояли на своих местах, то есть в последовательности имеет место некоторая путаница, однако мало причин считать это важным, да и я не возьму на себя ответственность представить какой-либо пример классической последовательности, тут в последнее время много новаций.

И все же, понимая неизбежность, дам себе некоторую отсрочку. Тем более что в какой-то степени она оправдана стремлением к четкости изложения. Ведь если следовать за ходом событий непосредственно, то роман начался уже при следующей встрече Кузнецова с Еленой, произошедшей в том же самом баре нового выставочного зала. Кузнецов направился в этот зал, надев, конечно, предварительно те самые сапоги и тот самый плащ, сразу же после небольшого раздумья над идеей провокации алкашей. После того как у него появилась некоторая мысль, и мысль эту он направился в выставочный зал реализовывать. А в это время туда приехала Елена на такси, которое она все же каким-то чудом поймала на Коровинском. И сразу же пошла в бар, хотела согреться. И грелась в этом баре до тех пор, пока Кузнецов занимался наверху своими делами. Когда же он все свои дела закончил, тоже спустился в бар и встретил Елену. С этого момента можно отсчитывать время развития любовного сюжета. Но я пока все это опущу, чтобы не прерываться лишний раз, а потом возвращусь и расскажу по возможности подробнее. Как с силами соберусь, так и расскажу.

Выставка именитых любителей продолжалась, и черно-белые картоны висели на месте. Подпись под ними была прежняя. И прежняя служительница ласковой мышкой пристроилась в углу зала за маленьким столиком:

— Нет, товарищ майор свою работу у нас уже закончил. А ваша фамилия, простите, не Ломов? Очень хорошо, вас как раз искали, если не затруднит, пройдите, пожалуйста, к старшему администратору, это вон там.

Администратор, изящный мальчик лет под сорок, был хмур от жизни и плохой работы желудка, но почтителен до боли. Он изложил, что поставлен майором Семушкиным в известность о случившейся досаднейшей неувязке, и от лица устроителей, и от лица администрации, и от своего лица... При этом, действительно, лицо у него было такое, что от страдания хотелось повеситься. Кузнецов поспешил заверить, что ровным счетом никаких претензий ни к кому не имеет, тем более увидев на столе уже приготовленные новые очень красивые таблички: «Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН СССР П. Н. Ломов». Единственное, что хотелось бы, заливался Кузнецов, пытаюсь елеем голоса хоть немножко вытянуть администратора из горестной бездны, — это связаться с товарищем Семушкиным, чтоб поблагодарить за внимание и вовремя

---

принятые меры. Тут администратор совсем скис, и Кузнецов окончательно понял всю бренность человеческого существования. Чуть уже не рыдая и из самых последних сил донес изящный трагик весть об отсутствии у него координат майора, их товарищ Ломов, если захочет, может, наверное, найти в ОБХСС, но, пожалуй, проще будет передать все желаемое через администрацию зала, Виссарион Кузьмич наверняка заглянет в самые ближайшие дни, Виссарион Кузьмич не такой человек, чтобы лично не поинтересоваться судьбой такого вопроса...

Вышел из кабинета Кузнецов с начинающейся мигренью. Даже во рту чуть пересохло. Я, кстати, упоминаю об этом совсем не с той целью, чтобы мотивировать пересохшим горлом последующее посещение Кузнецовым бара и все дальнейшие связанные с этим события. Должен сказать, что вообще не являюсь сторонником такого рода абсолютизации причинно-следственных связей, которая нынче получила столь широкое развитие. Ну, у Уоррена это еще оправдано общей идеей неизбежности перехода последствий зла на его инициаторов, идеей, может быть, и несколько спорной, но зато, несомненно, чрезвычайно важной из педагогических соображений. Когда же подобные вольные упражнения на тему раздавленных во тьме веков букашек сочиняются с целью придать бытию подобие управляемого потока, пусть даже управляемого совершенно нелогичной и мелкой случайностью, то все это говорит только о поверхностности и

---

недобросовестности автора, если не о злонамеренном упрощении во имя доступности. Кузнецов все равно пошел бы в бар, даже если и не пересохло бы у него во рту. И он пошел. А по дороге завернул в знакомый закуток и увидел: под картонами таблички с фамилией Семушкина уже заменены новыми, теми самыми, что лежали минуту назад на столе администратора. При этом Кузнецов мог поклясться — никто из кабинета не выходил, и опередить его на пути к картонам тоже не мог. Все это вместе взятое внезапно до крайности разозлило Кузнецова. Что, в общем, довольно естественно. Когда тебя пытаются обмануть хитро и тонко, старательно предусматривая твои ответные ходы и проницательно рассчитывая действия, то пусть ты и раскроешь обман, но не сможешь удержаться от чувства благодарности к противнику, изначально столь высоко оценившему твои умственные способности и строившему свои действия, исходя из этих оценок. Когда же нам лгут в лицо откровенно и нагло, даже не давая себе малейшего труда задуматься над правдоподобием лжи, то хочется ударить по голове уже не за саму ложь, а за полнейшее пренебрежение к тебе, как к законченному болвану, просто обязанному скушать любую нелепицу.

Шуточки с табличками окончательно дали понять Кузнецову, насколько с ним не стесняются. Правда, он пытался себя успокоить тем, что имеют в виду не его, Андрея Петровича Кузнецова, а совершенно другого человека, Павла Николаевича Ломова, но

---

чувство справедливости не давало ему обмануться столь нехитрой уловкой, так как вполне естественно подсказывало: уж если с самим Ломовым никаких церемоний, уж если с членом-корреспондентом подобная незатейливость, то что́ было бы по отношению к диспетчеру автобазы? И Андрей Петрович, окончательно разозлившись, пошел в бар, где встретил Елену. Но еще раз, даже рискуя показаться назойливым, подчеркиваю, что пошел он туда не потому, что разозлился, это была настолько же не причина, как и пересохшее до того горло. Он просто туда пошел, так как хотел пойти. И пошел. Для меня сие крайне принципиально.

## 18

Там он встретил Елену, и у них начался роман. Все это я пока, как договорились, опускаю вместе с последующими двумя днями и продолжаю излагать ход событий с того утра, когда Кузнецов снова направился по своему обычному маршруту в сторону Комсомольской площади и остановился покурить у памятника Лермонтову. Хотя предыдущим вечером произошел еще один эпизод, может быть, достойный читательского внимания. Я пока в этом не уверен, но раз уж взял изначальное обязательство не выступать судьей по вопросу значимости тех или иных событий, то, видимо, придется все же рассказать. Дело в том,

---

что Кузнецова совершенно неожиданно посетила женщина, о существовании которой он, правда, много раз слышал, но относился к этому существованию более как к чему-то мифическому, чем как к конкретной реальности. И тут весьма грубо ошибался.

Она хоть и пришла без предварительной договоренности, но отнюдь не по причине нахальства и беспардонности, а скорее потому, что такого рода договоренности, как, впрочем, и сами визиты к незнакомым людям, особенно мужчинам, настолько были вне практики и обычаев ее повседневной жизни, что мысль о них только чудом могла зародиться в ее голове. Однако, надо отдать посетительнице должное, она не вломила в дверь, оттесняя хозяина бюстом и одновременно со «здрасьте» выискивая взглядом крючок для своего плаща, а несколько минут, не переступая порога, топталась на лестничной клетке и, стеснительно извиняясь, просила у хозяина доказательств того, что ничуть ему не помешает, если совсем ненадолго оторвет от вечернего отдыха собственными глупостями.

Женщина лет тридцати пяти представилась как Варя Павшина, и Кузнецову стоило большого труда идентифицировать ее имя с Васиной невестой. Когда же это произошло, Андрей Петрович стал сама любовь, хотя было ему в тот момент настолько не до нее, что трудно передать. Однако об этом после. Пока же Кузнецов помог Варе скинуть мокрый плащ (дождь все эти дни продолжался, я дальше об этом

---

упоминать не буду, тем более что, в отличие от Райнова, он у меня не несет никакой смысловой нагрузки), усадил в кресло, долго уговаривал выпить чаю, но последнее, впрочем, бесполезно.

Варя, категорически отказавшись от чая, усевшись в кресле, как на высоком стуле с жесткой прямой спинкой, и аккуратно сложив руки на коленях, стала просить у Кузнецова совета. Я постараюсь тут минимально пользоваться прямой речью, так как она была слишком пересыпана всяческого рода извинениями, паузами, застенчивыми междометиями и прочими атрибутами речи человека, с одной стороны, ни к каким речам не привычного, а с другой — находящегося в крайне странной для себя обстановке да еще по довольно интимному поводу. Так что для удобочитаемости постараюсь, насколько возможно, передать все своими словами.

Она, Варя, много слышала об Андрее Петровиче. Причем называла его упорно Андреем Петровичем, хотя и была даже несколько старше, несмотря на неоднократные просьбы Кузнецова пользоваться просто именем, о чем он вообще просил людей крайне редко, и также ни за что не хотела сообщить своего отчества, когда Кузнецов решил хоть таким способом восстановить паритет. Она много слышала об Андрее Петровиче и от самого Васи, и от Васиных родителей и знает, что у Васи нет другого такого друга, хотя у Васи совсем больше нет никакого друга и нет больше человека, который пользовался бы в Васиных глазах

---

таким авторитетом. Поэтому только сюда Варя решила прийти за помощью, вернее даже не за помощью, а за советом, который ей сейчас дороже любой помощи.

Кузнецову стоило немалых усилий, пробившись, наконец, через основательные заторы Вариных огорок, выяснить, что столь долго ожидаемое и обговариваемое событие все-таки произошло. Вася сделал предложение. То есть произошло это так. Сегодня утром он забежал на работу к Варе, в министерство, где она принимала пальто, и, перегнувшись через стойку, пробурчал довольно невнятно, прошу, мол, пожалуйста, пожениться. И убежал. И вот Варя с того времени весь день сама не своя. С одной стороны, она этого давно ждала и даже очень хотела, и с Васиными родителями все давно обговорено и решено, но когда произошло, а она, честно говоря, думала уже, что так и не произойдет, что Вася так и не решится, то Варя все же несколько испугалась и теперь сама не знает, что ей делать.

Конечно, жизнь у Вари была не сахар, а если уж честно говорить, и собаке во дворе такой жизни не пожелаешь, сильно хуже собачьей она была. Даже сейчас, по сравнению с тем, рай, что ни говори, сама себе хозяйка, хоть и трудно. Старшая уже в девятом классе, младшая скоро в школу пойдет. Зарплата — сами понимаете, а подработать еще с двумя захребетниками сложно: они хоть и помогают, молодцы, грех жаловаться, но малы, много пока требуют к себе.

---

А Вася человек добрый. Хороший человек. С детьми играет. Она, конечно, понимает, что в материальном смысле помощник он не большой, но не в том дело, все вдвоем — не одной. Она ведь вдвоем и не была никогда, то, что было, — это хуже, чем одной, это сильно хуже, нехорошо так, верно, о покойнике, но одно только доброе дело в жизни сделал, что помер.

Она про Васю все понимает. И про болезнь его, и что детей от него нельзя, но у нее уже есть, а ему все равно ни от кого нельзя, так что это даже лучше, что у нее есть. Он ведь к детям тянется. Он и сам как ребенок еще. И это Варя понимает. И вот тут-то у нее основное сомнение. Она и старше, ненамного, но для женщины есть значение, и кругом получается, что она его вроде как за себя берет, тем более что и с родителями все загодя обговорено, да и, честно говоря, это они ее сначала нашли, а не Вася, а с Васей знакомили уж потом, когда все меж себя порешили. Одним словом, выходит, будто они все вместе Васю чуть не силком женят, а он, понятно, такой человек, что против быть не может. И хоть сам предложил, это ничего не значит, она-то понимает, тоже ведь не девочка.

Чем больше слушал ее Кузнецов, чем больше смотрел на подрагивающие, аккуратно сложенные ладошки, тем тоскливей и муторнее становилось у него на душе. Поздним осенним вечером сидит побитая и поломанная женщина в чужой квартире, перед чужим человеком, тащиться ей еще через весь город

---

домой, понятно, не на такси, а там дети, видно, на соседку оставлены, и она волнуется, но не уходит, сидит, ждет решения своей судьбы, и хочет она радости и счастья, хотя никогда даже перед самой собой не признается, что хочет так много, а будет лепетать избитое и унылое про «детям мужчина в доме нужен» и «вдвоем все не то, что одной». И такая тоска взяла от всего этого, что Кузнецов поступил нехорошо, он повысил голос:

— Думайте, сами думайте, — чуть не кричал он, натягивая на Варю плащ и практически выгоняя ее на улицу. — Думайте и решайте, и никто не поможет вам ни делом, ни советом, а кто что и будет говорить, так это вранье и глупость! И думать, и решать только вам, и вам только жить потом по этим решениям...

И когда она уже ушла, даже не обиженная ничуть — а как бы легче было ему, если бы она хоть обиделась, — Кузнецов долго еще автоматически повторял про себя эти пустые и вздорные слова «думать и решать, думать и решать», а потом заметил, что пальцы у него стали тоже чуть подрагивать, чего не было никогда, и немедленно лег спать.

## 19

Томилина тем вечером ужинала в «Берлине». «Берлин» — это единственный из центральных московских ресторанов, в котором я никогда не был.

---

Вообще-то, я в свое время частенько посещал рестораны, да и сейчас иногда, но вот с «Берлином» все как-то не везло. Прямо до смешного. Один раз даже поехали туда целевым назначением с приятелем и двумя девочками, у одной из которых родной брат там официантом работает. И то не попали из-за какой-то делегации. Пришлось перебираться ввиду позднего времени в «Арбат», последнее заведение, где за червонец всегда можно столик взять. По этой причине я не в состоянии подробно описать ужин Томилиной в «Берлине», а идти специально туда за антуражем мне именно в данный момент отсутствие финансов не позволяет. Однако не сомневаюсь, что ужин прошел на самом высоком уровне. У меня в юности был знакомый, который всегда рассказывал о своем посещении ресторана таким образом: «Сели в углу, подальше от эстрады, официанту велели больше никого не подсаживать, взяли сациви, естественно без косточек, и соуса побольше, помидоры и огурцы натуральные, чтоб не резали, но сметанку отдельно, если кто захочет. Маслины покрупнее, я люблю покрупнее, и лимончик тонко нарезать, только предварительно обварить кипятком и ни в коем случае не посыпать сахаром...» — ну и далее в том же духе надолго. В ресторане он всегда действительно делал заказ именно таким образом, и про соуса побольше, и про лимончик обварить, и его благосклонно выслушивали официанты, уважительно кивая и всячески показывая, что признают настоящего клиента, но,

---

впрочем, сациви все равно приносили с самым обычным количеством соуса, лимончик, понятно, никто и не думал обваривать, но это уже большого значения не имело, и всем было приятно. Единственным отрицательным последствием всего этого явилась у меня с той поры аллергия к подобного рода изложениям, настолько, что даже гениальное описание трапез в «Грибоедове» при первых чтениях старался пролистывать. Теперь, конечно, все это несколько смягчилось, и все же позволю себе так и остановиться на этой фразе: «Ужин прошел на самом высоком уровне», — остальные подробности оставляю воображению читателя.

Ужин был не простой. Торжественный был ужин. Даже с цветами, три огромные темно-бордовые розы получила в тот вечер Татьяна Томилина. И розы эти стояли на столе, когда отмечала она со своим спутником удачу. Великолепную, небывалую удачу, на которую, сейчас-то уже можно сказать правду, совершенно не рассчитывала. Но удача была, и было ледяное шампанское, до яростной радости перехватывающее горло, и эти цветы, и теперь она шла, опираясь на надежную, уверенную мужскую руку, и холодный влажный воздух был только приятен после жаркой духоты зала, и единственное, что несколько могло подпортить настроение, — это мысль о предстоящей ночи, но Татьяна всячески старалась, чтобы мысль эта не очень спешила со своим появлением.

Следующим утром Кузнецов появился у памятника Лермонтову вовремя, то есть за двадцать минут до отхода электрички, и, раскурив сигарету, стал оглядываться. Алкаши не заставили себя долго ждать, они тотчас вынырнули из-за кустов и, весело покачиваясь, направились к Андрею Петровичу. Выглядели они сегодня гораздо приличнее, чем в прошлый раз, один так вовсе тянул более на похмельного, чем на пьяного, и только большие сизоватые уши уж слишком торчали знаком предельного смятения души. Второй, что тогда изображал охоту за курями, часто сопел в довольно аккуратно подстриженные усики и смотрел на мир боязливо. Увидев парочку, Кузнецов подошел к скамейке и приглашающе кивнул. Те долго ломаться не стали и мгновенно уселись. Усатый, правда, сразу же сделал попытку изобразить соскальзывание на землю, но после укоризненного предложения Кузнецова прекратить балаган устроился довольно прочно и даже запах перегара несколько убрал. Свет до вполне приемлемых размеров. Кузнецов слегка подвинул Ушастого и устроился посередине; тот не обиделся, но начал довольно ехидно:

— Значит, таблички меняем? Ходим, значит, и авторские права свои отстаиваем? Чтобы, значит, никакой другой прохвост — нехороший человек не посмел себе урвать чего неположенного. А чего, правильно...

Кузнецов решил все же немного притормозить ехидину:

— Ладно, ближе к делу, а то у меня через двадцать минут электричка, еще дойти надо. Кстати, я вас, честно говоря, раньше ждал.

— А если ждал, так надо было и приходиться пораньше сюда, мы так тоже думали, что вчера придете, а то и позавчера...

— Ты чего лепишь, откуда ему знать про наш ареал? — внезапно встрял Усатый, и Ушастый потупился. Это вообще была единственная фраза Усатого за весь разговор, далее он участвовал в нем только взглядами, но взгляды эти достаточно четко приятелем воспринимались. Тот продолжал уже более миролюбиво.

— Что же касается времени, то тут вы, Андрей Петрович, можете быть совершенно спокойны и никуда не спешить. Сколько времени надо, столько и сделаем. — В подтверждение своих слов Ушастый приподнял манжету и зачем-то показал Кузнецову довольно массивные часы.

— Хорошо, хорошо, верю. Только давайте все-таки приступим к делу. Чего конкретно вы от меня хотите?

— А вот это очень неверная позиция. У нас к вам никакого особого дела нет, не говоря о том, чтобы мы от вас чего-то хотели. Совет и только совет! И этот совет мы вам в прошлый раз дали. А вы послушаться его не пожелали. И единственное, что мы можем

---

совершить, — это еще раз повторить. Не лезьте в историю. Выбросьте документы куда хотите, да вот, например, прямо в Язуз выбросьте, пока льдом не затянуло, и откреститесь ото всего. Хотя теперь, пожалуй, это уже потруднее сделать будет. Но пока можно.

— Ну, насчет вашей полной незаинтересованности тоже не надо. Слишком уж хорошо информированы для беспристрастных советчиков. Вы явно против моей кандидатуры. Только одного не понимаю: зачем давить на меня? Куда проще стукнуть кому следует про мое самозванство — и я автоматически выхожу из игры. Что мудрить-то?

— Вы, товарищ Кузнецов, все-таки совершенно не улавливаете нашей идеи...

— Кстати, а вот почтальон говорит, что никаких идей у вас нет, одно только фиглярство и хулиганская тяга к беспорядку.

— Это Гундосый, что ли? Ну так вы его больше слушайте. Гундосый — существо крайне нечистоплотное и законченный конформист. Сам уже пал дальше некуда, конечно, ему обидно, если кто устоит. В книжке расписываться давал?

— Давал, давал. Только книжка тут ни при чем.

— Очень даже при чем. И про то, что терять здесь нечего, говорил, небось?

— Он много чего говорил, бог с ним. Почему все же ваша идея мешает меня заложить хоть тому же Семушкину?

---

— Главная ваша ошибка, Андрей Петрович, в том, что мы совершенно не против конкретно вашей, как вы выразились, кандидатуры. Мы не то чтобы считаем, что лично вам там делать нечего, там никому делать нечего. Это ни для одной из сторон не только не решение вопроса, но, наоборот, сплошной распадник гнусности. Выяснится, что Ломов вам документы передал, и к Ломову от вас цепочка потянется, а тут он и сам ненароком объявиться может, решит, что шум утих, и появится, не век же ему в этом Уэле не сидеть, не курорт все-таки. Мы же советуем все концы обрубить. Шкатулку выбросить и смыться на время.

— Так ведь найти могут.

— Без шкатулки не найдут. Пока еще не найдут. Вы еще не до конца зафиксированы. Но скоро поздно будет.

— А почему мне знать, что вы просто-таки борцы за чистую идею, а не преследуете какие-то свои корыстные интересы? С чего мне верить вам, а не, скажем, тому же почтальону? Он не менее убедительно излагает.

— Ну и не верьте, — сильно обиделся Ушастый, даже покраснел, — ну и не верьте, пожалуйста, идите целуйтесь со своим Гундосым, раз он вам так нравится. Только потом к нам больше не ходите, мы, знаете, тоже...

— Погодите, уважаемый, я ведь не в этом смысле. Просто сами подумайте, вы хотите, чтобы я со-

---

вершил выбор, а сами мне для этого не даете никакой возможности, более того, мешаєте.

— Как это мешаем, что вы говорите, наоборот, все время твердим вам одно и то же...

— Вот именно, твердите одно и то же. Чтобы я поступал, как вы считаете нужным. А какой же тут выбор? Это, извините, не выбор, а послушание воспитательнице в детском саду. Мне для выбора информация нужна. Между чем и чем выбирать. Ну, одну сторону я, предположим, знаю. Почтальон может считать, что ценности она не имеет, я на этот счет способен иметь свое мнение, но это все лирика, главное — знаю. А вот другая сторона? От чего я должен отказываться или, наоборот, за что бороться? Ведь вы же совсем меня в идиотское положение ставите.

— Глупость все это величайшая, Андрей Петрович, глупость и чушь. Нечего вам знать, ну ровным счетом нечего. Дурное и соблазнительное это знание. И опасное уже тем, что его-то вам так просто не простят, тогда, действительно, со дна моря достать постараются; что, тоже в Уэлен сбегать захотелось? А потом, подумайте сами: ну неужели Ломов настолько вас глупее, чтобы от стоящего дела отказываться? Он же вон как круто повернул, наверное, не просто так, хоть и рискует он гораздо больше, чем пока вы. Пока.

— Насчет Ломова, это, знаете ли, для меня совсем не аргумент. Он, может, и умнее меня в сто раз, только мы с ним давно уже разными путями пошли,

---

так что его решения — это его решения, и потом, он знал, что делал, а я, выходит, вынужден верить вам на слово. Обидная роль.

— Ах, так в вас еще самолюбие заиграло? Чувство собственного достоинства? А они вам не подсказывают такую простенькую вещь, что чужое присваивать некрасиво? Мама с этой доктриной в детстве не познакомила? А если бы вам по ошибке чужие наградные документы оформили, вы тот орден тоже нацепили или долго бы взвешивали за и против?

— Вот это вы как раз совсем зря. Чужое, от которого хозяин с такой скоростью и так далеко бегаёт, оно уже, знаете, не такое и чужое. И про орден — полная чепуха, мне чужой орден не нужен. От чужих подвигов и славы отказаться могу вполне. Но там я знаю, от чего отказываюсь. А тут...

— Опять вы за свое. Так мы, пожалуй, не договоримся.

— Пожалуй. Другого от вас ждал. Мне не эмоции нужны, а факты.

— Ну и глупо.

— Ладно, умники, будьте здоровы.

— Мы-то будем. А вот вы вообще-то зря себя так уж на коне чувствуете. Положение ваше шатко, ой как шатко, один из ста, что удастся проскочить, а вы уже бог знает что себе вообразили! Нарветесь, еще как нарваться можете, Кузнецов.

— Это уж самое последнее дело — пугать-то. Один там из ста или девяносто девять, а решать все

---

равно мне. И кстати, алкаши у нас, обычно, не носят золотой «Ланжин». Стесняются.

Кузнецов понимал, что последнее его замечание было мелким и не совсем достойным укольчиком, и хоть успокаивал себя тем, что ребятки тоже не очень церемонились, но все же остался недоволен собой и ругал за прорвавшийся щенячий гонор. А алкаши переглянулись, и Ушастый, стаскивая массивный браслет, обиженно пробурчал:

— Ну вот, «Ланжин» ему не понравился...

На что Усатый наставительно ответил, отбирая часы и украдкой засовывая их в урну:

— Это все твоя самодеятельность, говорил, надешь тот «Патек», гораздо солидней смотрятся, а ты все: «Ланжин, Ланжин...»

К электричке Кузнецов подошел даже чуть раньше обычного, тут приятели не надули, беседа окончилась во столько, во сколько началась. Ноги сами автоматически остановились у привычного третьего вагона, но Андрей Петрович вдруг усмехнулся чему-то и направился вперед. В самом первом тамбуре стояла та самая девчонка. Кузнецов изумился, что не обратил в прошлый раз внимания, какая она рыжая. Поехали. И так же, как в прошлый раз, на следующей остановке вошел парень в бушлате. И так же простояли они молча минут семь до крохотного разъезда, название которого Кузнецов никак не мог запомнить. И парень соскочил, поцеловав девчонку в щеку, взмахнув на прощание рукой. Девчонка кивну-

---

ла: «До завтра!» И так же сошла она вместе с Кузнецовым, и так же мгновенно растворилась в толпе. Начинался рабочий день.

А теперь, поскольку в ближайшие сутки в жизни Кузнецова ничего интересного, то есть я вру, конечно, интересного выше крыши, просто ничего имеющего отношение к занимающей меня истории произойти не может, то придется все-таки вернуться назад и исполнить не очень приятный долг по описанию завязки романа Андрея Петровича и Елены Антоновны.

Только что пришло в голову, что я ведь отступаю от своих принципов! Декларировал, декларировал, а как до дела дошло, так совершенно спокойно отметаю целые куски жизни. Я-то, конечно, считаю, что значения они не имеют, но мне ли судить? При том что как раз не судить-то и брал обязательство? Ну да ладно, противоречие разрешу как-нибудь потом. А сейчас, раз уж решился, нечего оттягивать. К делу.

## 21

Здесь, прежде чем продолжать Хронику, мне придется уточнить кое-какие факты. Правда, читатель может заметить, что я несколько запоздал с этими уточнениями. Соглашусь, но постараюсь объяснить причину. Из заявленного в самом начале финансово-социального статуса главного героя следует, что основным, официальным доходом Андрея

---

Петровича является зарплата диспетчера автобазы, которая, при самом лучшем раскладе, не превышает 180 рублей или, с учетом подоходного и бездетности, 148 чистыми. Да, я еще мельком упомянул о двух других синекурах, но народ нынче тертый и прекрасно понимает, что, если Кузнецов в каком-то смешном заведении числился на копеечной липовой должности, ничего не делая, то причины тому не афишируемые, но отнюдь не финансовые; и вахтерские, и секретарские деньги, естественно, отдавались тем, кто реально эту работу выполнял. Таким образом, остаются все те же неполные полторы сотни.

Признаюсь, я старался минимально заострять внимание на бытовой стороне жизни Андрея Петровича. Такие на самом деле далеко не мелочи, как обстановка квартиры героя, не говоря уже о самом способе получения этой квартиры, материальные взаимоотношения с родителями, содержимое холодильника (вместе с маркой холодильника), регионы и условия обычного летнего отдыха — все это не развернуто широким полотном, вопреки, возможно, ожиданиям некоторых особо любопытных. Но, по немногим уже промелькнувшим и еще собирающимся мелькать штрихам, внимательный наблюдатель мог или наверняка сможет заметить, что образ жизни Кузнецова вряд ли соответствует стосорокавосемьрублевой зарплате. Дабы уничтожить всякие сомнения, я сразу же предельно кратко добавлю по пропущенным пунктам.

---

Да, квартиру свою отдельную однокомнатную между Петровкой и Неглинкой Кузнецов получил при помощи очень значительного денежного стимулирования всех участвовавших в процессе сторон, оставлена квартира была достаточно строго, но удобно и недешево, родительской помощью Андрей Петрович не пользовался с ранней юности, а уже давно помогал им сам, в холодильнике фирмы «Розенлев» продукты обычно имелись достаточно высокого качества и в необходимом количестве, а отдыхать Кузнецов, если хотел того, ездил в Ялту или Юрмалу и не снимал там койку по два рубля.

Почему же, спросит читатель, автор изначально не раскрыл публично основного источника доходов главного героя? Тут я мог бы просто и с достаточной степенью пренебрежения промолчать. Среди хоть как-то воспитанных людей подобные вопросы выходят за рамки элементарных приличий, если вы, конечно, не из конторы. Но я отвечаю, так как в данный момент имею больше причин для откровенности, чем для скрытности. В самом начале Хроники я несколько приглушил звучание финансовой темы исключительно из-за психологической травмы, полученной нашим народом за последнее столетие. Травма эта привела к тому, что любой, зарабатывающий много, вызывает автоматическую подозрительность и неприязнь, а мне, естественно, не хотелось, чтобы читатель отнесся к моему герою с предубеждением, которое лишает взгляд объективности. Потому я отложил объяснения

---

до того момента, пока Андрей Петрович не приобретет в глазах публики хоть какой-то реальности, а реальности уже проще бороться с предубеждениями, чем абстракции. Но и медлить мне более не имеет смысла. И потому что не позволяют обязанности составителя Хроники, и потому что — крайне важная причина — исчезли обстоятельства, привносящие в разговор о финансовой стороне деятельности Кузнецова оттенок некорректности (если не сказать хуже) по отношению к нему самому или к людям, так или иначе с этой деятельностью связанным.

Основной источник доходов Андрея Петровича происходил из мест, связанных с реставрацией и коллекционированием икон. Чтобы уже сразу расставить все акценты и предупредить возможные кривотолки, тут же и уточню: да, Кузнецов был вполне обеспеченным человеком, и нет, он никогда не вступал ни в какие противоречия с законом. Хотя и то, и другое в нашем крепко ударенном обществе требует некоторых пояснений.

Один небольшой пример. В начале семидесятых меня вместе с только что вышедшим тогда после очередной отсидки Витей Бабкиным арестовали в до боли глухой деревне под Вышним Волочком. То есть это было, конечно, задержание, а не арест, и вообще манна небесная на наши головы. Мы скупили тогда у стариков и старушек по тройку или по пятерке штук шесть огромных самоваров и две прялки, загрузили все в неподъемные мешки и стояли с ними у околицы,

---

ожидавая хоть какого-то попутного транспорта в сторону цивилизации. Был поздний осенний вечер, начинался дождь, ночью ожидалась заморозка на почве, и предельно быстро нам стало ясно, что не только попутного, не только в нужную нам сторону, но вообще никакого и никуда транспорта в этой точке планеты в ближайшие много часов не обнаружится. А стучаться к кому-нибудь и проситься на постой в такое время в этих местах — все равно, что пытаться по дороге заскочить в английское посольство помочиться.

И вот стоим мы, предвкушая всю мерзопакостность предстоящего, как вдруг, откуда ни возьмись (действительно, прямо как в сказке), появляется перед нами слепящий фарами «газик», два товарища в форме помещают нас за дверь с сеткой-решеткой, и через час с небольшим мы — в городском отделении милиции самого Вышнего Волочка. Нашим ангелом-спасителем от ночных заморозков оказался какой-то чрезвычайно бдительный дедушка, который умудрился дозвониться по двадцать лет уже не работавшему телефону из сельпо до города и сообщить о двух явных фарцовщиках. Что такое фарцовщики, не только темный дедушка толком не знал, но и сами забравшие нас милиционеры имели о том весьма смутное представление. Но контекст имелся: иконы, самовары, скупка, иностранцы, спекуляция, валюта, контрабанда, измена родине... Потому так резво «газик» и прислали.

---

Несмотря на столь позднее время, появился если не сам начальник, то его заместитель, во всяком случае, достаточно высокий для горотдела чин. Давайте, говорит, во всех подробностях о своих преступлениях. Каких, спрашиваем, преступлениях, вот самоваров накупили, домой везем. Вот про это, говорит, преступление и рассказывайте, знаете, сколько такой самовар в Москве в комиссионке стоит, а вы почему купули? Знаем, отвечаем, что по сорок-пятьдесят на Арбате, а мы по трешке-пятерке брали. Но, во-первых, чтобы его за сорок-пятьдесят поставили, надо его еще до Москвы довести, краник припаять, дырку залудить, бак выправить, потом очистить от вековой грязи и только потом пытаться продать. Во-вторых, мы пока вообще никому ничего не продавали. А в-третьих, что самое главное, вся эта чушь к делу никакого отношения вовсе не имеет, пусть этот самовар хоть сто тысяч стоит. Вот у вас (это мы к милиционеру начальнику обращаемся), например, есть дома шкаф. И вы продаете его соседу за червонец. Кого при этом интересует, где он и сколько стоит, если и вас, и соседа этот червонец устроил? Милиционер даже не задумался ни на миг, все это, говорит, чепуха, одно дело мой шкаф и мой сосед, а совсем другое — вы с этими самоварами, потому как мой сосед приличнейший человек, а вы явные фарцовщики. Правда, в конце концов, после получения от нас письменных объяснений, долгих переговоров с кем-то по телефону и мучительных размышлений, на-

---

чальник, к ужасу своему и полному недоумению, выяснил, что никаким образом никаких законов мы не нарушили, и нас даже на том же «газике» до вокзала довели. Но сам уровень правового сознания не просто обычного человека, но даже милиционера здесь весь как в капле воды. И я могу поклясться чем угодно, что совершенно ничего не придумал и не преувеличил в этой истории. Более того, даже относительно себя самого могу подобных историй рассказать еще с десяток. И каждый раз один и тот же идиотский разговор из репертуара театра абсурда: «Где взял (икону, магнитофон, Библию, собрание сочинений Пушкина, один раз даже электродрель)?» — «Купил». — «Так ведь нельзя». — «Можно». — «Нет, нельзя». — «Нет, можно». Как-то раз этот бред с «можно-нельзя» продолжался около полугода, прежде чем следователь четвертого управления милиции по охране метро (где-то в районе Волгоградского проспекта) удосужился мне вернуть мои собственные вещи, самым нахальным образом отнятые нарядом на станции «Пушкинская».

Однако я был бы неискренен, если бы всему этому только изумлялся, и нечестен, если бы пытался все свалить исключительно на милицию. Дело в том, что реально советское законодательство совместно с правовой практикой, изуродованным общественным сознанием и идеологической нелепицей создали столь сложный феномен, да еще обозвали его совсем не имеющим к нему отношения словом «спекуляция»,

---

что обижаться на кого-то в данной ситуации, а тем более требовать осмысленных логичных действий вовсе не имеет смысла. Закон требует ответственности за «скупку и перепродажу с целью наживы». Вроде как скупать можно, перепродавать тоже, но без цели. Выходит, подсудны не конкретные действия, а такая достаточно нематериальная штука, как цель. Но, поскольку доказывать вещи нематериальные достаточно сложно, за это обычно никто и не берется, а сводят все к примитивным фактам: купил за рубль, продал за два — значит, спекулянт. И вот в этом месте наши замороженные абстракции начинают вступать в трагическое противоречие с объективной реальностью (иногда данной нам в ощущениях). Я не стану тут заниматься никакими теоретическими финансово-экономическими изысканиями, они слишком примитивны, не стану приводить никаких примеров из жизни, они слишком общеизвестны, думаю, никто не станет мне возражать, что нынче никто не продаст вещь за пятерку, если она стоит червонец, вне всякой зависимости от того, сколько за нее было на самом деле заплачено. А торгуют у нас теперь все и всем. Но все дружно ненавидят спекулянтов.

Ладно, на эту тему можно написать не одну многотомную монографию (и наверняка они еще будут написаны), я же хочу более приблизиться к интересующей нас теме — спекуляции и коллекционированию. Но, чтобы говорить квалифицированно об иконах и антиквариате, у меня недостаточно опыта,

---

метод Хейли тут не подходит, а выглядеть дилетантом нет желания, потому я в виде компромисса очень коротко расскажу о делах книжных.

Бог знает когда это было, чуть ли еще не на первом курсе института, решили мы с Сережкой собрать по небольшой библиотеке. Стипендию тогда платили двадцать восемь рублей, а томик Мандельштама из «Библиотеки поэта» стоил до семидесяти, потому, естественно, рассчитывать ни на что особое мы не могли. Книжная толкучка собиралась в те времена у Ивана Федорова, гоняли не очень, взяли мы по паре червонцев, по какой-то книжке из дома наугад (говорят, можно не только покупать, но и меняться) и отправились в вольное плавание. После первого же базарного дня мы, совершенно огуленные уровнем цен, могуществом местных воротил и собственной финансовой ничтожностью, составили себе каждый по списку — что хотелось бы при самом удачном ходе дела иметь из книг к концу года. Как сейчас помню, списки были почти одинаковые, в каждом пунктов по десять: собрания сочинений Шекспира, Достоевского, Толстого, Чехова, томик Ахматовой, еще какие-то мелочи и — уже почти фантастическая мечта — хорошо бы, в конце концов, удалось наскрести на Булгакова.

Мы потом не раз с улыбкой вспоминали те списки. Потому что через этот самый отмеренный нами год Сергей непринужденно тасовал девяностотомники Толстого со словарями Брокгауза, а меня уже перестал устраивать сытинский Мережковский, и я

---

начал подбирать вольфовского, но только в родных, синих с золотом переплетах, а коричневый Булгаков (так называли первый и тогда единственный однотомник с «Мастером и Маргаритой»), наша еще недавно далекая мечта, проходил только иногда как мелкая «домазка» при серьезных обменах. И это не следствие каких-то наших особых способностей или необыкновенных возможностей. Практически такая же судьба ждала почти каждого, кто плотно входил в жизнь книжного рынка и становился там своим человеком. В условиях постоянно плавающих и нигде не фиксированных цен, многообразия вкусов, интересов, запросов и потребностей естественное и бесспорное преимущество оказывается у человека, постоянно плавающего в потоке, перед тем, кто изредка решает закинуть туда удочку. Пришел, к примеру, человек с «Тарасом Бульбой» под мышкой и робко спрашивает, нельзя ли ему за это какую-нибудь книжку Даррелла получить, дочка очень просила. Я ему тут же, не раздумывая, «Зоопарк» вместе с «Колобусом», и он идет домой, ошалевший от счастья, что нашел такого идиота. И не знает, и не узнает никогда, и не требуется ему вовсе такое знание, что за этого Тараса Лева Памятник, повизгивая от счастья, отдаст мне четыре тома сирийского Сологуба. Тут бесполезно даже еще какие-то примеры приводить, все равно как обучать биржевика на Уолл-стрит по самоучителю. Но результат прост и верен — убытка книжный рынок своим обитателям не приносил.

---

---

Но все мною сказанное относится к собирательству предметов, в достаточной степени стандартизированных и многотиражных, большинство из которых имеет хоть какую-то, но номинальную стоимость. Когда же дело начинает касаться антикварной мебели, картин, фарфора, икон, старинного серебра и прочих нежных вещей, то тут и вовсе рамки размываются чуть не беспредельно, а материальные средства, наоборот, предельно концентрируются. И не совсем понятно, что причина, а что следствие. Конечно, бедный человек не может коллекционировать фарфор, но и само по себе коллекционирование фарфора делает человека небедным. Почти любого. Я тут постоянно употребляю это «почти», потому что, конечно, есть такие уникальные типы, которые, хоть бей их головой об стену, так до конца жизни и не научатся отличать Сазикова от Овчинникова, а Мартини-Пибоди будут считать видом алкогольного напитка. Но памятьливость и сообразительность большинства все же позволяет, пусть не в самый короткий срок, но, в конце концов научиться не путать «голубые мечи» с Гарднером, а клинья с паркетированием. Чаще всего этого вполне хватает, чтобы мгновенно не сесть в лужу. Ну, а уже в более сложных случаях требуется совет эксперта, или, если мягче и нейтральней, консультанта, специалиста. Среднему коллекционеру достаточно иметь столько знаний и опыта, чтобы хватило для понимания: в данном случае лучше проконсультроваться у специалиста.

---

---

Естественно, я не буду совсем валять дурака и утверждать, что во всех этих делах так уж все беспредельно чисто. Имеется, имеется, и не так редко, достаточное количество скользковатого и темноватого, а то и самой элементарной уголовщины. Даже на книжном рынке и партии ворованной со складов и из типографий литературы всплывали, и поддельные корешки от подписок ходили, и редкие издания с выведенными библиотечными штампами появлялись, а уж что касается икон, то тут и ограбления церквей, и связанные старушки с кляпом во рту, и доски в дипломатической почте — все это отнюдь не только выдумка компетентных органов. Однако, как показала практика, без уголовщины в нашем мире вообще нигде не обходится — от правительства Соединенных Штатов до Политбюро ЦК КПСС. Так что это уже личное дело каждого, в каком месте и как себя вести. Никто не боится, но никто и не заставляет.

Впрочем, достаточно ходить вокруг да около. Вернемся к Андрею Петровичу. Сам он настоящим коллекционером не был. Несколько приличных досок имел, в принципе, не против был бы при случае приобрести еще что-то, если понравится, но отсутствовал в нем дух собирательства, та хотя бы нотка маниакальности, без которой невозможен истинный коллекционер. Еще в училище Кузнецов прошел специальный курс по реставрации древнерусской живописи, на официальную практику ездил в Кириллов, потом уже, несколько увлекшись, еще пару раз находил себе летом работу в

---

других северных монастырях, но так бы все это и закончилось на полупрофессиональном уровне, если бы еще на четвертом курсе Федя Бадмаев, к этому времени в максимально возможной степени освоивший практическую составляющую окружающей действительности, не познакомил Андрея с Виктором Сазоновым.

Вот Виктор Николаевич — тот был настоящим коллекционером. Уже тогда, всего на пять-шесть лет старше Кузнецова, а казалось, совсем из другого поколения. Ничего не то что юношеского не сохранилось в лице или в манерах Сазонова, а даже необыкновенно странным было бы и представить себе Сазонова юношей; в натуре этой давным-давно, если не изначально, все прочно встало на свои места и утвердилось окончательно, без малейшей надежды на перемены или потребности в них. Жизнь Виктор Николаевич вел крайне затворническую, в общественных местах от пивной до ресторана и от выставки на Грузинской до французской оперы никогда не появлялся, во всяком случае, ни я, ни кто-либо из моих знакомых его там не встречали, в сердечных делах замечен Сазонов не был, самые злые сплетники ему тут ничего приписать не могли; даже самых дальних родственников или хотя бы друзей детства будто не имел, словно единожды прямо вот в таком готовом виде был откудато пересажен в свою роскошную трехкомнатную квартиру неподалеку от Кузнецова, нужно только дойти до Трубной и там подняться вверх до одного из переулков направо.

---

Можно было бы назвать Сазонова затворником, но как раз это слово менее всего к нему подходило, так как могло относиться лишь к личной жизни (вернее, к тому, что мы таким образом определяем обычно) Виктора Николаевича. В мире же коллекционерском Сазонов был фигурой чрезвычайно активной, с огромными связями, колоссальными возможностями и непререкаемым авторитетом. И в этом мире безошибочно он умел выбрать себе деловых партнеров. Их, людей, настолько близких, насколько вообще можно было быть близким Сазонову, существовало очень немного, но все они были профессионалами достаточно высокого класса и, что самое важное, людьми предельно надежными. Так, встретив Кузнецова во время одного из вояжей по северным богомольным местам и мельком взглянув на его работу по расчистке ликов, Сазонов тут же предложил Андрею Петровичу созвониться в Москве и там сразу поручил довольно кропотливую, но весьма денежную (а уж по тем-то временам!) работу.

Годы и годы прошли с тех пор, но ни разу не пожалел Сазонов о сделанном тогда выборе. Кузнецов приобрел солидный опыт, многому научился, в том числе и у самого Сазанова, и стал для весьма широкого круга людей не только одним из лучших реставраторов (тут замечу, чтобы уже больше не возвращаться к технологическим тонкостям, что Андрей Петрович никогда ничего не дописывал и не восстанавливал, на это, если требовалось, имелись другие специалисты, а только расчищал, закреплял и только, при особой

---

надобности, иногда тонировал), но и тем самым специалистом, консультантом, о необходимости и роли которых я уже упоминал. Круг был действительно довольно широким, но сам Кузнецов внутрь него как бы не входил, общался практически только с одним Сазоновым и лишь крайне редко, в случаях исключительных, встречался напрямую с кем-то из продавцов, покупателей или партнеров Виктора Николаевича, но только по прямой просьбе и под гарантию последнего. Кузнецову изначально было поставлено условие — никакой самодеятельностью не заниматься. И Кузнецов условие это всегда выполнял беспрекословно и никогда не имел даже мысли соблазниться каким-либо сладким вариантом. А они подворачивались, и, должен признаться, не так уж редко и порой сладкие весьма. Но тут Сазонов мог быть в Кузнецове уверен, и он был совершенно уверен.

Однако и Виктор Николаевич имел перед Андреем Петровичем, кроме финансовых, еще некоторые обязательства, из которых главное — обо всех досках, которые попадают через Сазонова к Кузнецову, не важно, с какой целью, хоть на пять минут для консультации, Сазонов должен был точно знать, что в их истории нет никакой темноты. То есть не просто думать, а именно знать, где взята, у кого куплена, или кем подарена, или на что выменяна, и никаких малейших сомнений.

Для многих могло бы показаться странным это условие (впрочем, никто о нем, естественно, не знал, так что я тут употребляю чисто риторическую фигу-

---

ру), так как никаких оснований для сомнений в своей аккуратности, осторожности и даже честности, если бы такое простое слово было употребимо по отношению к Сазонову, Виктор Николаевич никогда не давал. И если бы спросили когда Кузнецова, полностью ли доверяет он Сазонову, то Кузнецов, несомненно, только лишь кивнул бы утвердительно головой безо всяких уточнений и комментариев. Да и нелепо было бы подозревать за Виктором Николаевичем способность к чему-то, хоть отдаленно связанному с риском. Сазонов даже курить не рисковал, о спиртном уже не говорю, о женщинах упомянуто, да и внешний вид Сазонова... Говорили, что у него нет ни одного костюма (наступил момент, когда выяснилось, что один все-таки был), а по дому своему, среди предметов, многие из которых оказали бы честь лучшим музеям мира, хозяин передвигался исключительно в застиранной ковбойке и тренировочных штанах по рубль сорок (продавались в свое время такие), до беспредельности вытянутых на коленях.

И все же. Было. Было что-то, что Кузнецов никогда и не пытался формулировать, а попытался бы — так не смог. Какой-то серо-стальной отблеск, очень редко и на кратчайший миг мелькавший в глубине тусклых сазоновских глаз. И можно долго смеяться, но именно эта нематериальная чепуха заставила Андрея Петровича поставить Виктору Николаевичу такое, на первый взгляд, странное условие, и не просто поставить, а заявить, что в случае его невыполнения

---

сам Кузнецов снимает с себя всяческие обязательства относительно скромности и лояльности. Впрочем, все это чистая теория и с моей стороны лишь попытка внести какие-то дополнительные штрихи в портреты действующих лиц, а на практике отношения Кузнецова с Сазоновым никогда не омрачались и тенью взаимного недоверия, и так же ни разу уже достаточно давно не испытывал Андрей Петрович хоть скольконибудь серьезных финансовых затруднений.

Ну вот, теперь уже и в самом деле использовал я все возможные отговорки, тянул, сколько мог, держался до последнего, но деваться некуда. Придется приступать к описанию романа. Как бы так себе убедительней доказать, что иного выхода у меня нет? Ладно, все. Внимание: сейчас будет про любовь.

## 22

Когда Кузнецов вошел в бар после беседы с администратором, там неожиданно было довольно много народу, поэтому он не сразу заметил сидящую в углу Елену. Тетка за стойкой узнала Кузнецова, хоть видела его до того пару раз, и мельком, как старому знакомому по большому благу, плеснула чистые пятьдесят граммов, не укомплектовывая никакой маринованной гадостью, и Кузнецов их сразу выпил. А только потом, взяв еще столько же плюс два стакана виноградного сока, увидел, что за столиком

---

сидит Елена, и не просто сидит, а делает Кузнецову приглашающие знаки, показывая на свободное место рядом, забронированное ее изящной сумочкой. Андрей Петрович зажал покрепче свои стаканы и плавно заскользил по паркету к столику.

Они поздоровались и стали трепаться. То есть сначала Кузнецов увидел, что Елена пьет только кофе, и предложил чего-нибудь покрепче. Елена без уговоров согласилась на коньяк, и пришлось еще раз совершить рейс к стойке. А после этого они стали трепаться. Начало довольно пустенького разговора я, честно говоря, хорошо не помню, что-то про общих знакомых, так только, чтобы молча не сидеть, а какие там общие знакомые? — Борю Кузнецов бог знает сколько времени не видел, да и не интересовался, но тему поддержал. Довольно скоро, однако, выпили еще по одной и про Борю забыли. Елена находилась в каком-то не очень понятном Кузнецову настроении, с одной стороны, крайне доброжелательна и мила, правда, без тени кокетства, шла на общение с нескрываемой симпатией и уважением к собеседнику, но что-то в мимике ее, в интонировке фразы сильно настораживало и заставляло держаться если не скованно, то в некотором напряжении. Трудно было расслабиться Кузнецову в этой беседе. А ведь говорила Елена вещи-то все довольно банальные:

— Смешная какая-то выставка. Ну, скажите, зачем им еще и живопись? Думаете, действительно такая тяга к искусству? Не могут не писать? А мне

---

кажется, здесь гораздо больше глуповатого тщеславия. Или еще другое. У многих почему-то стремление именно к чужому делу, зависть какая-то, что ли. Я знала одного человека, очень приличный биолог, звания, работы. К тому же прекрасный спортсмен, мастер спорта. На скрипке блестяще играет, в свое время на профессиональную сцену приглашали. Марки собирает, знаток, в международных выставках участвует. Единственное, чего не умел категорически, — так это пить. От двух рюмок становился буквально полным идиотом, да еще и буйным. До третьей доходил редко. Небольшой вроде бы недостаток, скорее достоинство, что пить человек не может, да и противно ему самому было, не любил он спиртного, и среди окружающих как-то на этом внимание не заострялось. Так вот, единственное, чем биолог хвастался в компаниях, — сколько он может выпить и какой он тут крупный специалист. В своем деле скромник и умница, а вот чужие лавры покоя не давали, на умеющих пить смотрел с тоскливой завистью.

— Зачем же, Лена, пытаться все расчленить до предела? Может, и тщеславие. И тяга к чужому делу. И при этом, действительно, не писать не могут. И биолог ваш не такая уж загадочная личность. Когда человеку ничего не дано, так у него и поползновений не много, а когда много дано, хочется еще больше. А ругать за тщеславие так же смешно, как за форму носа.

— Чего больше хочется, водки? И потом, форму носа не кроешь...

---

— Да при чем тут водка. И зачем скрывать чувства, они ведь сами по себе дурными не бывают, дурными бывают поступки. А что плохого в поступках людей, в воскресенье выезжающих за город написать пейзажик?

— А выставляться зачем?

— Бросьте вы, никому от того худа нет. Мне, например, даже любопытно было. И, кстати, здесь серьезные работы есть.

— Картоны?

— Вот видите. Значит, со всех сторон смысл есть.

— Нет смысла. И в картонах этих нет смысла, но это потом, я сейчас вот что хотела спросить. Вы, как художник, можете мне объяснить: а нельзя писать без выставок, ну, то есть без всякого выхода наружу?

— Я — как художник — ничего объяснить вам не могу, потому как не художник, это Боря тогда так брякнул, чтоб гости меньше боялись. Я диспетчером на автобазе.

— Да я знаю, знаю, вы бросили в свое время, я спрашивала потом, но это не имеет значения, я же не пытаю вас, зачем вы ушли, вы мне ответьте все-таки: будет человек рисовать на необитаемом острове или стихи писать?

— На необитаемом острове он, наверное, будет скорее пытаться достать чего пожрать. И только самый мудрый и хитрый станет потихонечку лепить книжку стихов, чтобы сразу после спасения выпустить как «Песни необитаемого острова».

---

— А вы серьезно, вы потом ироничность свою покажете.

— Если серьезно, то вы не по адресу. Я-то бросил на острове вполне обитаемом, так что не специалист. Но в принципе, история доказывает, что в одиночку просто дичают, не до стихов. И вы ведь не об этом спрашивали. Вы хотите знать, может ли человек писать без стремления, чтобы написанное было обнародовано. В стол писать. Это совсем другое дело, тут добровольный отказ, а не вынужденный, как на острове. Не знаю. Наверное, может. Он вообще все может. Только это ведь труд, при любом удовольствии труд, а за труд всегда чего-то хочется. А вообще, не знаю.

— Ну, хорошо, а Хлебников не в стол даже, а в наволочку, и наволочка та потом тю-тю, и никакого расстройства.

— А вот про Хлебникова — это чепуха, он наволочку эту не выбрасывал, а в тифозном бреде потерял. И насчет «не расстраивался», он мне про это не рассказывал. Он весь мир переделать своими стихами хотел. И не меньше, как только целиком, а вы говорите «в наволочку». И что вы так далеко ходите, у себя спросите, вы ведь переводчик? Вот и переведите какой-нибудь романчик страниц на пятьсот, а потом посмотрите, куда больше захочется деть — в стол или в издательство.

— Это не пример, я не творец, я вполне могу и не переводить, я, ясно, просто так и слова не напишу, я

---

про творцов спрашиваю, тех самых, что не писать не могут. То есть, действительно ли они существуют, которые и в самом деле не могут, или это просто фраза такая популярная?

— Ну, почему фраза, вот графоманы точно не могут.

— Я ведь про иронию уже просила.

Так вот они и молили попусту языком, довольно долго, это я маленький отрывок привел, не хочу утомлять читателя. Наконец Кузнецов не выдержал:

— Без иронии все равно не получится, она уже в том, что я два часа сижу с очень красивой женщиной и пытаюсь обсуждать вопросы, в которых ровным счетом ничего не понимаю. Давайте лучше вот как. У вас сегодня день сильно занят?

— Совсем свободен.

— Пошли в «Москву» на шведский стол обедать, а то можем не успеть.

— Это на первом этаже, где пятерку берут? Я сейчас посмотрю, у меня...

— Да ладно, вы мне за коньяк все равно должны, так что сочтемся.

— Выпивка — это одно, а кормежка другое. Слава богу, муж есть, это его забота. А, вот, нашла. Поехали.

Кузнецов был рад перемене обстановки, глаза несколько устали от полумрака бара, ноги начали затекать, и хотелось пройтись, но главное — Елена, когда отошли от здания зала, в какой-то момент неуловимо

---

изменилась. В чем тут дело, Кузнецов не мог понять совершенно, но только отчетливо почувствовал, как ему стало спокойней и напряжение исчезло.

К шведскому столу успели вовремя. Быстро и вкусно пообедали, распили бутылку шампанского, там оказался великолепный «брют» тбилисского разлива, Кузнецову так понравилось, что он взял еще одну бутылку с собой. А когда вышли, сытые и чуть пьяные, к стоянке такси, Андрей Петрович, лениво думая о том, как бы это поестественнее попросить у Елены телефончик, а то и, чем черт не шутит, даже договориться о следующем свидании, стал прощаться и благодарить за приятно проведенное время, а под конец пробормотал совсем автоматически несколько слов, за которые, опомнившись, стал ругать, ругать себя, еще не договорив последнего. Нечто вроде того, что, вообще-то, шампанское еще осталось, и можно было бы поехать к Кузнецову домой исправить это упущение. И Андрей Петрович услышал фразу, которую, честно говоря, не сразу понял. Елена подошла к свободной машине, открыла дверцу и спросила, обернувшись, может быть, лишь чуть более резко, чем обычно оборачиваются для вопроса:

— Ничего, если я сяду спереди?

Кузнецов чувствовал себя несколько глупо, на такую резвость он почему-то не рассчитывал. И не до конца верил этой резвости, боясь повести себя слишком откровенно и прямолинейно, оказавшись потом в положении не только глуповатом, но еще и смешном.

---

Потому держался крайне нейтрально и предельно простодушно, более всего стараясь не допустить со своей стороны даже тени фамильярности и всячески изображая, что не видит в поведении Елены чего-то неожиданного, а тем более странного. Изображать-то изображал, но на самом деле и всю недолгую дорогу в такси до дома, пока перебрасывались ничего не значащими фразами, и те еще пару часов, что провели за бутылкой шампанского и кофе, который вместе варили, пытаясь перецеголять друг друга в умении, и, в конце концов, упустили на плиту, Кузнецова не покидало ощущение, будто все происходящее имеет весьма слабое отношение к реальности. Надо сказать, что ощущение это не уменьшилось и в тот момент, когда женщина аккуратно сняла с руки кольца, сложила рядом с пепельницей и мягко, чуть лениво поднялась со стула:

— Все это, конечно, очень благородно, но где тут у вас халат и чистое полотенце?

Остаться на ночь она категорически отказалась, впрочем, он не очень и уговаривал. Когда Кузнецов пошел провожать Елену, погода совсем испортилась. Такси пропали. На перекрестке, пустом и отвратительно подвывавшем со всех сторон, ошалевший смерч распоясался в пьяном танце, хотел смести, уничтожить, выбросить прочь, как ненужную вещь. И время исчезло на этом перекрестке. И места другого не было в мире. И остался молящийся о пощаде пятачок света в окружении подлых теней.

---

Ничего, на самом деле, особенного-то и не произошло. Кузнецов даже сам себе удивился. Подумаешь! Что, не было случаев, когда еще и быстрее?.. И не такие... А что она из себя, собственно!.. Случаи, действительно, были. Но что-то заставило Андрея Петровича прервать свои размышления в таком тоне, и не только прервать, но сделать это даже с определенной поспешностью и некоторой перед самим собой неловкостью. Заснул он довольно спокойно, да и проснулся следующим утром без особых эмоций, но каждое из самых обыденных дел совершал не спеша и с удовольствием. Брился, пил чай, выходил за газетой, и все это с тем давно забытым чувством, которое бывало у него в детстве на день рождения. Когда не нужно суетиться, все хорошее придет само, уже пришло, и без всяких усилий, просто такой день, а потом будет еще лучше, появятся гости, подарят подарков... Елене он позвонил за полдень и услышал очень приветливый, доброжелательный голос, что, да, да, конечно же, Андрей, надо бы встретиться, нет, сегодня, к сожалению, занята, иду с приятельницей в сауну, завтра созвонимся. Или послезавтра. В общем, конечно же, обязательно надо встретиться. Кузнецов положил трубку и пару минут рассеянно изучал трещину на телефонном диске. Потом вспомнил, что давно собирался отнести белье в прачечную. Аккуратно разложил по отдельности наволочки, простыни, пододеяльники и полотенца, метками вверх, в двух местах метки стерлись, он пришел

---

новые, заполнил бланки, дома всегда имелись чистые бланки, чтобы заполнять их спокойно заранее, а не скрючившись в очереди. Очереди, кстати, на сей раз почти не было, ни на приемке, ни на выдаче, и с приятно пахнущим весенними цветами пакетом — белье в последнее время стали ароматизировать, и очень удачно, — Кузнецов зашел в магазин, где совершенно неожиданно взял отличного швейцарского сыра, обрадовался, а то уже и вкус забывать стал, и к сыру теплый московский калач, тоже редкость по нынешним понятиям. Дома Андрей Петрович старательно разложил белье по полкам, сыр обернул фольгой и спрятал в холодильник, от калача отломал ручку и съел, пока не остыла, а остаток сунул в целлофановый пакет. Затем полез на антресоли, снял коробку с пылесосом и стал привинчивать хобот к старенькому верному аппарату, всегда вызывавшему у Кузнецова теплое чувство своим беззащитным домашним видом. И прошло еще какое-то количество времени, в продолжение которого Андрей Петрович совершал довольно логичные и, может быть, даже полезные действия, прежде чем ударить пылесос. Да-да, я не оговорился, ни с того ни с сего он взял и прямо ногой довольно сильно ударил по пылесосу. А когда тот с протестующим и вполне обоснованным повизгиванием проехал по всей комнате и больно ткнулся в противоположную стену, Кузнецов схватил телефон и стал снова звонить Елене. Он долго потом не мог простить себе этого звонка, и этого разговора, и того

---

положения, в котором оказался после него, прямо скажем, совсем дурацкого положения, самого, пожалуй, дурацкого, какое только может быть у человека в данной ситуации. Выслушав опять же очень милым тоном, хотя и с легчайшим теперь налетом раздражения изложенную информацию, что ведь сказала уже, договорилась с подружкой, и никак отменить нельзя, да и почему отменять, они всегда в этот день ходят в сауну, и вечером не получится, после сауны отдыхать надо, а завтра созвонимся, до завтра еще дожить надо, — выслушав все это, Андрей Петрович, вместо того чтобы понять сразу же, каким смотрится дурнем, и попытаться хоть как-то сгладить эту ситуацию вежливым прощанием и быстренько повесить трубку, начал вдруг, полностью потеряв контроль над собой, горячиться, настаивать, чуть не выдвигать какие-то требования повышенным тоном и добился того, что крайне деликатно, сославшись на внезапно возникшие дела, попрощались с ним, и в его трубке отрезвляюще заорали короткие гудки.

Но потребовался еще час бессмысленного перелистывания журнала «Крокодил» за позапрошлый год, чтобы Кузнецов полностью осознал и даже вполголоса проговорил сам себе, еще раз, на слух, проверяя всю реальность и нелепость произошедшего:

— А ведь мне плохо. А ведь мне из-за нее плохо.

Это смешно, но боль была физической. Она изнуряла и делала ноги ватными. Андрею Петровичу стало досадно чуть не до слез. Знаете, это как едешь

---

на машине отдыхать, правила соблюдаешь, жизнью доволен, ветерок ласковый, и птички поют. А тут из-за угла вылетает пьяный «газик» и раскатывает всю правую сторону вдребезги. Ты вылезает из остатков с вывихнутой рукой и соображаешь, что мгновение назад у тебя было железное здоровье, пятьсот рублей в кармане и месяц отдыха впереди, а ровно через секунду образовалась пара тысяч долга и перспектива провести всю оставшуюся жизнь в походах между врачами и станциями технического обслуживания. Вот до какой степени стало досадно Кузнецову. Даже еще больше, потому что здесь даже на пьяном шофере не отыграешься. Сам себя располосовал. Прямо смешно. Впрочем, об этом уже сказано в начале абзаца.

Весь остаток дня Кузнецов провел в состоянии достаточно мерзком, правда (что все-таки говорит о наличии у него хоть какого-то здравого смысла), не пытался более заниматься полезными хозяйственными делами или читать журнал «Крокодил». Впервые, может быть, он пожалел, что не имеет телевизора и вообще из всех говорящих приспособлений работает только радиоточка на кухне, но и этот единственный шумовой фон Андрей Петрович использовал максимально. Прослушал передачу для школьников «Необыкновенные истории обыкновенных вещей», программу радиостанции «Юность», концерт, страницы жизни и творчества Рериха, выяснил все вопросы и получил все ответы о международном положении.

---

И даже отправился уже было на встречу с песней, вяло раздумывая, не стоит ли включить на кухне свет, чтобы видеть хоть пепельницу, медленно растаявшую во мгле, когда в дверь позвонили, и пришла Варя Павшина. Но о ее визите было рассказано достаточно подробно.

Ну вот. А я боялся. Сейчас перечитал и думаю, справился с описанием романа вполне прилично. Ну, не всего романа, конечно, там еще предстоит много о чем порассказать, но самую тяжелую часть, про зарождение трепетного чувства, я с себя скинул. Дальше должно быть легче, так как речь пойдет более о фактах, чем эмоциях, в фактах же я специалист высшего класса, тут скромничать нечего. Просто умру за факт. Но донесу.

## 23

Тем самым утром, когда Кузнецов после встречи с алкашами отправился на работу, Татьяна Томилина встала довольно поздно, даже для себя. Напомню, что для Томиной это было утро после «Берлина», а следовательно, и после той ночи, мысли о которой еще прошлым вечером она старалась близко не подпускать. Ну, чтобы заранее не портить настроение. Теперь же ночь эта была позади, и, кстати, ничего страшного не произошло. Проснулась она в одиночестве, спутник ее давно ушел, у него были какие-то

---

ранние дела. Как раз это, то есть обычно имеющиеся у мужчин ранние дела независимо ни от чего, и было главной причиной категорического отказа Татьяны проводить свои нечастые совместные с кем-то ночи в любом другом месте, кроме как у себя дома. Проснуться еще в промозглой темноте, в чужой постели, на душ времени нет, даже зубы не почистишь, выскакивать впопыхах к траурной очереди на автобус, машина в это время — мечта несбыточная, — бр-р-р!

А вот у себя — это совсем другое дело! Я не буду описывать утро молодой женщины, здесь мне точно не хватит искусства. Должен сказать в свое оправдание, что даже такие профессионалы, как Пушкин, Фицджеральд и Виан, с много большим удовольствием разрабатывали тему «портрет молодого человека за туалетом», не рискуя, видимо, вторгаться в сферу деяний противоположного пола первые два часа после подъема.

Чувствовала себя Татьяна отлично. Все прошло значительно лучше, чем она могла даже представить. Тоже мне высокая плата! И вообще, пора окончательно забыть про эти детские замашки, возраст не тот, не девочка. Хорошо — значит хорошо! А будет еще лучше. Но возникла, что тут особенно лукавить, возникла уже некая мимолетная тень, так, намек один, не более, и связан он был с промелькнувшим ненавязчиво словом «плата». Однако бог с ней, с этой тенью, не до того сейчас. В связи с новыми обстоятельствами, и не обстоятельствами даже, а совсем новым и ре-

---

шительным поворотом всей жизни, появилось слишком много срочных и обязательных дел, чтобы можно было позволить себе тратить время на переживания по поводу каких-то там теней. Все чепуха, победа теперь за нами!

Победа, конечно, победой, но одно из условий требовало внешне никак не проявлять нового своего положения, а потому надо было зайти в театр и как-то мотивировать свое отсутствие несколько ближайших дней. Договорилась она с начальством быстро, вообще, последнее время Татьяна научилась незаметно для себя самой удивительно легко и естественно привирать, именно не то чтобы совсем уж врать, а так быстренько и складненько, не сильно даже задумываясь, перемешивать полуправду с полуложью, что выходило вполне убедительно. Уже уходя, Томила столкнулась возле картонного дерева с Васей и на всегда приветливое свое: «Здравствуй, Вася!» — получила в ответ вместо привычного: «Здравствуй, Танечка», — какое-то нечленораздельное мычание со всхлипыванием. Пришлось задержаться для выяснения. Несмотря на всю спешку. Одно это уже само по себе говорит, что головокружительные успехи не очерствили душу Томиной и не охладили тепла ее отзывчивого сердца. Однако сейчас Татьяне более, чем все замечательные ее человеческие качества, требовался хороший, даже лучше бы тонкий слух и еще немного успокоительного. Дело в том, что речь Васи была чрезвычайно тиха и невразумительна, а сам он,

---

казалось, каждую секунду готов грохнуться в обморок. Поэтому пришлось приложить максимум терпения и старательности, для выяснения сути. Сводилась она к отказу Вари Павшиной давать какой-либо конкретный ответ на Васино официальное предложение:

— Ходил к ней, ходил, молчит только, ну чего она молчит, подожди только, Вася, подожди только, и чуть не плачет, а чего подожди, Вася, чего, говорю, скажи, чего? И я так и знал, скажи, говорю, а она опять...

Ну, одним словом, проявила максимум участия Татьяна Анатольевна, советов надавала, самых таких дельных советов, что надо быть мужчиной, что надо надеяться на лучше, в общем, успокоила как могла и даже, в неожиданном для самой себя порыве благородства, пообещала выкроить время и забежать поговорить с Варей. На самом деле, в глубине души наивный Вася именно этого и ожидал и к этому стремился, а потому стал тихонько успокаиваться, чем отпустил, наконец, Томилину заниматься своими делами.

Прежде всего, требовалось решить вопрос с квартирой. И мать, и сестра Наташа как раскрыли рты от свалившегося на них счастья, так и сидели с этими раскрытыми ртами все время, пока Татьяна в быстром темпе излагала свою очередную правдоподобную версию. И скушали они эту версию, даже глазом не моргнув, настолько перспектива оказывалась заманчива. Суть в том, что Татьяна скоро выйдет замуж и переедет в Ленинград, где у мужа трехкомнатная

---

квартира, так что нужно быстренько сделать так. Совершить родственный обмен, Татьяну прописать к родителям, а Наталию на шоссе Энтузиастов. А потом Татьяна от родителей выпишется к мужу. Все очень просто, только нужно делать быстрее. Для Наталии, едва окончившей институт, возможность уехать от родителей в собственную квартиру была таким фантастическим подарком, что она не то что вопросов не задавала, а даже поблагодарить забыла и лишь смотрела на сестру дурными глазами, с боязнью — может, та сейчас расхохочется и объявит все розыгрышем? Так бы и сидела еще долго, если бы Татьяна не вытолкала ее быстро за необходимыми для обмена справками. Мать, правда, спросила все-таки, опомнившись, что-то насчет мужа, кто он да что он, но вполне удовлетворилась невнятной чушью, пробормотанной Татьяной на ходу, и направилась в соседнюю комнату сообщать супругу замечательную новость о том, что ежевечерние скандалы и истерики Наталии по поводу испорченной и загубленной родителями жизни вскоре могут прекратиться. Надо отдать справедливость супругу, то есть Татьянинному отцу, он единственный проявил себя в этой ситуации достойно, потребовав категорически, чтобы ему не морочили голову подобными глупостями, а позволили спокойно досмотреть третий период.

Затем Томила поехала к подруге, у которой была знакомая в бюро обмена, и вместе с подругой они пошли к той знакомой договариваться, чтобы все

---

сделать быстро. И знакомая обещала. Надо было еще срочно оформлять все бумаги в кооперативе, решать что-то с картинами, обязательно встретиться с Кузнецовым, да, вот еще, чуть не забыла, обещала ведь поговорить с Варей... Ну, просто тысяча дел. Как перед отпуском. Или, может, после отпуска, внезапно подумалось Татьяне. Может быть, как раз все остальное и было отпуском?

## 24

Но события развивались в собственном ритме и вовсе не собирались ждать, пока герои мои устроят свои дела и спокойно присядут на дорожку, чтобы еще раз все окончательно обдумать. По крупницам собиралась информация, тщательно проверялась, фиксировалась, проходила сортировку, снова разбегалась по сотням направлений и опять стекалась в нужные русла. Бурлил хитрый домик на Коровинском, шастал туда-сюда дворник, надрывно жужжало, гремело и ухало за покосившимися дверьми, являлись какие-то личности, подчас совершенно ни с чем не соответствующие, один раз залетела сорока с оципанным хвостом, и дважды заходил участковый милиционер. А часам к одиннадцати вечера из здания Казанского вокзала вышел человек, всего несколько дней назад так неудержимо стремившийся в Гагры. По богатырской фигуре, ослепительному финскому костюму и дипломату под

---

мышкой читатель, надеюсь, сразу бы узнал нашего старого знакомого Семена Варфоломеева. Гагринского загара, однако, не было на лице Семена, не было даже намек на какой-то заггар, вопреки отличному солнцу в это время у Черного моря. Даже наоборот, выглядел он довольно устало, если не сказать болезненно, и казался несколько бледноват. Однако, несмотря на усталый вид, метро пользоваться не стал и расстояние между «Комсомольской» и «Лермонтовской» одолел быстрым шагом в несколько минут. Там, у памятника, его уже ждали. Известная парочка прочно обосновалась на скамейке и вела себя на удивление прилично, даже чуть ли не настороженно. Варфоломеев устало плюхнулся рядом и мрачно оглядел кротких овечек:

— Ну, что, деятели, без меня, как всегда, полный бардак?

— Как в воду глядел, Сема, как в чистую воду, — не то расстроено, не то простужено прохрипел Усатый. — Прокол выходит с Кузнецовым, лажа полная, считай, уже скурвился, козел.

— Хватит дурака валять, начитались Даля, понимаешь, давай по существу.

— Обижаете, у Даля этого нет, сами работаем. А существо самое мерзкое. Лысый и так сейчас в угаре, а тут еще исполняющим обязанности сделали, вот он с переляку и принял Кузнецова за Ломова. И стал в этом виде фиксировать. Сразу Гундосый вылез и стал разные милые идейки подкидывать, русскую, знаете ли, народную мудрость показывать, насчет

---

того, что само в руки плывет, да дареного коня. Ну, Кузнецов и скис.

— А что, Гундосый его посвятил?

— Нет, конечно. Он тварь порядочная, но не трепло и не кретин вовсе. То есть в подробности не посвятил. Но мыслишки, думаю, кое-какие подкинул, так сказать, пищу для размышлений. И Андрей Петрович доразмышлялись.

— Совсем?

— Ну, совсем, не совсем, а явился тут с требованиями. Выложи ему исчерпывающую информацию, а уж он там сам решать будет. Вы, мол, мне все тут не указчики, сам разберусь. Герой, одним словом.

— Да, дела, а ведь за него Паша ручался на все сто. Больше, чем за себя, говорит, отвечаю. Вот и верь им после этого, трепачи.

— Насчет Паши, это ты, Сема, зря, он-то при чем?

— Да понимаю, просто обидно очень. Может, мне поговорить с ним в открытую, объяснить Андрею Петровичу основы диалектического материализма?

— Рискованно. Как выяснилось, соблазн ему очень даже ведом. Кто поручится, что после такой беседы его уже и за уши не оттащишь?

— А что же делать? Не Пашу ведь вызывать.

— На самом деле получается, это единственный выход.

— А засекут? Да и поможет ли здесь сейчас Ломов?

---

---

— Как раз помочь он может только здесь и сейчас. В конце концов, тоже пусть подергается, его кандидатура. А засекут вряд ли, им сейчас никто заниматься не будет, оформление практически закончено. На крайний случай, если возникнут какие сомнения, опять сплавите, не впервой.

— И все-таки рисковать Ломовым мне предельно не хочется. Давайте так. Подождем еще несколько дней, мне все равно тут еще в одно место надо срочно смотаться. Приеду — и будем решать. И хватит дурить. На вас тут уже капал кое-кто кое-куда, допрыгаетесь.

— Скучно ведь, Сема, скучно, надоела рутинка, так хочется иногда, понимаешь, живой, настоящей работы...

— Вот-вот, я и говорю, допрыгаетесь. Ладно, ждите.

И так же, не признавая городского транспорта, сгинул Семен Варфоломеев в сторону Курского. А в спину ему с пронзительной тоской смотрели усталые звезды, вдруг разорвавшие дождливое небо над засыпающим городом.

---

Утром Кузнецов явился со смены домой в довольно приличном расположении духа. Сутки, проведенные в диспетчерской, пошли ему явно на поль-

---

зу. Все представлялось отнюдь не в столь мрачных тонах, как позапрошлым вечером, и даже последний разговор с Еленой не казался таким уж неприятным событием. Подумаешь, ну, сморозил глупость, ну, напорол чепухи, сути это не меняет, что было, то было, а было, между прочим, хорошо. И ей было хорошо, это точно, здесь он ошибаться не может. В ванну Андрей Петрович полез уже чуть ли не с удовольствием, правда, забрав с собой туда телефон — а вдруг она сама первая позвонит. Но первая она не позвонила.

Первой она не позвонила, но, тем не менее, последовавшему через пару часов звонку Кузнецова была явно рада, и встретиться согласилась с нескрываемым удовольствием. Явилась одетой тщательно, как всегда, но на самом деле не совсем как всегда, а с тем тонким намеком на определенную адресованность этой тщательности, который так немногим дается и который так льстит самолюбию адресата. Держалась изначально приветливо, чуть не до ласковости, взяв под руку, прильнула на мгновение всем телом, весело рассмеялась какой-то совсем немудреной шутке, и Кузнецов жестко объяснил сам себе, каким был клиническим идиотом.

Они замечательно провели день, даже несколько не по возрасту замечательно, хулигански брызгая по мелким лужицам у набережной, оказались рядом с Андрониковским монастырем, карабкались по валу к крепостной стене, промокли и извозились в глине до предела, запыхались, хотелось пить. В пивнушке

---

на Котельниках взяли одну большую кружку свежайшего ледяного пива на двоих, пили его по очереди, стуча зубами о стекло, и одновременно поругались на какую-то очень принципиальную тему с одноруким, совершенно спившимся и очень агрессивным стариком, а потом убежали от него, взявшись за руки, по бульвару вверх, и старик, как древний пророк, воздев к небу посох, посылал им вслед пожелания крайне скабрёзного содержания.

Завалились к Кузнецову домой в виде совершенно скандального, Елена немедленно кинулась под горячий душ, а Андрей Петрович принялся очищать ее сапоги и подол плаща. Потом тоже полез в ванну, долго и шумно плескался под укоризненные замечания Елены из кухни, сушившей там утюгом вымокшую юбку. Долго, долго, степенно и с удовольствием приводили себя в порядок, сушили друг другу феном волосы, одевались, и лишь единожды на мгновение Кузнецов прикоснулся губами к возникшему из-под сползающего халата матовому плечу, но сразу отстранился — не надо, не надо спешить, спокойнее.

Машина пришла минута в минута, как заказывали, они, правда, еще немного провозились, но шофер оказался крайне добродушным мужиком, явно уже сегодня свое заработавшим, и по виду клиентов сразу понял, что здесь тоже обломится нормально, потому не торопил, ненавязчиво балагурил в пути и был вообще предельно предупредителен. В старый «Белград», где еще со времен светлой памяти Игоря Иль-

---

ича помнили Кузнецова хорошо и потому проблемы отсутствовали, приехали как раз в самое время. То есть, когда первый ледок отчуждения и чопорности за столиками уже сломан и траурное постукивание ножей о тарелки сменилось ровным негромким гулом самую малость возбужденных голосов, но еще далеко до дымной духоты и бестолкового пьяного гомона конца вечера. Оркестр только недавно окончательно занял свое место на эстраде и довольствовался пока вещами хорошими, но спокойными, обычными, приберегая ударные хиты ко времени пиковых нагрузок.

Хоть и взяли и шампанского, и коньяка, но весь вечер практически ничего не пили, ели тоже мало, хоть и очень вкусно, разговор шел легкий, бестемный и со стороны, наверное, весьма глуповатый, однако обоим был он достаточно интересен, и даже более того, очень интересен. Но запомнилось из него Кузнецову всего несколько фраз, сказанных Еленой в самом начале и далее, уже после первого танца — а танцевали они много, — никакого продолжения в беседе не имевших. Как обычно бывает со всеми людьми, начавшими общаться недавно, но бурно и не имеющими глубоких общих воспоминаний, они несколько чаще, чем это, может быть, требовалось, возвращались в разговоре к тому немногому, что успели совершить, увидеть или почувствовать вместе. И, вспомнив очередной раз утренний коньяк в баре выставочного зала, Елена сказала:

— Я спрашивала тебя тогда про творцов. Знаешь, это ведь не от зависти. Это точно, что не зависть,

---

я это чувство хорошо знаю, очень хорошо, ошибиться не могу. Говорят, сложно завидовать Рокфеллеру или Делону, гораздо проще соседу по лестничной клетке, что купил новую «Волгу». Не знаю, это для кого как, я вот не могу позавидовать тому, что в пределах досягаемости. С детства у меня и до сих пор сохранилась жгучая зависть к математикам и шахматистам. Не к каким-то там великим, а к самым рядовым, просто я сама пыталась и тем и другим заниматься и очень быстро натолкнулась на черту, за которой уже не понимаю. Чепуха, вроде мне и не надо, а грызет: как же они понимают, а я нет? За что им, а не мне? А насчет творцов... Мне ведь живопись тоже не дана. И музыка, и литература. Ну, как творцу. А зависти нет. Ко всему, что за чертой, есть, а тут нет. Как это понять? Вот я иногда и думаю: а может, и черты нет? То-то мне и интересно: врут они, что не писать не могут, или не врут? И как сами определяют, что перешли за черту?

Все это только позже вспомнилось Кузнецову, да и не очень точно, вполне вероятно, сказано было по-другому, у него тогда ничего четко не фиксировалось, настроение было легкое, и беседы хотелось легкой, игривой даже, каковой она очень быстро и стала; это же вспомнилось совершенно случайно и абсолютно не к месту, когда через несколько дней в электричке озверевшая старуха больно толкнула в спину тяжелым мешком и прохрипела с тяжелой ненавистью, выкатив пронзительные глаза на обернувшегося Кузнецова:

---

— Выставился, молодой, падла...

Сидели, вернее, больше не сидели, допоздна, до самых последних отчаянных танцев, за которые оркестр, обнаглев окончательно, драл с хмельных восточных людей какие-то уж совсем несусветные деньги. Устали очень, но хорошо устали, не от выпивки и сигарет, а от движения и музыки, от смеха, от близости друг друга. Машина попалась сразу, вообще везло тем вечером необыкновенно, и когда приехали домой, вошли в темную прихожую и замерли на мгновение в неожиданной тишине, показалось им, что так хорошо просто не бывает, хотя оба точно знали, что самое лучшее еще впереди. Так оно и оказалось.

Эта ночь была даже не сравнима с прошлым, не очень трезвым и странноватым вечером. Отличалась, как удовольствие от приобретения билета на концерт от наслаждения самим концертом... Да, ну и стиль... И знаю ведь, что описание тонких предметов мне противопоказано, а что делать? Нанять бы кого для этих мест, как приличные сценаристы в Голливуде писателей нанимают специально только диалоги писать. Денег таких нет.

## 26

У Томилиной весь этот день прошел в ритме бешеном. Забрав ту самую подругу, у которой была та самая приятельница, помчалась в бюро по обмену и

с приятельницей этой очень быстро и очень близко познакомилась. Ну, если совсем честно, то и для подруги она была никакая не приятельница, а обозначалось все это понятием только на вид довольно расплывчатым, а на самом деле в наше время удивительно конкретным — «есть у меня один человек по такому делу». Человек по обменному делу звался для краткости и энергичности всегда не иначе, как просто Тосей, и отроду имел не более пятидесяти лет. Многолетняя привычка к зарабатыванию денег честным и тяжелым трудом придала лицу этой женщины выражение скорбное и почти отрешенное. Ведь сколько бывало за все эти годы возможностей соскользнуть с прямого пути, поступиться нравственными принципами, изменить хоть чуть-чуть чистоте своих взглядов, сколько было соблазнов, да и каких! Но очень предусмотрительным, да нет, что тут стесняться, очень умным человеком была Тося. И ничего никогда. Ни на вот столечко. Все исключительно в пределах правил и рамок закона. Никаких там переселений из коммуналки в Коптево в пятикомнатные апартаменты на Горького. Не говоря уже, упаси боже, об обменах Батуми на Москву. И поменьше торговых работников, те почему-то после получения новой квартиры имеют свойство довольно быстро садиться с полной конфискацией и тянуть за собой хвост совершенно ненужных вопросов. Нет, зачем все это, когда не перевелись еще, к примеру, достаточно обеспеченные кинорежиссеры, желающие обменять свою трехкомнатную

---

квартиру на примерно такую же, только в другом месте. И вот в таком святом и совершенно чистом деле Тося вполне может помочь. Исключительно равноценное на равноценное! Другой вопрос, что тот же режиссер, переехав с первого этажа в Дегунино, где имел «распашонку» со всеми смежными, без передней и кухней пять квадратных, на Кутузовский, с холлом и консьержкой внизу, вполне может быть благодарен человеку, решившему внезапно проверить на себе целебные свойства знаменитого дегунинского воздуха. И не только ему, но и Тосе, нашедшей такого изумительного человека. А уж как будет выражаться эта благодарность — совершенно отдельный разговор. И не деньги были нужны Тосе. Не потому, что так уж их презирала, а просто имелось денег этих теперь даже больше, чем достаточно. Отношение. Доброе человеческое отношение. Вот что ценила особенно эта замечательная женщина. И, надо сказать, относились люди к ней действительно прекрасно. Не было, пожалуй, просьбы, в которой ей отказывал кто-либо, к кому она могла обратиться. А обратиться она могла практически ко всем. Ну, если не сама, то через человека, которому тоже не отказывают.

Власть, огромная власть сконцентрирована была в Тосиных руках, такая, которую не купишь ни за какие деньги. Но надо отдать должное, власть эта не вскружила Тосе голову. Иногда, правда, она могла сказать кому-нибудь из самых близких, глядя вдаль с характерной отрешенностью:

---

— А ведь, захоти я стать президентом Академии наук, пойдут навстречу. Ну, не завтра, а так годика за два сделают. Только зачем мне?..

Но, несмотря на все поистине безграничное могущество, Тосю никак нельзя было обвинить в зазнайстве и высокомерии. Ну, скажите, зачем ей была нужна Томила или ее подруга, занимающая не большее, чем Татьяна, положение в театральном мире? Тося в любой момент могла позвонить домой любому из директоров московских театров, если не в управление культуры, и решить в две минуты самый сложный вопрос от ложи на премьеру в Большой до люксовского номера в самом закрытом доме творчества. Нет, совсем не нужна была Томила Тосе. А вот не отказала! Приняла сердечнейше. И взялась во всем помочь, чтобы в самые кратчайшие сроки и без нервов. Какие надо бумаги тут же сама заполнила и сказала, где заверить, остальное точно сказала, где побыстрее взять и что не упустить. Какая там корысть! Что значили французские духи, гонконговские кофточки или совсем уж неизвестного производства бюстгальтеры на необъятную Тосину грудь, которые будет таскать потом Томила. Даже и не брала бы, если бы не боялась обидеть, — столько этого добра напихано в бесчисленных ящиках финского гарнитура. Но это все чепуха. Дело не в том, конечно. Просто Татьянина подруга из того самого круга. А значит, раз ее привели, то и сама Татьяна. Из круга, где даже и слуха быть не должно, что Тося кому-то отказала.

---

Хотя можно посчитать, что и не захотела. Имеет, в конце концов, человек право оказаться в плохом настроении и элементарно чего-то не захотеть. Раз не захотела. Другой не захотела. А потом опять и захотела, и сделала, но какой-то легкий налет недоумения, подозрительности некоторой возьми и возникни. А вдруг не просто не захотела тогда, а не смогла? Не получилось у нее? И, значит, опять как-нибудь может не получиться? Нет, только не это. Не могла позволить Тося в отношении себя подобной тени. Потому как только абсолютная, без малейшей трещинки и червоточинки власть над этой действительностью была необходима Тосе. И власть эту она упрочала, не гнушаясь самой мелочью. Кто знает, не окажется ли эта мелочь как раз самой важной в том деле и в тот момент. Никто этого знать не может. Как не может знать ни момента, ни самого дела. Честно говоря, и Тося его пока еще не знала. Просто у нее в жизни была одна большая Мечта.

Однако Татьяна спешила. Да, пока не забыл, подругу, познакомившую с Тосей, звали Викторией Львовной Ланской. Так она всегда и представлялась — полностью, вне зависимости от ситуации и собеседника, хотя ей не исполнилось еще и тридцати. Скоро должно, но пока не было. Я даже думал довольно долго, стоит ли представлять читателю еще одно действующее лицо, да еще будучи вынужденным именовать его так полно. При условии, что лицо это на самом деле и действующим назвать-то с пол-

---

ным правом нельзя. Оно от силы еще только раз появится на мгновение и даже в это мгновение ничего значительного не совершит. Меня можно было бы оправдать, если бы Виктория Львовна потребовалась мне, вернее, не мне, а повествованию, вроде чего-то на манер Рахметова. Он тоже только письмо передал и как действующее лицо — ноль. Но зато сколь много интересного мы узнали о самой личности нового человека. Однако нет у меня даже такого оправдания. Ничего особенного не узнаете вы о Ланской, потому как я и сам практически ничего не знаю. И все же окончательно решаю оставить ее в тексте. Просто из трусости. Один раз я уже ошибся с ней подобным образом. И второй раз рисковать не хочу.

Теперь вернемся к тому, куда спешила Татьяна. Ей хотелось как можно быстрее разобраться с портретами. Хотя, на самом деле, вот с этим-то спешки никакой не было. В конце концов, и вовсе можно плюнуть. Но какой-то сквозил холодок, и чувствовала, что надо обязательно быстрее, иначе не получается ощущения легкости и свободы. Ожиданием именно этого чувства жила она сейчас, знала, что только с его приходом все будет решено. Потому что, к стыду своему, к стыду до мерзостной дрожи губ и подташнивания, догадывалась о почти невероятном еще только несколько часов назад. Не поможет спешка. Никакой не поможет ритм. Придется притормозить.

Лица смотрели с холстов. Отовсюду. Выглядывали из-за шкафа, прищуривались под диваном, гро-

---

моздились на подоконнике. Татьяне впервые пришло в голову, что ни одно из них не улыбается. Оттолкнула ближайшее, и оно с обиженным шорохом сползло по стене. Только тогда заметила, что так и не успела раздеться. Однако мгновенно забыла об этом и, автоматически разматывая мокрый шарф, набрала номер Кузнецова. Андрей Петрович был несколько удивлен. В их отношениях уже много лет существовала некая черта, за которую взаимные просьбы обычно не распространялись. Правда, речи об этом никогда не было, однако и по молчаливой договоренности придерживались этой черты оба крайне старательно и друг другу за такую старательность были признательны. Нынешняя просьба Татьяны была странна. Если и не явно за чертой, то уж прямо на ней — это точно. И все же Кузнецов сразу согласился прийти, почувствовав нечто, далекое от каприза. Договорились на вечер. Первый свободный. Видимо, завтрашний, Кузнецов позвонит. Но это произошло не так скоро.

Причину такого нетоварищеского поведения Андрея Петровича мы уже знаем. Завтрашний вечер Кузнецов провел с Еленой и даже, если совсем честно, несколько подзабыл о данном Томилиной обещании. А еще через день, когда, ругая себя за необязательность плохими словами, совсем уже собрался позвонить и подошел с этой целью к телефону, произошло событие, еще на некоторое время выбившее его из колеи и спутавшее планы. Телефон зазвонил сам.

Человек представился Дорофеевым и, так как, видимо, считал, что более никаких пояснений к этому не требуется, сразу приступил к делу:

— Я тут недавно разговорился с Платовым, он мне обмолвился про ваши картинки к «Карамазовым», вы сейчас свободны?

— Знаете что, милейший, — выверился в трубку Кузнецов, — мне ваши шуточки уже во где сидят. Один, понимаете, с Пашей борт на Уэлен дожидается, другой с Платовым мимоходом разговорился! Чтобы в платовскую усадьбу попасть, надо полгода списываться, разрешение получать, а потом сутки по Волге добираться, хоть это выяснили бы, бездельники. Вас, небось, алкаши накрутили?

— Кузнецов, я все про вас понял, — ровно констатировал Дорофеев. — Только не вздумайте похмеляться. Много крепкого чая с аспирином и горячую ванну. Через два часа будьте любезны явиться в приличном виде.

И повесил трубку. Кузнецов зло хлопнул своей о звякнувшие рычаги и демонстративно плюхнулся на диван, всем своим видом показывая, насколько он презирает все эти хамские подначки. Прознали, сволочи, откуда-то про его старые работы к Достоевскому и теперь машут куском мяса перед носом у привязанной собаки. Неужели Платов действительно сохранил те ученические работы? Чепуха. Просто

---

шайка-лейка развлекается, у нее свои методы сбора информации, и профессор здесь ни при чем. Кузнецов вспомнил про Томилину, снова пошел к телефону, но, мгновение помедлив, опять-таки набрал не ее номер, а один из тех, по которым не звонил уже очень давно. Старый приятель Федя Бадмаев обладал связями во всех областях и изумительной памятью. Кузнецов в самое короткое время получил исчерпывающую информацию. Как он и ожидал, весь предыдущий разговор был крайне грубым и примитивным розыгрышем. Хотя фамилия Дорофеева оказалась, к некоторому удивлению Андрея Петровича, отнюдь не вымышленной.

Степан Иванович Дорофеев являлся, или, по крайней мере, считался, фигурой номер один по вопросу книжных иллюстраций. Власть его здесь была безгранична, а самодурство непредсказуемо до самодурства. Он никогда никому не звонит и никого никуда не приглашает. Более того, самые большие знаменитости годами добиваются у него аудиенции. И не получают ее. Все указания он дает через помощников, до которых, правда, тоже практически не добраться. Короче — все это полный бред. Вот если Кузнецов хочет, с ним могут поделиться великолепным заказом на оформление Доски почета в очень близком колхозе. Под конец краткой, но предельно информативной беседы Андрей Петрович получил даже адрес главного здания конторы и телефон приемной Дорофеева, но там все равно никого ни с кем не соединяют, так что не за что.

---

По телефону этому трубку сняли немедленно и, услышав фамилию Кузнецова, соединили в момент. Знакомый уже, ровный голос отчеканил без вступления:

— Я же сказал, через два часа. Быстро в ванну.

И тогда Андрей Петрович окончательно помрачнел. Становилось похоже, что шуточки, о которых он только что отзывался с таким пренебрежением, начали заходить слишком далеко. Пора, кажется, было приниматься думать о них всерьез. Игра ведется уж слишком против всяких правил.

Через два часа Кузнецов вступил на вершковой толщины малиновый ковер, стелющийся от тяжелых двойных дверей кабинета к крохотному однотумбовому канцелярскому столу, заваленному всевозможной писчебумажной дрянью, за которым на краешке стула неуютно примостился коротенький человек с длинным лицом, вялыми глазами и резким голосом. Он не только не приподнялся со своего места, но даже не кивнул в знак приветствия, однако показал Кузнецову на кресло перед собой жестом вполне доброжелательным.

— Отлично выглядите. Мне тоже аспириин всегда помогает. У Платова я взял вот это...

Почти детская рука нырнула куда-то в дебри завала и извлекла стопку пожелтевших листов, в которых Кузнецов действительно с крайним изумлением узнал свои старые рисунки, по какой-то совершенно непонятной причине, видимо, и в самом деле все эти годы хранившиеся у старого художника.

---

— Мне сейчас надо сделать «Карамазовых». В балакроне, суперах и с настоящими картинками. Потом будете раскрашивать Рабле и Сервантеса. Но это чуть позже, в данный момент горят «Братья».

— Вот что, уважаемый Степан Иванович, — прервал Дорофеева Кузнецов крайне решительно, даже чуть привстав с кресла и положив правую руку на стол. — Я не знаю, какие у вас отношения с профессором и что он вам про меня наговорил, но, если он отдал мои рисунки, я, естественно, возражать не буду, это его полная собственность, и он может делать с ними что угодно. Рисуночки, на самом деле, и давние, и вообще не ахти, но вам надо — пожалуйста. Только что вы от меня-то хотите?

— Это мне совершенно не надо. — И ручка рассыпала веером пожелтевшие листы. — Вправду не ахти. Мне надо другие. Пятьдесят картинок. Любого формата. Любая техника. Хоть губной помадой по шиферу. Воспроизводить будем принципиально новой аппаратурой, гарантирую практическое отсутствие искажений при печати. А потом сразу за Рабле.

— А вот это вас уже дезинформировали, — начал Кузнецов довольно мягко, администратор начал ему явно нравится своей совершенной беспардонностью. — Я не книжный иллюстратор. Вообще не художник. У меня сейчас другая профессия, а этим, как вы выражаетесь, картинкам, десять лет. Минимум. Понимаете?

---

— Не говорите глупости. — Дорофеева явно не интересовали перепады тона и настроения Андрея Петровича. — Меня ваша профессия не трогает, мне нужно через две недели запустить в производство «Карамазовых», и Платов сказал, что с вами я это сделаю.

— За две недели пятьдесят листов? — От удивления с Кузнецова слетели и так не очень большие остатки вежливости. — Вы действительно так много пьете аспирина или это чай?

— Сроки ни при чем. — Дорофеев даже ухом не повел на хамство собеседника. — Вас подробности не касаются, запускать я буду вот эти каракули. — Он ловко собрал веер снова в аккуратную стопку. — А потом подменим реальными. В любой момент, хоть за две недели до выхода. Я же сказал, принципиально новая аппаратура, да что недели, я за два дня вам все отшлепаю. Так что хоть год работайте. Чем быстрее сделаете, тем быстрее пойдет Рабле. Подпишите договор.

На стол легли три экземпляра уже заполненных на машинке бланков. Андрей Петрович взял один в руки и сразу, с первых строк, понял, что таких договоров не бывает. На таких условиях и с такими суммами можно было без стеснения приглашать Дали. Именно это, первое пришедшее в голову, Кузнецов и брякнул от удивления, стараясь придать своему дурацкому вопросу максимум язвительности:

— А Дали вы приглашать не пробовали?

---

— Сальваторе, к сожалению, только вышел из больницы и пока еще очень слаб. — Голос Дорофеева приобрел на мгновение нотки интимной грусти, но тут же снова загремел привычным металлом. — Впрочем, это не имеет значения, сейчас мне нужны ваши работы. Подписи юриста и главбуха там уже есть, поставьте свою и идите получать аванс. Или, может, вас сумма не устраивает? — В глазах Степана Ивановича впервые промелькнула некоторая неуверенность. — В принципе, ее можно было бы, конечно, и увеличить...

Кузнецов понял, что пора кончать эту трогательную беседу, иначе она грозила обернуться совсем уж непристойным балаганом. Он встал:

— Значит, так. Никаких больше рисунков у меня нет, и делать я их не собираюсь. Вынужден с пригорбием признать, что глубочайше уважаемый мною профессор Платов, наверняка из самых лучших побуждений, ввел вас в заблуждение. Я, действительно, не художник. Я когда-то был юношей, умеющим неплохо рисовать — так же, как еще сотни тысяч ребят из культурных семей. Я уже десять лет не держал в руках карандаша и даже не думал об этом. И потому мне не о чем заключать с вами договор. Всего доброго.

И пошел к двери. Сделал несколько неспешных, уверенных шагов и взялся было за массивную бронзовую ручку, прежде чем его остановил ласковый до ненависти и настолько тихий голос, что Кузнецов не

---

сразу признал его принадлежность все тому же Дорофееву:

— Лгун и дурак. Сопливый щенок, у тебя не осталось даже элементарного чувства собственного достоинства. Ты десять лет не выпускал из рук карандаша и извел впустую прорву самой лучшей бумаги, в которой так остро нуждается наше плановое хозяйство. Иди. Продолжай забивать картонными шкафы, в которые давно уже ничего не лезет. Запрись на три оборота. Отключи телефон. И рисуй. И складывай, складывай, ведь ты при этом ничего не выбрасываешь, ни клочка бумаги не исчезает из твоих рук бесследно. Иди. Наслаждайся своим покоем и свободой, холь их, лелей, ведь тебе, действительно, ничего ни от кого не надо, ты же никому ничего не должен, ты в наши игры не играешь. Ты в свои играешь. С враньем. С лицемерием. Со злобой тихонькой и подленькой. Даже и злоба — слово для тебя слишком хорошее, так, озлобленность скорее. Платов говорил, что с тобой каши не сваришь, но и он бы удивился, посмотрев сейчас на тебя. Иди. Я жду две недели. Думай.

Все произнесено было еще и чрезвычайно быстро, почти скороговоркой, так что только к концу монолога Кузнецов успел полностью повернуться к говорившему. Правда, нужно сказать, что и делал он это довольно неторопливо. А когда все же повернулся, то встретился уже с совершенно спокойными и по-прежнему вялыми глазами администратора, ска-

---

завшего привычным звенящим и совершенно равнодушным тоном:

— А насчет увеличения суммы, это мы решим. Это вы можете, на самом деле, и не волноваться, тут все как раз вполне в наших силах...

## 28

Кузнецов вышел из главного здания с чувством довольно неудобным. Чувство это подсказывало ему, что с таким тщанием столько лет выкапываемую, обживаемую и совершенствуемую нору сначала аккуратно обложили, причем со всех сторон, по всем правилам охотничьего искусства, а теперь еще начинают оттуда попросту выкуривать. И даже без особой хитрости, довольно-таки нагло и примитивно. Однако именно простота как раз и не нравилась Кузнецову больше всего. Липовая она была, простота эта.

Хотя времени оставалось вполне достаточно, встречаться с Томилиной этим вечером не хотелось. Андрей Петрович извинился, позвонив из автомата. Условились, что завтра — уже точно. Хотя погода и не располагала к прогулкам, Кузнецов решил все же немного пройтись по направлению к Октябрьской площади, по любимой с детства Донской. Раскалывалось под ногами небо матовой стали. А вокруг был город. Такой надежный, с такой любовью, щедрым размахом и колоссальным запасом прочности по-

---

строенный им город, что не страшны ему ни время, ни ветры, ни мысли, ни чувства, ничто не могло потревожить здесь безмятежный покой. Но непонятное творилось сейчас с городом.

Остались за спиной неприступные стены Донского монастыря. В его величавых воротах когда-то девочка впервые потянулась потрескавшимися губами к щеке пятнадцатилетнего сопляка. На них осуждающе посматривали высокомерные Опекунские и Воспитательные дамы Ивана Витали, а вокруг корчились от тоски и заброшенности изуродованные воины с той самой, настоящей Триумфальной арки, матеря самозванцев с Кутузовского. Что могло быть надежнее места, где пожелали быть упокоенными мудрейший Василий Осипович Ключевский и прозорливейший Петр Яковлевич Чаадаев в окружении целого полка блистательных храбрецов в генеральском чине, и даже, по слухам, хитрющая гадина Салтычиха окопалась где-то рядом. Но остался монастырь за спиной, и рухнули вечные стены монастыря, и, не вскрикнув, не успев испугаться, погибли под его обломками девочка с мальчишкой, только пыль из-под обломков экзотическим цветком метнулась по косо́й к крематорию, да упругая волна потеплевшего дождя прокатилась вдоль улицы и заставила Кузнецова ускорить шаг, подтолкнув в спину.

А здесь, справа, расположился пивной ларек, куда жесткая Анна Сергеевна, никогда не снимавшая с телогрейки под халатом медали «За оборону Москвы»,

---

частенько пускала мальчишку одной очень тоскливой и холодной зимой погреть руки над чудовищно раскаленной электроплиткой и, плеснув на дно кипящего пива из чайника, тихонечко, чтобы не было лишней пены, доливала кружку «Двойным золотым» из махонькой крученой бутылки, припрятанной в кармане необъятного халата. И остался позади добрый ларек и тоже рухнул, с грохотом и треском не меньшим, чем монастырь, разве только чуть более жалобным.

И, поняв злую силу свою и ожесточившись потерями, помчался вперед, загулявшим купчишкой расшвыривая последнее и самое кровное: нет денег, и это не деньги! Повторно взорвал мимоходом кино «Авангард» на площади, и сразу же полыхнули они все разом и остервенело, с глупыми детскими слезами на щеках и безысходной тоской несбывшегося, рванули с каким-то даже последним весельем — «Кадр» Плющихи и «Юный зритель» Арбата, «Спартак» Земляного и «Аврора» Покровки, «Стрела» Смоленки и «Колизей» на Чистых, — рванули вместе с развесным мороженым из бидонов и стопками пропеченных до хруста вафельных стаканчиков, шариками, которые сами летели ввысь, и глиняными обезьянками на веселых пружинках, вместе с новыми деньгами и молочницами, стучавшими по утрам в дверь, вместе с первоклассником в гимнастерке, последним первоклассником в гимнастерке, потому что все недели уже противные мышинные пиджаки, и только он, наплевав на смешки, перетягивался утром настоящим школь-

---

ным ремнем, так, чтобы пальца просунуть было нельзя, и теперь вот, такой же затянутый и непреклонный, летел, дисциплинированно сложив руки по швам, на крутом гребне взрывной волны.

Ах, какой это был замечательный мальчик! Как трогательно падала на глаза непокорная челка, как свежо белела кромка воротничка, как очаровательно пахли страницы «Детства Никиты» новогодними мандаринами и звездами из цветной бумаги! И с каким наслаждением била в кровь коптевская шпана милого рождественского мальчика!

А вконец распоясавшийся человек уже не мог остановиться в разрушительном беге, и с натужным стоном осели центральные интендантские склады, принеся стране огромные материальные убытки. Брызнул кирпичами мрачный серый короб на углу Кропоткинской и Померанцева переулка, где в шестидесятых через слепенькое оконце выдавали по два килограмма гречки в одни руки после ночи длиннющей очереди. Рвались в истерике на вид такие меланхолические особнячки Арбата с окрестностями, катились в стороны выдернутые с корнем тумбы бульварной ограды, и скручивался винтом металл решеток. Дольше всех держался центральный телеграф. Но, в конце концов, капитулировал и он, исчезая в черно-красных языках. Наступал час пик. Только в этом увидел безответственный хулиган спасение свое и города.

Должен сказать, что представление о транспорте как об отрасли народного хозяйства, призванной

---

обеспечивать перемещение из одного пункта в другой грузов и пассажиров, несколько односторонне. Транспорт — я имею в виду, конечно, главным образом общественный транспорт — на самом деле выполняет в государстве гораздо более важную гражданскую функцию. Проведя вечер в семье, с друзьями, за письменным столом, за столом не письменным, с книгой, бутылкой, ребенком, перед экраном, сценой, холодной пустой стеной, человек заряжается мыслями и настроениями, которые, независимо от уровня и глубины, обладают одним отрицательным для общества качеством — все слишком разные. А когда на все это накладывается еще и ночь, с бессонницей, с покалыванием в боку, или с неожиданным всплеском страсти в объятиях любимой, или нелюбимой, или тяжкая дрема под мерзостные видения, или розовые, будоражающие сны — все это приводит к результатам самым плачевным. Утром выходит из дома на работу человек совершенно антисоциальным типом. Торчат у него в разные стороны какие-то собственные мнения, что-то такое не до конца переваренное, бурчит в животе, теснит грудь от подозрительных эмоций, и застилает глаза, мешая правильной ориентации, туман смутных надежд. Позволь человеку, да не одному, а миллионам, со всеми этими своими глупостями вот так прямо приступить к делу, как начнется бог знает что. То есть просто никто не знает, что может начаться от всей этой неотесанности, если не будет какой-то сдерживающей силы. Но она есть. Человек

---

мгновенно попадает в идеальные условия термической обработки под давлением. Его раскаляют, крутят, давят, мнут, сжимают, раскатывают, штампуют, обтачивают и выпускают на белый свет в виде совершенно ровненьком, гладеньком, а главное, предельно одинаковом. Торчащие мысли забиты обратно, ну а те, что были уж слишком длинными, оторваны напрочь, чувства, даже скорее теперь эмоции, очень схожи, правда, заряд у них отрицательный, но это уже издержки производства. Одним словом, делается гражданин пригодным для употребления. Для этого существует утренний час пик.

Для того же, собственно, служит и вечерний час пик. Только гасит он всякие неровности, возникшие во время трудового дня, и готовит гражданина на этот раз уже для домашнего употребления. И в семейный или даже не очень семейный круг вкатывается полностью обработанная личность в собранном виде. Таким образом, функционирование транспорта служит самым надежным гарантом правильного режима, работы человека в общественном и личном механизмах. Андрею Петровичу все это было отлично известно, потому он и поспешил воспользоваться целебными свойствами отрасли, которые как раз наиболее сильно проявляются около восемнадцати часов на переходе между станциями «Проспект Маркса» и «Площадь Свердлова». Поскольку именно рядом с этим замечательным местом Кузнецов и оказался, он тут же нырнул в спасительную пучину, оставив в покое

---

ни в чем неповинный город. Величавый мощный поток подхватил его и властно понес вдаль, возвращая ощущения покоя и реальности.

А вы знаете, да-да, я говорю именно с вами, не оглядывайтесь удивленно, здесь кроме нас никого больше нет, вы сами-то знаете, что не только вечно, но даже относительно долго все это продолжаться не может? Что не так далек день и час, когда у вас попросту не хватит сил? И вы вдруг, а это произойдет именно вдруг, поймете, что остались в беспомощном одиночестве, и вы не сможете справиться с ним только потому, что уже больше вообще ни с чем не сможете справиться. Впрочем, сейчас это, действительно, не имеет еще никакого значения. Я зря порчу вам настроение. Извините.

Пробыв в метро не очень долго, но в достаточной степени исцелившись, почувствовав, что для окружающих безопасен и имеет моральное право на общение, Кузнецов вынырнул в районе «Аэропорта». Позвонил Елене прямо из вестибюля. Она сказала, что очень рада слышать, но сегодня вечером занята, убегает по делам, и звонок застал ее почти в дверях. Тогда Кузнецов сказал, что он звонит тоже не от нечего делать и просит о встрече не просто так, и нет, в конце концов, таких дел, которые нельзя было бы если не отменить, то хотя бы перенести. Тогда Елена сказала, что если у Кузнецова что-то срочное, то пусть он скажет по телефону, а уже тогда она решит, переносить свои дела или нет, но вообще ничего пе-

---

реносить она не привыкла и обычно никогда этого не делает. Тогда Кузнецов сказал, что по телефону ему говорить нечего, а вся срочность заключается в том, что ему срочно требуется ее видеть. Тогда Елена сказала, что он уже слышал, что у нее дела и что не надо морочить голову. Тогда Кузнецов сказал, что он настаивает. Тогда Елена сказала, что это уже было и не стоит повторять прошлых ошибок. Тогда Кузнецов сказал, что было совсем другое. Тогда Елена сказала, что было то же самое. Тогда Кузнецов сказал, что Елена полная дура, если не понимает разницы. Тогда Елена повесила трубку.

Еще одной двушки не оказалось, пока доставал ее, пока снова пробился к телефону, прошло несколько минут, и номер уже не отвечал. Видимо, действительно предыдущий звонок застал Елену в дверях. Андрей Петрович понял, что, на самом деле, лучше всего немедленно поехать домой.

## 29

Ну, что же, теперь точно можно сказать, что рассказа не получилось. Листов, наверное, пять написано, а мне еще не удалось изложить и половины произошедшего. (Странная вещь — листки от старых календарей. Только что попался один, заваялся закладкой в сказках Андерсена, я перечитывал — он и выпал. Желтый весь. 4 августа 1976 г. Восх. 4.40,

---

Зах. 20.30. А написано на нем почему-то про то, что 5 августа 1940 г. Латвийская ССР принята в состав СССР. Интересно, почему об этом сообщается на день раньше? А может быть, 5-го столь много событий, что эта новость там не помещается? Массу вопросов можно задать, чтобы отвлечь себя от главного.) О том, что и романа не получится, я в глубине души подозревал с самого начала, хоть тень надежды была, но надежды совершенно несбыточной. Прекрасно знаю, что у меня не романное мышление. Хотя, строго говоря, в родовых определениях у меня еще с детства имелись досадные разночтения с Белинским, несмотря на то, что мы оба, видимо, искренне считали себя последователями Аристотеля. Еще в двенадцать лет у меня сложилось глубокое впечатление, что «Дон Кихот» не роман, как произведение, относящееся к чистой лирике. Романы же Достоевского совершенно не романы даже под защитой оправдательного постулата о полифонии, да и нет там никакой полифонии, а просто это драматургия, только разве что как сырье не для спектакля, а для тогда еще не существовавшей, может быть, и сейчас еще не существующей формы воспроизведения. Романами же возможно признать разве что шекспировские трагедии, да и то все-таки романами в стихах, то есть опять же не чистой эпикой, по слишком большому значению, придаваемому личностному началу. Как последняя опора остаются Толстой с Фолкнером. Но и они в последнее время стали вызывать некоторые сомнения, попадаясь на

---

слишком серьезном форсаже голоса и, что еще подозрительней, на попытках замаскировать это один — хорошими заставками, другой — хорошими сложными инструментовками.

Впрочем, бог с ним, с романным мышлением. Признав изначально попытку с негодными средствами, приходится, независимо от желания и эмоций, соглашаться с жанровым определением *хроники*, оставляя родовое обозначение в стороне и как бы подразумевая нечто ясное само по себе. Несомненное жульничество. Впрочем, вполне в рамках правил. Ведь никто из нас с вами, садясь за стол, и не подозревает за партнером абсолютной честности, дай бог соблюсти внешние рамки приличий. Более всего обидно совсем не тогда, когда обманывают, а когда обманывают слишком явно, не щадя самолюбия и не давая возможности притвориться искренне обманутым, заставляют кушать откровенную наглость без сердобольного камуфляжа.

Ладно, хроника так хроника, тут еще нет причин для слишком большого отчаянья, гораздо принципиальней другое. Нелепое желание настаивать на том, что речь идет о реальных фактах и истинных происшествиях с конкретными живыми людьми. К чему весь этот детский сад? Создать иллюзию объективности, вынести авторскую волю за скобки, приблизить читателя к рампе? Но уже и век назад делать это подобным наивным способом было бы смешно, а уж в наше-то время, когда латинцами и австрияками

---

давно, а за ними и более солидным народом разработаны столь изощренные способы морочить голову, по сравнению с которыми всяческие романы в письмах, рукописи, найденные под кроватью да дневники Печорина покажутся милым шутовством кухарки в доме международного авантюриста. Так что уж говорить о столь самодельной чепухе, как уверения в правдивости заведомого вымысла? И ладно бы я еще не знал о самых последних достижениях цивилизации в этом вопросе, ну, тогда можно простить убогость, постараться не заметить, что на собеседнике до дыр заношенная рубашка. Когда другой нет, это вызывает разве что жалость, но не оскорбляет прочих благородных чувств. Но если у человека шкафы ломятся, а он на банкет является в тряпье, тут уже грубый эпатаж и извинить нельзя никак.

Тогда возникает другое предположение — а не дело ли в самом эпатаже, не он ли самоцель? И опять получается чепуха. И по изложенным причинам (нынче не так эпатируют), и после самого простого вопроса — а зачем? Уж, кажется, в искренности моих чувств и прямоте высказываний трудно усомниться кому бы то ни было, а если и остаются какие-то неясности относительно намерений, то и они только от моего собственного упрямства по совершенно вроде несущественному поводу: в конце концов, какая разница — было, не было... А я все же упорствую. Так стоит ли портить впечатление из-за незначительной мелочи?

---

Выходит, что для меня стоит. Опять глупо. Хорошо, попробуем подойти с другой стороны. А что если это некий структуро- (формо-, мысле-, чувство- и т. д.) -образующий фактор? Правда, таковая его роль пока еще не проявлялась, но, может быть, проявится впоследствии? Сразу два возражения. Во-первых, не ищите, не проявится, поскольку не существует. А во-вторых, даже если бы и существовал, то кто станет доискиваться до сути того, что не принципиально? Это все равно как зашифровать в «Карамазовых» первыми буквами глав детскую считалочку и настаивать на ее прочтении. Правда, здесь можно сделать одну оговорку. У Фолкнера в «Осквернителе праха» есть такой совершенно самостоятельный фокус. Главный герой нигде не называется автором иначе, как местоимением третьего лица единственного числа. Никакой другой функции, как только создать фантастические сложности (кстати, не всегда преодолеваемые) для переводчика, все это не несет. Тут, я знаю, вы можете вскочить со стула и начать мне с пеной у рта доказывать, что я полный невежда и профан, что на самом деле несет, и великое множество, и такую создадите интереснейшую, сложнейшую и остроумнейшую теорию на этот счет, что после нее вам со мной и вовсе неинтересно разговаривать станет. Так вот, не надо. Я этих теорий могу почище вашего насочинять. У меня даже конкретно на эту тему две-три таких были, что Бахтин с Лотманом могли бы за них поссориться. Только пустое все это. За-

---

мени Фолкнер «он» на «мальчика», как, например, в «Медведе», ровным счетом ничего не произошло бы, как ни мудрствуй. И даже если это не абсолютная истина, то, по крайней мере, мое глубочайшее убеждение. И вряд ли бы я стал отступать от него во имя целей, которые преследую именно с этими имеющимися у меня убеждениями, в число которых входит и названное. (В «Казанове» Феллини имеется тоже подобный самостоятельный трюк, впрочем, может быть, в кино он имеет, или хотя бы будет иметь, и еще какое-то значение. Не сужу.)

Можно было бы найти и еще немало столь же убедительных причин моей провинциальной настойчивости, и я даже не против, если вы этим займетесь, такое тоже входит в правила игры, но тогда в те же правила входит и подбор контраргументов, следовательно, кто найдет первые, неизбежно отыщет и вторые, так что советую все же не заниматься пустым делом и поверить мне на слово: все, о чем я рассказываю, действительно совершенно реально происходило, более того, происходит сейчас, вот в тот самый момент, когда вы читаете эти строки.

И все же я не так наивен, чтобы хоть на мгновение подумать, что вы можете мне поверить и после самых клятвенных заверений. Но тогда зачем же всё? Неужели только для того, чтобы вы поверили в искренность моего желания вас убедить? Но, не веря сам (а в несуществующие факты верить я не могу, так как владею первоисточником, а себе самому головы

---

не заморочишь), как могу я надеяться, что самостоятельное значение приобретет мое желание уверить других, даже и при полной нереальности этого желания? Что же остается? Все тот же элементарный выбор. Вам поверить мне? Глупо. Мне отказаться от уверений? Для меня это невозможно, вопреки, как мы выяснили, всякой логике. Какие я могу иметь для этого основания? Или собственную тупость (тут возражаю), или что-то мною скрываемое (а зачем — опять глупо), или сам, как раз и недоказуемый, факт реальности событий. Но ведь даже и он меня не извиняет, будучи принципиальным лишь для автора, но не для читателя. И мы начинаем идти по кругу.

Так что пора закрывать лавочку. А выход? Да нет никакого выхода. Потому как суть в том, что все, о чем я рассказываю, не только действительно было и есть, но, более того, в противном случае мое повествование не имеет совершенно никакого смысла и значения, как вымысел оно фальшиво, не нужно, а для человека, хоть на миг усомнившегося в моей правдивости, даже вредно, так как попусту отнимает время. И я настаиваю, чтобы в таком случае усомнившийся немедленно закрыл книгу, настаиваю, полностью понимая, насколько в таком случае рискую остаться вовсе без единого читателя. И это в ситуации, когда уверен, что прочесть ее должны не просто многие, но буквально каждый, и именно с этой только целью и пишу. Опять нелепица, но уже в ней, кроме меня и вас, обвинять некого.

---

Теперь, обосновав один постулат (это я называю обоснованием?), я остановлюсь еще на некоторых, опирающихся на него реалиях. Главный герой и несколько почти главных героев повести моей художники. В последнее время это стало общим местом. Да и давно не ново, но в последнее время особенно. Причины тому просты и ясны каждому. Совершенно естественно, что писателю, как любому другому грешному, даже очень интересующемуся другими, все равно дороже любых прочих он сам. И более всего, конечно же, хочется рассказать ему о себе. Можно прямо, и так тоже делают, выбирая главным героем писателя, и лучше всего — пишущего о писателе же. И в приеме этом нет ничего плохого, сам по себе он, разумеется, как не гарантирует успеха, так совершенно ему и не препятствует. (Есть удачи, и даже серьезные.) Но все же лучше некоторая отстраненность и небольшой сдвиг рамки. Это дает дополнительно немного свободы и позволяет легче распространить собственные болячки на остальное человечество (или хоть на значительную его часть). Самый простой выход — писать о чем-то смежном: актере, режиссере, композиторе, архитекторе. И все вроде то же, и я ни при чем. Если где и уличат в фальши, то кто, собственно, уличит? Только они же сами, и только в том, во что снаружи не влезешь, а тут всегда можно отмахнуться — у людей творческих вечно капризы и придирки, на них не угодишь. Так что вероятность проскочить имеется большая. Но все же самая луч-

---

шая модель — это именно художник. На него спокойно переносятся любые собственные схемы, даже нюансировкой утруждаться особенно не стоит, минимум антуража — и лепи не стеснясь. Каждый поймет, что на самом деле это ты, только талантливый. И хоть в реальности ты, может быть, совершенно бесталанен, но, обладая известной мерой напористости и искренности (а кто даже и из самых бесталаных не способен достаточно искренне и напористо убеждать в собственном таланте, тем более, будучи сам в этом уверен?), имеешь шанс произвести совершенно обратное впечатление. И я, собственно, тоже не против всего этого, и сказанное вполне могло бы служить основанием и для моего выбора главного героя. Но кроме своего искреннего желания (тут, впрочем, мне можно не доверять) не входить в компанию, несмотря на некоторых блестящих представителей, уж слишком себя скомпрометировавшую, я могу привести еще кое-какие оправдания. Уже оставив убеждения в реальности и в невозможности для меня эту реальность рассматривать как не самое принципиальное. Оставив, хотя и этого вполне хватило бы, так как я уже просил усомнившихся немедленно закрыть книгу, и если они этого еще не сделали, то убедительно прошу об этом еще раз.

Мой герой вовсе не художник. Не то что он неудачливый художник, или недостаточно способный художник, или непонятый художник, нет, он совершенно, ну, понимаете, совершенно никакой не ху-

---

дожник. И никакого к художникам даже отношения не имеет. Ни он, ни все остальные действующие в повествовании лица. Это не поза, не маска, не очередной прием, а изначальная тема, без восприятия которой останется непонятной вся остальная система построений. Но из этого не следует, что требуется нахождение каких-либо доказательств от обратного. То есть сам диспут на тему, является ли тот или иной человек художником, а отсюда неизбежно — является ли та или иная деятельность творчеством, а то или иное произведение произведением искусства, — все это имеет самостоятельное значение даже при отрицательных выводах. Само по себе решение данного вопроса как процесс подразумевает занятие все теми же собственно писательскими проблемами, которые, конечно же, меня интересуют, но ни в коей мере не являются предметом данного конкретного разговора. Мое повествование, а вернее, события, его породившие, не имеют абсолютно никакого отношения к вопросам творчества, искусства или даже к чему-то им близкому. Если об этом еще недостаточно четко поведано читателю, то в дальнейшем будет сказано открытым текстом, подтверждено фактами, но дело даже не в этих фактах, а главное: только с таких позиций — здесь нет *ни одного* художника и *ничего* про художников (я, вероятно, опять требую к себе большего доверия, чем заслуживаю) — возможно верное дальнейшее восприятие происшедшего и происходящего. (Имеется в виду ваше восприятие, я-то уже

---

давно все воспринимаю как надо, так что только о вас забочусь.)

И наконец, о самой манере повествования. Язык, композиция и система изложения мыслей могли кому-то показаться довольно неряшливыми. Не усложненными нарочито или стилизованными, а именно неряшливыми, нарушающими законы не только строгого вкуса, но и порой элементарной грамотности. Сразу и полностью согласен. Действительно, ничего нарочитого, а уж тем более усложненного или стилизованного тут нет. Что же касается прочего, то хочу задать вам один наивный вопрос на уровне школьной программы. Кто из русских писателей лучше всех писал (именно *писал*)? Правильно — Бунин. А еще лучше писал Набоков, хотя он пока в программу не входит. (Впрочем, может быть, как и Бунин, я не в курсе последних изменений.) На третьем месте стоит Тургенев. А если выстроить такую же троицу от конца, то есть, кто хуже всех писал, то победит всех, несомненно, Лермонтов, а за ним займут очередь Достоевский и Толстой, причем именно в такой последовательности. Только опять же не надо, как в случае с Фолкнером, строить умные теории о том, что рифма «бежит — скрипит» есть гениальная находка в области лексико-фонетической экспрессии и что начинать главу с «То то» (в смысле «Следовательно, это...») — глубочайший прорыв в тайну структуры фразы. Не надо, ради бога. Я сам всему этому жизнь посвятил. Но кто бы кому что ни посвящал, от простейшего грубого факта никуда не

---

денешься: как нельзя хорошо говорить по-английски, находясь не в Англии, так нельзя хорошо писать по-русски, находясь в России. Порой даже возникает нелепая, но совершенная в своей простоте мысль: и не надо в России хорошо писать, дурное это, никчемное, даже в чем-то не приличествующее русскому писателю занятие. Опять же, поймите меня правильно, речь идет не об искусственных выкрутасах типа *мовизма* или принципиальных теоретических тупиков вроде «Черного квадрата». Никакие теории и выкрутасы не способны повлиять на самоорганизующуюся систему (а язык, бесспорно, кроме всего прочего, еще и такая система), и не писатель владеет языком или создает его, а язык и создает писателя, и владеет им, причем тут не имеет значения каким — в равной степени что гением, что бездарностью. Прекрасная, надо сказать, формула для оправдания собственной, да и всеобщей неумелости. Прекрасная даже в том случае, если бы не отражала столь же объективную реальность, сколь и...

Впрочем, хватит теоретизировать, прекрасно понимаю, что все равно мало кого смогут убедить мои чисто абстрактные и совершенно умозрительные логические построения, потому приведу последний и, на мой взгляд, абсолютно несокрушимый аргумент в пользу полнейшей правдивости и фактической точности Хроники. Если бы я действительно замышлял некий действительный литературный фокус, то просто и откровенно создал бы именно классический студийный текст по общепринятым и вполне исчер-

---

пывающе сформулированным правилам и параметрам на уже упомянутую тему — «Писатели о писателях». О том, что это гораздо проще, чем утомлять себя и читателя изнурительной работой как по созданию, так и по восприятию Хроники, свидетельствует приведенный ниже материал. Надеюсь, ознакомившись с ним, каждый с легкостью поймет принципиальное различие между документом и вымыслом, оставив всяческие сомнения в моей искренности и правдивости. Сначала я даже собирался дать этому упражнению название, ну, что-то типа «И лучше выдумать не мог». Но потом все же устыдился такого, уж слишком явно школярского поведения и привожу вам произведенное в виде чистого, не поименованного примера.

*Фамилия моя Ланской. Смешно. Я писатель. Плохой, но профессиональный. С юности зарабатываю этим на жизнь. К остальному приспособлен еще меньше. Такова первая причина, по которой записываю случившееся на бумаге. Вторая — писание требует времени и до своего завершения не дает возможности впопыхах совершить ошибку. Наконец, упорядоченное и изложенное, возможно, облегчит решение. Последнее, впрочем, маловероятно.*

*Женился я в тридцать два. Жену зовут Татьяной, она на год моложе. Татьяна до меня была замужем и имела пятилетнюю дочь. Прежний муж — Алексей Ильин. Его биография сейчас все более привлекает внимание публики, потому многим*

---

известно, что до Татьяны он женился трижды. Лена Ильина, старшая дочь от второй жены, в этом году заканчивает школу. Родившись шестнадцать лет назад, она стала причиной развода своих родителей. Мать Алексея сказала, что ребенок не от него. Ильину мысль понравилась, и забирать жену из роддома он не приехал. Мне цель матери не совсем понятна до сих пор. Корысть исключается, женатое состояние сына Нину Петровну Ильину, в принципе, устраивало больше, чем холостое. Жена была не хуже любой другой, разве несколько болезненна, но тогда это еще не столь серьезно проявлялось. Скорее всего, причина просто в глупости и вздорности Нины Петровны, порой граничащих с ненормальностью.

Лену Алексей никогда в жизни не видел. Думаю, искренне забыл о ее существовании. Сейчас она красавица с ленивыми движениями. Улучшенный вариант нашей старшей дочери. Когда несколько лет назад, каким-то образом узнав адрес, Лена позвонила в дверь, я с порога узнал несколько безвольную милую улыбку, характерную для всех Ильиных. С тех пор девушка часто бывает у нас. Человек одинокий, много лет ухаживает за практически неподвижной матерью, к сестре своей привязалась быстро и сильно, но в чувствах и поведении предельно тактична и ненавязчива.

Кроме сестер Ильиных в нашей семье имеется еще пятилетняя Маша Ланская. Более детей судьбой мне дано не будет.

---

С Алексеем Ильиным я познакомился раньше, чем Татьяна. Мы с ним одновременно поступили в университет, хотя на разные факультеты. Не понятно, зачем он пошел на истфак, и каким образом его туда приняли. Парень был дремучим на удивление. Впрочем, недоразумение продолжалось недолго. Ильин завалил первую сессию и задержался на факультете только потому, что организовал ансамбль, сразу получивший где-то премию. Но уже к весне не помог и это. Алексея выгнали. Весь тот год с Ильиным мы общались довольно часто. Другьями или даже приятелями не были. Просто в компании первокурсников постоянно ощущался недостаток юношей, особенно гуманитарных. И если состав девушек был не очень стабилен, то мальчишеские лица довольно быстро становились узнаваемы.

Собирались на каких-то странных квартирах, накуривались до тошноты — многим еще родители запрещали курить дома. Пили самое дешевое сухое вино. «Рацители» стоило копейки, у меня с тех пор к нему стойкое отвращение. На издыхающем магнитофоне «Романтик» крутили затертые ленты с Высоцким, половину слов было не разобрать, и очень ценились люди, знавшие текст наизусть. Под гитару пели Окуджаву и русские народные. У некоторых девочек оказались прекрасные голоса. Читали с выражением Пастернака и Евтушенко. Спорили о возможностях машинного перевода. Ребята многозначительно намекали на серьезные отношения с се-

---

рвезными женщинами, в основном ввали, целовались по углам со старающимися казаться предельно раскованными однокурсницами. Удивительное единение стандарта и искренности.

Это сейчас вызывает даже не улыбку, а усмешку. А тогда мы были счастливы. Крайне благожелательны в отношениях и настроены радужно. Каждый считал себя гением и не мог отказать окружающим, по крайней мере, в талантливости. Алексей Ильин привлекал к себе общее внимание. Роскошные кудри, настоящие и очень потертые джинсы, яркие, не всегда приличные надписи на майках. Достаточно обычный набор, но выделялся качеством. Главное, конечно, было в другом. Когда Ильин брал в руки гитару или, еще лучше, садился за фоно, если случайно в очередном месте наших сборищ оказывался инструмент, сразу становился понятен уровень. Хотя непонятно, откуда он взялся, Алексей окончил самую обычную музыкальную школу.

Проводя много времени в одних компаниях, мы с Ильиным практически не общались. Он для меня существовал как приятное звуковое сопровождение, я, думаю, не существовал для него вовсе. Не представляю, о чем бы мы стали говорить, оставшись наедине. Впрочем, не могла прийти в голову и сама мысль об уединении.

Когда Алексея выгнали, я забыл о нем вовсе. Впрочем, первое время среди приятелей еще изредка всплывало его имя, доходили стороной какие-то слухи. Как

---

будто забрали в армию. Как будто комиссовался по болезни. Последнее, что помню, — говорили: поступил в консерваторию. На этом, уже точно, ушел он из моей памяти окончательно. Когда мы встретились с Ильиным почти через пятнадцать лет, я его не узнал. Произошло это случайно, в доме бывшего моего однокурсника. А Ильин узнал меня сразу и, к моему большому удивлению, кажется, даже обрадовался. В тот раз с ним пришла очень красивая и неглупая женщина, старше его лет на пять, как выяснилось впоследствии — известная театральная актриса. Тогда я еще не понял, что встретить Алексея без женщины, и чаще всего красивой, почти невозможно. При этом никто не мог упрекнуть Ильина в распушенности или легкомыслии. Каждый роман его был достаточно серьезным и достаточно длительным. А когда заканчивался, Алексей всячески стремился остаться в хороших отношениях с бывшей подругой и даже с ее новым спутником жизни, если таковой появлялся. Хотел «дружить семьями». Что, впрочем, чаще всего ему не удавалось. Однако не по вине Ильина, Он и к нам, когда стал вхож в дом, чаще заходил не один, а со спутницей — и даже с ее ребенком, при наличии. Но какую-то, видимо, затаивали на него обиду женщины в глубине души и обычно не шли навстречу дружеским устремлениям.

Говорили в тот раз с Ильиным о чем-то незначительном, помню только, что обратил внимание на разительную перемену в его облике. Никакой бо-

---

земности, короткая модельная стрижка, прекрасный строгий костюм, дорогой галстук. При прощании решили как-нибудь увидеться, созвониться, даже, по моему, обменялись телефонами, но осталось все это, естественно, без последствий. Вспомнил я об Алексее нескоро, когда у того же приятеля меня представили высокой мрачноватой женщине по имени Татьяна, а потом тихо пояснили, что это бывшая жена Ильина, от которого у нее ребенок.

История отношений Алексея и Татьяны всегда интересовала меня мало. Обладаю лишь тем минимумом информации, отказываться от которого было бы нарочитым кокетством. Они познакомились после развода Ильина со второй женой. Татьяна была девицей — последствия уникально, даже по тем временам, строгого домашнего воспитания. Вспыхнувшая любовь сломала все преграды. Они вскоре поженились наперекор родителям и переехали в однокомнатную квартиру к Нине Петровне. Вскоре матери Ильина удалось как-то вступить в кооператив на окраине, и молодые зажили совсем хорошо. Года через четыре Татьяна забеременела. Видимо, не в первый раз, но до того, думаю, были сложности, жена в этом отношении человек не очень здоровый, впрочем, бог знает, что на самом деле происходило, только эта беременность получилась единственной полноценной. Можно предполагать, рождение ребенка особенно не входило в планы Ильиных, но в какой-то момент выяснилось: для безопасного аборта все сроки пропущены, что

---

весьма характерно для их стиля жизни и мышления. Пришлось смириться. Появилась на свет Виктория. Безоблачное существование закончилось. Ильин к тому времени стал подающим серьезные надежды молодым композитором. Много писал. Большую часть времени проводил за инструментом и нотной тетрадью, ко всему прочему относился прохладно. Что значит появление новорожденного в однокомнатной квартире, счастливые супруги представляли себе довольно слабо. Оба одинаково слабо. Но реакция на произошедшее получилась у них разная. Татьяна поняла, что отныне придется жить иначе. А Ильин понял, что так ему не жить, а значит, надо что-то делать. Как конкретно он решил проблему, я не интересовался, однако на некоторое время Алексей бесследно исчез. Потом они еще несколько раз сходились, не очень понятно зачем. Через пару лет разбежались окончательно. И к моменту моего знакомства с Татьяной давно не виделись совсем. Ильин занимался творчеством в постоянно спокойной обстановке, создаваемой временными подругами, Татьяна работала, оканчивала заочный институт, растила часто болеющего ребенка и еще умудрялась активно разнообразить свою личную жизнь.

Разнообразие закончилось через год с небольшим после нашей первой встречи. Вскоре родилась Маша. Первое время было не просто, у Татьяны начались осложнения, несколько месяцев она провела в больнице, я слегка замотался, не хватало денег и времени,

---

но, в конце концов, все образовалось. И тут снова возник Ильин. То ли отцовские чувства взвыли, то ли возраст подошел, то ли мысль какая появилась. Мысли у него появлялись по непонятным мне законам и в странной последовательности. Он их сразу безапелляционно формулировал. В данном случае так: «Грудному ребенку нужна только мать, но чем он старше, тем более нуждается в отце». В соответствии с изложенным, когда Вике пошел седьмой год, в нашем доме раздался телефонный звонок, и Ильин попросил свидания с дочерью. Естественно, ему была тут же предоставлена полная свобода. Правда, Татьяна пыталась несколько раз соорудить недовольную физиономию, но мои аргументы в семейных вопросах обычно бывают достаточно убедительными. С тех пор Ильин стал в нашем доме частым гостем.

Любопытно, но он приходил именно в гости и именно к нам всем. То, что мужем Татьяны оказался именно я, не стало, как выяснилось, неожиданностью для Алексея, он давно знал об этом от общих знакомых. И говорил мне потом неоднократно, что обрадовался за свою бывшую супругу, считая меня человеком высоких моральных качеств. Произносилось без тени юмора. Юмор входил в число тех качеств, которыми Ильин не обладал даже в малейшей степени.

Визиты Алексея обычно происходили так. Он звонил и говорил дочери по телефону, что придет часов в пять. В четыре Вика начинала его ждать.

---

Меньше чем на три часа он не опаздывал. Первые минут тридцать самоотверженно посвящал детским играм. Один раз даже попытался показать, как рисуют лошадь. Честно слушал про куклу Катю и мальчишек во дворе. Но быстро уставал, начинал отвечать невпопад, позевывать нервно, обращал в сторону Татьяны взгляд, полный мучительной тоски, и мягко интересовался, не пора ли девочке спать. Обычно оказывалось, что уж готовиться ко сну точно пора, и Ильин быстро чмокал дочь в щеку, резво вскакивал и направлялся на кухню. Пока я грел ужин, а Татьяна укладывала ребенка, Ильин успевал быстро выкурить полпачки сигарет и сделать десяток звонков по телефону. За это время тоска в его глазах успевала исчезнуть, при виде накрытого стола он оживлялся окончательно, приходила жена, и мы рассаживались. Потом Алексей пил чай, очень много, очень крепкий и очень горячий. Я несколько раз кипятил полный чайник, менял заварку. Ильин что-то говорил без перерыва, заканчивались сигареты, он шел к соседям заниматься, возвращался, снова пил чай. Через несколько часов Татьяна не выдерживала и уходила спать с головной болью, а я еще долго перемещался по кухне с чайником и мычал невпопад. Уставал очень.

Жизнь продолжалась. Вика пошла в школу. Кроме того, у нее обнаружили, видимо, в отца, хорошие музыкальные способности, мы взяли серьезных педагогов. Их мнение оказалось столь единодушным, что,

---

при всей осторожности в отношении ранних талантов, я уже через год сменил нашу старую «Лиру» на дорогой немецкий инструмент. Подрастала и Маша. Ее вполне уже можно было оставить дома на старшую сестру, а на Лену и вовсе спокойно. Появились свободные деньги. Не то чтобы я стал намного больше зарабатывать, всегда справлялся с этим неплохо, просто в какой-то момент основные крупные проблемы оказались решены — квартира, мебель, дача, машина. Так что после покупки инструмента ребенку Татьяна твердо заявила: «Все, два-три года гуляем без оглядки!» Меня поначалу удивила определенность срока, но выяснилось, что жена имеет отдаленные планы попробовать родить сына. Я не стал возражать.

Конечно, мы и не пытались одним волевым усилием вернуть юность, это глупо. Но некоторые вольности стали себе позволять. В их число входили не только ужины в «Берлине» или театральные премьеры, но и приличный зимний отдых на горном воздухе, кроме очередного летнего у теплого моря. Во время столь длительных отлучек мы не могли оставить детей только на Лену, да у девушки и не было столько свободного времени. Выручала Нина Петровна. С годами мать Ильина стала спокойнее, даже порой казалось, что умнее. С нашей семьей отношения у нее сложились странные, анализировать их не имеет смысла, но доверить ей посидеть неделю-другую с детьми можно было без всяких проблем.

---

Предлагал свои услуги и Алексей, но тут Татьяна была непреклонна: за пределы дома ребенок Ильину не выдается. Причиной тому служили не какие-то принципиальные соображения, а обычная осторожность. Творческая личность не всегда понимала, зачем девочке на жаре панамы и почему зимой нельзя есть больше трех порций мороженого.

Впрочем, время влияло и на Ильина. Мелькание спутниц жизни слегка замедлилось, появились признаки, что может остановиться. Но главное в другом. Алексей, уже, казалось, задержавшись на стадии молодого и подающего надежды, вдруг быстро начал превращаться в по-прежнему достаточно молодого, однако надежды оправдывающего. Его музыку заиграли лучшие оркестры, появился диск, готовился второй, пошли приглашения из-за границы. Если не сегодня, то завтра фамилия Ильина должна была войти в число известнейших.

Отпраздновав Новый год, мы уехали в Карпаты. Путевку взяли на двадцать дней. Дольше, чем обычно отводили на зимний отдых, но тому имелась причина. Я только что получил очень выгодный заказ от «Детской литературы» на популярную книжку для внеклассного чтения. Чистой воды халтура, но сделать надо было быстро и аккуратно. И я решил совместить приятное с полезным, пусть Татьяна волю надышитесь воздухом, а я смогу в спокойной обстановке изготовить большую часть рукописи. Тем более, что тема примитивная, работы в библио-

---

теке не требующая, вольный пересказ трогательных историй о том, как царское правительство травило великих русских писателей и убивало их, преимущественно посредством дуэлей. Необходимый минимум литературы уместился в сумке. И уже на третий день отдыха, акклиматизировавшись, я сел за стол гостиничного номера в полной уверенности, что без особого труда и в самые сжатые сроки справлюсь с поставленной задачей.

Я ошибся. В первую неделю не написал ни строчки. А далее появились записи, никакого отношения к детской литературе не имеющие. Приведу один из отрывков.

\* \* \*

История последней Пушкинской дуэли неинтересна. Изменила жена, не изменила жена, кто-то с кем-то спал, кому-то только хотелось, уж тут Александру Сергеевичу молчать бы, а не устраивать глупые и шумные истерики, придать которым благородную осмысленность не смогли почти полтора века пушкиноведения. Но вовсе не нужно запутанных интриг, гораздо любопытнее случаи простые, вовсе не имеющие отношения к высоким страстям. Как, например, широко известный факт знакомства Лажечникова с Пушкиным. То есть это сам добрейший Иван Иванович столь торжественно обозначил

---

произошедшее — «Знакомство мое с Пушкиным», а на самом деле история была глупая и не совсем красивая. Но характерная. Недаром и Вересаев использовал, хотя сокращенно, и прочие ссылались. Если же убрать никому реально, кроме лично Лажечникова, неинтересный факт знакомства, которое и знакомством-то можно назвать с величайшей натяжкой, то без сладостного придыхания от одного только звука имени Александра Сергеевича остается примерно следующее. Некий майор Денисевич приехал по делам в Петербург и пошел в театр. О личности самого Денисевича неизвестно почти ничего, что, впрочем, и не важно. Видимо, действительно, не большого ума и образования, а тем более светскости был человек. Однако обратите внимание: майор в возрасте, из какого-то захолустья, на несколько дней попадает в столицу — и не в кабак заваливается, не по девкам норовит, а степеннейшим образом тратит деньги на хорошее место в театре. (Место хорошее — рядом оказался Пушкин, а тот на плохих не сживал.) Лажечников пишет, что пьесу играли «пустую». Но сам он ее не видел, а вывод делает: «Пушкин зевал, шикал, говорил громко: „несносно!“». На самом деле поведение Пушкина в театре не совсем зависело от качества пьесы. Даже ближайший друг Пушкин, хоть и очень по-доброму, а порой жаловался знакомым на шумную и не всегда приличную манеру поэта держать себя во время спектаклей. Однако, скорее всего, пьеса, действительно, не отличалась высокими

---

художественными достоинствами, они редки были в драматическом искусстве того времени. Но что мешало человеку, пресыщенному зрелищами и имевшему возможность выбирать их себе по вкусу хоть каждый день, спокойно уйти из зала и заняться чем-либо другим? Нет, это было бы слишком скучно и обыденно, требовалось еще и себя показать. Какое дело до того, что рядом сидит вульгарный майор и по своей тупой серости искренне хочет не на Пушкина смотреть, а на сцену. Когда один раз этот майор попросил ему не мешать, на него просто не обратили внимания. Блестяще характеризуя самого себя, Лажечников описывает эту сцену: «Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут Денисевич объявил, что попросит полицию вывести его из театра. „Посмотрим“, — отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал повесничать». Иван Иванович пересказывает со слов приятеля и секунданта Пушкина, так что все эти «искоса взглянул» и «отвечал хладнокровно» не из реальности, а из образа. Как еще мог реагировать автор «Руслана и Людмилы» на смешного штаб-офицера?! Тут именно основной смысл — с того момента, как Лажечников узнал Поэта, личности исчезли, остались Высокие Понятия. И бесследно растворился жалкий Денисевич в ослепительном сиянии Гения. На свою беду, сам майор оказался единственным, кто этого не понял. Да к тому же далее он совершил совсем глупый поступок. Надо было бы угрозу

---

свою исполнить и обратиться к полиции. Однажды с Александром Сергеевичем подобное уже происходило: «...Пушкин был в Каменном театре в большом бенеуаре, во время антракту пришел из оногo в креслы и, проходя между рядов кресел, остановился против сидевшего коллежского советника Перевошикова с женою, почему г. Перевошиков просил его проходить далее, но Пушкин, приняв сие за обиду, наделал ему грубости и выбралил его неприличными словами». Коллежский советник Перевошиков мудрствовать не стал, к факту элементарного хулиганства отнесся только так, как нормальный человек и может к нему отнестись в обществе, чувствующем первые, слабые, но признаки цивилизации. Попросил защиты полиции. Петербургский полицмейстер, в свою очередь, сообщил о произошедшем начальнику Пушкина по службе в Иностранной Коллегии. Пушкину сделали выговор, и он обещал более не хулиганить. Что помешало действовать подобным образом и Денисевичу — понять трудно. Может быть, жалоба властям показалась майору слишком серьезным действием в ответ на проявление дурных манер. Но, скорее всего, сыграли свою роль провинциальность и полное незнание обычаев людей, с которыми он столкнулся. «После спектакля Денисевич остановил Пушкина в коридоре. „Молодой человек! — сказал он и вместе с этим поднял свой указательный палец. — Вы мешали мне слушать пьесу... Это неприлично, невежливо“. „Да! Я не старик, — отвечал Пушкин, — но,

---

г. штаб-офицер, еще невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?»»

На следующее утро Пушкин приехал к Лажечникову, у которого остановился Денисевич, и, представив двух своих секундантов, вызвал майора на дуэль. Дальнейшие действия Денисевича трудно назвать достойными хоть в какой-то мере. Сначала он, растерявшись, несет полную чепуху, затем, запуганный видом двух роскошных кавалерийских гвардейских офицеров-секундантов и рассказами Лажечникова о связях Пушкина в самых высоких кругах, извиняется и даже протягивает поэту руку... Естественно, «тот не подал ему своей, сказав тихо: „Извиняю“, — и удалился со своими спутниками...» Полный триумф Александра Сергеевича, которому внутренне аплодирует Иван Иванович.

Но я начинал с того, что личность именно майора Денисевича не важна, и не имеет значения, сумел ли конкретно он повести себя соответствующим обстоятельствам образом. Интересно совсем другое — а какое в принципе поведение в подобной ситуации может считаться нормальным даже для человека с самым рядовым чувством самоуважения? Ведь и Лажечников с подкупающим простодушием признается, что решил приложить все старания для предотвращения дуэли только тогда, когда узнал, что перед ним автор «Руслана и Людмилы». В другом случае, видимо, боевой офицер Лажечников совсем по-другому отреагировал бы на утреннее

---

вторжение в свой дом двадцатилетнего сопляка, пусть и в сопровождении каких угодно гвардейцев. Исходя из этой логики, каждый, с кем скандалил в то время Александр Сергеевич, должен был сначала поинтересоваться: «А не вы ли, милый юноша, пишете такие замечательные стихи?» — и только потом решать, каким образом ответить на открытое хамство.

Естественно, даже совсем беспристрастный читатель, не замирающий в экстазе от одного имени великого поэта, легко уличит меня в смешении временных норм и понятий. Да, в те годы и в тех кругах не всегда носил серьезный и истинно оскорбительный характер сам факт вызова на дуэль. Только что выпущенный из лицея Пушкин, заигравшись на балу, умудрился вызвать на дуэль очень любимого старшего родственника и соседа по имению Павла Исаковича Ганнибала. На что тот ответил веселой шуткой и уже через десять минут они обнимались. И сам Александр Сергеевич, как известно, вызван был по совсем дурному поводу другом своим Кюхлей. Они даже якобы стрелялись, но дело опять же скоро кончилось объятьями. Вот ведь смешная штука, про выстрел Пушкина разные воспоминания, может, его и не было, а про Кюхельбекера мнение единое — стрелял Вильгельм Карлович, стрелял без всякого сомнения, и не в воздух стрелял, а как положено. Впрочем, шансов куда-либо попасть почти слепой Кюхля не имел. Но случайности бывают и более нелепые, а вдруг убил

---

бы Пушкина? Каким бы враз врагом отечественной культуры оказался смелая душа, декабрист и певец свободы! Нет, чепуха, конечно, не убил, и убить не мог, и Пушкин еще тогда толком Пушкиным не стал. А все ж таки, мнится мне, судьба язычок показывала не без злобы. И вот барон Корф чуть было не подставился. Тоже, между прочим, хоть и не столь близкий, как Кюхля, а приятель по лицу и даже на год моложе, а оказался умнее, палкой пьяного пушкинского камердинера проучил, а от дуэли с Александром Сергеевичем отказался: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер». И ничего. Не пострадала баронова репутация, и Пушкин демонстрировать не продолжил, вполне мирные отношения с Модестом Андреевичем сохранил.

Так что, понимаю, совершенной корректностью мои абстрактные логические и нравственные конструкции не отличаются. И все же. Пусть абстракция. Пусть лишенная историчности и правдоподобия. Но ведь было, было: наглый и ошалевший от общего восхищенного попустительства щенок оскорбляет без всяческого повода пусть самого серого и бесталанного, но никак не достойного смерти или позора человека. И бог с ним, с этим щенком, что человеку-то делать? Чувства свои с мировыми культурными ценностями сверять или этого самого человека в себе защищать? И какая тут цена возможная, а какая чрезмерная? «Не потому, что вы

---

Пушкин», — писал Корф. А если «не потому», то зачем писал? Значит, что-то такое уже в воздухе было, значит, некоторые, пусть и не высказанные, но существовали мнения относительно возможного для одних и запретного для прочих?..

\* \* \*

Это был первый случай, когда я не исполнил договора с издательством. Огорчаться, впрочем, не стоило, репутация у меня была человека надежного и аккуратного, срок наверняка продлят, и все окажется в порядке. Возвращались из отпуска домой мы в отличном настроении, и заранее предвкушали радостную встречу с детьми за празднично в таких случаях накрываемым Ниной Петровной столом. Однако нас ждало разочарование. Мать Ильина ждала нас в прихожей с чрезвычайно растерянным и огорченным выражением лица. Из ее не очень внятных объяснений мы поняли, что Алексей под каким-то предлогом, вопреки всем прежним договоренностям, забрал Вику из дома «на часок погулять», и произошло это еще утром, а сейчас ужинать пора, а от них даже телефонного звонка не было. Я, правда, прекрасно зная сложные взаимоотношения Ильина со временем и телефоном, особенно не волновался. Татьяна же, видимо, устав с дороги, отреагировала более нервно, заговорила с Ниной Петровной сквозь зубы и явно

---

жалела, что не может позволить себе в моем присутствии скандала.

Тут появился сияющий Алексей с Викой. Где-то они задержались, извиняются, конечно, но так здорово все получилось... Удивительно, но необыкновенный музыкальный талант Алексей Ильин обладал редкой глухотой и нечувствительностью к эмоциональному фону. Он настроение окружающих его людей не понимал совершенно, и за это даже винить нельзя, тут искренность полная, просто система такая, на себя замкнутая. Как сейчас вижу эту сцену. Понура слоняется между прихожей и ванной Нина Петровна, изображает поиски чего-то, голову втягивает в плечи, бормочет. Притихшая Вика стоит у кухонного окна и внимательно разглядывает шпингалет. Татьяна упорно роется в пустой сумке. Я стерегу чайник и неотрывно наблюдаю его закипание. А Ильин, удобным образом устроившись на табуретке и привалившись спиной к холодильнику, чувствует себя прекрасно, пакет с какими-то Викиными вещами покоится на полу у правой его ноги, к левой прижата трость отличного зонтика, в руках крутится дорогая зажигалка — фигура, полная покоя, жизнерадостности и совершеннейшего лада со всем миром. Ждет от меня чая и говорит. Всегда много говорил, а тут вовсе разошелся, и так громко, так приподнято, так бессвязно... Я поднял глаза. Татьяна медленно закрыла сумку и еще медленней открыла рот. В этот момент засвистел чайник.

---

Возможно, если бы он не засвистел, я бы так не поступил. Или чайник ни при чем. Но я почему-то среагировал именно на него. И первый раз в жизни сделал то, что для Ильина всю жизнь являлось абсолютной нормой. То, что не позволяло мне видеть в нем равного и давало возможность выслушивать любой его бред, наблюдать любые его поступки с умиротворенной улыбкой и ясными добрыми глазами. Я выключил чайник, развернулся и ушел в свою комнату.

Плотно закрыл дверь, поставил кассету в магнитофон, взял книгу и лег с ней на диван. И там лежал и читал эту книгу довольно долго. До тех пор пока не вошла Татьяна и в абсолютно неестественной позе застыла на самой середине ковра.

Странно, что я сразу понял, в чем дело. Хотя, конечно, подробностей еще не знал. Впрочем, много их и не было. Ильин вышел из нашего подъезда (шофер утверждал, что выскочил) и попал под машину. Смерть наступила сразу.

Мне не в чем себя винить. Неизвестно, была ли связана скорость передвижения Ильина с предшествующим скандалом. И связана ли она с наездом. И вообще, была ли какая-то необычная скорость. Свидетелей не оказалось, шофер мог все выдумать. Меньше года за рулем. Да и сам Ильин всегда отличался рассеянностью, с ним постоянно происходили неприятности на улице, пронесило по счастливой случайности.

---

Ко мне может иметь отношение единственный вариант: Татьяна устроила Ильину скандал, он разволновался, по этой причине слишком быстро выбежал из подъезда и не обратил внимания на грузовик. Сидел на моей кухне человек, смотрел на меня с полным доверием и ждал, пока я ему чая налью. Я же чая ему не налил и ушел. Человек через несколько минут погиб.

Привычней и проще мне было не уходить. Повести себя как обычно. Отправить Вику с бабушкой погулять, Татьяну в комнату, поставить перед Ильиным кипятилок и заварку. Потихоньку, между монологами Алексея и походами к жене с таблетками от головной боли, приготовить ужин. Собрать за ним притихшую компанию. Потом отключиться. А я ушел сразу.

Мне не в чем себя винить. Не уверен, что к понятию вины можно отнести мое знание о смерти Алексея еще до того, как Татьяна произнесла первое слово. Но если даже можно, то и тогда возникают два вопроса. Так ли уж я не любил Ильина? Мешал ли он мне жить?

Ильина я не любил. И жить он мне мешал. Я старался быть объективным и за притворной бесстрастностью не прятать свое к нему отношение. Да, был чужд, часто навязчив, неприятен, наконец. Других представлений о нравственности и элементарной порядочности. И попросту неинтересен. Глуп. Возможно, это не так. Но для меня глуп без сомнения.

---

И этот человек имел права в моем доме. В доме, который был только моим. И который достался мне не так, как все в этом мире доставалось Ильину. Имел права абсолютные, никак им не заслуженные, но бесспорные. Правда, бесспорные только для меня. И только я был гарантом всех этих его прав. Только я мог их защитить в моем доме и всегда защищал. А один раз не стал. Повернулся и ушел в свою комнату.

Перед Ильиным я не виноват ни в чем. Если и изменил принципам, то своим, а не его. Он бы как раз меня понял. Он, думаю, и понял. Может быть, единственный раз в жизни. Получилось, что последний.

Ильина я не любил. И жить он мне мешал. Чем больше я его не любил, чем больше он мне мешал, тем больше мог рассчитывать на меня в любой ситуации. В любой действительно серьезной. И не потому, что я особого рода праведник. И ничем я ему не был обязан. И не за талант его необыкновенный, до которого нет мне никакого дела. И не за то, что одна из моих дочерей рождена от него. Это труда ему не составило. И не за то, что любила когда-то его Татьяна. Не было в том для них большой радости.

Я не праведник. Если бы Ильин решил настаивать, да что там настаивать, если бы у него хоть тень мысли появилась о каких-то своих правах в моем доме... Он мог плутовать, завираться, нести чепуху, делать любые глупости. Но он был просителем. Всег-

---

да. И тогда на кухне, когда ждал чая. Имел право на ту чашку именно потому, что даже не удивился, так ее и не получив. Как должное воспринял. Он. Не я.

Последовавшие за смертью Алексея Ильина события достаточно хорошо известны. Грань между популярностью и славой, к которой композитор подошел вплотную, сразу после его безвременной кончины оказалась стертой мгновенно. Уже через год вышла из печати первая монография о творчестве. Нас постоянно осаждали журналисты, музыкальные деятели, члены комиссии по творческому наследию и просто не очень нормальные меломаны. Более всего, естественно, досталось единственной наследнице (о существовании Лены тогда никто не знал). Наследнице, как выяснилось, не только формальной, но и духовной. Вика считалась в своей музыкальной школе из самых одаренных. К тому же пыталась что-то сочинять. Люди понимающие относились не без благожелательности. Правда, Ильин вряд ли даже знал об этом. В общении с Викой он старался избегать музыкальных тем. Казалось, они ему неприятны. Девочка чувствовала, не навязывалась. Ограничивалась краткими сообщениями о школьных успехах и новых выученных произведениях. А тут она стала дочерью «самого» Ильина. У нее брали интервью. Каждый лист с нотными знаками выхватывали из рук азартно и нетерпеливо. Было организовано несколько выступлений с собственными произведениями в сборных концертах. Пошли разговоры о более серьезных

---

планах. Ребенку нет еще двенадцати лет. Даже обладай она блестящим холодным умом, то и тогда к ее стойкости в этом возрасте трудно было бы предъявлять претензии. Холодным и блестящим умом Вика не обладала. Как и ангельским характером. Все происходившее не делало его лучше. При этом в печати Татьяну часто называли «вдовой композитора». На меня постоянно снующие по дому люди смотрели как на досадную помеху. Нина Петровна стала совсем плоха, и психически, и физически. Пришлось взять ее к себе. Отходили с большим трудом. Тут еще у Маши началась какая-то нескончаемая дизентерия. Кончались деньги. Я никак не мог взяться за книгу для «Детской литературы». Более того. Отрывочные и совсем ни для чего не нужные мне записи, начатые еще в Карпатах, отнимали время и мешали работать. Алый гусарский ментик в глупой позолоте шнуров становился раздражающим наваждением.

\* \* \*

Он дождался своего часа. Не формулировал это. Не был подлецом. Очень любил Пушкина. Но все уже не имело значения. Он дождался своего часа. Потом будет оправдываться. Явной отпиской перед теми, кого не уважал: «Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке... Некоторые из моих знакомых привезли ее и ко мне, обезображен-

---

ную разными прибавлениями...» Чепуха. И простуда уже прошла, и при чем тут простуда, и какие могут быть прибавления, если человек жив и, по мнению темной тогдашней медицины, вполне может выкарабкаться. Ну, пусть еще 27-го, в самом деле, слухи и нелепица. 28-го-то сколько народу у Пушкиных перебивало. И целый день этот, и больше половины следующего никакая болезнь не мешала узнать: жив еще, жив, мучается, умирает, вот на мгновение появилась надежда, вот уже нет ее, точно умрет, но пока-то жив!

Пушкин скончался 29-го, около трех часов полудни. К этому времени Петербург был завален «Смертью Поэта». «Стихи Лермонтова... переписывались в десятках тысяч экземпляров и выучивались наизусть всеми». Преувеличил, думаю, несколько Панаев. Десятки тысяч по тем временам вряд ли. Но дело не в количестве. Тем днем имя «мало кому известного гусарского офицера с непрестижной фамилией» вошло в русскую литературу. Вместе с «энергической одой». Она нужна была сегодня. И потому была написана еще вчера.

Он дождался своего часа. Избалованный бабкой, да и другими родственницами женского полу, юнец обладал удивительной интуицией и редкой, совсем не артистической расчетливостью. Да и не был таким уж юнцом, тогдашние двадцатитрехлетние офицеры детьми не считались. Впрочем, не был и офицером. Как до того не был ни студентом, ни гимназистом.

---

Он всегда был великим писателем и всегда понимал основное: чтобы стать классиком, мало написать классические произведения. Надо, чтобы они стали необходимы читателю именно как классика. 29-го января 1837 года это произошло. Михаил Юрьевич Лермонтов стал наследником Александра Сергеевича Пушкина. Дело оставалось за малым. За теми самыми классическими произведениями. А вот их не было.

Сам прекрасно понимал, что стихотворение получилось пустой. Хотя и «энергический». Одно только «свинцом в груди» чего стоило. Сразу, понятно, мог не знать, что «венец» этот или «винцо» не в груди вовсе, а в животе, но определил-то ведь сразу, потому как значения не имело: по благородству образа должно быть в груди, пусть там и будет. И пустословие, пустословие — «светоч», «дивный гений», «торжественный венок». Потом вовсе понесло. Если «подобный сотням беглецов», то при чем здесь «на ловлю счастья и чинов»? Ведь беглецы не за чем-то бегут, а от чего-то, и тогда грешно их в этом упрекать. А когда «на ловлю», то не беглецы вовсе, а ловцы, но почему тогда «по воле рока», что року, больше делать нечего, как только ловцов чинов куда-то «забрасывать»? Дальше — больше. «Неведомого, но милого» (?) певца приплел для красоты слога, срифмовал «простодушный» и «душный», придумал странные манипуляции с переодеванием и украшением венка (того, что в груди-животе, или того, что увял?), наконец, пожаловался, что «приют певца

---

угрюм и тесен», будто у всех прочих могила весела и просторна. И все же в главном был прав: значения все это, действительно, не имело. Были бы стихи еще хуже или, наоборот, шедевром уровня лучших пушкинских, ничего бы не изменилось. Речь шла вовсе о другом, и лучшие всех это понимал великий писатель.

Впрочем, чувствовалась незавершенность, и через несколько дней Лермонтов ее устранил совсем нелепыми последними шестнадцатью строчками. Нелепыми настолько, что многие достаточно проницательные люди заподозрили в сочинительстве их какого-то другого автора. Даже демократичнейший Александр Иванович Тургенев не мог поверить, что «никому не родня» (хотя и некоторая натяжка Сологуба) станет так яростно защищать «обиженные рода». Да и не было у него никакой дворянской идеи, даже надуманной, он на Николенку Столыпина разозлился, вот и ответил «по причине болезнью раздраженных нервов». А чего злиться-то, Столыпин высказал мысль пусть и банальную, но именно из-за банальности спорить с ней на логическом уровне трудно: «Напрасно Мишель, апофеозировав поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после того, что было между ними, не мог не стреляться...» И вот тут именно, Николенке, а не в последовавших «известной подлостью прославленных отцов», Михаил Юрьевич в запале и проговорился: всякий русский человек из любви к славе России —

---

какую бы обиду ни нанес ему Пушкин — не поднял бы на него руку... снес бы...

Хотя тоже не до конца искренне. Этот тон намек национального чужда был Лермонтову совершенно и не меньше, чем обида за поруганную честь старинных дворянских родов. Тут про славу России, и про то, что Дантес не русский, исключительно для маскировки, чтобы какие-то слова были из словаря собеседников. Потому как совсем четко выраженную мысль Мишеля Николенка не понял бы, несмотря на изумительную ее простоту: если ты Пушкин, тебе можно все, на прочих наплевать.

Но у классика по-прежнему не было классики. Он имел вкус, он знал цену. Писал много, как будто успешно. Но прекрасно видел — это так, для сносок и комментариев, для академического полного собрания сочинений, сплошная имитация, посмотреть — шесть солиднейших томов, а реально в самом толстом из них, на девятьсот страниц, при большой натяжке, без разбора ценности, страниц триста пятьдесят собственно произведений еле наберется. И вдруг на пути, на какой-то совсем короткой остановке, под муторную дробь осеннего дождя, написало просто и скучно: «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России...»

Он имел вкус, он знал цену. Сомнений не оставалось — теперь было все. И история с Барантом уж слишком хорошо укладывалась в схему, и нельзя не проверить: Пушкин ты уже, наконец, или не сов-

---

сем еще. Повод значения не имел, какой повод, там посланник — и тут посланник, там сынок — и тут сынок. Имелась, правда, некоторая неувязка. Уж очень Амабль-Гийом-Проспер-Брюжьер барон де Барант не походил на того, другого барона. Сам я не читал, и что французы академиком сделали, ничего не значит, но вот Щеголев о писательском таланте Баранта отзывался с огромным уважением, а Щеголев тут кривить душой не будет, толк знал. Тот же Тургенев Александр Иванович дружил с Барантом и ценил его, и недоразумение между французским посланником и Лермонтовым улаживал по поэтическому поводу. И уладил — пригласили поручика на бал в посольство. А уж Эрнест вовсе жоржевыми пакостями не отличался, в семью не лез и единственное имел вместе с папой скромное желание занять место второго советника в родительской конторе. Но всякие там «авантюристы дантесы и баранты» были соединены фразой, и потому дипломатическому отпрыску выбора не предоставлялось. Неважно, что бабка еле отмолила ссылку, из-под Новгорода умудрилась вытащить, самого Бенкендорфа как-то уломала просить государя о зачислении в лейб-гвардии гусары, очередной чин только присвоили...

Им обоим хотелось драться, как повеситься. «Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз напал вяло, я не напал, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился — так продолжа-

---

лось минут десять». Наконец Эрнест сделал выпад, слегка нацарапал грудь М. Ю., тот не очень ловко ответил, обломил обо что-то концы рапиры, плюнули на это дело, решили перейти на пистолеты.

Эрнест Барант потом обиделся, что Лермонтов сказал про выстрел в воздух. Мог, конечно, и не говорить, но после дуэлей тогда все оправдывались и часто ввали. Лермонтов не соврал. Зачем ему было в Баранта стрелять, ведь так и попасть ненароком можно. А он не то что убивать, он вовсе никакого зла «авантюристу» не желал. Тут проверка была: «поднимут ли руку... снесут ли?..» Не снесли. Подняли. Ладно. Не поняли еще. Поймут.

Это мое такое мнение. Уверенность. Но другие иначе думали. Хотя даже близкие и любящие люди раздражены были дурацким поведением. И высказывали предположения: то ли Мишель специально на Кавказ рвется за новыми художественными впечатлениями, то ли таким образом от Марго Алексеевны Щербатовой убегает, а умный Белинский вовсе просто определил: «Душа его жаждет впечатлений». Мол, заскучал Лермонтов в Петербурге, захотел «маленького движения в однообразной жизни» и привязался к Баранту, чтобы получить это движение. То есть и современниками, и лермонтоведением дальнейшим все возможные причины и последствия дуэли обсуждены и проанализированы оказались в мельчайших подробностях. Вот одна только суцая чепуха внимания всеобщего как-то избежала. Судьба

---

семейства Барантов. А судьбу эту, между тем, поломали основательно и беспричинно.

Мартышка попался под руку и вовсе случайно. Они ведь, действительно, приятелями были. Ну, может, не очень близкими, и не полное равенство чувствовалось в том приятельстве. Однако общались давно и постоянно не только как однокашники. В той не очень понятной и не совсем красивой истории с пропавшими письмами мамаша Мартынова заподозрила Мишеля, возможно, не без причины, еще и вложенные триста рублей припелелись, однако у самого Николая Соломоновича и тени сомнения не возникло: «Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил; но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письмо, также пропали; но он, само собой разумеется, отдал мне свои...» Само собой разумеется. И матушку, видать, вразумил, коль Михаил Юрьевич остался вхож в дом без недоразумений и ограничений. Да что там говорить, если первое, сказанное только что проехавшим сорок верст и промокившим до костей Лермонтовым Алексею Столыпину в Пятигорске, было: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. (У вспоминавшего офицера нет после этой фразы восклицательного знака, но по ритмике фразы он явно чувствуется.) Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним». Было 13 мая. Оставалось два месяца и два дня до смерти.

Травил он Мартышку? Конечно, травил. Не очень, скорее всего, и злобно, даже не очень остроум-

---

но. Известные эпиграммы, они вовсе не эпиграммы, а обычные экспромты при карточном столе, скорее с доброй улыбкой и чуть комплиментарные. Чего же Соломонович так выверился? По реконструкции сцены дуэли А. Я. Булгаковым прямо-таки чудовище какое-то Мартынов: «Он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему и выстрелить ему прямо в сердце». И все только из-за фразы на вечере у Верзилиных? Смешно. Но из-за фразы. Хоть по-французски она и звучала складно. Почти милый почти стишок.

Некоторые считают свидетельство Эмилии Александровны Шан-Гирей (которую иногда ошибочно называют урожденной Верзилиной, хотя она была падчерицей генерала и в девичестве носила фамилию Клингенберг) не совсем заслуживающим доверия, на самом деле только она одна из всех участников событий и не имела оснований врать. И уж во всяком случае — выгораживать Мартынова. Особенно после смерти Лермонтова. Выйдя замуж за его троюродного брата и ближайшего друга. Создав в своей семье чуть не культ памяти великого поэта. Если что и могла смягчить, так только резкость Михаила Юрьевича. Думаю, и того не сделала — слишком все просто произошло. «...Собралось к нам несколько девиц и мужчин... М. Ю. дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин... и принялись они вдвоем острить свой язык... Ничего злого

---

особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его... „*montagnard au grand roignard*“ („горцем с большим кинжалом“)..  
Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово „*roignard*“ („кинжал“) разнеслось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: „Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах“, — и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову. А на мое замечание: „Язык мой — враг мой“, — Михаил Юрьевич отвечал спокойно: „*Se n'est rien; demain nous serons bons amis*“ («Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями»).. После уже рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: „Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?“ Мартынов ответил решительно: „Да“, — и тут же назначили день».

Тут один нюанс опускается обычно, который, кстати, сама Эмилия Александровна, по невинности девушек той поры, могла и не знать. Кроме указания на действительно большой кинжал Мартынова, слово, хоть и произнесенное по-французски, на Кавказе имеет (и тогда имело, я выяснял) дополнительное,

---

не совсем приличное значение. Так что вовсе не удивительно, что, когда оно прозвучало с явной адресацией во внезапно наступившей тишине, Мартынов побледнел. Понятно, он не стал бы закусывать губы, услышав в подобной ситуации слово «пуговица», даже если бы усмотрел в нем намек на какую-то деталь своего туалета. Но и при том голос его остался «весьма сдержанный», а уж сама фраза никак не может казаться вызывающей. Кстати, потом, описывая обстоятельства ссоры, многие перетолковывали диалог Лермонтова и Мартынова — кто же кого более поставил в безвыходное положение? Но свидетелей того разговора на выходе из дома не было. Мартынов же лицо заинтересованное. А вот то, что многие слышали, никак не бретерская придирка. «Сколько раз просил я вас...» Ну, не был «кинжал» единственным, явно достал Михаил Юрьевич Николая Соломоновича. И о чем тот просил-то. Всего лишь «оставить свои шутки при дамах». Откровенное: мол, Мишель, мало мы вдвоем или в мужских компаниях времени проводим, разве я там когда обижался, а при бабах зачем издеваться? Тут мысль и тон для их отношений простейшие. Совершенно понятно, что и за дверь без посторонних именно об этом приятелю и говорил. Но был послан.

Не по злобе. Повторю. Не хотел он ничьей крови. И меньше всего Мартышкиной. Относился к нему, по-своему, очень хорошо, почти ласково. Но Лермонтов все же был Лермонтовым (не «вторым

---

Пушкиным» уже, после «Героя...» Лермонтова стало достаточно, он знал цену), а Мартышка был Мартышкой, никак нельзя, получалось, его не послать. И искреннейше наверняка Михаил Юрьевич удивился, когда Мартышка взбеленился.

Конечно, любим способом выразить своему приятелю, ну, пусть в тот момент не совсем приятелю, обиду или неудовольствие — это одно, убить его — совсем другое. Тут, на самом деле, Мартынов большой засранец. Хотя «зверство поступка» его обычно несколько преувеличивают. Вообще, история довольно темная, даже если не касаться совсем фантастических домыслов, которыми она обросла за полтора года лет пристрастных исследований. До конца неизвестно даже, кто у кого был секундантом. Вполне возможно, что Столыпин с Трубецким действительно опоздали и выстрела не видели. Начался сильнейший ливень, гром, молния, рядом храпят и рвутся с привязи напуганные кони... И честные свидетели могли запутаться в показаниях, а где их взять, честных-то? Даже обвинять особо некого, последуэльное вранье считалось нормой, слишком серьезными могли быть последствия. Однако несколько есть фактов никем не оспариваемых. Барьер поставили на пятнадцать шагов (крупных, гвардейских, никак не меньше пятнадцати метров). Сходились к барьеру с расстояния в десять шагов. Каждый имел право на три выстрела и на вызов отстрелявшегося противника к барьеру. Пистолеты использовали

---

системы Кухенройтера, «дальнобойные, крупнокалиберные, дуэльные... с кремнево-ударными запалами и нарезным стволом». Это были всё те же принадлежавшие Столыпину «кухенройтеры», на которых Лермонтов уже стрелялся с Барантом. Если принять версию, что Лермонтов стрелял в воздух или «в сторону», то Барант стрелял в Лермонтова и благополучно промахнулся при совершенно спокойной погоде, без ливня, грома, молнии и храпящих коней. Если же отбросить все грозные слова о крупнокалиберности и дальнобойности (кстати, крупнокалиберность только уменьшала начальную скорость пули), остается реальная и главная характеристика «кухенройтера» — он кремневый. «Кремнево-ударный механизм» (или проще — «замок»), изобретенный еще в первой половине XVII века и не претерпевший с тех пор практически никаких принципиальных изменений, действовал следующим образом: «курок вращается с осью, проходящей через замочную доску; между губками курса защемлен кремень; на одной оси с курком, но по другую сторону доски заклинена ладыжка, которая таким образом вращается вместе с курком; в вырез ладыжки упирается длинное перо боевой двуперой пружины, короткое перо которой прикреплено к доске. При взводе курка назад боевая пружина сжимается — взводится и стремится опрокинуть курок вперед, приближая кремень к огниву... Чтобы спустить курок, надо нажать на хвост спуска, вращающегося на оси, — тогда последний,

---

надавливая на крючок, выведет конец его из взвода ладыжки; курок, ничем не удерживаемый, падает... и ударяет кремнем по стальному огниву, служащему продолжением крышки, прикрывающей полку с порохом; крышка открывается, вращаясь на оси, — искры воспламеняют порох на полке и через затравку передают огонь заряду».

Теперь тот, кто считает пятнадцать (пусть даже десять, хотя до минимального расстояния крайне редко сходились и в гораздо менее нервных ситуациях) метров маленьким расстоянием, пусть пойдет в тир, возьмет современный спортивный пистолет и попробует (держа его одной рукой, а не в нынешней обезьяньей полицейской стойке) хотя бы просто попасть по мишени. Можно возразить, что стрелялись все-таки боевые офицеры, привычные к оружию. Так вот, ни в бою, ни в военной школе, где они оба обучались, этими тяжеленными кремневыми дурами никто никогда не пользовался. И уж во всяком случае, в конкретных обстоятельствах дуэли на склоне горы Машук вряд ли можно говорить, кто куда точно стрелял, разве что в каком направлении. Естественно, о том, чтобы «подойти к самому противнику своему и выстрелить ему прямо в сердце» и речь не идет. Да и не попала пуля в сердце, ударилась в правый бок на уровне кармана ниже последнего ребра. Что-то ей там помешало, ушла вверх, пробила оба легких... Масса догадок и предположений, но они значение, правда, имеют лишь теоретическое — не

---

надо, ох не надо было Мартышке стрелять в сторону Лермонтова, любое оружие, даже кремневое, штука опасная, сам-то Михаил Юрьевич прекрасно это знал, он никого не хотел убивать. Он никогда никого не хотел убивать. Он только хотел пошутить. И совсем не мог допустить, чтобы Мартышка смел указывать, где и когда шутить. Потому, как всякий человек, из любви к славе России, какую бы обиду ни нанес ему Лермонтов, — не поднял бы на него руку... снес бы...

Между тем Лермонтов, скорее всего, действительно, в Мартынова не стрелял. Даже в его сторону не стрелял. А Мартынов Лермонтова убил. За шутку убил. И шутника друзья с большим трудом, за взятку, похоронили в кладбищенской ограде. Но «погребение пето не было». Убийцу через тридцать пять лет благороднейшим образом отпели. В конце века князь Д. Д. Оболенский считал установленным, что Николай Соломонович вовсе не умел стрелять из пистолета. Что ж, вполне возможно.

\* \* \*

Пошел второй год со смерти Алексея Ильина. Жизнь наша стала понемногу приходить в норму. Видимо, справились. Начал спадать и шум вокруг имени покойного великого композитора. То есть получалось, что как бы и не совсем уже великого. Я поначалу не

---

мог понять какого-то нового оттенка в околomuзыкальных разговорах, невольным слушателем которых последнее время оказывался. Произведения Ильина по-прежнему исполнялись самыми серьезными оркестрами, была пресса, были сопутствующие каждой настоящей славе слухи. Но ритм всего происходящего недоуменно замедлялся. И дело не в том, что прошло восхищение от открытия нового имени, совпавшего с трагической гибелью человека. Чувствовалась нота некоего разочарования, для меня, профана, загадочная. Добрые люди разъяснили. Понять я смог следующее. Большая часть созданного Ильиным, как известного при жизни, так и найденного после смерти в рукописях, — это очень талантливо, почти на грани гениальности, но всего лишь пролог. А истинное, настоящее, завершенное... Поначалу, в момент всеобщей ажиотации, казалось, что и оно тут есть, надо только разобраться, вчитаться, выграться, вслушаться. И найдется. Не нашлось. Возможно, не случись столь громких восторгов, и так были бы благодарны, пусть хоть и пролог, но ведь блистательный! А тут заскучали. Меня даже в какой-то момент зло взяло. Как дети, право. Подарок под елкой оказался не столь роскошным, как ожидалось.

Впрочем, само наступающее спокойствие меня вполне устраивало. Прочих членов семьи тоже. Всех, кроме, пожалуй, Вики. Снова стать одной из первых в своей музыкальной школе, первых, но «одной из», оказалось не так просто для «дочки самого Ильина».

---

И хотя до этого еще не дошло, но намек появился. Девочка занервничала. Но это не страшно. Моя дочь справится со своими нервами.

Вечером первого сентября после долгого перерыва собрались за праздничным столом все члены семьи. Мы отмечали одновременно несколько радостных событий. Неожиданно приличную кардиограмму Нины Петровны. Поступление Лены в университет. Начало седьмого класса у Вики. Маша тоже поступила — в подготовительную группу музыкальной школы. Не столь престижной, как Викина, способности другие, но все равно приятно. Хорошо посидели, потом девочки к инструменту пошли, бренчат что-то, мурлычут. Лена рядом, вполуха младших слушает, недавно купленный мною альбом с малыши голландцами перелистывает. Татьяна с Ниной Петровной в углу вязание обсуждают. Я в кресле устроился, рюмку коньяку налил, грею. Идиллия. Приятные мысли, планы... Пора еще одного рожать. Мальчишку. Девочка — тоже хорошо. Жалко, Лену поздно узнал. Данные у нее, возможно, не меньше Викиных, просто не занимался ею никто толком. Ничего, и с филфаком не пропадет, поможем. И Машку на тот год в школу к Вике переведем. Бог с ними, с талантами: конечно, музыкантом младшая не станет, пусть хоть сумеет в тот мир войти на равных. Она сумеет. Эмоций не много, но в остальном все в порядке. Так что поначалу мы и без гениальности продержимся. Потом посмотрим. Станут дочери вместе по утрам спешить,

---

портфели утрамбовывать. И, возможно, Вика уже совсем перестанет быть к тому времени наследницей великого имени. Она, конечно, и так сестры не застесняется, но все же лучше... Короче, совсем пора еще одного рожать... С тем моим сладостным настроением милейший вечерок и кончился. А утром я нашел пакет.

Утро оказалось свободным, и я взялся за разборку антресолей. За последний год руки до них не доходили, оттуда постоянно всякие предметы вываливались на голову. Вот и решил, наконец, навести порядок. С некоторым даже символическим смыслом приступил к делу. В знак начала обретения спокойствия. И сразу же получил. Пакет этот стоял почти у края. И я его почему-то мгновенно узнал. Хотя видел всего несколько минут. В тот вечер Ильин принес в нем Викины игрушки. Выскакивая из квартиры, забыл, видимо, пакет разобрать, а Татьяна, в раздражении, зашвырнула его тут же наверх. Я достал куклу без ноги, потрепанную книжку, смятый бант. Затем вытащил толстую картонную папку. За ней еще одну. Внутри ноты.

Спешить не хотелось. То есть поначалу ничего не хотелось, кроме как засунуть все обратно, закрыть дверцы поплотнее и забыть о находке навсегда. Но поступок подобного рода дано было совершить мне в жизни, видимо, единственный раз. Однако для принятия какого-то решения — вернее, нет, о решении тогда я еще не думал, только для постановки за-

---

дачи в окончательном виде — мне требовалось еще кое-что уточнить. Потому пакет с содержимым я действительно спрятал поглубже, а из одной папки предварительно вытащил пару десятков листов. Помял их слегка и отнес полужнакомому старичку-дирижеру, чьи координаты сохранились у меня с тех пор, когда дом был почти каждый день полон взволнованной музыкальной общественности. Вот, говорю, завалюсь у нас среди дочкиных нотных тетрадей, посмотрите, может, что интересное? Он взял так небрежно, оставьте, мол, позвоню как-нибудь на неделе. Часа через три прибежал сам и начал орать с порога: «Это же Ильин! И где вы нашли, и где остальное?!» Ничего, отвечаю, там больше не было, а что вы, собственно так волнуетесь, насчет Ильина я и сам догадался. Старик впал в истерику: «Вы не понимаете всего значения произошедшего! Необходимо найти остальное, это то самое... мы знали, мы ждали...» Как мог, успокоил человека, судьба, мол, ничего не поделаешь, хорошо хоть что-то осталось, а с другой стороны... Только, по-моему, я его не совсем убедил. Посмотрел на меня почему-то с большой злобой и удалился по произнесении краткой, энергичной и крайне путаной речи. Ее смысл сводился к тому, что некоторым темным людям не дано понять значение утраченного для мировой культуры. Листов, однако, старик не отдал. Впрочем, я их и не требовал. Не до того было. Мне как-то сразу стало много не до чего. Пришло время принимать решение.

---

Бог поступил со мной не очень справедливо, наделив слухом, поманив сопричастностью, но лишив возможности воспроизведения. Во всем.

Бог поступил со мной справедливо. Есть счастливицы, способные творить и осознавать содеянное. Глухие творцы счастливы меньше, но не подозревают об этом. Совсем легко большинству. Оно вне театра. Я сам виновен в том, что избрал профессией бездарное лицедейство.

Бог поступил со мной справедливо. Он ничего меня не лишил. У меня есть дети. Это все, но это много. Это очень много. Но это все.

Если имело хоть какой-то смысл писать то, что я пишу сейчас, то начинать следовало сразу после ухода старого дирижера. Я чувствовал — следует спешить, — и сел за стол, и который уже раз, обманывая себя, как бы от нечего делать, принялся перелистывать и перекладывать с места на место валяющиеся всюду страницы с редкими кривыми строчками и по-детски примитивно намалеванными силуэтами старых дуэльных пистолетов.

\* \* \*

И все-таки уж очень мелкие, незначительные попадались противники нашим гениальным дуэлянтам. То есть тогда еще могли ставить рядом фамилии Баранта и Лермонтова, имелись даже невежды,

---

способные посчитать первую фамилию не то что не хуже, а чуть ли не лучше второй. Но нам теперь, естественно, ясно, сколь нелепой могла быть претензия всяких авантюристов — не на равенство, о нем смешно говорить, — на любое сравнение. И если вообще теоретически попытаться подыскать кого в достойные соперники, скоро взгляд устанет блуждать по равнине и опустится безнадежно. Только от безнадежности этой приходят на ум фантастические, пугливые мысли: а не могли Пушкин с Лермонтовым оказаться у барьера друг против друга?

Полный бред, Михаил Юрьевич сам все предельно четко сформулировал: «каждый русский... какую бы обиду... снес бы...» Если и возможны были отношения, то лишь полные уважения и любви. Конечно, бред. Подобный бред уже один раз подробнейшим образом описан. Дружили два товарища, один из них, кстати, поэт, и как будто не совсем бесталанный. Тоже вполне уважительно и даже любовно друг к другу относились. И вот младший, который поэт, пригласяет старшего на именины сестры своей невесты. Старший находится в меланхолии и пытается отказать под предлогом, что съедется, видать, куча народу и всякого сброда. Поэт же уверяет, будто соберутся исключительно семейным кругом. Старший соглашается, а когда приезжает на праздник, то видит и народу, и сброду в самом деле сверх меры. Уж был сердит. А тут еще траги-нервическое явление со стороны сестры невесты поэта, которой, кажет-

---

ся, все было объяснено предельно четко... Окончание истории всем известно. Кстати, стрелялись тоже примерно с лермонтовской дистанции, сходитья начали с тридцати двух шагов, каждый сделал по девять, то есть как раз метров четырнадцать-пятнадцать между ними оставалось. Почти такие же кремневые пистолеты, хоть и другой марки. Ну, предположим, помириться мешал ложный стыд. А в воздух выстрелить могли? Могли. Но один не стал, и второй как будто не собирался. Причины ни они, ни сам Пушкин так и не поняли.

И все же то люди, хоть не совсем заурядные, но не гениальные же, гениальные меж собой столь дурацкого повода ссоры не допустили бы. А вот еще была история с поводом как будто и не совсем дурацким. И она в литературном произведении отражена, но давайте вспомним не «Княгиню Лиговскую», а реальные обстоятельства. Ближайшим дружкой считал Алексис Лопухин Мишеля Лермонтова, что не помешало ему влюбиться и даже сделать предложение Катиши Сушковой, хоть у нее в свое время сильная и по внешности взаимная привязанность с Мишелем замечалась, но с того времени, правда, уже четыре года минуло. Узнает Мишель окольными путями о пока еще скрываемых матримониальных планах приятеля и решает, что Катиши красавица, но по моральным ее качествам никак нельзя Сушкову в милое Лермонтову семейство Лопухиных хозяйкой пускать. Лермонтов встречается с Екатериной Александровной,

---

начинает активно ухаживать, затем компрометирует ее, делает невозможным брак с Лопухиным, а после, видя, что зашел слишком далеко, сам на себя пишет анонимное письмо и так все организует, чтобы оно втайне от Катиши попало к ее тетке. Добивается, ему отказывают от дома Сушковых без видимых причин. Мишель чист и свободен. Технология подробнее описана им самим в письме к Александре Верецагиной.

Возможно, мисс Блэк-айз и не была лучшей парой для Алексиса. Кое-кто и кроме Лермонтова так считал. Примерно такое же количество кое-кого считало, что Наталья Николаевна не пара Александру Сергеевичу. Как бы, интересно, сам Александр Сергеевич поступил, если бы и лучший приятель из добрейших побуждений попытался подобным образом оградить его от брака? Если бы даже приятель к этому времени уже успел написать «Героя нашего времени»? То есть, вообще, вспомнил бы Пушкин в такой ситуации, что написал приятель, кроме письма Александре Верецагиной, попади оно Александру Сергеевичу в руки (а тогда часто чужие письма в посторонние руки попадали)? Снес бы? А Мишель снес бы ответную реакцию?

Любая сослагательность смешна и некорректна. Пушкин это наше все. Мне не приходится сомневаться, раз так считали люди, авторитет которых для меня незыблем. Гениальность признаю. Стихи читаю крайне редко. С Лермонтовым прощаю. Его роман

---

многие годы был моей настольной книгой. (Стихов не читаю вообще.) И все же не зачарован обоими, а здесь тот случай, когда именно беспристрастность оборачивается крайней необъективностью, так как имеется опасность сместить истинную шкалу ценностей.

Что ж, если только безоглядное восхищение может дать право на оценку, у меня не остается другого выхода — еще один Александр Сергеевич направляется к барьеру. Ничего не было решено. До пушкинской дуэли долгие девятнадцать лет...

Под видом жития Тынянов написал изумительный роман, ровно никакого отношения к Грибоедову не имеющий, но напрасно старался в обоих случаях. Биография осталась бесполезной по сложности практического потребления, а роман — непонятым по оптимистическому духу эпохи. Известности Тынянову это не убавило. Тут нет никакой мистики, это совершенно естественно, когда автор на своем уровне повторяет судьбу героя. Мало какое произведение так разошлось в народе по словам, фразам и строчкам, как «Горе от ума». Притом комедия никем не понята и вторую сотню лет читается шиворот-навыворот, если кем-то еще читается, кроме школьников. О сценической истории не говорю — сие само тема для смешнейшей комедии. Турбин считал, что, всю жизнь стремясь в центр и оказываясь на периферии, Грибоедов так же всегда, оказываясь в комедии, стремился к трагедии, и именно неудача ее созда-

---

ния заставила превратить в трагедию собственную жизнь. Неправда. Здесь конфликт не на видовом, а на родовом уровне. Просто при практическом отсутствии эпоса и лирики гениальному художнику удалось создать театр, чего в принципе быть не должно. Отсюда кажущаяся неожиданность пьесы при полной беспомощности прочих произведений. «Горе...» логически не могло быть результатом процесса или звеном в цепи, потому и явилось вдохновенным свыше единичным произведением.

А тогда, осенью семнадцатого, вовсе ничего и не было. Двадцатидвухлетний юноша уже больше года как успел уволиться от военной службы, проживает в столице, формально считается по Коллегии иностранных дел, в деньгах не стеснен, фамилия почтенная, шатается по театрам и друзьям, пописывает какую-то чепуху, короче, валяет дурака в полном соответствии с возрастом, местом и кругом. Евдокия Ильинична Истомина, еще даже не увековеченная Пушкиным, беспечно проживает с одним из отпрысков могучего шереметьевского рода. Грибоедов в самых дружеских отношениях с ними обоими, квартиру при этом делит с графом Завадовским, который тем временем безуспешно, но настойчиво Евдокии Ильиничны домогается. Все очень в духе времени и очень весело. В какой-то момент Истомина с Шереметьевым поссорилась и перебралась пока к подруге. Завадовский посчитал грехом не воспользоваться столь удачными обстоятельствами. Александр Сергеевич

---

приятелю, понятно, не отказал, и как-то после спектакля, чисто по-дружески, взялся Истомину подвезти. И подвез к Завадовскому. Подробности история умалчивает, только Шереметьев сильно на проделку обиделся и вызвал Завадовского на дуэль. А приятель Шереметьева, корнет Якубович, вызвал Грибоедова, и не как секундант секунданта, а как полноправного участника интриги, роль которого окружающим казалась (да и была по сути) еще более неприглядной, чем роль самого Завадовского. Шереметьев стрелял первым и промахнулся. Завадовскому после этого момента мало чего грозило, но он решил не рисковать и постарался попасть противнику в живот. Получилось. На другой день Шереметьев умер. Молодой был парень, особыми талантами не отличался пока, но из ихней породы многие лишь в зрелом возрасте начинали оставлять следы в энциклопедиях. Этот не оставил, не хватило времени.

Понятно, вторая дуэль сразу произойти не могла. Сначала надо было раненого отвезти, а после его смерти Якубовича арестовали как зачинщика дуэли. Хотя почему именно он зачинщик, никто толком понять не мог. Грибоедова вообще не тронули. Завадовского, говорят, ненадолго за границу выслали (это у них тогда наказание такое было), а Якубовичу отмерили по полной на Кавказ, в Нижегородский драгунский, под самые что ни на есть пули. Якубович искренне обиделся и, по-моему, право имел полное — поступили с ним крайне нагло. И нет ничего удивительного

---

в том, что, когда через год и сам Грибоедов оказался на Кавказе, правда, не сосланным, а по дороге с дипломатической миссией, Якубович так же искренне обрадовался, за две недели до приезда Александра Сергеевича стал к дуэли готовиться.

Якубовича этого звали Александром Ивановичем. Грибоедова он в конце концов простил и после зла не держал вовсе, а вот государя так невзлюбил, что серьезно серьезно собирался его застрелить, при полной невозможности вызвать на дуэль. В декабре двадцать пятого отведена роль ему была из главных — захватить Зимний и арестовать царствующую фамилию. В последний момент захватывать дворец Якубович отказался. И вообще вел себя несколько противоречиво. Я, однако, подробно той истории разбирать не стану, она предмет отдельного интереса. Достаточно того, что, в отличие от ихнего «диктатора», Александр Иванович на Сенатскую площадь вышел; в отличие от Каховского, несмотря на все свои грозные речи, чужой крови не пролил; в отличие от Кюхельбекера и не пытался; в отличие от почти всех никого не заложил и на каторгу пошел по самому первому разряду. В конце сороковых Андрея Евгеньевича Розена встретил на Кавказе «заслуженный пожилой воин с Георгиевским крестом и Владимирским бантом; он, наверное, осведомился заранее, откуда я еду, и спросил: „Позвольте узнать, не видали ли А. И. Якубовича, моего прежнего начальника? Я... его бывший вахмистр“. Когда ответил ему, что жил с Якубовичем

---

шесть лет под одной крышей в остроге, что оставил его в добром здравье, то старый воин, прослезившись, рассказывал мне, как Якубович жил в Екатеринограде, делал беспрестанные набеги на хищников; добычу, коней и овец делил справедливо на всю комнату, не взяв ничего для себя, одним словом, был родным отцом для солдат. На Кавказе многие помнят о его подвигах или слышали о храбрости его. Высокое чело его у самого виска пробито было черкесскою пулею; рана эта никогда не заживала. Он имел несчастье в Сибири, что все родные забыли его, не писали, не помогали ему. Когда наступил срок его перемещения из петровской тюрьмы на поселение, то он основал небольшую школу и устроил мыловаренный завод. И так исправно и удачно производил дело, что не только сам содержал себя безбедно, но помогал другим беспомощным товарищам и посылал своим родным гостинцы...» Через несколько дней Розена специально разыскал один из князей Казбековых, чтобы «осведомиться о Якубовиче, старом сослуживце». Добрую, видать, память оставил Александр Иванович у своих товарищей. Объективности ради следует только отметить, что упомянутые бывшим вахмистром хищники — это не животные вовсе, а горцы, в основном чеченцы.

Умирал Якубович тяжело. Старая незаживающая рана привела к параличу ног и припадкам безумия. В сентябре сорок пятого его поместили в больницу Енисейска, где он прожил всего один день. Грибоедова убили на шестнадцать лет раньше.

---

Но тем ноябрьским утром они оба, конечно, не ведали своей судьбы. Были полны надежд и планов, хотя прекрасно понимали, что могут не дожить до обеда. Шагов между барьерами отмерено всего шесть. Якубович подошел первым и остановился, дожидаясь выстрела. Грибоедов не спешил. Через минуту у Якубовича не выдержали нервы. Он стрелял в ногу. Пуля попала Грибоедову в левую кисть. Александр Сергеевич приподнял окровавленную руку и показал ее секундантам. Он имел право сделать еще несколько шагов к барьеру, но не воспользовался преимуществом и выстрелил. Преимуществом не захотел воспользоваться потому, что понял — противник не хотел его смерти. «Пуля пролетела у Якубовича под самым затылком и ударила в землю; она так близко пролетела, что Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку, однако крови не было. Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал»<sup>1</sup>.

Они стояли друг против друга в обычной позе дуэлянтов: вполоборота, левая опорная нога отставлена, правая рука до выстрела поднята и слегка согнута в локте, после выстрела — прижата вместе с пистолетом к телу и защищает грудь. Если хоте-

---

<sup>1</sup> Из дневника Н. М. Муравьева, секунданта Якубовича, впоследствии наместника Кавказа.

---

ли убить, целились в голову, если только ранить — в ногу. Якубович считал, и не без оснований, Грибоедова виновным в очень некрасивом поступке, а потом и причастным к смерти своего друга Шереметьева. Якубович был взбешен тем, что его из-за предыдущей дуэли сослали на Кавказ, а Грибоедова даже не пожурили. Якубович стрелял первым и в случае промаха или незначительного ранения противника оставлял ему возможность спокойного выстрела. Но Якубович убивать не хотел и метил Грибоедову в ногу. Грибоедову обижаться на Якубовича было совершенно не за что, кроме как за сам вызов на дуэль. Грибоедов стрелял вторым и уже ничем не рисковал. Но Грибоедов Якубовича хотел убить и метил в голову.

Наполеон без роты егерей и Декарт, не напечативший ни одной строчки, стояли по разные стороны барьера. В двадцать пятом у Наполеона был шанс. Но он не нашел своей роты. Очень вероятно, нам всем повезло. Декарт своего шанса не упустил. Тут нам повезло несомненно.

Несмотря на действительно очень близкое расстояние, Якубович взял прицел чуть правее и выше, чем следовало, и пуля вместо ноги попала в левую кисть Грибоедова. Если бы траектория полета пули настолько же отклонилась от оси прицеливания влево, рана Грибоедова была бы смертельной. Сам Грибоедов совершил точно такую же ошибку. А если бы не совершил или ошибся в другую сторону, затылок Якубовича разлетелся бы вдребезги.

---

И все же, кажется, Наполеоны и Декарты на особом счету у судьбы, и не простым смертным о них печалиться. А вот майору, майору-то Денисевичу что делать, когда в театре хамят, а после еще и к барьеру тянут?

\* \* \*

Теперь основные аргументы. Хотя вру, основы для серьезной аргументации нет. Слишком много эмоций и вольно истолкованных фактов. Так что, скорее, общий рисунок ситуации.

Прежде всего, относительно утраты для мировой культуры. Тут у меня сомнений нет. Сколь ни гениальны творения Ильина, и мир, и культура без них вполне обойдутся. Как и без любых других. Я полностью согласен с героиней Булгакова, удивлявшейся написанию новой пьесы: а что, разве уже все пьесы кончились? На созданном человечество продержится еще долго. Может быть, до конца. Каждый из нас за жизнь не успевает воспринять и малой части самых гениальных произведений. Так что вся потеря в том, что несколько десятков меломанов, жаждущих открытия, останутся без предвкушаемого удовольствия. Делиться найденной осетриной с сытыми гурманами — добрая воля нашего. Не хлеб насущный.

Однако хлеб не хлеб, а вещь все-таки чужая. Она принадлежит Ильину, и существует долг перед его

---

памятью. Нет. Нет никакого долга. Если бы Ильин был жив, у меня не могло возникнуть и мысли не отдавать ему ноты. Точно так же, как забытый пла-ток или зонтик. То, что чужое, — чужое, независимо от чьего-либо к этому отношения. Но Ильин мертв. Ему не принадлежит ничего. В этом-то и смысл смерти. Все остальное от лукавства и извращенного умствования. Фразы о том, что художник продолжает жить в творчестве, бессмертен в памяти народной, — не более чем словоблудие, идущее от душевной пустоты и щенячьего страха перед смертью самих говорящих. Более того, вижу в этом полное отсутствие уважения к мертвому, вне зависимости от того, был он творцом или нет. Его более не существует. Ни в какой ипостаси. И только до конца поняв и признав это, можно проявить собственное смирение и сохранить человеческое достоинство. Ильина нет. Для него любой мой поступок значения не имеет.

Ильина нет, но остались наследники. Даже чисто юридически. Наследники имени, славы и даже, возможно, я не в курсе нашего авторского права, наследники денег. Вдруг за эти измаранные листы им положена серьезная компенсация?

Имя и слава. Талант девочки от отца получили. Но будь Ильин жив, имел бы право отнести успехи Вики на свой счет? Тут эксперимент поставлен чисто, рядом контрольный экземпляр — Лена. Музыкальных данных у нее не меньше, чем у сестры, но за

---

инструмент села слишком поздно, только в нашем доме, и выше любительского уровня ей уже никогда не подняться. Я к судьбе Вики причастен. Ильин нет. Есть право носить имя. Есть право передать имя. И то, и другое надо заслужить. Даже «заслужить» — слишком высокое слово. Просто зарабатывать. Если представить, что Вика стала великим композитором, а Ильин скромно заканчивал бы свои дни в полной безвестности, имел бы он право на славу дочери? Это я еще о Вике говорю, а если бы великим композитором стала Лена?

Деньги. Все, что мы с Татьяной могли дать дочерям Ильина, мы дали. Ильин к этому никакого отношения не имел. О прозе жизни он никогда не задумывался. Его личное дело. Мне он ничего должен не остался. А тут вдруг, если ноты стоят каких-то денег, особенно если больших, Ильин становится благодетелем. У него и при жизни бывали последнее время крупные гонорары. Но мысль о причастности к ним дочерей у Ильина не возникала. И нет причин думать, что возникла бы когда-нибудь. Получается, что после смерти можно воспользоваться тем, чем человек никогда не поделился бы при жизни?

Впрочем, прекрасно понимаю, что все это крайне субъективно. Естественно, право окончательного решения принадлежит самим наследникам. Я и не собирался сжигать ноты. Следует дожидаться времени, когда наследники окажутся способными самостоятельно принимать любое решение.

---

Остается сформулировать основное. Чего я так уж боюсь? Я боюсь. Равновесие восстановлено с трудом. Нарушить его просто. Снова публичность и всплеск эмоций. Наша семья в роли хранителей и продолжателей, навсегда и безысходно пристегнутая к имени Ильина. Вика — окончательно дочь гениального отца рядом с серой сестрой. И постоянный вопрос к Маше: а ты почему Ланская, если вы сестры?

Я построил этот дом. Я не хочу и не имею права подвергать его спокойствию опасности, даже теоретической. Я постарался не соврать. И не нашел ошибок. Ничто не может отнять у меня права распорядиться находкой. Оставить ее на антресолях. Столь долго, сколь я сочту нужным.

\* \* \*

Все слова произнесены, записаны и прочитаны. Осталось принять решение. Впрочем, относительно решения — неловкое вранье с самого начала. Уже в тот момент, когда садился писать, прекрасно понимал, что самыми убедительными доводами не удастся заставить себя совершить неестественное. Кому-либо другому я еще смог бы что-то доказать. С собой это не проходит. Попытка была с негодными средствами. Я отдам им эти ноты. И ничего страшного не произойдет. Со сложностями справимся. Честно говоря, совсем не это интересует меня сей-

---

час. Все чаще мне видится, явно, до рези в глазах, раннее холодное утро...

Ранним холодным утром, на поляне, неприятно белой от выпавшего за ночь снега, окруженной глухой стеной надсадно звенящего бора, отчетливо и безнадежно взмахнул платком промерзший секундант. Мы начинаем сходитьсь. Мой противник спокоен. Его милая светская улыбка подчеркивает плебейскую злость моего рта, искривленного в плохой гримасе. Иногда мне удастся с ней справиться, но от этого только хуже. Впрочем, и противник не всегда одинаков. То бальная подпрыгивающая походка, то твердый гвардейский шаг, то слегка шаркает он ногами, привыкшими к нездешним коврам. И взгляд его изменчив. Порой горяч, ярок и нетерпелив — и красив этим яростным нетерпением. Или вдруг высокомерно беспощаден и тускл, как у человека, давно испытывающего сильную боль. Реже всего глаза его просто усталы. И смотрят почти без всякого выражения, явно мало интересуясь происходящим, еще меньше — противником.

Мы сходимся. Я поднимаю свой пистолет. Вот и все. Пока все. Пока я еще не выстрелил. Но чем чаще это видение, чем резче свет и ослепительней блеск снега, тем больше у меня уверенности, что в воздух стрелять не буду.

P. S.

И все же, как ни старался, не смог удержаться от нескольких слов о дуэли с Дантесом. На самом

---

деле все вообще произошло случайно и не очень правильно.

Недавно главный нейрохирург ракетных войск Дмитрий Панфилов, сделавший более десяти тысяч операций и двадцать лет посвятивший изучению жизни Пушкина, проанализировал ранения противников с точки зрения современной военно-полевой хирургии и сделал следующие выводы. Баллистические данные пули в теле обоих пострадавших однозначно свидетельствуют о том, что секунданты Данзас и д'Аршиак (сговорившись или нет — вопрос открытый), наверняка исходя из самых добрых побуждений, решили уменьшить массу заряда дуэльных пистолетов до минимума. Будь заряд «полным», безоболочечная пуля весом 17,6 грамма калибра 1,2 сантиметра с десяти шагов прошла бы тело насквозь, как это было при дуэли Лермонтова: он стоял боком, и пуля прошла через грудную клетку навывлет, раздробив встретившиеся на пути два ребра. Но при малом заряде точно такая же пуля пробилла Дантесу мягкие ткани предплечья толщиной около 5,5 сантиметров, которые практически ослабили ее силу, ударила в брюшную стенку и даже не оставила на ней следа. А у Пушкина пуля на излете ударила в верхнюю часть таза, отрикошетила в брюшную полость и застряла в крестце. Будь ударная сила нормальной, пуля прошла бы через мягкие ткани боковой поверхности живота, не повредив никаких органов. Дантес же получил бы смертельное ранение в живот.

---

Так что не дрогнула в последний момент от внезапно нахлынувшего христианского смирения рука великого поэта.

## 30

Дома провела этот вечер и Томилина. В первый момент ее было расстроил звонок Кузнецова с извинениями, но потом она решила, что так даже к лучшему: выдалось свободное время, неизвестно, когда оно теперь еще появится, да и появится ли вообще, чтобы доделать самую последнюю работу. Татьяна сняла тряпку с холста и встала перед практически законченным мужским портретом. У него, правда, совсем не было фона, но его Томилина писать и не собиралась, пока даже и не представляла, какой тут может быть фон, и прекрасно понимала, что, когда узнает, то писать уже ничего не будет. Так что во всем остальном портрет можно было бы считать законченным и окончательно, причем довольно давно, если бы не смутное чувство, заставлявшее Татьяну уже несколько раз вновь брать за кисть и искать еще что-то. В углах губ. На самой границе зрачка. У висков и крыльев носа. И хотя в глубине души она понимала, что так до конца ничего путного и не получится, но раздражение на себя не давало покоя и требовало новой попытки.

Что вообще надо было ей от этих бесчисленных лиц, зачем с досадной мелочностью раскладывала она

---

на мельчайшие составные самое, казалось бы, целостное и естественное, зачем фиксировала существующее только в нюансах движения и переходов — взгляд, улыбку, поворот головы, подъем бровей? Сначала, когда все это только начиналось лукавой игрой, беглыми уличными зарисовками, легким штрихом в блокноте, она ловила себя на том, что ищет порой оправдания, как будто уже тогда предчувствовала, что не кончится это добром. Оправдания были не очень изобретательны, но достаточно надежны. У каждого художника свой способ самовыражения. И что плохого в том, чтобы найти типическое, создать образ, показать свое к нему отношение, даже сформулировать этим определенные если не идеи, то довольно любопытные мысли? Вполне благородная задача. Но чем дольше длилось это, поначалу показавшееся столь легким наваждение, чем сильнее завораживало ее тоскливое мелькание смазанных черт, тем яснее становилось Татьяне мелкое вранье всех ее оправданий. Потому как не требовалось ей никакого самовыражения. И не хотела она создавать никакой образ. И совершенно не трогало ее типическое. Даже наоборот: то, что привносилось в облик внешними условиями, профессией, воспитанием, средой, возрастом, модой, климатом, взглядами, — отметалось немедленно, уже в карандаше. И порой обнажалось вдруг такое, от чего хотелось проклясть не доброе свое умение. Никакое раздевание, никакое обнажение тела человеческого не сравнимо с тем, что дает оставление лица без услов-

---

ного. Это неизмеримо больше, чем подглядывание в замочную скважину или подслушивание чужих разговоров. Тут пахло нарушением каких-то уже таких запретов, которые наложены не просто обычными правилами приличия. Татьяна начинала понимать, насколько умнее нас были забывшие о голом животе и закрывавшиеся паранджой. Карандаш совершал дело не просто непристойное, он вторгался в область совсем непозволительного, и в самого себя не каждому можно вглядываться столь пристально и со столь малого расстояния. Взгляд же посторонний по всем биологическим законам обязан быть отторгнут, как отторгается организмом любое инородное тело. И силу этого отторжения Томилина чувствовала постоянно, казалось, в микроне от листа перед графитом встает невидимая преграда, не просто оказывающая сопротивление, но и старающаяся оттолкнуть, и Татьяна сопротивление это преодолевала и знала, что совершает насилие. А вместе с тем приходило и ожесточение.

Но это только еще в рисунке. Пусть как угодно растушеванная, размытая, но линия, в сути своей несущая некое целомудрие определенности, однозначности. Все оказывалось гораздо хуже, когда дело доходило до масла. Происходившее на холсте не лезло уже совсем ни в какие рамки. Развратная игра теней высвечивала не только самое сокровенное в прошлом и настоящем, порой неведомое даже объекту, но и моделировало будущее. Угадывала, предсказывала, пророчествовала пьяной базарной кликушей, не ве-

---

давшей никакого стыда. Татьяна боялась, не хотела, не имела права, в конце концов, раскапывать то, что недаром, не просто так извечно замаскировано под обыденность. И все же копалась до того, что от отращения начинало сводить пальцы, но ничего не могла с собой поделать. Опадали застенчивые улыбки, расплзались в предательские гримасы, леденели теплые, задумчивые глаза, мертвенная бледность затягивала юношеский лоб.

Ощущение было мерзкое. Как после хмельной ночи. И даже не потому, что мучает изжога и трещит голова. Главное — то, что казалось таким естественным в угаре, предстает на утро во всей своей совершенной постыдности. И ничего уже нельзя изменить. Хочется только как можно дольше лежать, уткнувшись в угол постели, и стараться не давать себе отчета в произошедшем. Но при этом прекрасно знаешь, что это всего лишь кратковременная отсрочка.

И как же не хотелось Томиной дотрагиваться до стоявшего сейчас перед ней портрета. Даже особенно именно до этого портрета. Хотя она отлично понимала, что все равно ничего не сможет с собой поделать.

## 31

Тот вечер Елена тоже провела дома. Нет, она не ввела Кузнецову, что звонок застал ее в дверях. Однако уже после звонка, идти по действительно существ-

---

твовавшим делам передумала, разделась, послушала немного требовательную трель и вовсе отключила телефон. Более того, так декларируя перед Андреем Петровичем свою обязательность и непривычку к откладыванию назначенных встреч, Елена поступила совсем некрасиво, в один момент полностью выбросив все мысли об этой встрече из головы. Вообще, вынужден сказать это со всей определенностью, Елена была существом в значительной степени эгоистичным. Тут уж вы мне должны поверить полностью, это я не понаслышке. Нет, совершенно не собираюсь приводить здесь какие-то порочащие ее факты, даже думаю, что таких фактов и вовсе не существует. Ее отличало от подавляющего большинства прочих не отношение к другим. Она была вполне способна любить, и любила, и становилась хороша и к любимым, и к остальным, кто, конечно, не делал ей дурного, но вот то, как она умела любить себя, — это явление, действительно, уникальное. И тут не осуждать ее, а учиться требуется. Утрачиваемое умение. Мы с детства воспринимаем любовь к себе как нечто если и не совсем греховное, то уж внимания никакого точно не стоящее. И постоянно пытаемся направить все лучшие чувства наружу. Так прямо и ходим, разбрызгивая эти чувства, не очень заботясь о чистоте костюмов окружающих. Не познав себя, пытаемся познавать других, не веря себе, стремимся верить в кого-то, учим не научившись, воспитываем не воспитанные. Вот и с любовью. А потом удивляемся.

---

И Елена никогда не причинила бы неудобства людям, ожидавшим ее в тот вечер и напрасно потратившим время, если бы не почувствовала слишком сильную угрозу лично для себя. Начинать борьбу с этой угрозой требовалось немедленно и, прежде всего, с отключения от всего постороннего. Каковое отключение во всех смыслах было тут же и произведено.

Оставив в огромном стенном шкафу холла уже пару лет назад вышедший из моды лайковый плащик, надеваемый только в самую мерзкую погоду и под вечер, Елена прошла в спальню, на ходу стаскивая потрескивающую свитерку. Там она прямо с этой свитеркой в руках разлеглась поперек двух кроватей, хотя стояли они и не совсем вплотную, имелось свободное пространство размером сантиметров так с десять-пятнадцать. Лежала несколько минут, внимательнейше рассматривая изломы тяжелого темно-бордового шелка в складках огромного абажура на длинном витом шнуре. Затем решила все-таки прекратить валять дурака, встала, поправила покрывала, стянула негнувшиеся джинсы, сохранила она эдакую юношескую привязанность к самой консервативной модели «Левиса», сунула их вместе со свитеркой, не глядя, за зеркальную створку. Автоматически пару мгновений покрутилась перед этой створкой, рассматривая хорошее, не доставляющее пока особых хлопот тело, и решительно направилась в ванную. Открыла краны, плеснула с избытком бадусана и накинула на плечи халат. Где-то в баре должно было оставаться еще не-

---

много яичного ликера, и Елена нашла бутылку сразу, не зажигая света в гостиной, забрала ее целиком, прихватив на кухне стакан и чайную ложку, так как жидкость сильно загустела, и ее требовалось скорее есть, чем пить. Составив все это на табуретку у жизнерадостно урчащих кранов, пошла в кабинет за сигаретами и тут некоторое время колебалась. Колебания эти были обычными, когда нарушался стереотип, а нарушения сегодня явно были. Дело в том, что обычно Елена брала ванну по утрам, то есть в ее понимании утра. Когда уже давно все работающие работали, неработающие гуляли, ну а кто оставался, все равно был, значит, ни к чему уже невосприимчив. Поэтому ни у кого из соседей не возникало претензий к звучащим на полную мощность мелодиям, под которые любила милая женщина плескаться в шампуневых волнах. Сейчас, однако, по вечернему времени, нарушать покоя соседей без особой нужды не хотелось, и Елена пошла на компромисс, забрав в кабинете с мужниного стола небольшой моно-магнитофончик, используемый только для работы. Конечно, разве сравнишь с системой по качеству звучания. Но ведь пожертвовала этим качеством, подумала об окружающих. А ведь вполне могла наплевать. Все равно никто слова не сказал бы, у них в доме особое положение было. И тем не менее. Ну а вот, скажем, не было бы у Елены магнитофончика? А одна только система? Если бы выбор стоял четко: или без музыки, или врубить как минимум ватт пятьдесят, иначе из ванной

---

все равно не слышно? А с другой стороны, как это могло, собственно, получиться, чтобы не оказалось у них в доме столь удобной и часто необходимой вещи? Не могло этого получиться. И потому вопрос мой о выборе становится глупым. Тут другой совсем выбор. Тут, знаете ли, во всем большой выбор.

Предпочитала же Елена утренние ванны потому, что после вечерних ей потом долго не удавалось заснуть, да и тот сон, который все-таки приходил, был нехорошим и беспокойным. И сегодня причиной изменения в распорядке явилась отнюдь не необходимость заснуть попозже, а сомнение, глубочайшее сомнение в возможности заснуть вообще, несмотря на все усилия. Хотя в нервах своих Елена была уверена, и не зря, действительно очень приличные нервы, но интуиция, не менее приличная, подсказывала, что на одной крепости нервов здесь не выкрутишься. А потому надо думать. Не то чтобы процесс этот был совсем непривычен, но в предполагаемых масштабах требовал некоторой подготовки.

Что же так выбило из колеи Елену Яковлевну, неужели глупая назойливость Кузнецова? Самое смешное, что, действительно, Андрей Петрович имел ко всему этому некоторое отношение. Хотя сам ни в коей мере не был в этом виноват. Просто слишком невовремя появился. Или, наоборот, вовремя не исчез. Вторая встреча была совсем ни к чему. После первой и проблем никаких, а вот вторая — лишняя она оказалась. Непредвиденно лишняя. Да знать бы прикуп!

---

Представьте: дарят вам всю жизнь подарки. Разные. Сегодня заколку для волос, завтра «Вольво». Ну, заколку, в крайнем случае, можно и выбросить, если не нужна. Но это потом, а сначала все равно возьмешь, подарок ведь, зачем отказываться, выбросить всегда успеешь. Да к тому же привычка возникает, а она расслабляет. Элементарное чувство осторожности притупляется, реакция вялая, настроение благодушное. А тут тебя — хлоп! Капканчик-то самый простенький, конструкции еще адовой, без затей. Но для тебя оказывается достаточно. Заглотнул подарочек-приманку не задумываясь, и вдруг чувствуешь, что обратно уже только со всем нутром. Тяжелый случай. И за что, собственно?

Вот и вставал вопрос: есть ли еще силы отказаться? В том, что, если хоть малейшая возможность имеется, значит, отказаться требуется немедленно и без всяких вариантов, Елена не сомневалась ни мгновения. Слишком многое ставилось под угрозу, да не многое, а все практически. Еще несколько дней назад Елена сочла бы сумасшедшей саму мысль о возможности хоть малейшего препятствия. И вдруг такой предательский удар, и от кого, от самого верного и надежного человека, от самой себя. Елена в первый момент и не поверила, отмахнулась как от досадной мелочи, посчитала не стоящим внимания, принципиально запретила себе жертвовать не только чем-то серьезным, но даже самым необязательным и обыденным. Цеплялась за ритм, как человек, повернувшийся

---

спиной к собаке в надежде, что, если будет двигаться равномерно и не думать об опасности, все сойдет гладко. На самом деле, манера не столь уж глупая и частенько срабатывает. Но на сей раз, похоже, собака оказалась бешеная.

Итак, поскольку выбора, естественно, не существовало, выбор был сделан слишком давно, может быть, даже задолго до рождения, Елена видела проблему предельно четко. То, что нужно прекратить немедленно (желательно, конечно, мирно, но это не главное) всяческие отношения — тут сомнений нет. Но как в кратчайшее время привести себя в полный порядок, восстановить равновесие и хладнокровие — со всем этим дело обстояло несколько сложнее. А в том, что в самом ближайшем будущем именно хладнокровие и ясная голова потребуются максимально, Елена почему-то не сомневалась. Она уже понимала, хоть и не хотела до сих пор четко сформулировать даже для самой себя, что трещина, которую пыталась в спешном порядке замазать, появилась-то отнюдь не сейчас. Изначально вся замечательная и такая на вид прочная конструкция была, оказывается, с изъяном. Просто серьезных нагрузок пока не испытывала.

Красивая картинка получилась. Не для моего пера. Вечер. Мерзкая слякоть за окном. В квартире полумрак. Мягкие томные блики на теплом изнутри дереве. Дверь из ванной чуть приоткрыта. Оттуда слышна меланхолическая музыка под приятное журчание воды. Кафель, зеркала, пена. А в пене красивая

---

женщина лежит. Думает. Равновесие восстанавливает. Не знаю, что она там придумает, но — красиво...

## 32

Дома провела этот вечер и Варя Павшина. Сия фраза имеет некоторое информативное значение для читателя, важна для писателя, то есть для меня, как определенный структурный компонент архитектуры произведения, но для самой Вари, а также для любого знающего ее человека фраза эта прозвучала бы просто по-дурацки. А где, интересно, еще она могла его провести?

Девчонки были у нее уже совсем независимые и деловые. Старшую звали Мариной, пошла она в отца своего яркими, крупными чертами, темной мастью и резкостью движений. Этой осенью в девятый явилась после каникул оформившаяся так круто, что директор, фронтовик, давно в партии и вообще бесстрашный человек, наткнувшись взглядом во время перемены на Марино плечо, круто развернулся и ушел к себе в кабинет курить. Дворовая шпана шляться стала под окнами табунами, изредка взрезая воздух призывным ржанием. Чуть не копытами били. Нельзя сказать, что Марина ко всему этому осталась равнодушна, но дома всегда не позже девяти, а из дома только исполнив обязанности по хозяйству. Правда, обязанностями этими Варя старалась дочь не обременять, боль-

---

шую часть работы по дому делала сама, и без особого напряжения, да и что ей еще особенно было в этой жизни делать?

По выходе с работы Варя стала решать ежевечернюю свою дилемму: идти сначала за Катькой в детский сад, а потом вместе по магазинам или сначала в магазин, а потом с сумками в детский сад? Сад был рядом с работой, и удобнее, конечно, забрать ребенка сразу. Ну а вдруг толпа в магазине? Без очереди все равно не пустят, умных много. Однако сегодня все основное, даже свежей любительской колбасы, достала Варя в обед и потому повернула сразу в сторону сада. В конце концов, оставалось докупить еще только молоко, а не удастся, так и бог с ним, дома еще немного есть, завтра на утреннюю кашу хватит. Раньше Варя таскала продукты в сетке, это было неудобно, оттягивало руки, особенно тяжело приходилось в транспорте, где каждый норовил поддать коленом высунувшийся батон и косился еще за то неприятливым взглядом. Давно мечтала Варя о хорошей сумке и наконец все-таки решилась. К прошлому Новому году дали десять рублей премии, еще пятнадцать широким жестом — одна живем! — добавила из аккуратно откладываемых каждый месяц на лето пятерок и приобрела замечательное изделие наших немецких друзей. Теперь Павшина являлась обладательницей очень вместительной черной сумки, почти неотличимой от кожаной, с мягкой безотказной молнией, крупными накладными карманами на кла-

---

панах и широким длинным ремнем. Сумка эта как-то необыкновенно ударно повисала через плечо, никому не мешала, выглядела очень нарядно и независимо от содержимого почти ничего не весила. Ну, совсем замечательная была сумка.

Каждый раз, как приходила Варя в детский сад, ее охватывало чувство умиления. Уж сколько лет ходит, а привыкнуть все не могла. Высоченная стальная сетка забора наглухо отгораживала от всего остального мира совершенно сказочную страну. Там были свои законы, своя мораль, свои нормы поведения. Варе казалось, что она была бы самым счастливым человеком, если бы ей разрешили жить в этой стране. Нет, не взрослым человеком, ей даже предлагали место нянечки, но разве можно работать в сказке? Только полноправным членом этого общества. Чтобы иметь свой собственный шкафчик с нарисованной репкой. Знать, что именно возле этой песочницы собирается только твоя третья группа, а если, не дай бог, случайно забредет кто из второй, то его надо дразнить. Сама Варя в детский сад никогда не ходила, ее вырастила бабушка, очень больно дравшаяся длинной деревянной спицей с крупным шаром на конце и пившая церковное вино «Кагор» из крохотного граненого стаканчика, но помногу.

С замечательной сумкой в одной руке и теплой ладошкой что-то возбужденно тараторившей Катьки в другой направилась Варя к остановке троллейбуса. По дороге очень удачно купили молока, стояло за ним

---

всего человек пять, и были удобные литровые пакеты. Павшина взяла сразу два — можно довести без проблем, не то что четыре бутылки.

Когда пришли домой, Марина встретила их уже в пальто, собиралась к какой-то подружке, но задержалась рассказать жуткую историю, произошедшую сегодня в школе. Варя слушала вполуха, особенно не стараясь сосредоточиться, но кивая крайне сочувственно и даже в нужных местах хмыкая. Тем временем она размотала Катьке тугой шарф, разделась, рассовала по полкам пакеты, поставила молоко в холодильник, достала оттуда кастрюлю с супом, зажгла конфорку. Наконец Марина убежала, пообещав вернуться не поздно, Катька пошла мыть руки, Варя расставила тарелки, нарезала хлеб и присела.

Ели они всегда на кухне, хотя квартира была и коммунальная. С соседями Павшиной сильно повезло, восьмидесятилетнюю старуху в этой жизни мало что интересовало, кроме показания счетчика, и она почти не выползала из комнаты, а молодые супруги строительных специальностей, после того как сбагрили дитё родителям в Кинешму, забегали домой крайне редко, в вечной спешке, просили у Вари бутерброд с сыром и исчезали допоздна. Так что кухня находилась в полном ее распоряжении.

Катька в саду поела, но существом она была с завидным аппетитом и от домашнего супа никогда не отказывалась. Правда, на большее ее уже не хватало, и она убежала к телевизору дожидаться «Спокойной

---

ночи», так что котлету Варя доедала в одиночестве. Потом поставила варить мясо на завтра, убрала со стола, помыла посуду, пошла в комнату. Здесь порадовалась наведенному старшей порядку — даже пыль вытерла, — собрала замызганные Катькой по непогоде одежды и пошла стирать. Благо этой осенью перебоев с горячей водой еще не было.

Младшая особого внимания к себе не требовала, сама выключила телевизор после вечерней сказки, сама разложила на полу каких-то пластмассовых уродцев, некогда бывших игрушками, сбегала, правда, потом к матери в ванную понять немножко насчет почитать, но быстро отстала и сама же начала тихонько готовить себе постель. День уже заканчивался.

Павшина развесила белье прямо в ванной, места там хватало, а из соседей никто не возражал. Потом заправила суп, оставила его на медленном огне, приняла душ, взяла программу и выяснила, что после «Времени» сегодня концерт. Катька уже спала, как всегда, в совершенно невероятной позе, свесив во все стороны с раскладушки руки и ноги. Варя автоматически поправила дочери постель, подоткнула одеяло с боков, хоть и знала, что это на несколько минут, погасила верхний свет, оставив только лампу на Маринином письменном столике, и примостилась у тихонько шелестящего телевизора с вязанием. Катьке из старого свитера готовилась новая шапка.

Звук у телевизора Варя приглушала тоже более как в дань традиции, чем из необходимости: заснув-

---

шую Катюку ничем разбудить было нельзя. Она тихонько посапывала, снова сбросив одеяла, мягко лился свет из-под зеленого абажура, с чувством пели о Родине заслуженные артисты, уютно поблескивали спицы, отражая экранное мерцание. Лично мне хотелось от умиления плакать.

### 33

Дома провел этот вечер и Андрей Петрович. Добрался он до квартиры в виде удивительно усталом, так что даже не стал сразу раздеваться, а, только скинув сапоги, в носках прошел на кухню и минут десять сидел там, вытянув ноги и даже не закурив. На кухне было холодно, уходя, Кузнецов оставил форточку открытой и теперь не сразу сообразил, почему так дует. Наконец снял свой знаменитый, уже известный читателю плащ, зажег свет в комнате. Взгляду его предстали те самые шкафы, что, по мнению Дорофеева, не вмещали исписанные картоны. Кузнецов усмехнулся, но получилось это если не жалобно, то уж криво точно. Информация у гадов, бесспорно, наличествовала. Но надежности ей явно не хватало. Шкафы, в действительности, представляли собой три довольно вместительных сооружения, да еще и с застекленными антресолями, выстроились вдоль большей стены и зрелище представляли собой внушительное. Однако за створками двух из них отчетливо виднелись ко-

---

решки книг, и стояли они там так тесно, что, очевидно, кроме книг ничего больше не было в этих шкафах. Вот у третьего створки и в самом деле занавешивались изнутри плотной бумагой, так что вполне могли скрывать за собой все что угодно, даже и картоны. Да картоны там и были. Только вполне умещались на полках, и еще было достаточно свободного места, это Дорофееву наврали. И далеко не все оставалось на этих полках, тут тоже наврали. Особенно в последнее время Андрей Петрович все чаще не только отправлял в мусорное ведро листы, казавшиеся ему неудачными, но и, наткнувшись на что-то старое и еще совсем недавно вполне удовлетворявшее, теперь без всякого сожаления выбрасывал. И отнюдь не потому происходило это, что так уж возросли эстетические критерии. Критерии, в общем-то, оставались прежними.

Еще не так давно, рассматривая ранние свои работы, даже совсем юношеские и просто неумелые, Кузнецов иногда начинал вдруг испытывать чувство невосполнимой утраты. Неожиданная линия, ракурс, фигура, поставленная там, где ей странно стоять, сама манера мышления представлялись на миг продуктом личности совершенно посторонней, к Андрею Петровичу никакого отношения не имеющей. И оставалось только удивление — как это ему, тому довольно неловкому и уж на сотую долю не столь умудренному, как нынешний, удавалось понять и выразить являвшееся теперь Кузнецову откровением. Казалось,

---

были в прошлом какие-то моменты прозрения, вскоре забывшиеся и даже следа своего не оставившие нигде, кроме как на этих, начинающих постепенно тонироваться листах. Потому и была, действительно была у Андрея Петровича некоторая чуть ли не скупость, нечто похожее на привычку людей, однажды перенесших большой голод, никогда потом не выбрасывать даже корочки хлеба, а находить место в запасниках для любого, самого убогого сухарика. И вправду, долгое время ни один лист, ни один крохотный обрывок с едва намеченным силуэтом не покидал пределов комнаты. Кузнецов страшился, что, не до конца поняв сегодня самим собой сделанного, завтра уже не сможет внезапно и радостно изумиться, как это подчас бывало, пропущенной находке.

И все это прошло. Никакого такого момента озарения. Просто стало не жалко. Оказалось, что на самом деле он все давно умеет, понимает, знает, как сделать и что сделать. А нужно было время, и время это наступило. Все представлявшиеся бесполезными и раздражавшие этой своей бесполезностью попытки перейти ту грань, за которой начинается свободная уверенность, свобода и вера, все казавшиеся смешными и нелепыми покушения на откровение обернулись самой обычной и прозаичной работой. И работы этой совершено много. И сделана она добросовестно. И почему бы ей не привести к вполне определенным результатам? Кузнецов был даже несколько обижен на себя самого за такое к себе небрежение.

---

Но лукавил, конечно же, несколько лукавил Андрей Петрович, располагая обоснования собственных чувств и поступков таким хоть и причудливым, но все же довольно упорядоченным образом, стараясь придать видимость закономерной эволюции вещам, в реальности достаточно банальным и сумбурным. Трудно сказать, что там на самом деле было намешано за этим лукавством. Обида на себя, обида на других, обида на время, на обстоятельства, зависть, сомнения, брезгливость, лень, честолюбие, равнодушие, усталость, отчаяние, злость, выдержка, спокойствие, нежелание играть по чужим правилам, невозможность сделать свои всеобщими, нечеткость формулировки этих самых своих.

Ну а время? Что ж время... Это уж точно ссылка пустая, от холодного умствования. Разве что красивая холеная женщина резким муторным утром на мгновение может ощутить его, дотронувшись концами пальцев до век. Да и то, не даст ей это мгновение ни капли мудрости, так, промаячит холодной жутью, мультфильмовскими страстями. А в остальном — застойный треп. От веры в бессмертие никуда не денешься, хоть и не было прецедентов. И вновь забьется в крике черная вдова над свежерытой могилой. Впрочем, эта фраза попала сюда случайно, из совершенно другого моего произведения.

А на самом деле все, естественно, куда проще. Кузнецов стал рисовать лучше. Хорошо стал рисовать. И многое понял из того, что стремился понять.

---

Но в ленной суете не сразу обратил на это внимание. И не сразу сообразил, откуда уверенность и щедрость. И легкость.

Нет, он не врал Дорофееву, не капризничал и не занимался самоуничижением, которое, как известно, паче гордости. И даже не недоверие к сказочным обстоятельствам и не излишняя подозрительность, рожденная нелепыми событиями последних дней, заставили его без малейших колебаний уйти из высокого кабинета. Конечно, он не считал себя всего лишь одним из сотен тысяч когда-то умевших прилично рисовать юношей. Однако здесь не было и неискренности. В таком виде для Андрея Петровича наиболее кратко и со всех сторон доступно формулировалось то необходимое со стороны окружающих отношение, которое ему требовалось для сохранения занятых позиций и защиты от любых посягательств. Пусть даже добрых. Это еще нужно сначала выяснить, да и само понятие требует уточнения, и на чей еще вкус и взгляд. А пока суд да дело, лучше всего совершенно честно — да-да, тут главное предельная честность и полное отсутствие притворства — установить четкую границу и соблюдать ее неукоснительно. Границу, внутри которой мысли и дела не подвержены не только критике, но даже оценке. И потому, объясняя Дорофееву, а еще раньше Елене, а в свое время, пока оставался довольно еще широким круг общения и в этом кругу было достаточно людей, знавших Кузнецова с юности, многим прочим, заводившим разго-

---

вор на подобную тему, — объясняя всем им, что он не художник, Андрей Петрович не юродствовал, а просто обозначал эту самую границу, вне которой художником он, действительно, не был. То же, что все, находящееся внутри, является его сугубо личным делом, казалось настолько само собой разумеющимся, что Кузнецов совершенно естественно даже не считал нужным об этом упоминать.

И была еще одна черта, имеющая отношение к изложенному. Трусость. Некого рода даже патология. Когда Кузнецов случайно в транспорте или в другом общественном месте оказывался рядом с человеком, больным нервным расстройством — знаете, бывают такие, передвигаются вполне самостоятельно, даже делами какими-то занимаются, а нижняя губа до полу, слюни текут, левая рука заведена за спину и что-то там почесывает, правая нога кренделя выписывает, и на них никто особого внимания не обращает, взглянут разве что мимоходом, иногда место уступят, а чаще и не уступят, — так вот, Андрея Петровича в таких случаях охватывало чувство совершенно дикого неудобства, он просто не знал что делать, закрывал глаза, притворяясь спящим, а при малейшей возможности постыдно бежал в щемящем страхе. Примерно то же испытывал Кузнецов, попадая за столом, пусть даже не в обществе знакомых, а в самой дешевой столовой, рядом с человеком шморгающим, сплевывающим, роняющим куски, пачкающим подбородок жиром. Тут Кузнецова опять же охватывала совер-

---

шенная паника, без всякой возможности взять себя в руки.

Так вот, точно такое же чувство — видимо, если уж говорить серьезно, некий род аллергии — начинал испытывать Андрей Петрович, если вдруг обнаруживал, что человек, с которым он общается, относится к самому себе предельно серьезно. Нет, серьезно не в смысле, что без иронии, внешнее подтрунивание над собой ситуацию, наоборот, усугубляло. А в тех случаях, когда человек воспринимал себя совершенно серьезно, как нечто, без всякого сомнения, важное, имеющее абсолютно выраженное значение, не признающее даже тени вопроса на тему своей ценности уже по праву одного существования. И так же, как расстегнутой на людях ширинки, боялся Кузнецов подозрения в том, что он сам может относиться к себе в таком смысле серьезно. И уж пуще всего, просто до холодного омерзения, не терпел этого рода серьезность во взгляде окружающих на его персону.

Для Андрея Петровича внутри границы, пожалуй, вопроса о том, можно ли назвать его художником, книжным иллюстратором, графиком или еще каким точным словом, не существовало. Все эти папки с листами, картонные альбомы, блокноты являлись четко определенной частью того жизненного уклада, который выкристаллизовался с годами и в последнее время обрел столь совершенную и оптимальную для Кузнецова форму. Формулировок и обозначений, как правило, требует не очень приемлемое. Об удобном

---

ботинке вспоминают редко. Всем этим листам было вполне нормально в шкафу. Попадая туда, они обретали место. И это тоже было удобно. Приемлемо. Оптимально. Это было хорошо.

Подойдя к третьему шкафу, Кузнецов открыл створки. Прямо перед ним на средней полке лежала длинная и довольно узкая папка из толстого синего пластика. Взял ее, отнес к столу, зажег бестеневую лампу, выбрал из большого серебряного стакана самый твердый карандаш, хоть и не собирался сейчас работать, сел в кресло с прямой жесткой спинкой и раскрыл папку. Там помещалось все, оставшееся от работы последних полутора лет. Рисунки к «Карамазовым». Тридцать сантиметров на восемьдесят. Пятьдесят листов.

## 34

Вася тоже провел этот вечер дома. Он пришел, разделся, умылся, съел поданные матерью макароны по-флотски, протер мокрой тряпкой ботинки, начистил их на завтра, посмотрел десять минут телевизор, больше врачи не рекомендовали, и рано лег спать, чтобы утром рано встать. И то и другое врачи рекомендовали.

Ну, кто там еще? Кажется все. Ну а если кого-то упустил, значит, он провел этот вечер вне дома. На стороне где-нибудь.

---

В Большом давали Вагнера. На Суворовском и на Герцена — раков. У поворота с Метростроевской на набережную «Москвич» врубился в мирную «Татру» без нескольких минут восемь. Около девяти на несколько мгновений прорезалась луна. В десять за загородкой для клиентов в милицейской комнате на «Новокузнецкой» не осталось свободных мест. После одиннадцати во всем Бибиреве погасло уличное освещение, что-то случилось на линии. Со звонком курантов все эти глупости, только что казавшиеся важными, стали вчерашним днем. Такие вот дела.



---

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Такие вот дела. (Не мое, понятно, но в данном случае достаточно к месту и по делу). Такие вот дела. Примерно этими словами около двух лет назад заканчивался рассказ о том, о чем вы только что прочли. Дела были перед позапрошлым моим днем рождения. Я впервые собирался отмечать его в своей двухкомнатной квартире на проспекте Мира, которую выменял за однокомнатную в Лианозове, в свое время известную в Москве многим и у многих же до сих пор вызывающую разнообразнейшие воспоминания, главным образом все же приятные. Но пришла пора, когда отдаленность от центра и отсутствие телефона перестали быть для меня столь уж абсолютными достоинствами, и я решил меняться. Вернее, мысль об обмене давно приходила мне в голову, то есть даже никогда из нее не выходила, так как меняться я на-

---

чал в восемнадцать лет и только к тридцати превратил тоже в своем роде знаменитую восьмиметровку в фантастической коммуналке на улице Жуковского в уже упомянутую лианозовскую квартиру. (Это история отдельная, вполне возможно, еще требующая когда-нибудь своего осмысления и описания, она, бесспорно, сыграла в моей жизни роль достаточно формирующую.) Но в какой-то момент сложилась ситуация относительного равновесия, и при том, что мысль существовала, сам обмен еще долгое время оставался бы делом гипотетическим, если бы не совпали два как будто совсем разнородных события. У меня появились деньги, и я повредил мениск. Ну, что касается денег, они у меня, естественно, не сами собой появились, я их заработал, но не буду рассказывать как, охотников заполучить столько и за такой короткий срок найдется немало, а там не Клондайк, может, мне самому еще когда пригодится. С мениском же совсем смешная история. Шел домой, даже не очень поздно, и в собственном дворе, почти на ровном месте подвернул ногу. Никто не верит. Да, а до этого вот что. Я собирался в командировку в какие-то места, сами по себе вполне открытые, но очень дремучие, и другого туда пути не существовало, как только через территорию военной базы. Разрешение на проезд мне редакция выбивала несколько месяцев и чуть ли не через военно-морского министра. Наконец билет у меня уже в кармане, следующим же утром должен лететь, а вечером как раз и подворачиваю

---

ногу. Но сразу ничего особо не почувствовал, пришел, лег, заснул нормально. Часов в восемь прозвенел будильник, собираюсь вскакивать, чувствую — не могу. Колено размером с футбольный мяч, и нога сложена кренделем, разогнуть нечего и думать. Звоню Сереге, он приехал на машине, по-моему, с Аркашкой, засунули меня в лежачем положении на заднее сиденье и повезли в травмопункт аж в Олимпийскую деревню, ближе у нас не оказалось. Там врач только взглянул меланхолично, ща, говорит, все сделаем, и достает шприц с иглой размеров невероятных. Я бодрюсь, хоть глаза стараюсь и скосить, чтоб от вида жуткой иглы особо не расстраиваться, делай, прошу, только побыстрее, а то у меня через час самолет. Доктор оказался не без язвительности, самолет, замечает, это можно, но желательно все-таки грузовой, другой тебя уже через несколько минут вряд ли поднимет. Тут он своей иглой начал в колене ковыряться, и я маленько поплыл, а когда совсем очнулся, то лежал в собственной постели так прочно упакованный в гипс, что мне про мои летные качества все сразу стало ясно. Но на самом деле, до сих пор никто из моих знакомых мне не верит, жена ухмыляется и молчит, а остальные просто смеются в лицо, ни секунды не сомневаясь в моем вранье. Ну, насчет того, что я ногу перед домом подвернул. Подразумевается, что я скрываю таким образом какую-то скабресную историю, а разговор про двор и вечер — совсем неловкая выдумка для отвода глаз, более всего непростительная тем, что я

---

даже не постарался придать ей оттенка правдоподобия. Но мне тут скрывать нечего, я, знаете ли, и придумать таких постыдных извращений не могу, чтобы мениск в колене не выдержал, так что оправдываться не собираюсь, можете не верить, личное дело каждого. Но результат был несомненен и нагляден. Больше двух месяцев провалялся я в постели, дальше сортира не отлучаясь. Даже для такого склонного к малой подвижности и одиночеству человека, как я, это многовато. Решил развлечься и, раз уж все равно от телефона не отхожу, дал объявления об обмене. Кончилась эпопея тем, что однажды села передо мной вполне приличная семейная пара лет тридцати пяти и, глядячи выжидающе, выразила желание переехать из своей хоть и малогабаритной, но двухкомнатной, смежно-изолированной кооперативной квартиры с телефоном, рядом с метро «ВДНХ» (правда, первый этаж) в мою замечательную лианозовскую. Выжидательность взглядов была мне понятна, я и сам еще в телефонном разговоре недвусмысленно намекнул, что финансовые вопросы здесь вполне рассматриваются, таким образом принципиально сговорились мы быстро, я их квартиру даже не смотрел, жена съездила, такая же, говорит, как у твоей матери, да я те дома знаю, хуже, думаю, не будет. Все необходимые документы еще на костылях собрал, а первый день как гипс сняли, пошли мы в обменбюро и все оформили. Ну а остальное, самое интересное, началось уже потом. Что семейная пара оказалась не очень семейной и

---

не очень парой, и что собой при ближайшем рассмотрении представляла квартира, и еще ряд смешных мелочей. Самое удивительное, что меня изначально не кинули на все бабки, которые я переводил за полностью выплаченный кооператив через сберкассу на счет бывших хозяев. Опущу подробности, тут уж без разговоров требуется отдельное повествование, особенно если присовокупить увлекательнейшие приключения последовавшего затем полуторагодичного ремонта, но в результате я оказался почти полностью лишенным уже упомянутой довольно крупной суммы денег, однако во вполне прилично отделанной и даже, можно сказать, обставленной квартире. В которой и решил отметить день рождения.

Когда мы еще жили на Чаплыгина, в знаменитом доме с неисчислимым количеством мемориальных досок, мой отчим, бросивший незадолго до того приличную инженерную должность на «Уралмаше» и устроившийся на договор в «Вечорку», оборудовал себе кабинет на подоконнике. Нас в шестнадцатиметровой комнате длинной квартиры, в которой впоследствии расположилась целая студия Табакова, проживало тогда девять душ, плюс стоял концертный рояль — кормилец семьи, так как главный доход давали уроки музыки, кои бабушка с прабабушкой посменно вели на названном инструменте. Место для постели находили с трудом, используя для этого самые неожиданные места, о прочих роскошествах, естественно, и думать было трудно, но выручали по-

---

доконники, огромные такие, мраморные, во всю почти толщину метровых стен да еще с выступом. Вот на одном подоконнике отчим и оборудовал кабинет. Поставил тогда уже, помню, не очень новую машинку «Москва», стаканчик с карандашами и ручками, положил стопку бумаги и был счастлив, умоляя только об одном: чтобы никто ничего не трогал. К журналистике население комнаты относилось с должным почтением, но внять мольбам не могли никак, холодильников тогда еще не существовало. То есть мы, по крайней мере, о них не слышали, и продукты хранились между рамами окна, в основном как раз того, перед которым расположился кабинетный подоконник, к прочим было сложнее подойти. (Редактор Хроники в этом месте сделал пометку: «Даже больше двух подоконников — это в шестнадцатиметровой комнате?») Тридцатилетнему человеку конца первого десятилетия 21-го века на уровне трех вопросительных знаков трудно себе представить принципы, по которым в свое время нарезались комнаты коммуналок из залов роскошных квартир старых богатых доходных домов Москвы. В эти принципы не входило соответствие метража количеству подоконников. Конкретно в нашей комнате их было три.) И когда доставали, скажем, масло, то частенько или роняли его на бумагу, или роняли куда-нибудь сами бумаги, или еще что-то случалось, но, короче, отчиму редко удавалось найти в кабинете рукописи в том виде и в том месте, в котором были оставлены. И его постоянная тоска

---

по несбыточному — утром вот сюда бумажку положил, а вечером она тут же и нетронутая, — тоска эта, ничем внешне не выражаемая, но глубоко засевшая в его глазах, передалась, видимо, на долгие годы и мне, выросши в конце концов в конкретную мечту о собственном письменном столе. Конечно, между тоской отчима и моей мечтой разница величайшая, я уже давно мог бы поставить любой величины стол в каждой из бывших до того комнат, не говоря о лианозовской двадцатидвухметровой зале, но тут проявляется основное различие не только между жилищными условиями и запросами поколений, но между двумя конкретными личностями. Впрочем, это разговор серьезный, не впопыхах, а пока достаточно того, что в одной из двух комнат новой квартиры я оборудовал почти настоящий кабинет. Ту стену, в которой была дверь, создающая смежность, заставил от пола до потолка стеллажами с книгами, напротив поместил немецкий диванчик широкого профиля, а между ними у окна втиснул стол. Кабинет получился почти, потому что стол тоже письменный почти. А на самом деле, никакой он не письменный, я его достал через Аркашкиного приятеля в финском магазине за бешеные деньги, уникальный стол, его не опишешь, его видеть надо, но вот не письменный. Хотя если разобраться, то только тем и отличается, что раздвижной и без тумбы с ящичками. Раздвижной — это чрезвычайно удобно, а с другой стороны, зачем мне ящички, когда как раз и идеей было, чтобы все разложить на повер-

---

хности в уверенности, что так и останется лежать, никто никогда не тронет? Так я и решил, да так и поступил, как решил. Но вот пришло время отмечать день рождения, и выяснилось, что моего маленького антикварного круглого стола (ныне проданного) в другой, большей комнате, на всех приглашенных явно не хватит, и придется переносить и подставлять финский, почти письменный. Так, буквально через несколько дней после того, как идея получила, наконец, свое реальное воплощение, я своими же руками вынужден был разрушить идеал. Собрал все разложенные на столе рукописи, сунул их в одну огромную папку, а ее положил в пустующую пока книжную полку.

Через несколько дней после банкета стол перенесли на место, я водрузил на него папку и раскрыл ее. Там было все, кроме примерно пятнадцати печатных листов текста с рассказом о событиях, теперь уже известных читателю. Хотя и сейчас еще я пишу эти слова — «известных читателю» — не без некоторого сомнения и опасения. Но об этом позже. А тогда ситуация представлялась мне нелепой до крайности. Взять рукопись не мог никто. Гуляли мы компанией предельно узкой: Сережка с Катериной, Аркаша, Петюня, Мишка с Лорчиком, Тошка и Олег Никитович. Тут комментарии излишни. Но даже если бы среди нас находился кто-то посторонний, у него не оказалось бы никакой возможности незаметно для всех, постоянно танцующих рядом с книжными полками, достать оттуда огромную папку, развязать, вы-

---

нуть толстенную, ничем не скрепленную пачку листов, куда-то спрятать, поставить папку обратно... Совершенная нелепость. Уже не говоря о том, что не существует человека, которому нечто подобное могло потребоваться. Но факт остается фактом. Рукопись исчезла. Первое время, не веря себе и стараясь пересмотреть все, даже самые невероятные варианты, я занимался поисками по квартире, хотя и помнил прекрасно, как клал конкретно эти листы в папку, да и трудно спутать, не бумажка какая незаметная, а в квартире моей и намеренно спрятать что-либо невозможно, не то что случайно затерять, — два дивана, два стола, два книжных шкафа, стеллаж и вешалка. Всё на виду, стиль полной неприязательной откровенности. Но я все же поискал. Слегка нервничая. Потом успокоился, какой, думаю, бред дурацкий, не может этого быть, найдется само собой, еще смеяться буду. Не нашлось. Не смеялся. И прошло с тех пор вот уже почти два года. Может быть, самых важных в моей жизни. Вполне может быть.

Не стану подробно рассказывать, что произошло за это время. Не подробно, впрочем, тоже. По крайней мере, сейчас. Упомяну только, что прошлым летом закончил писать одну достаточно принципиальную для меня книгу, а нынешним — другую. Упомянуть следует вот почему. Первая книга — это самый обычный роман со всеми присущими именно данному жанру чертами, я так и написал под его заголовком — «Роман», но почему-то каждый, кто

---

его читал, прежде всего, начинал возмущаться этим словом и более ничего за этим своим возмущением в самом произведении не видел. Поэтому мне пришлось поступить подобно тому, как поступил Венечка Ерофеев с одной из известных глав: я снял с титульного листа слово, привлекающее столько ненужного внимания и мешающее восприятию сути; более того, заменил его выражением «книга рассказов». Хотя никакая это не книга рассказов, а, как уже подчеркнуто, самый обычный роман. Но разъяснить это всякий раз очередному читателю мне представлялось делом непродуктивным, и потому я решил в письменном виде сформулировать свое понимание романа и вообще определение жанра как объективного явления. Правда, получился у меня не философско-литературоведческий трактат, а повестушка с некоторыми потугами на научную фантастику, но это уже каприз гения, сути не меняющий. Однако публиковать эту повестушку как примечание к книге рассказов, объясняя, что никакие они не рассказы, показалось совсем глупым, пришлось плюнуть и просто вернуть на титул «Роман».

Мысль же начать восстанавливать утерянное появилась у меня довольно скоро после пропажи. Как я уже сейчас понимаю, даже еще до того, как пришла уверенность в невозвратности изначального текста. Впрочем, может быть, окончательной уверенности нет и до сих пор. Тому имеются достаточно основательные причины, носящие, однако, как сказал бы

---

кто-нибудь из кумиров моей ранней и давней юности, «внетекстовой характер». Но вот пришло время (из той самой стилистики немного кино), когда я вдруг оказался (из той же стилистики) в совершенно необычайных для себя обстоятельствах. На июнь и июль прекрасный гостиничный номер с регулярным питанием, берег моря в двадцати метрах от порога, горничная с заботливостью из очень далекого прошлого и ненавязчивостью из еще более далекого будущего... Ну, честно говоря, не совсем это гостиничный номер, подробности, однако, опущу, так же как и название одного из самых валютных и престижных климатических курортов. Нечего губы раскатывать.

Требуется учитывать, что вся моя предыдущая курортная практика, не касаясь нескольких безалаберных пьянок в юрмальских кабаках, сводилась за жизнь к двум неделям Планерского (который Коктебель), где снималась койка у людей, случайно оказавшихся моими однофамильцами. Правда, глава семьи, в отличие от моей смеси, был лицом незамутненной национальности. Однако корейской. Что почти так же, как моя еврейская внешность, не очень вязалось с нашей чисто русской фамилией. Но подружились мы не поэтому. Василий Васильевич обладал незаурядным умом и редкостным характером. Отработав много лет, в разные, подчас весьма сложные времена, начальником одной хитрой районной организации, имевшей непосредственное отношение к заготовкам и хранению мяса, он умудрился не только не сесть и не

---

нажить себе тьму врагов, но даже почти не занять друзей и не наворовать много. Во всяком случае, хотя достаток в доме имелся, но был он ничуть не большим, чем у подавляющего числа односельчан; там все, кроме самых уж последних лентяев, живут небедно. И лишних денег точно не водилось, особенно с тех пор, как сын Колька, слесарь какой-то феодосийской конторы со стодвадцатирублевой зарплатой, женился на медлительной красавице (оказавшейся не только однофамилицей, но и тезкой моей первой жены) и нарожал с ней кучу детей. Василию Васильевичу, уже пенсионеру, пришлось возить на тачке кое-что из сада на коктебельский рынок и начать пускать в сезон постояльцев в несколько раскиданных по участку сараюшек. Эти занятия, особенно последнее, настолько не соответствовали светски-аристократической натуре хозяина, что не оставалось сомнений: лишь крайняя необходимость кормить шумную ораву внуков заставляет его мириться с противоестественными для себя вещами, а появившись малейшая возможность, заляжет старик в гамаке с газетой и кроме рюмки чудесной шелковичной наливки, на которую был исключительный мастер, не предъявит действительности больше никаких претензий. Но возможность не появлялась. Колькина жена рожала без перерывов. Несколько лет потом мы с Василием Васильевичем переписывались. Нечасто, два, редко три письма в год получал я на листах из школьных тетрадей, старых еще, в три косых, теперь таких не делают, видать, хранились у

---

старика непонятно зачем скопленные запасы. Эти письма мне очень дороги, я обязан им многим, чувствую себя перед ними в долгу и постараюсь когда-нибудь найти форму, в которой можно расплатиться с долгом. К самому автору, впрочем, ничего иметь отношения уже не может. Прошлым летом жена Василия Васильевича написала, что он застрелился в глубине сада, и просила помочь достать церебрализин, у нее начались какие-то сложности с головой. С тех пор уже несколько раз высылал ей ампулы на полный курс. Колькина жена рожать перестала, пошла работать.

Василий Васильевич брал за койку, не помню уже сейчас точно, два или три рубля, столько же, сколько и все прочие в поселке, но, в отличие от других, мелочно регламентировавших каждую минуту у хозяйской плиты с привозным баллонным газом и начисляющих лишние копейки за любую выпрошенную тарелку, он оборудовал специально для постояльцев во дворе просторную кухню под навесом, поставил рядом холодильник, повесил полки с посудой и широким жестом велел пользоваться всем без оглядки. На этой кухне мы частенько собирались вечерами за бутылками незабываемого новосветского шампанского и обычно приглашали хозяев. Молодые реагировали мгновенно, Колька тут же притаскивал «огнетушитель», с совсем необидным презрением косясь на нашу «шипучку», жена его сооружала сковороду жареной картошки с помидорами и яйцами, и заси-

---

живались они с нами допоздна, в разговор особо не вступали, но испытывали от самого процесса явное удовольствие. Василий Васильевич откликался на приглашения гораздо реже, приходил всегда один, супруга присылала через него извинения со ссылкой на домашние хлопоты, обязательно приносил с собой бутылку своей уникальной наливки, которую и нам по чуть-чуть подливал в шампанское, что оказалось и в самом деле очень вкусно, садился с краю, делал несколько чрезвычайно изысканных комплиментов самым красивым женщинам за столом, пару раз тонко острил, что имело необычайный успех, сочетаясь с восточной непроницаемостью отрешенного лица, рассказывал под конец анекдот, всегда никому не известный, хоть собирались столичные знатоки этого жанра, и, дождавшись, когда что-нибудь отвлечет всеобщее внимание, попросив прощения, уходил «побродить по саду», но больше на кухню уже не возвращался. Так однажды он не возвратился совсем.

Этот старый кореец, неизвестно как и когда закончивший семилетку, с изумительным совершенством владел тем языком, что каждый из нас считает родным, пока однажды вдруг не убедится в полной своей в нем беспомощности.

А вот с условиями и удобствами там, честно говоря, была беда. Про хибарку кособокую со ржавыми кроватями уже не упоминаю, это ладно, а вот дощатый сортир во дворе — стемнеет, так боишься провалиться, да и к тому очередь, горячий душ ста-

---

новится мечтой, даже мытье головы вырастает в жуткую проблему, про прочие мелочи, от очередей за хлебом до того, что на пляж сорок минут тащиться по жаре, — уже и заикаться неудобно. Таким у меня южный отдых в памяти и остался: миг высочайшего блаженства от смеси солнца с морем, а за него часы нудной мучительной расплаты бытовым дискомфортом. Я, никогда для себя не формулируя, внутренне воспринял как аксиому, что эти пропорции извечны и неизбежны: хочешь получить одно — терпи другое. Поэтому, когда вдруг заблуждение выяснилось столь наглядно, восторженному удивлению моему поначалу не было предела. Как же так можно: на полу ковер, у меня дома такого нет (у меня дома никакого нет), в ванной горячая вода круглые сутки, в Москве уже месяц перед отъездом к маме мыться катался, пока и у нее не отключили, горничные за тобой пылинки собирают, кефаль ныряет в ткемали, а форель разбивает лед, и при этом прямо под балконом километры пляжей, на которых... Хорошо, хорошо, не буду больше, все люди. И тут я, наконец, решил, что настало время все повторить. Сел за машинку (да, забыл сказать, что плюс к прочим чудесам здесь у меня оказались под рукой еще многие полезные мелочи, от новенькой безотказной «Эрики» до такой же новенькой и, что нынче почти совсем уже невероятно, такой же безотказной «шестерки» с родным движком), чуть прикрыл глаза, вновь вызывая в памяти знакомые лица, картины и события, глубоко вздохнул, придер-

---

жал дыхание и ударил по клавишам. Но копирку не закладывал, как и в первый раз. Впрочем, я всегда и все пишу в одном экземпляре, без черновиков и рукописных набросков, но делаю это обычно по привычке и не задумываясь. А в данном случае единственный экземпляр был преднамерен, это входило составной частью в общий замысел.

Я собирался восстановить первоначальный текст с наиболее возможной точностью, то есть восстановить не только события, еще раз рассказав о них, но и конкретно те слова, в которых все произошедшее было изложено два года назад. Задача облегчалась тем, что, несмотря на полную неспособность запомнить даже стихи, и даже свои собственные, многие пропавшие в тот день рождения листы я мог воспроизвести чуть не наизусть. То есть мне поначалу казалось, что воссоздаваемое вообще буквально повторяет утраченное, и иллюзия эта сохранилась до того момента, как я обнаружил, что дошел до последней из написанных тогда фраз, а вместо пятнадцати листов передо мной лежит дай бог пять. Я еще раз все внимательнейше пересмотрел и не увидел даже намека, откуда могло взяться такое сокращение. Впрочем, если все это и имеет какое-то значение, то есть то, что листов десять теперь уже точно исчезли невозвратно, может быть, не бессмысленно появление именно оставшихся пяти? Вскоре выяснится.

Господи, освободи меня от бесплодной, иссушающей тоскливой ненависти, дай сил не вскрывать бо-

---

лее, засыпая, и не жмуриться, отвращая пробуждение! (Восклицательный — один из самых редко используемых мной знаков препинания. Лет в одиннадцать я месяц пролежал в больнице с воспалением легких, из него недели две в отдельном боксе, где единственной моей связью с внешним миром была излучавшая удивительную неприязнь медсестра, делавшая уколы и приносявшая еду. Почему-то запрещалось передавать мне даже книги и письменные принадлежности. Но мама, после нескольких моих записок с мольбами, умудрилась в пачку с печеньем упрятать крохотный блокнотик и карандаш. Я нарисовал в блокноте мультфильм. Не знаю, как сейчас, я у нынешних школьников ничего подобного не видел, а в мое время у всех класса до шестого было такое увлечение, рисовали на краю листа человечков, на каждом следующем листе он чуть менял позу, и когда потом быстро пролистываешь тетрадь, альбом, учебник — на краях страниц учебника чаще всего и рисовали, — то видишь, что человечек движется, как в мультфильме. Недавно я в каком-то бумажном завале обнаружил тот самый блокнотик из больницы. Каким чудом он сохранился, непонятно, у меня никогда ничего не сохраняется. Обнаружил и сразу его вспомнил. Привычным, всплывшим из детства движением большого и указательного пальцев оживил слегка потертого, но еще вполне бодрого человечка. Он послушно побежал с мячом по краю листа и безукоризненно забил гол в верхний угол немного кривоватых ворот. Я отбросил

---

блокнотик, не зная, что с ним делать, — хранить глупо, я не храню ничего, напоминающего о прошлом, не имею даже ни одной фотографии, кроме как на документах, — но и специально выбрасывать странно, столько лет лежал себе тихо, никому не мешал, а тут получится, нашел я его только затем, чтобы выбросить, тоже очень умное дело. Так вот, отбросил блокнотик, он раскрылся, и оказалось, что, кроме человечка на краю, листы его сохранили еще какие-то бледные каракули. Об их существовании я совсем не помнил, но, видимо, записывал что-то в промежутках между всплесками отупляющей температуры. Разобрать возможным оказалось очень мало, всего несколько обрывочных фраз. «Как мне плохо... Так не бывает плохо... Надо запомнить... Удивительно, думал, хуже быть не может... Обязательно надо запомнить... Почему?» Я смотрел очень внимательно, даже в том, что совсем непонятно, нет никаких признаков обращений к Господу или восклицательных знаков. Это точно.)

Стремление в копии сохранить иллюзию подлинника заставило меня даже начать текст точно так, как он начинался больше года назад. Но если первое высказывание, насчет того, что «вряд ли все станет совершенно ясно» и что «я и сам еще до конца не разобрался», не только полностью сохраняет свое изначальное значение, но, думается, приобрело в данный момент и дополнительный смысл, то второе, относительно «не знаю даже, что получится: рассказ,

---

повесть или роман», воссоздано исключительно ради сбережения аромата непосредственности, свойственного первоначальному тексту. Конечно же, второй раз берясь за не самую благодарную работу хроникера, я уже прекрасно знал, что у меня получится, имея опыт утерянных пятнадцати листов. Более того, сразу перед днем рождения, только поставив точку после фразы «со звоном курантов все эти глупости, только что казавшиеся важными, стали вчерашним днем», я окончательно, в достаточно пространной форме собирался определить жанр создаваемого, для чего мне предварительно требовалось уточнить многое в самом понятии жанра. Надо сказать, что вопросы деления литературы на роды и виды чуть не с детства являются для меня большими, и хотя в массе частных работ я за прошедшие годы успел высказать немало разнообразных мыслей по их поводу, но обобщающих положений так нигде и не вывел. Тут же решил воспользоваться случаем и объясниться, наконец, решительно с теми, кто до сих пор совершенно серьезно продолжает считать, что роман — это произведение, в котором не менее, чем столько-то тысяч слов. Я многое собирался сказать по этому поводу. И про то, что у меня не романное мышление, и про то, что «Дон Кихот», так же как «Мертвые души», романом не является, только Гоголь это понял, а Сервантес нет, и про то, что не писатели создают жанр (там еще должно было быть про течения, направления, даже про школы), а наоборот, и про род и вид как явление

---

природы, а не продукт творчества, хоть и оно явление той же природы, но все же опосредованное... Да, намерения имелись самые серьезные. Но я уже упоминал о том, что мне мешает их осуществить. Прежде всего, созданный мною за это время чистый роман, полностью опровергающий тезис о моем не романном мышлении. А во-вторых, написанная для разъяснения, почему это роман, так как никто его за роман не принимал, философская поэма, которую, правда, тоже почему-то все считают не поэмой, а научно-фантастической повестью, хотя там от истинной повести ровно столько же, сколько от фантастики, не говоря уже о научности. Так вот, в сей поэме я уже все про жанр изложил до упора, ни одной мысли больше в голове не осталось (на эту тему, а так вполне достаточно). Потому в данном тексте придется от дальнейших литературоведческих замыслов отказаться, нейтрально и честно придерживаться *Хроники*, оставив фразу «не знаю еще, что получится...» и как рудимент, и по приведенным уже соображениям. И, наконец, еще несколько замечаний по тексту, имеющих отношение к его восстановлению, свалю все в одну кучу, чтоб более к этому не возвращаться. В п. 16 ч. 1 мне пришлось почти дословно воспроизвести фразу «сейчас, когда я пишу обо всем этом, на дворе глубокая зима» и все дальнейшее уже не только для создания каких-то иллюзий у читателя, но и для возвращения самому себе того зимнего настроения, которое именно только и соответствовало тому тексту. Когда в п. 19 ч. 1

---

я пишу, что «Арбат» — последнее место, где всегда за червонец можно взять столик, то это опять же мои сведения больше чем годичной давности, с тех пор я сильно уменьшил количество посещений ресторанов, а в «Арбате» так вовсе не бывал, вполне возможно, сейчас там или такса изменилась, или вообще все честные стали и никто не берет. Радиопрограмму в п. 22 ч. 1 мне пришлось восстанавливать по газете соответствующего числа, и, если в реальности она претерпела какие-то изменения и была в тот день другой, прошу у читателей прощения как за неизбежную потерю при реставрации.

Мне необходимо сказать еще многое, относящееся к мыслям и событиям дня настоящего и имеющее при этом большое значение для понимания основных описываемых происшествий; я непременно еще вернусь, продолжу разговор, может быть, даже не раз, но пока вынужден прерваться и обратиться к центральному сюжету, чтобы читатель не потерял его нить, меня и так часто обвиняют, что я имею способность заболтать главное до вида, негодного уже более ни для какого восприятия. Так что еще буквально несколько слов, уже чисто по технологии, и сразу перейду к делу. Сложность заключается в том, что факты утерянной части я восстанавливал не то что по дням, а чуть не по часам, как это и было изначально в тексте. Это потребовало от меня слишком много дополнительных усилий, так как сами события во времени отодвинулись, записей никаких, а о памяти своей я

---

уже говорил. Но меня хоть как-то выручало то, что я воспроизводил не только сами события, но и единожды написанный текст. Если же мне и далее продолжать оставаться верным тому же принципу детально по минутам изложения, то усилий потребуется еще больше, так как должен перейти к описанию никогда ранее не фиксируемого мною на бумаге. Но еще на усилия эти я бы пошел, однако гораздо более боюсь другого — что-нибудь ненароком спутать и какой-то неловко перевернутой мелочью поставить под сомнения правдивость целого. А правдивость эта... Впрочем, сие тоже позже, снова начинаю забалтываться. Короче, дальнейшие эпизоды буду описывать, стараюсь сохранить последовательность, но не гарантирую их непрерывности и временной выверенности.

## 2

Итак, как было обещано, — к делу. Татьяна Томилина постоянно помнила про свое обещание поговорить с Варей Павшиной, данное если и не отвергнутому, то и не сильно обнадеженному жениху. Помнила постоянно. Что странно. Странность имеет отношение отнюдь не к черствости характера госпожи Томилиной, а к вопросам гораздо более спорным, к целому ряду обширных областей, разрабатываемых группой лукаво перемудрствовавших австрийцев, слишком озабоченных судьбой своей давно провонявшей империи.

---

Но и мы виноваты не меньше, опьяненные воздухом той свободы, что даже элементарный эфир не напоминала, что под глупый транкви́л дурочку валяла нехотя, без малейшего уважения, а мы по нужде, как некрасиво это только по нужде и бывает, корячились изобразить наслаждение в ситуации, когда самая закоренелая мстительность прорывается исключительно через слабительную истерику колонии для несовершеннолетних. Недавно. Официально объявлено и зафиксировано. Надо дать возможность поколению рабов вымереть. Убивать не надо. Убивать никого особенно не стоит. Даже если очень хочется. (Представления не имею, откуда взялся этот пошлейший абзац, я в жизни такой мути написать не мог, надеюсь, читатель, добравшийся до сего места в тексте, не усомнится, что это нечто совсем чужеродное. Но я уже нынче пуганный, выбрасывать не буду, раз появилось, может, так надо. Однако отмежеваться все-таки считаю себя вправе.<sup>1</sup>)

Нет, не в обычаях Томилиной было забывать о данных обещаниях, особенно данных людям, неспособным проследить за их исполнением и настоять на нем. Но во всем существует достаточно четкая иерархия. Среди навалившихся в данный момент на Таню дел, насущных, неотложных и по важности зна-

---

<sup>1</sup> Позднее я обнаружил в тексте Хроники еще несколько подобных, неизвестно откуда взявшихся кусков текста, однако не стал вовсе обращать на них внимания. Не хочу связываться.

---

чительно превосходящих все, когда-либо у нее бывавшие, предстоящий разговор с Варей должен был неминуемо оказаться на последнем месте, сначала совершенно почти забыться, нырнуть вглубь, отлежаться, а потом если выплыть в свое время, то исключительно в виде досадной неизбежности. Но что-то во всей этой ситуации заставляло Таню не только постоянно помнить о разговоре, но и предчувствовать его, ожидать не как обязательное по необходимости, не совершенно постороннее, а с глубоко личностным, чуть не корыстным, что уж вовсе нелепо, интересом. Я пишу «что-то», хотя сам-то прекрасно знаю — что, но приходится отдавать дань тем самым австрийским штучкам, об отношении к которым я уже достаточно четко высказался. Нынче как-то неудобно говорить, что я, мол, не верю в подсознание, все равно как сказать, что не веришь в трамвай (хотя на самом деле я и в трамвай-то абсолютно не верю). Вот Сергей Антонов утверждает, что Митя Карамазов схватил медный пестик, бросаясь к папаше, потому что страниц двести пятьдесят назад, ругаясь со Смердяковым, кричал: «В ступе тебя истолку». А когда его потом спрашивали, зачем хватал, отвечал, что не знает и был при этом совершенно искренен. Я-то уверен, что Митя прекрасно знал, зачем ему пестик, другой вопрос, хотел ли даже самому себе в этом признаваться. Это как, знаете, напьется человек, натворит глупостей, а потом на утро: «Ничего не знаю, ничего не помню...» То есть тут, конечно, другое, элементарный механизм

---

подавления отрицательных эмоций плюс к наивному лукавству, но аналогия довольно четкая. Или еще как внутренний карман, в который мы, демонстративно не считая, кучу денег запикиваем, а потом: «Ах, не знаю даже, сколько у меня там!..» Так я тебе и поверил, при сторублевой зарплате. Короче, много есть способов надувать самого себя, а уж окружающих-то...

Томила хотела разговора с Варей, ждала его и хоть объясняла это себе тем (уже характерно, что приходилось объяснять), что радеет за Васино благополучие, но ведь прекрасно же чувствовала и собственную корысть, имеющую отношение к легкому дискомфорту поутру после ужина в «Берлине», а вернее, даже к тому, что дискомфорт этот был значительно меньшим, чем предполагался еще до ужина самой Таней. Хотя все же и не до конца тут многое объяснимо, прежде всего, из-за явного недостатка информации. Ведь что, собственно, знала Томила о Павшиной? То есть о самой Варе даже и вовсе ничего, кроме одного наличия некоей кандидатуры на пост Васиной то ли жены, то ли няньки. Ну, так, примерно представляла, кто это может быть, не Мэрилин Монро, не Поль Гетти и не Барух Спиноза. Но даже если опустить личностное и сосредоточиться на сути проблемы, то и ее постичь Тане было трудновато, с Кузнецовым у них такого разговора не случилось, он о визите к нему Вари никому не рассказывал, а считать за информацию Васино бормотание, что ему, мол, велели ждать и все, а чего ждать, не объясняют, — довольно труд-

---

но. Но, видимо, не все существующие каналы передачи информации изучены нами достаточно хорошо, во всяком случае Томилина не испытывала сомнений не только по поводу необходимости самой встречи с Варей, но и по поводу достаточности имеющегося для этой встречи материала. Выяснив у Васи некоторые географические подробности вместе с демографическими, Томилина решила, что удобнее всего нанести визит Павшиной на работу, дабы не тащиться на край города и не быть стесненной присутствием детей, к тому же Варино министерство совсем рядом с Таниным театром оказалось, и очень просто можно как раз перед работой на часок заскочить, если там вечером дела появятся. И вот они очень быстро появились. Таня привычным движением раскрыла шкаф, вынула вместе с вешалками и кинула на диван несколько платьев, кофточек, юбок, брюк, свитеров, чтобы в последний момент выбрать наиболее подходящее настроению, как делала это обычно, и присела к трельяжу, привычно на мгновение задумавшись о тонкостях нюансировки именно сегодняшнего вечернего макияжа. Но нечто заставило Томилину непривычно продлить привычный миг. Опять пишу «нечто», прекрасно зная — что, из ложной, но неодолимой боязни грубостью конкретного слова разрушить тонкий психологизм ситуации. Тане вдруг пришло в голову, что не лучше ли на сегодня обойтись вообще без косметики, да и в одежде ограничиться чем-нибудь предельно скромным? Не уберет ли это возможную

---

преграду для доверительной беседы между театральным художником с явным будущим и министерской гардеробщицей с явным прошлым? А вдруг преграда эта, возникшая всего лишь от какой-то неловкой мелочи и чепухи, типа слишком густых теней или чересчур открытого платья, сыграет роковую роль в Васиной судьбе? Но одернула себя Татьяна, поймав на фарисействе. Поняла, а и не поняла, до возможности формулировки, так почувствовала достаточно ясно: не опасения за Васину судьбу толкнули к мимикрии, а другое, не столь благородное и честное. Поэтому даже чуть нарочито подчеркнула театральные характер грима, платье выбрала самое вызывающее, американское, в зеленых огурцах, которое недавно за три зарплаты приобрела у вернувшихся с гастролей знакомых девчонок из соседнего Большого и в котором — что, думаю, тоже хоть крохотную, но роль сыграло — ужинала последний раз в «Берлине». Плащик, сапожки, шарфик — соответственно. Головных уборов Татьяна Томилина не носила до самой глубокой зимы.

Время — начало пятого — оказалось выбранным очень удачно. Основной косяк посетителя и командировочного уже прошел, мелкие дела по поддержанию чистоты и порядка на вверенной территории закончены, а массовый исход аборигенов еще не начался, и Варя присела на расшатанный стул в уголке, рассеянно глядя вдоль стойки на влажновато мерцающую за огромными министерскими стеклами улицу.

---

Таня сразу поняла, хоть предварительно примет не выясняла, что Варя — это и есть Варя, а потому так сразу и сказала: здравствуйте, мол, Варвара, я Томила Татьяна, подруга Василия, мне надо с вами поговорить на личные темы, не найдется ли времени и места поспокойнее? Павшина с унылой покорностью несколько раз сморгнула и, сделав то ли приглашающий, то ли безнадежный взмах рукой, направилась в глубь одежных зарослей. Томила прошествовала вослед. В глубине гардероба оказался очень уютный закуток, где стоял крохотный столик, допотопный, какие раньше на любой коммунальной кухне встречались, переходя из поколения в поколение, потом как-то разом канули в небытие — но не все, видать, самые стойкие зацепились за такие вот закутки и не к дотягиванию беспомощной старости там приготовились, а к последнему бою, — такие же две табуретки, все покрыто аккуратнейшей чистенькой клееночной, на столе электрический чайник, сахарница, тарелка с сушками. На стене, тут же рядом, крохотный шкафчик с чашкам и блюдами, а возле него календарь, этим же министерством выпущенный, но на за границу, с нерусскими буквами и очень красивыми шестеренками. Милейший уголок. Варвара на одну из табуреток села, Татьяна села на другую. Варвара пальцем по клеенке поводила, узор рассматривая, потом глаза подняла, не вопрошающе даже, а так, с полной и окончательной готовностью. Татьяна откашлялась слегка, чуть спину выпрямила, локти со стола

---

убрала. Тут Варвара неожиданно робковато-поощрительно улыбнулась. Татьяна, которая в тот же миг тоже собиралась улыбнуться и тоже поощрительно, хотя и не так робко, с улыбкой притормозила, вернее, притормозила с поощрительностью, потому что глупо бы получилось, что все друг друга одновременно поощряют, но по инерции все же не удержалась и все же улыбнулась, и именно поощрительно. Тогда Варвара тихо ойкнула: «Ой, Танечка!» — и заплакала, нелепо скривив рот, глядя прямо в глаза Томиной. И Томила сказала: «Ой, Варюша!» — и заплакала, нелепо скривив рот, глядя прямо в глаза Павшиной.

Ну а потом с обеих сторон пошло довольно бесвязное бормотание, впрочем, его участниками за таковое вовсе не принимаемое. Варя, глотая окончания и опуская половину слов как ненужные и сами собой разумеющиеся, несла свое, уже частью известное читателю, что, конечно, и все говорят, чего перебирать, и кто возьмет, семь классов с коридорами, а годы, а девки, опять рефреном про то, что детям отец нужен, да ведь все одно получается, Вася тут за себя не ответчик, сам как дитё, а дитё обмануть легко, его поманить, подумает, что сам, а какое сам, когда тут большие сговорились, потому получается корысть, ну, пусть, и ему лучше будет, но он того не понимает, то есть, может, и понимает что, а больше чувствует, но там как раз корысти нет, от нутра все же больше, не мыкался, не просчитывал, так тянется, а тут расчет не сходит, и в том даже, что ему луч-

---

ше будет, опять расчет, как себе оправданье, взятое нарочно, а раз оправданье потребовалось, выходит, не просто так, на чистом деле оно и в голову не идет никому.

Томила не расслышивала многое за собственными, хоть и поредевшими всхлипываниями, за Вариной невнятистью, еще больше недопонимала, не зная нюансов и подробностей, но при этом прекрасно все слышала и понимала, так только, как именно это все и требовалось слышать и понимать, и Варя видела, хоть глаза слезами застланы, а отлично видела, что Таня слышит, и понимает, и говорит при этом то, что нужно говорить, то есть не вообще и обычно нужно, хотя и вообще и обычно тоже нужно, а что конкретно сейчас и конкретно Варе требуется, а ведь при том и Варя многих слов собеседницы не понимала, каких не знала, от каких отвыкла давно, а все равно, потому что не беседа, а другое, не обмен шел мыслями, обмен оценку взаимную предполагает, тут не требовалось оценки. И вскрикивала тихонько Томила, что реакции Варины неадекватны, что ни нравственность, ни порядочность в конце концов не бывают абстрактными, и не то чтобы, конечно, цель оправдывала средства, но и благородство самой цели тоже нельзя сбрасывать со счетов, а что цель благородная и благородней не бывает, тут уж сомневаться не приходится, ведь что тогда и благородство, если не когда всем станет хорошо, а в этом, и, прежде всего, для Васи, сомнений никаких, кажется, и Варя со всей

---

своей щепетильной мнительностью предположить не может, что Васе лучше не будет, и нельзя никак забывать, что, не говоря уж о моральной ответственности и нагрузке, в смысле чисто практическом и бытовом берет на себя Варя достаточно дополнительного, а ведь и так немало, но, с другой стороны (сработал у Татьяны некий предохранительный блок, мешающий любой женщине, желающей хоть в чем-то убедить товарища по полу, переусердствовать в упоре на чистый альтруизм), бесспорны тут, конечно, и положительные стороны, и не в семи классах и возрасте дело (лукавство необходимо при самой святой искренности, иначе не искренность это, а праздник оскорбительного самодовольства), а в том, что по натуре своей Вася человек чудесный, обожает детей, безумно (обратная сторона необходимого лукавства, оно не гарантирует идеального чувства вкуса и стиля при изложении даже людьми с хорошим слухом) любит Варю и на самом деле не так уж безответственен и безогляден в своих желаниях и поступках, как может показаться, у него, может быть, аналитические способности несколько и притуплены, но при этом интуиция развита чрезвычайно, он даже на улице к плохому человеку время спросить не подойдет, так что стремление жениться и именно на Варе у него совершенно самостоятельное и если и не продуманное идеально, а у кого из самых больших интеллектуалов оно таковое, то уж прочувствованное прекрасно, и какие тут еще могут быть сомнения?!

---

Так довольно долго, то слегка успокаиваясь и увлекаясь текстом, то снова усиливая эмоциональную сторону информационного обмена, вели они несколько оперный диалог, местами смахивающий на дуэт, в котором гораздо более ясна мелодическая основа партий, чем реальный смысл слов. Наконец обе поняли, что все основное высказано, выплакано и выяснено, и настало время делать конкретные определенные выводы, хотя сторонний наблюдатель наверняка изумился бы, что их в принципе возможно сделать на имеющемся материале. Но это уже обычные сложности расчетов в различных инерциальных системах. Они не представляли для данных исследователей и малейшей помехи. Но вот сами выводы и для Вари, и для Тани вдруг оказались довольно неожиданными, для Томиной даже более, чем для Павшиной. Для Вари, собственно, неожиданным в выводах главным образом явилось не их содержание — тут как раз многое было предрешено, неизбежно и вряд ли зависело от любых обсуждений и самых убедительных контраргументов, — а то, что выводы эти, во-первых, поддаются формулированию в виде слишком серьезном и по значению выходящем за рамки привычно бытовых словообразований уже не раз упомянутого типа, а во-вторых, имеют, оказывается, значение и еще для кого-то, пусть и не совсем постороннего, а все же никак явно в данной конкретной ситуации кровно не заинтересованного. И еще Варе стало предельно ясно, что, как бы умны, образованны, опытни и полны са-

---

мых добрых побуждений ни были любые возможные советчики и наставники — что вынужденные, к которым в смутную минуту может потянуть, что добровольные, — какие бы самые благородные цели они ни преследовали (странно, но абсолютное благородство таких целей не стало для Вари аксиомой, несмотря на вроде бы полную бредовость предположения о чужой корысти в данной ситуации), все равно в конечном итоге придется ограничиться собственными крохотными силами и воспринять вырвавшийся в свое время у Кузнецова раздраженный окрик как единственную реальную программу действий. Остальное — ложь.

А Татьяна после содержательной беседы довольно внезапно, но как будто окончательно пришла к мысли, что не то что бы у нее нет морального права (понятие права не возникло в голове даже намеком, хотя в дальнейшем Томина иногда как бы слегка и испытывала намек на удивление, что не возникло) убеждать в чем-то Варю, а тем более давать ей какие-то рекомендации, и не то чтобы это даже особо бесполезно (правда, ощущение этой бесполезности промелькнуло, но не стало определяющим), а просто в настоящий момент не очень нужно и возможно, так как еще очень сомнительно, кто из двух сидящих друг напротив друга женщин больше нуждается в советах или опять же рекомендациях. Нет, ни в коем случае — и сама мысль об этом показалась бы ей оскорбительной — за этими советами и рекомендациями Татьяна не собиралась обращаться к

---

кому бы то ни было, а если бы такой кто-то, несмотря на всю невероятность подобного предположения, все же появился сам по себе и рискнул бы высказаться, то, конечно, тут же был бы отвергнут с решительностью профессиональной старой девы перед нагловатобками ужимками неопытного юного уличного пристава. Но все же чисто абстрактная возможность неких советов существовала в виде обособленного от любой конкретной посторонней личности, как бы не принужденно витала, являясь всего лишь опосредованным признанием некоторой не окончательной решенности и завершенности ситуации, а может быть, и этого не имелось, а причиной всему был только лишь обычный, даже пока довольно легкий дискомфорт, который сам по себе достаточно безболезнен, но намекает на причины, его вызвавшие, как антитела в крови, не очень опасные, но сигнализирующие о наличии вируса. А он иногда бывает смертельным, этот вирус.

Женщины расстались без намека на какое бы то ни было продолжение общения, и самой пустой, ни к чему не обязывающей фразы насчет «звоните» там или «заходите как-нибудь» не сорвалось ни у одной с языка, но произошло это не от какой-то неловкой отчужденности, возникновение которой, кстати, оказалось бы зачастую после подобной беседы на подобную тему между подобными людьми (но ни в коем случае не этой беседы на эту тему между этими людьми) достаточно естественным, а как раз от обратного

---

чувства, той органичной, почти родственной близости, хоть внезапной, но не оставляющей сомнений в истинности, что всегда рождается мимоходом, как бы случайно, но это та же случайность, по какой молния бьет именно в ту точку на поляне, на которой стоит единственное дерево, и близость эта не требует никаких внешних атрибутов, для нее нелеп ритуал обыденного необязательного общения, идущий от пустоты спасительной вежливости. Томила знала теперь, что отныне Варя существует, и уже не только сама по себе, но как постоянная и неотъемлемая часть ее, томилинского, мира, и ушла, как будто расставалась на минуту, рассеянно кивнув головой, и хоть минута эта может обернуться годами, а порой оборачивается и вечностью, но ни в отношениях, ни в ощущениях это не изменит ничего, время тут становится величиной мнимой, и любая следующая встреча окажется все равно через минуту, начавшись с той же оборванной и навсегда застывшей в янтаре интонации, на которой закончилась встреча предыдущая. Так же прекрасно знала обо всем этом и Павшина, и так же рассеянно кивнула вслед уходящей Татьяне, ощутив на миг с предельно холодной, абсолютно четкой и совершенно несвойственной ей ясностью, что только что решалось, если не решилось, нечто, может быть, гораздо более важное, чем ее собственная судьба или судьба Томилиной (уж совершенно непонятно, откуда вообще мысль о Татьяниной судьбе могла тут возникнуть у Вари, а вот возникла ведь), может быть, даже важ-

---

нее, чем чья бы то ни было судьба, хотя Варя так же прекрасно осознавала, что ничего важнее не существует и даже предположение противоположного опасно и кощунственно.

А вот дальнейшее в поведении Томиной, пожалуй, менее всего психологически объяснимо, хотя совершенно обычно, и не только для нее. Казалось бы, возникшая сумятица и неопределенность после столь вроде бы до конца решенной ситуации должны заставить если не остановиться, то уж, по крайней мере, несколько притормозить и попытаться, ладно, не проанализировать — пусть, не каждый способен анализировать, и не всегда способен тот, кто способен в принципе, хотя как раз Томилина в этом именно способностями всегда отличалась исключительными, — но хоть прислушаться к собственным ощущениям, понять, откуда грозит опасность, постараться отличить легкую межреберную невралгию от предынфарктного состояния, без чего элементарный инстинкт самосохранения не должен позволять человеку двигаться с прежней скоростью в прежней безмятежности. Но тут не только не снизилась скорость, но, что самое странное, даже безмятежность не уменьшилась, совсем непонятно как сочетаясь со всем остальным, поднятым со дна и основательно взбаламученным. И деятельность Татьяны, и так уже в последнее время достаточно активная, приобрела с момента посещения Вари совсем несвойственные для Томиной темп и размах. Каждый ее жест стал

---

настолько целенаправленным и отточенным, каждая фраза настолько убедительной, а каждый поступок — результативным, что даже крайне плохо поддающаяся внешним влияниям и достаточно консервативная по бюрократической громоздкости фирма, в которой временно исполнял обязанности начальника майорствующий полковник, была вынуждена слегка пренебречь волокитой стандартной процедуры и назначить конкретный, что само по себе редкость, да к тому же чуть не недельный (сейчас уже точно не помню, но если и ошибаюсь, то на день-другой) срок окончательной подготовки всех документов. Ну а уж Кузнецов в этом отношении совсем не камень, он и не трепыхнулся даже, с одного слова Татьяны по тону сразу поняв всю бесполезность трепыхания. Тотчас же прибежал как миленький. Еще извинялся.

### 3

А то, если вы не забыли, Андрей Петрович, чрезвычайно занятый трогательными заботами о собственной персоне, поначалу довольно вяло прореагировал на просьбу Татьяны навестить ее, а потом вовсе, загуляв и задергавшись, то есть, наверное, все же в некоторой последовательности, сначала загуляв, а потом задергавшись, и вовсе выпустил предстоящий визит из памяти. Хотя тут нужно для некоторого оправдания Кузнецова уточнить, что, если бы

---

Татьяна просто тогда сказала по телефону: заскочи, мол, Кузнецов, как-нибудь, но побыстрее, дело есть, или без дела даже, ну, что потрепаться очень-очень нужно, вообще любую чепуху — Андрей Петрович, несомненно, если бы и не раньше явился, то уж точно бы больше торопился. Но там в разговоре промелькнула фраза про помочь разобраться с картинками, и, несмотря на это легкое, как бы мимоходом брошенное «картинки», Кузнецов отлично почувствовал, какого рода беседа намечается, и род таковой всегда мало его устраивал, а в последнее время, не без связи с некоторыми известными уже нам событиями, и вовсе начал вызывать столь глубокое внутреннее неприятие, что, даже не до конца осознанное, оно не давало возможности с безмятежной искренностью желать визита к Татьяне и совсем от нечего делать, а уж при истинной замотанности Андрея Петровича совершенно спокойно позволило как будто и забыть странноватое приглашение, хотя, конечно же, Кузнецов прекрасно понимал это «как будто». И когда он услышал после повторного телефонного звонка в тоне Томилиной те новые нотки, о коих упоминалось, то, с одной стороны, дополнительно утвердился в предчувствии тяжелой ненужности для себя предстоящего разговора, но с другой — сразу понял бесполезность попытки дальнейшей его отсрочки, потому в тот же вечер обещал прийти, и пришел, и, как уже сказано, извинялся, и делал это не из одного вежливого автоматизма. Знал за собой.

---

И странен был их разговор, как на краю Земли. Ты, Кузнецов, сейчас слушай, говорила Татьяна, и сразу понимай, без вопросов, не нужны тут твои вопросы. И изначально с тем расчетом, что мне не совет твой требуется, не порассуждать с одной стороны и с другой стороны, а как приказ, то есть пусть это для тебя сейчас не как, а просто приказ, и будь любезен весь свой изысканный нейтралитет спрятать куда подальше, я на то имею право, давай не стану рассказывать — почему.

Кузнецов во время разговора садился, вставал, ходил, курил, откашливался, два раза чаю просил, большую рюмку водки под затяжку выпил, вы это потом сами в нужных местах расставьте по порядку, мне уже некогда, начинаю спешить, я все больше начинаю спешить, не нервничая еще, и вряд ли стану, но, честно сказать, с полной безнадежностью, так что сами дальше, сами.

— Танюша, — отвечал Кузнецов с ласково тоскующей безнадежностью, — зачем ты так, Танюша? Ладно, не надо никаких вопросов, это я как раз очень хорошо понимаю, чтобы без вопросов, только давай спервоначалу-то не загонять друг друга в угол, что за манеры, ей-богу, пенсионерские, ты мне еще духи в карманы налей, подумать вместе, ну что ж, давай, подумаем, коль такая блажь в голову пришла, хоть глупость это, и ты всегда сама гораздо лучше справлялась, но все же если так, то давай, а с приказами, Танюша, я пойду, я тогда пойду, чтоб нам совсем не

---

поссориться, а то мне это уже напоминает «принять ношу» и «встать на путь», а ты знаешь, как я к этому трепетно...

— Мне, Кузнецов, плевать насчет поспоримся, не до тонкостей нынче, да и не поспоримся, тут же теория для тебя только одна, правда, ничего больше, а из-за теории не поспоримся, я потом объясню про приказ, ты поймешь, а пока слушай, я без «пути» и «ноши», я так, по-простому, это типа сказки будет. Ну, представь, вот тебе надо уехать, ну не тебе, мне надо, но ты думай как для себя, уехать отсюда в другую страну, на остров, навсегда, я там за ихнего царя замуж выхожу, или вождя, не знаю точно, да не важно, но точно, что навсегда, там порядки такие. Там весьма своеобразные порядки, и в них, собственно, и все дело. Особенно касаясь моих картинок. То есть не только моих, правила общие, но каждый, понятно, про свое. Так вот, с картинками. Предоставляется выбор. Или я их беру с собой, все, да, тут еще подробность, что только совсем все можно брать или оставлять, беру, значит, все с собой, но тогда их больше никто никогда кроме меня не увидит. И не то что там выставки или как-нибудь широко, а совсем никто никогда, ну, предположим, табу такое существует, запрещено смотреть и показывать под страхом смерти. Даже нет, не так, когда табу, то хоть надежда есть, или совсем без надежды, так, искус животворный, тяга, соблазн. А тут без соблазна, практическая невозможность, техническая какая-то, ну, зрение у всех

---

так устроено, что не видят, или лучи в атмосфере не так преломляются, не знаю, короче, никто никогда не увидит, и это абсолютно. Впрочем, в таком случае я смогу продолжать писать. Никаких ограничений, все условия. Но с тем же результатом — никто и никогда. И есть другой вариант. Все оставляю здесь. Еще раз повторяю: все. И здесь это очень широко выставляется, репродуцируется, сохраняется, полный ажур, как у самых больших, про способ — это я позже уточню. Но тогда я уже никогда ничего не увижу. И это точно абсолютно. Так же, как и то, что там, ну, на острове, уже никогда ничего написать не смогу. Опять же не из-за запрещения, а совсем это там будет невозможно, совсем. И вот выбор. Взять или оставить. И сделаешь его ты.

— Ничего я, Танюша, не сделаю. Ты сегодня бешеная какая-то, или впрямь куда-то намылилась? Ладно, понял, что без вопросов, только все же нормальная ты нынче не очень... — Сам он был нынче нормальный не очень, иначе или совсем бы не стал слушать весь этот бред, или сразу бы догадался, в чем дело, хотя последнее тоже чепуха, ведь то, что давало ему возможность догадаться, как раз и создало, ну, не ненормальность, конечно, это я, пожалуй, погорячился, а то не очень свойственное Кузнецову состояние, при котором притупилась способность к быстрому анализу ситуации. — Так что давай лучше теперь ты успокоишься, а серьезно мы в другой раз поговорим, когда у тебя пройдет болезненная страсть

---

к сложным изысканным аллегориям, в которых я все равно ничего не понимаю и бесполезен совсем.

— Хватит, Кузнецов, хватит, я же тебя сразу предупредила, что не тот случай, лишнее говоришь и себя же только задерживаешь, никуда тебе от этого не уйти, ты ни дверью не хлопнешь, ни дурочку не сваляешь, решать тебе, другого не будет, и не тани, у меня времени в обрез, ты даже не представляешь, насколько у меня мало времени. Хотя... Может, тебе просто подумать надо? Тогда другое дело.

— И откуда ж ты столько долгов моих насчитала, что так со мной разговариваешь? Видишь, опять вопрос, у меня вообще с салонными играми паршиво, еще «черное и белое не называть» тяну, а вот с «вопросов не задавать» постоянно пролет.

— Лишнее, все это лишнее, мы всю эту шелуху с тобой потом, обязательно ей время найдется, как бы ни спешила, и сядем, и потреплемся вволю непременно, и все ты мне расскажешь, и насмешливость ума проявишь, но все это потом, а сейчас лишнее. И на вопрос этот я тебе даже, пожалуй, отвечу, он ведь не про меня, про тебя, так что полное право имеешь. Могла бы даже и лирики подпустить, типа, что я такая, какая я сейчас, — это ты во многом сделал, и тем, что было, и тем, может, даже сильнее, чего не было, и про то, что мое решение, даже если ты и знать о нем ничего не будешь, — это все равно почти что твое решение, раз заставил меня тогда на умильно лубочной полянке зажмуриться от ударившего в глаза солнца, и еще

---

много чего можно приплести столь же убедительного, но я не поклонница сентиментальных сказок о том, как приручивший отвечает за прирученного, скорей бы могла по-морскому на психику подавить, рванув тельняшку на груди: парнишка, помнишь, как вместе шли в атаку!.. Не лыбся, не лыбся, я тебе сейчас, действительно, отвечу, я тебе сейчас так, Кузнецов, отвечу... На, смотри, веселенький.

Тут я вынужден сделать крохотное отступление для читателей, уже, видимо, заподозривших меня в одной неточности. У члена МОСХа Томиной была мастерская, и, между прочим, не где-нибудь, а на Сретенке, не дворец, конечно, а зимой так вовсе не засидишься, я сейчас в подробности вдаваться не буду, но, кстати, эту мастерскую многие отлично знают, и никто не обижался. Так что, понятно, основная работа там шла, а не в однокомнатной квартирке с довольно, надо сказать, мерзким освещением. Но у Татьяны была манера наиболее близкие ей вещи, невзирая на размер, притаскивать домой и распихивать по всем самым немислимым местам, портреты же только дома держались, в основном не столько тщательно, сколько надежно замотанные разными тряпками и газетами. Станок небольшой тоже имелся, а изредка и использовался. И теперь на нем под мешковиной что-то скрывалось.

И полетела на пол эта мешковина, и отовсюду, изо всех щелей, из-под шкафа и дивана, с подоконника и антресолей, градом посыпались, обнажаясь на

---

лету, лики и рожи, лица и хари, физиономии и морды, замигали встревоженно и растерянно, губы тянули в жалких улыбках застигнутого за прелюбодеянием пастора, блудливо вытягивали шеи, тщась заглянуть за край холста. Томилина артистически, без мига передышки рвала бечеву, ткань и бумагу, картины ложились веерами и рядами, вставали к стене, взбирались на стулья, к люстре присматривались. Татьяна закончила быстро и отошла в сторону. И ничуть, ни на один удар не обострился пульс, ни на вздох не участилось дыхание, стояла со спокойствием удивительным, как не она только что металась в шуршащем вихре, смотрела взглядом даже несколько рассеянным. И Кузнецов смотрел. Но в его взгляде давно уже не было рассеянности.

Этого Андрей Петрович не предполагал. Всякое, конечно, бывает, но этого даже по идее не должно было быть. Поначалу, правда, поразил только уровень мастерства, совершенство техники, он ведь Татьянинных портретных работ до того не видел вовсе, но это только поначалу, это профессиональное, в нем и сыграл на мгновение профессионал, но все подобные мелочи сразу же отошли, уже со второго взгляда, он все понял, и хотя и дальше продолжал смотреть, и еще смотрел, и еще, но и Томилина увидела, что он понял сразу, и нетерпеливо уже пальцами правой ладони левой постукивала, но ждала, потому что в какой-то момент Кузнецов и на нее взглянул, и ей ясно стало — вот сейчас уж точно надо подождать.

---

Да... Не очень было хорошо тогда Андрею Петровичу Кузнецову. И совсем без подготовки, ведь не мог же он всю чепуху, что несла сегодня подруга, за подготовку счесть. Впрочем, тоже не важно, тут ведь любая подготовка дурным шаржем обернется, вдовой Рабиновича. В заполнивших комнату картинах, под той прозрачностью красок, которую они приобретут века спустя, уже просвечивало знание, но балансирующее, на краю, почти нехорошее, да и это «почти», скорее всего, от боязни окончательной ясности. Но написано сие не Томилиной. То есть все оттенки от «не совсем Томилиной» до «не только Томилиной», и оттенков такое богатство, что почти складывается «вовсе не Томилиной». Им, им, Кузнецовым, сотворенное. Сотворенное-несотворенное. Потом он осознал, что в тот момент впервые мелькнула догадка, но только потом, а тут она не зафиксировалась, лишь тень прошла стороной в сумбуре: черно-белые дюны, не написанные картоны Ломова, запертые навечно в шкафу пятьдесят листов тридцать на восемьдесят, еще что-то существующее и не существующее одновременно, ментально и незаметно теряющее авторство, не чье-то конкретно, а совсем, под колыбельную песенку, и тут же, в то же мгновение, если не раньше, произвольно находящее себе создателя, хотя и произвол какой-то убогий, — совсем еретическое ощущение подступало, будто и правильно, и верно, и разницы нет никакой, коль все в мире картины кем-то одним созданы, и им же будут созданы, а значит, все

---

равно, будут или не будут, легкое такое ощущение, но дающее очень сладостное предчувствие возможности сбросить всяческую ответственность. Резко крутанул головой Кузнецов.

Резко крутанул головой, появилась потребность срочно что-то сказать, голос свой услышать, и буркнул озабоченно (со стороны необыкновенно комической смотрелась эта озабоченность), ткнув пальцем в сторону закрепленного на станке, отлично натянутого на подрамник и великолепно загрунтованного холста, мимолетно так, с застоявшейся хрипотцой поинтересовался, а тут что будет, или уже это доведенный до совершенства черный квадрат (с неловкой усмешечкой, чтобы только звук слышался), и зачем пустое мешковиной закрывать, примета какая или символ многозначительный? Томила миг с удивленной озабоченной растерянностью побегала глазами между Кузнецовым и чистым холстом, то ли не очень вникнув в смысл вопросов, то ли решая что-то для себя, но вряд ли к этим вопросам относящееся, махнула рукой, даже отмахнулась вроде — чепуха, мол, не про то сейчас, — мелкими спешными шагами пошла к дивану, на ходу автоматически кинула мешковину, что, оказывается, все это время в руках у нее была, снова на станок, смахнула небрежно что-то с дивана на пол, села с внезапной усталостью, глаза на Андрея Петровича подняла, обмякшие какие-то глаза, оттаявшие, или с надеждой, что притормозить все же получается, но, не веря в это до конца, или с обреченной

---

опаской, что притормозить приходится, а не стоило бы, но сказала спокойно, с неожиданной даже чуть не добротой и теплотой: я ведь, Кузнецов, знала, что не отречешься, ты прости меня, тон мой прости, он не оттого, что боялась, ни на миг я не сомневалась, тут другое, тебе, действительно, чужое, я неправа была. А время я тебе дам. Так все же лучше будет. Надежнее. А то мы нынче с тобой что-то оба не очень... Ты иди пока. Сам меня найди, когда потребуюсь. Только не затягивай, ладно? Я вправду сильно спешу. Да ты уже сам понял все. Иди.

Оставшись одна, Татьяна медленно и неумело, совершая какие-то мелкие, ненужные движения, как испортившийся автомат, стала прибирать картины, несколько раз споткнулась, ушибла колено, неглубоко, но больно порезала веревкой мизинец, не обратила на все это ни малейшего внимания, на полпути в угол с очередным свертком остановилась, постояла, отрешенно слизывая с ноющего пальца сочащуюся сукровицу, выпустила сверток из рук на пол и направилась к станку. Снова сдернула мешковину. Ну, что ж, все правильно. Ее ведь предупреждали. Но ведь, если честно, как сама ни нажимала на абсолютность условий, а оставалась дурная надежда на неловкий розыгрыш. И до последнего момента, следя за Кузнецовым, ждала. И дождалась. Томила снова и снова, уже до сонливой рези в углах глаз вглядывалась в стоящий перед ней портрет без фона. Кузнецов его не увидел. Чистый холст. Как он спросил — приме-

---

та? Пожалуй, и примета. Предупреждали. Не розыгрыш. Но пока только примета. Дали почувствовать, как это на самом деле. Почувствовала. Татьяна взяла кисть, не глядя мазнула по мольберту выбранными на ощупь из коробки тюбиками. Никто никогда не увидит? Ладно. Колонок шлепнул по краске еще не очень уверенно, но уже к холсту приблизилась кисть, зажата в жестких пальцах властного и беспощадного профессионала.

#### 4

Кузнецов после посещения Томилиной решил немного пройтись пешком и сразу же поймал себя на том, что последние дни стал чуть не злоупотреблять этим совершенно ранее ему несвойственным и даже казавшимся нелепым занятием. Но сейчас не хотелось анализировать, откуда взялась такая неотвязная потребность движения, и движения именно по людным промозглым улицам. Более того, не хотелось анализировать и более насущного, действительно требующего неотложных и достаточно ответственных решений. Инстинкт, всегда великолепно срабатывающий у Андрея Петровича и заставляющий в критических ситуациях думать и действовать предельно быстро, на сей раз нагло отлынивал и, похоже, вовсе не думал приступать к работе. Мелькнула показавшаяся озорной и насмешливой мысль, что инстинкту лучше

---

знать, какая ситуация является критической, и, выходит, данная таковой не является. Мысль явно не соответствовала ни моменту, ни настроению, и, как любая в таком случае ненароком залетевшая, должна была быть с досадой отброшена, но почему-то не отбрасывалась, а главное, досады не вызывала. Кузнецов вдруг быстро и с некоторым удивлением стал оглядываться на окружающие его просторы шоссе Энтузиастов, которые в этом месте за глухоту носили даже, он слышал, какое-то собственное наименование, типа Иванькова, увидел приближающуюся машину и кинулся с поднятой рукой ей чуть не наперерез, даже не желая звонить отсюда, хоть и автоматы поблизости имелись, и позвонить потребовалось срочно, но принципиально захотел из центра, проклиная пешие прогулки и потерянное из-за них время. Ему показалось, что он вспомнил способ одним движением решить все проблемы, способ, который знал всегда, но вот тут по некоей совершенной дурости выпустил из головы и сам себе ее заморочил. А ведь все так просто, и недаром ощущение простоты не покидало даже как будто в совершенно непригодные для того моменты, потому что выход-то был, оказывается, смешно даже, насколько элементарный выход. Дурак я все-таки, полный дурак, чуть не бурчал себе под нос Кузнецов, уже сидя в машине, конечно же, повезшей его из этой дыры в центр, как не повезти, совсем-таки дурак я законченный, а все от умствований, классический вариант, тому тоже работать, говорят, надо, семью обеспе-

---

чивать, а он в ответ монолог: прислуживаться, мол, тошно, типичная паранойя. Да любому нормальному давно бы в голову пришло: что́ она, девочка, спать ей не с кем, кабака не видела? Нет, это я зря, так тоже не надо, там было, было, я не мог ошибиться, язык врет, глаза врут, руки так соврать не могут, руки ее под утро на моих плечах не ввали, но и я ведь не прав, хотел опьянение длить до бесконечности, а ей должно быть больно, если руки не ввали, а они не ввали. Семья, муж — чепуха, я человек широкий и свободный, но что ж тогда под это великое обеспечение требую, идиот, когда больно, и права она сто раз, что ей на мою широту и свободу наплевать, хорошо, ничего страшного, только бы она дома оказалась, если я не ошибся, но я не ошибся.

## 5

Все это происходило хоть не поздним еще, но вечером, а утром того же дня, утром, естественно, соответствующим ее понятиям, то есть часов около двух, Елена вышла в город. Она отлично выспалась предыдущей ночью, легла не поздно, читала хороший спокойный роман Фидлера про индейцев, в постели выкурила всего одну сигарету и заснула легко, без таблеток, даже чему-то напоследок слабо улыбнувшись. И с утра не помешал никто, телефон предусмотрительно отключила, проснувшись, повалилась

---

вволю, потягиваясь, потом долго приводила себя в порядок, вкусно завтракала, пила кофе, просматривала свежие газеты, но потихоньку начала разбалчиваться голова. Елена вдруг разозлилась, она не хотела сегодня ничего неприятного, она больше вовсе не хотела неприятного и уже точно знала, что для этого требуется, но, разозлившись, почувствовала, как голова разбалчивается еще сильнее, и почему-то все это вместе, боль со злостью, навело на мысль о Кузнецове, мысль контрабандную и слишком окончательно обдуманную, чтобы вот так являться в самый неподходящий момент. Елена стала быстро одеваться, но быстро — это не значит торопливо или небрежно, до такого она еще не дошла и уверена была, что не дойдет, шляпку, сумку и сапоги подобрала в тон, проверила деньги и ключи, в последний момент захватила совсем крохотный складной зонтик и направилась к стоянке такси на углу у сберкассы (против парикмахерской). Боль в висках и затылке усиливалась. Но не появилось мысли избавиться от нее при помощи прогулки на свежем воздухе, Елена слишком хорошо себя знала, и ей, в отличие от Андрея Петровича, не являлись дурные идеи. Ну а на самый крайний случай в сумочке лежал пенталгин, хотя, действительно, на самый крайний, Елена старалась до последней возможности обходиться без таблеток. Такси на стоянке не оказалось, но уже через несколько минут попутка с удовольствием подобрала до Горького.

---

В ювелирном этих сережек опять не оказалось, чепуха какая, им цена три копейки, и еще год назад на «Университете» валялись сколько угодно, никому не нужны были, но тогда почему-то не взяла, почему — уже сама не помнит, спешила что ли куда, да и особой необходимости не было, хоть уже знала, что старые подобные куда-то затерялись, обыкновенные такие, тоненькие крохотные золотые колечки, меньше чем по грамму весом, могут иногда пригодиться, но пока это «иногда» в абстракции светило, вот и прохлопала ушами. А тут не так давно тяжелыми вечерними серьгами неловко царапнуло мочку, отверстие в ней закровоточило и стало затягиваться. Доктор в салоне сказал поносить что-нибудь предельно легкое, и теперь бегай, ищи. Ну, не брать же эти идиотские висюльки, да еще какими-то потугами на эмаль раскрашенные. А давка вокруг — как дрожжи бесплатно раздают. Повела плечами резко, кому-то на ногу наступив, сумкой крутанула, выбралась, хлопнула б дверь, да та в обе стороны распахивается. На улице капнуло на нос, полезла за зонтом, раскрыла уже, а дождь не пошел, стала складывать зонт, чертыхаясь. Голова болела. В парфюмерии на углу давали какую-то новую сирийскую пакость за сорок пять, закупкой которой явно опять пытались решить ближневосточную проблему, забыв поинтересоваться запахом. Пакость вяло и без радости, но брали, там хоть написано про Париж и для подарка сойдет. Елена собралась купить флакон болгарского орехового шампуня, очень

---

хорош для светлых волос и дома как будто кончался, но, пока доставала кошелек, резкая тетка со стальной фиксой забрала прямо из-под носа последние пять флаконов и еще больно толкнула в бок необъятным баулом. Уже свернув за угол на проезд Художественного театра, Елена обнаружила, что держит кошелек в руке, а сумка открыта. Поймала себя на почти остервенении, с которым расправилась с тут еще вздумавшим закапризничать замком, и приостановилась. Собралась. Отвратительно так распускаться. Но голова не проходила. В «Пушкинской лавке» хоть и самую малость, но повезло. Пока привычным безнадежным взглядом водила по полкам, больше от нечего делать, продавщица принесла с приемки новую стопку, и там сверху лежал том Спарк из МСП, то ли по чьему-то недосмотру не успели для своих отложить, то ли правду люди говорят, что книжный бум на излете, слава богу, может, действительно доживем. Спарк в свое время Елена пропустила и жалела, хоть в принципе женскую прозу не любила, но эта своей нагловатонервной холодностью и точностью была любопытна и порой доставляла даже удовольствие, так что книгу цапнула чуть не с лету, стопка еще на прилавок не опустилась, чем вызвала недоуменно-гневный взгляд продавщицы, правда, сразу смирившийся перед ответным, даже слегка выжидающим. Но поскольку ничего не последовало, Елена через минуту крала книгу в «березковский» пакет, хорошо, нашелся в сумке, а то еще нужно в «Подписных» взять два по-

---

следних тома писем академического Достоевского, а все вместе тащить в руках уже неудобно. Получила и Достоевского, в двадцатый Елена всегда заглядывала с удовольствием, — видимо, единственный магазин в Москве, где никогда не бывает даже крохотной очереди. Прошла еще немного, на лавочке в сквере против «Пассажа» привычно достала пачку сигарет, она всегда здесь делала перекур во время блужданий по центру, но сейчас чувствовала, что даже затяжки сделать не сможет. Так болела голова. Настала пора наплевать на принципы и принять таблетку, иначе это могло плохо кончиться. Разжевала, поморщившись, запить нечем, ну да ладно, не в первый раз. Минут пять посидела, прикрыв глаза, решительно поднялась. Домой надо было, домой, отлежаться, с мигренью шутить нельзя, Елена прекрасно знала, насколько нельзя и когда наступает этот момент, с которого нельзя. Но нечто совершенно не формулируемое, да сама мысль о формулировании показалась бы постыдной пошлостью, и все же, как выяснилось, достаточно реальное и действенное заставляло сегодня Елену поступать вопреки любым нельзя, и она даже нехотя осознавала, что началось это, когда еще утром к боли и злости примешалась мысль о Кузнецове. Она перешла дорогу напрямую к «Пассажу», через поток машин, так многие переходили, но сама она — никогда, делала обычно несколько десятков шагов вправо или влево до перехода, тем не смиряя себя и обезличивая, а наоборот, противопоставляя спешащей мятущейся

---

---

толпе, прущей напролом за товаром. Естественно, такое не осмыслялось, а совершалось полностью автоматически, как автоматически и сейчас пошла она, не обращая внимания ни на какие правила, но тут автоматизма до конца ей оказалось не дано, в последний момент, почти уже на той стороне, мелькнула тень раздражения на слишком олитературенные Гумбертовские капризы. Но мало что добавила тень.

«Пассаж» был нынче до провинциального вокзален. И даже не суетливой толчеей, она тут сутью и предначертанностью, а неким тоном наплевательской временности существования, и запах, этот вечный и неотвязный, проникающий в каждую щель запах зала ожидания — перегретого пара, неплотно прикрытых дверей уборных, жирных буфетных тряпок, сохнувших от луж сапог и ботинок, пятые сутки не умытых детей, солдатских шинелей... Так резко ударил по ноздрям этот запах, которого быть здесь не могло, что замутило всерьез, пришлось переждать несколько минут с мерзкой дрожью в коленях, прислонившись к какой-то захватанной потными ладонями витрине. А когда немного отпустило, осталась противная слабость, чуть не до сонливости, с размягчающей зевотой. Да, подумала Елена, хорошие симптомчики. Обонятельные галлюцинации, тошнит, в сон тянет... Чепуха, усмехнулась даже, не про себя, а вполне натурально усмехнулась, чепуха идиотская, быть того не может. Нет, это уже совсем никуда, я вам покажу глюки. И на улицу не вышла, ровной четкой походкой направилась, но на

---

---

самом деле, конечно же, немножко и поплелась, по отделам, по ненужным совсем, с советскими проигрывателями, например, ну зачем, скажите на милость, ей на них даже смотреть, а смотрела и одной рукой потрогала. Забрела в белье с принадлежностями, поводила рукой по прохладному одеяльному атласу, захотелось прикоснуться к нему лбом, усилие пришлось приложить, чтобы этого не сделать, взгляд оторвала, метнулся он, оторванный нерасчетливо, и наткнулся на подушку. Четырнадцать рублей как одна копейка, уникальное произведение пухового искусства, нежнейше-голубого цвета, вы себе даже не представляете, какая это была фантастическая подушка, слова перед ней бессильны, и уста мои смыкаются в почтительности, опережая веки. Подушки, конечно, имелись в Еленином доме, и количество их не требовало немедленного увеличения, но признайтесь, часто вы покупаете подушки? Даже странно, но и в самых обеспеченных семействах этот предмет заживает как-то уж очень подолгу, несмотря на относительную (да по нынешним временам уже можно сказать и абсолютную) дешевизну. Вроде и не подушка вовсе, а так, какой-то блин комковатый, в непонятных разводах, дрянь всякая колючая оттуда лезет, а ничего, разве наволочку лишнюю приспособят — и порядок. Еще, бывало, бабушка покупала, а внучку и в голову не приходит выбросить. Целые поколения, случается, на свет появляются, жизнь проживают и вечный обретают покой, так и не узнав, что представляет собой новая подушка. А зря.

---

---

Елена уже пробивалась к выходу из «Пассажа», волоча в левой руке не очень легкий пакет с книгами, ее же локтем прижимая к бедру болтающуюся на плече сумочку (чтобы не болталась), а правой даже со слегка плотоядной нежностью обнимала нахально высывающуюся из халтурно слепленного свертка рыхлой бумаги замечательную подушку. Мигрень началась по-настоящему. Таблетка не помогла. Поздно прибеги нынче к ее помощи, и ничто уже помочь не могло. Нужно было срочно лечь и попытаться обязательно, хоть ненадолго, заснуть. Срочно. Но на стоянке напротив магазина всегда столько народу, что достояться нельзя и мечтать. И народ такой, что про головную боль не расскажешь. Пришлось идти к проспекту Маркса, там у сквера хоть есть шанс что-нибудь поймать. С трудом давался каждый шаг, отзывался в висках с мучительным и беспросветным постоянством. Но как-то двигалась, уже пробиравась вдоль Большого театра, когда рядом, шатнув, вякнули тормоза, и из «Мерседеса» с красным номером окликнул голос со знакомым акцентом. То есть что значит знакомым, так, шапочное весьма знакомство, через Бориса, виделись несколько раз мельком, однажды, правда, вместе у того же Бориса на дне рождения оказались и даже ехали оттуда, помнится, вместе, за дипломатом пришла машина, а выяснилось, что им по дороге, вот и пришлось ехать, хотя не очень-то и хотелось, но отказываться тоже неудобно, раз все знали, что по дороге, у окружающих могло

---

---

возникнуть ложное впечатление относительно этого «не очень-то и хотелось». Или, может, как раз и не ложное, но точно ненужное. И не окликнул, конечно, а чрезвычайно вежливо, хоть и не выходя из машины (а там толком и не выйдешь, остановка-то запрещена, можно только притормозить на минуту, пока гаишник не видит, и, переклонившись с водительского места к противоположному окошку, сказать что-то стоящему на тротуаре, как дипломат и поступил, ведь он сегодня сам был за рулем, без шофера), по имени-отчеству обращаясь, предложил подвезти Елену, так как им все равно в одну сторону, если она, естественно, направляется домой и не имеет никаких других планов. Елена, не очень соображая и только с чувством облегчения, вернее, с предчувствием облегчения, но достаточно сладостным, плюхнулась на умопомрачительные подушки фееричного чуда и, с трудом выговаривая слова, извинилась за нынешнюю небольшую общительность и разговорчивость — дико болит. И на висок показала. Дипломат проявил высочайшее понимание и предупредительность, даже сигарету выкинул, хоть и кондиционер работал, вел машину очень аккуратно, резко не тормозил и не перестраивался, с разговорами не навязывался, только у развилки, откуда до его дома с километр, а до ее немного дальше, опять же предельно вежливо и мягко предложил сначала заехать к нему, выпить крепкого чаю, принять таблетку, у него чудодейственные таблетки имеются, натуральные баеровские, а потом, как Еле-

---

на придет в себя, доставить домой, несомненно, так что никаких дополнительных сложностей с транспортом не возникнет. Елена несколько удивилась, но все происходящее сейчас воспринимала как сквозь вату и потому, пока удивлялась, пока соображала, что к чему, и припоминала, а не пытался ли дипломат какие намеки прошлый раз делать, когда со дня рождения ехали (может, потому не пытался — вспомнила, не пытался, — что с шофером был, у них, знаете, тоже свои сложности), пока собиралась ответить, никаких признаков жизни не подавала, и это отсутствие реакции оказалось воспринято как согласие, машина уже у дипломатова дома остановилась, я же сказал, там от развилки ехать всего ничего. Пришлось подниматься, не устраивать же нелепую девичью сцену, возраст не тот, и существуют же, в конце концов, какие-то элементарные нормы поведения и правила приличия, которые, кстати сказать, дипломат пока сам не нарушил ничуть... Но все это, хоть не очень четко, а проговаривалось про себя Еленой, она же прекрасно знала, что если нечто приходится проговаривать, то дело не совсем чисто и естественно, но уже стукнула дверь лифта, и щелкнул замок закрываемой двери.

Проще всего, конечно, подушку было оставить в машине, не сопрут, дом не за высоким забором, но так хитро квадратиком поставленный, что подойти-подъехать только по одной дорожке можно, а на ней будочка с милиционером, пропуска он не проверяет, да и нет никаких пропусков, да и смотрит вроде совсем

---

в сторону, а никто ненужный не просочится, так что вполне можно не беспокоиться за подушечку. Дипломат так сразу и предложил — оставить, — но Елена и тут не отреагировала, она и не разжимала правой руки всю дорогу, и в квартиру вошла с подушкой в обнимку. И в квартире не пристроила ее нигде в передней, в комнате рядом с собой на диван положила (место себе сама выбрала под торшером перед сервировочным столиком, на котором по идее чай предполагался), и все то время, когда в самом деле пили этот чай с завлекательными импортными сладостями и непонятно как очутившимся здесь чудесным домашним клубничным вареньем, потом «Куантро» из крохотных рюмок (одна капля пойдет только на пользу, тем более что принятой таблетке алкоголь не противопоказан, такая она специальная, эта таблетка), постоянно не без удовольствия чувствовала Елена правым локтем мягкость подушки и даже, казалось, ее прохладу сквозь не снятую бумагу. Но мигрень не проходила.

И в какой-то момент дипломат, слегка теряя респектабельность, но, не тронув вежливость, полез к Елене, пытаясь одновременно выключить торшер, она отвела напрягшееся мужское тело левой рукой мягко, но с выражением лица достаточным, с минутой, чуть прищурившись, разглядывала сидящего уже рядом и не очень ловко себя чувствующего человека, несколькими крохотными глотками допила оставшийся ликер и сказала, стараясь вспомнить дословно и не ошибиться ни в одной интонации, произнесла мед-

---

ленно, как туповатый ленивый ученик, впервые за свою жизнь хорошо выучивший урок и еще толком не знающий, к чему сие приведет:

— Все это, конечно, очень благородно, но где тут у вас халат и чистое полотенце?

## 6

А в середине того же дня начали развиваться события, которые впоследствии в осведомленных кругах получили наименование «Тосиной генеральной репетиции». Про Тосю, «человека по этому делу» из обменбюро, читатель, видимо, помнит (если нет, пусть вернется и освежит память, я не зря такой совет даю, имею основания, о чем подробнее еще изложу далее), а относительно предыстории событий придется несколько слов сказать, хотя она всем прекрасно известна, потому, действительно, всего несколько слов. Стало уже почти знаменитым и легендарным то собрание добровольного общества спасения Отечества, на котором показывали антикварный документальный фильм «Чудеса советской пиротехники» и побили одного моего старого знакомого. То есть это, конечно, не основное его качество, что он мой старый знакомый, я так скорее по привычке написал, мы в детстве и самой ранней юности дружны были действительно, теперь мельком хорошо если раз в год видимся. А народ его скорее знает как поэта и лите-

---

ратуроведа, так, по крайней мере, представляют на радио и телевидении, где он частый гость. Но собравшихся для выяснения подробностей жидомасонского заговора членов добровольного общества поэзия и литературоведение мало интересовали, они увидели только, как вскочил какой-то подозрительного обличья обормот, и услышали выкрики, что вы наших детей так скоро расстреливать начнете, или типа того. Ну и навалили. Хотя потом страшно были удивлены, когда подробно рассмотренный уже по окончании рукоприкладства обормот оказался на жида ничуть не похож, а даже наоборот, более российской физиономии представить трудно. Короче, скандал вышел громкий, но дело не в нем (тысячу раз прошу прощения, никого не хочу обидеть или отодвинуть на второй план, просто мне приходится руководствоваться определенными принципами отбора материала для моей Хроники, и только в соответствии с ними я позволяю себе порой указать, что более важно, а что менее, но указания мои предельно скромны, так как реальны лишь в системе Хроники, в большом мире соотношение ценностей, возможно, совершенно другое, чуть не противоположное, да так оно чаще всего и бывает), а в том, что тогда на собрании Тосе в голову пришла некая мысль. Нельзя сказать, чтобы произошло это совсем неожиданно, нет, подготавливалось многим предыдущим и имело прямое отношение к Мечте. Не помню, рассказывал ли я о Тосиной Мечте, сейчас мне некогда, сами полистайте предыдущие стра-

---

ницы, если не найдете, потом остановлюсь подробнее. Да, и чуть было не упустил (а ведь так можно на всю жизнь человека по невнимательности опорочить): конечно же, Тося не являлась членом общества, ей все ихние проблемы глубоко до фени, а уж интернационализм ее природный и подтверждаемый всей многолетней деятельностью совершенно не оставляет никаких сомнений, и попала она на собрание случайно, только потому, что пригласительные билеты считались дефицитными, подсунули, не в виде благодарности даже, такой чепухой не благодарят, а только чтоб отметить, какие мы, Тосенька, к тебе внимательные, помним и любим! Делать тем вечером оказалось нечего, вот и пошла. Многого из того, что они там несли, не понимала, да особо и не прислушивалась — скучно, но сама идея насчет масонов заинтересовала крайне. Это что же получается, значит, существует уже такая организация, которая давным-давно стала пользоваться методами, кои Тося искреннейше считала собственным изобретением и при помощи которых, только еще нужно довести до совершенства, собиралась когда-нибудь приступить к осуществлению Мечты. А может, не нужно уже ничего и совершенствовать, раз эти масоны столько лет химичат по-серьезному и таких делов наворотить сумели? Стоит только овладеть, вернее, подучиться (в том, что основы заложены достаточно крепкие, Тося не сомневалась) всем этим масонским штучкам, и можно вплотную приступить к поискам объекта

---

приложения сил. Но дурное кликушество трепачей на собрании реального материала никакого не давало, Тосе требовались не истерические проклятия, а конкретные рекомендации по методике, и она уже со следующего утра начала принимать кое-какие меры. Однако поначалу дело застопорилось и показалось чуть не безнадежным. Вызванный на дом книжный жук, не из простых, а считавшийся крупным докой по заумностям, обещал в кратчайшие сроки достать редчайшую литературу и затем разъяснить непонятное. И правда, приволок целую кипу за несусветную фантастическую цену. Тося заказала себе на неделю больничной, закрылась в квартире и отключила телефон. Но через неделю она пришла к двум совершенно четким выводам. Первое. Толком ничего во всей этой галиматье нормальный человек понять не может. И второе. Даже если сумеет понять, то и самые мудрые мысли, и самые высокие идеи вольных каменщиков крайне плохо приспособлены к современной действительности и не учитывают многих основополагающих факторов, типа дефицита, жилплощади, загранки, анкеты, импорта, прописки и прочего. Нет, методикой тут и не пахло. Пришедший давать разъяснения жук своим завиральным бормотанием и с беспомощной назойливостью ждущими гонорара глазками только усилил это впечатление и был изгнан. Масонам грозила отставка. Но Тося никогда не стала бы Тосей, если бы любое дело не доводила до конца с энергией почти никому не доступной. И вот в резуль-

---

тате нескольких дней активнейшей работы множества людей, о том часто и не подозревавших, Тося оказалась в кафе, которое ее подруга Татьяна Евгеньевна недавно открыла на улице Дзержинского, рядом с церквушкой. А напротив Тоси сидела дама, редактор одного из центральных журналов (не путать с главным редактором, многие путают), имя которой при всей моей тяге к точности я скрою по неинтересным для вас причинам, и рассказывала во всех подробностях, как же эти жидомасоны все-таки умудряются достигать таких серьезных успехов в своих подлых делах, несмотря на всеобщую, нынче резко повывисшуюся бдительность. Оказалось, что книжки книжками, идеи идеями, а жида, естественно, все это переиначили и очень хитро, блистательно ловко, надо отдать должное, приспособили к самым насущным нуждам текущего момента. Они так сумели сделать, что им чуть не вся страна служит, но при этом большинство служащих даже об этом не догадывается. Приходит к тебе, например, приятель, математик, и восторгается: ах, говорит, только что случайно познакомился в одном доме с юношей, дальний родственник хозяев, приехал из тмутаракани поступать на физмат, совершенно необыкновенные способности, редкостный самородок, а его на экзаменах нагло режут по пятому пункту, дают задачи из матанализа и губят талант, обидно до слез. Тут ты вдруг вспоминаешь, что твой двоюродный дядя, с которым пятнадцать лет не виделся, недавно, по случаю смерти тети

---

и возникшей на похоронах близости, стал звонить чуть не каждый день и как раз на прошлой неделе упомянул, что его фронтового друга назначили председателем приемной комиссии и как раз на том самом физмате. Ты звонишь дяде, дядя звонит другу, друг обещает в виде исключения обратить внимание на талантливого провинциала, а в результате на факультет очередной раз оказываются принятыми одни жида. И ни ты, ни твой приятель, ни дядя, ни председатель комиссии даже не догадывается, что стали масонскими прислужниками, бездумно, по неведению выполнившими их злую волю. И все было не случайно, и приятеля с юношей познакомили не просто так, и что после этого, еще под впечатлением, он именно к тебе зашел — подстроили, и дядиново друга специально председателем назначили, а он, старый дурак, голову ломал, чего это первый раз в жизни сподобился на склоне лет, и даже теткина смерть, чтоб твою близость с дядюшкой стимулировать, и то организована, а проще говоря, кончили тетку глазом, не моргнув, у них это проще простого, такой народ... Тося несколько часов слушала как завороченная. Вот, оказывается, есть и методика, и очень тонко разработанная, и все действительно, и к нашим реальностям применимо полностью, надо только суметь как следует овладеть. Но имелись определенные сложности. По сути, почему, собственно, Тося воздействовала на поступки людей и ход событий принципиально тем же способом, а пока не могла и мечтать о достижении

---

тех целей, которых, судя по речам редактора, давно и с легкостью добивались масоны, играя судьбами целых народов и континентов? Тут дело как раз в нюансах, в тонкостях, в подробнейшей проработке мелочей, что достигается веками, системой повторений, которая и есть культура. Тося испытывала чувство того типа, которое бывает у самых самоуверенных нуворишей перед истинной, даже обедневшей (хоть тут бедностью не пахло) аристократией: можно и пренебрежение свое показать, чуть не презрение, а втихую перенять кое-что не мешает, весьма даже желательно поучиться. Но в этом редакторша полезной быть уже не могла. Она знала многое и всем, что знала, готова была поделиться, но ее знания — как контрразведчика о противнике: им все же не хватало цельности, они слишком дробились, но и в этой дробности отсутствовала та последняя детализировка, что отличает самое талантливое, искреннее и заинтересованное любительство от простенького, но профессионализма. И едва расставшись с редакторшей, Тося уже точно знала план дальнейших действий. Прежде всего, требовалось найти хотя бы одного, но истинного, серьезного и влиятельного масона, то есть непосредственного носителя знаний и навыков. Трудность этой задачи со слов редакторши Тося представляла себе отлично, раз лучшим умам, бывало, что и жизнь свою этому посвятившим, почти никогда не удавалось зацепить хоть кончик подлейшей организации, разве за границей что мелькнет, но те жидомасоны по сравне-

---

нию с нашими — тьфу, не та школа, что они видели... Но Тося знала, что справится, у нее у самой была как раз та школа, и все она, что надо, видела. Однако ограничивать себя и терять время Тося тоже не желала и потому решила параллельно провести еще одну акцию. На всякий случай. Как проверочную. Из полученной от редакторши информации в частности следовало, что масоны очень активно используют нашу родную советскую прессу. И добиваются поразительных эффектов при помощи, казалось бы, невиннейших мелочей. Ну, поставят, например, рядом с заметкой о каком-то человеке ничего вроде не значащую типографскую разделительную полосу, но особого вида, и все, человек уже отмечен навсегда, организация будет в отношении него принимать соответствующие меры. В зависимости от формы полоски. Или рядом с самой статьей ничего, а на обратной полосе в том же месте специальный знак, потому каждую газетную и журнальную страницу обязательно надо на просвет разглядывать. Там много еще всяких способов, я их все излагать не стану и подробности опушу, это сведения слишком опасные, чтобы их массовому читателю доверить. Но Тося многое выяснила, и все прекрасно запомнила. Вот и решила, пока суд да дело, проверить эффективность методики на практике. Тут главное было правильно выбрать точку приложения сил. А уж когда это удалось, организовать все остальное: и нужный тон публикации, и необходимые полосы, где требуется, и на обратной сто-

---

роне полосы знак соответствующий, — являлось только делом техники и не представляло, понятно, как любое дело техники, для Тоси никаких сложностей. И вот в тот самый день, когда Кузнецов с Томиной рассматривали картинки, а Елена ходила по магазинам с головной болью, в одной из городских газет появилась статья, по случайности не попавшая еще на глаза никому из перечисленных товарищей, хотя многие их общие знакомые прочли сразу же и Кузнецову звонили, только его дома не было. А звонили Андрею Петровичу потому, что он как раз и был главным героем публикации. Она принадлежала перу относительно известного журналиста, естественно, и не подозревавшего (как и положено по методике, Тося прекрасно знала, что овладение незнакомой технологией требует, прежде всего, буквального следования всем без исключения правилам, как бы обременительны и на первый взгляд незначительны они ни были), какова истинная цель написанного. Статья под заголовком «Эмигранты» была выдержана в современном духе и своей остротой соответствовала последним веяниям. Смысл кратко таков. Некоторые люди, пусть даже справедливо недовольные частными негативными проявлениями нашей действительности, вместо того чтобы честно с ними бороться на общее благо, предпочли трусливый путь отступничества и эмигрировали из страны. Ну, с ними все ясно, с этими отщепенцами, им давался и постоянно дается достойный идеологический отпор. Но вот

---

есть другие, незаслуженно выпавшие из поля зрения нашей общественности. Математики, ушедшие в дворники, филологи — в вахтеры, врачи — в уборщицы. Есть люди, как бы эмигрировавшие внутри страны, забывшие, сколько сил и средств общество вложило в их подготовку, и, по сути, саботирующие массовый созидательный порыв. Они-то забыли, но вот мы с вами, все советские люди... и далее в том же стиле. А в центре повествования стоял положительный пример. Некто А. П. Кузнецов в свое время закончил одно из самых лучших училищ, считался подающим огромные надежды молодым художником, но вместо того, чтобы или продолжать образование по специальности, или так творить на радость любителей искусства, упомянутый Кузнецов меняет одну примитивную работу за другой и в конце концов оканчивается под личиной диспетчера на укромной автобазе (до прочих халтур Андрея Петровича они не докопались). Но люди, ответственные за культуру, всегда готовы протянуть руку помощи оступившемуся и указать путь заблудшему. Так и известный товарищ Дорофеев не допустил гибели способной творческой личности, предложив Кузнецову поработать над иллюстрациями к новому изданию «Братьев Карамазовых». Но и Кузнецов молодец, не стал упорствовать в ереси и теперь постепенно превращается в по-настоящему ценного члена общества. В итоге: хорошо бы всем брать пример с Дорофеева и Кузнецова. Подпись.

---

---

Вот эту подпись аккуратненько несколько раз обвел карандашом сам товарищ Дорофеев, как только секретарша положила перед ним газету, услужливо свернутую так, чтобы выделить нужное место. Обвел и пробубнил с нехорошей тусклой хрипотцой: «Ну, ты, сука, еще сам не знаешь, что себе подписал». И тяжело замолчал.

## 7

Из прочих событий того дня следует коротко сказать о двух. Семен Варфоломеев простудился, оплатившись за свое пренебрежение традиционными сроками купального сезона на Волге, а Вася получил от Павшиной решительный и категорический отказ. Результатом Варфоломеевской простуды явилась телеграмма, а Васиных неприятностей — первое в его жизни отступление от обычных правил. Телеграмму Семен дал потому, что решил более не рисковать собственным здоровьем и отлежаться на гостиничной койке, тем паче, что стояла она в отличном люксовском номере, а спешить, как считал Варфоломеев (возможно, не совсем верно), было особо некуда. В кредит по телефону телеграфные сообщения в том городе не принимались, но на сей раз дежурная, даже себе не удивляясь, сделала исключение, и в Москву ушло послание следующего содержания: «Задерживаюсь простуды вызовом членкора подождать име-

---

ем шанс обойдется скоро буду Сёма». Принятую на Главпочтамте (это на Кирова, а то многие даже коренные москвичи по непонятной причине считают, что на Горького) для Последующего Ивана Ивановича до востребования телеграмму почему-то положила в карман сменная начальница транспортного цеха и, через несколько минут после этого закончив работу, отнесла по дороге домой (не совсем по дороге, она в Большом Козловском живет, но там два шага) к памятнику Лермонтову, пристроила бумажку у постаменту, камешком придавив, и даже постояла еще немного, глядя задумчиво на лицо любимого поэта и шепча до боли близкое с детства: «Прощай, немытая Россия...» А Васино отступление от правил заключалось в том, что он впервые не ограничился свистом у Кузнецова под окнами. Конечно, посвистеть он посвистел в полное удовольствие и кое-кого в окрестностях чуть до истерики не довел, но по истечении положенного срока, вместо того чтобы идти домой, Вася позвонил из ближайшего автомата и сказал выронившей от удивления из рук трубку маме: «Ты не волнуйся, я, может быть, задержусь, мне надо обязательно дождаться Андрея». Трубку же мама выронила потому, что Вася никогда по телефону не звонил, такого рода действие по сложности было если не за пределами его возможностей, то где-то совсем недалеко от этих пределов, и совершать его до сих пор Васе не приходилось, не подворачивалось экстремальной ситуации. Вася же, совершенно спокойно и не осознав

---

необычности происходящего, направился к подъезду Кузнецова, поднялся на второй этаж, еще раз на всякий случай позвонил в дверь, чтобы окончательно удостовериться в отсутствии хозяина, преодолел следующие полпролета вверх и устроился там в нише много раз треснувшего и невероятно грязного окна. Огромная и очень уютная эта ниша часто служила прибежищем для местных алкашей, и Вася много раз наблюдал, посещая Кузнецова, как на подоконнике люди ели, пили, отдыхали, иногда даже спали, так что теперь он без малейшего сомнения забрался в нишу с ногами и спокойно принялся ждать Андрея Петровича, даже не оглядываясь на звуки шагов и хлопающей внизу двери, не сомневался — Кузнецов сам заметит. И Кузнецов, вправду, сам заметил.

## 8

Но произошло это нескоро. Остановив машину на Колхозной, Андрей Петрович пошел по Сретенке, из каждого автомата набирая номер Елены. То, что телефон не откликнулся сразу же, Кузнецов воспринял как нечто совершенно естественное, такой легкости исполнения желаний он и не ожидал; бесспорно, по всей логике происходящего требовались еще какие-то препятствия, так пусть лучше они возникнут в виде пока не прерывающихся длинных гудков. И даже когда это «пока» стало явно затягиваться,

---

Кузнецов не ощутил нетерпения или раздражения. Он как заведенный, без отдыха и усталости кружил по центру, перебираясь с Дзержинки на Хмельницкого, назад к Покровским, направо по бульвару до набережной, вдоль нее к «России», потом Ногина, Разина, по площади к проспекту, вверх, снова Дзержинка и Сретенка, шел не спеша, но довольно быстро и каждые полчаса аккуратно набирал номер, выслушивал шесть гудков, почему шесть, непонятно, но вот так решил, и спокойно вешал трубку. Он не спешил и не нервничал, найденный выход из положения казался столь простым, ясным и бесспорным, все так элементарно упрощалось в ответе еще недавно как будто слишком громоздкой и сложной задачи, что не имело никакого смысла обращать внимания на мелочи, требовалось выполнить ряд очевидных действий и получить неизбежный результат. Какие тут даже чисто теоретически могут быть препятствия? Прежде всего, следует дозвониться. А можно не дозвониться до человека, никуда из города не уехавшего и ведущего размеренный образ жизни (эти две аксиомы, как и третья, что ничего неприятно-неожиданного с Еленой никогда не произойдет, не вызывали у Кузнецова никакого сомнения, да не только это, весь мир вокруг него сейчас предельно упростился и не предполагал наличия многовариантных схем), если делать это регулярно, через равные небольшие промежутки времени? Нельзя. Ну вот, и нечего дергаться. Время позднее, слишком долго никто не подходит? Да какое

---

это все имеет значение, что такое «слишком», полная чепуха, никак не способная повлиять на происходящее, на обязанное произойти, да по сути уже произошедшее, только нужно его грамотно дождаться, а это уж совсем нетрудное занятие.

Между тем действительно наступил совсем поздний вечер, за ним ночь, погода дрянная (хоть я и обещал больше погоду не трогать, но не удержался, уж очень она дрянная в самом деле была той ночью), и все же Андрею Петровичу даже в голову не пришло самое и не то что умное, тут и ум подключать не надо, а естественное и обычное — пойти домой и оттуда звонить преспокойно, сколько душе угодно. Но нет, как раз никакой естественности сейчас в этом быть не могло, крутиться по городу, выискивая автоматы, находиться в постоянной готовности схватить машину и ехать, или пешком тут добраться ничего не стоит, держать в левой руке давно приготовленную двушку, поглядывать на циферблат, отмеряя очередные полчаса, — в такой видимости целенаправленных действий уже присутствовала предначертанность достижения цели, а прервать бег, оказаться хоть в удобной, не специально происходящему предназначенной, но достаточно общей, пусть и не нейтральной и все же многовалентной ситуации — значило отступить, допустить сомнение, признать не абсолютную обязательность результатов сделанного открытия. Ничего подобного позволить себе Кузнецов сейчас не мог из элементарного чувства самосохранения. И не позво-

---

лил. Телефон ответил ровно в пять утра, Елена что-то пробормотала сонным уставшим голосом. Однако Андрей Петрович, несмотря на внешне, может быть, и некоторую странность своего нынешнего поведения, отнюдь не находился в каком-то бессмысленном угаре, он прекрасно осознавал необходимую форму поступков, потому ничего в трубку не ответил, тут же ее повесил, посчитав пока достаточной информацию о возвращении Елены домой. Мысли о том, почему под утро, где провела ночь, и что произошло, не появилось по никчемности и совершенной неуместности. Требовались теперь не какие-то посторонние мысли, а следующее действие из predetermined ряда. Андрей Петрович решил, что первая попытка будет выглядеть достаточно естественной около десяти утра, и, зная — Елена живет где-то на Герцена, не спеша направился в сторону Никитских. Почему опять же не домой, я только что, кажется, достаточно подробно объяснил, во всяком случае, подробней в тот момент не смог бы это сделать и сам Кузнецов. Он сел на влажную скамейку рядом с Тимирязевым, не усомнившись в замечательных качествах знаменитого плаща, и принялся ждать самому себе назначенного времени. Это было чистое, не омраченное никакими досадными помехами ожидание, имеющее только собственную ценность и вполне достойное существовать без оглядки на сроки и так называемую пользу. Однако нельзя сказать, что сидел Кузнецов совершенно бездумно, подгоняя стрелки часов и по-

---

драгивая от нетерпения. Никаких стрелок он никуда не подгонял и поддрагивал если, так от промозглости, да и не часто, сам этого особо не замечая. И мысли, почему же, мысли крутились кое-какие, тут уж у кого что больше в привычке, некоторые, например, совсем к ним с пренебрежением, а другие, наоборот, крутят все постоянно в голове, крутят... так что крутились. Но самостоятельно. По необходимости с детства. Без прямой привязки к ситуации. Остальных пуще две старались. Одна про Гундосого, что он небось прелюбопытнейшая личность должен быть, много более сложная, чем алкаши его себе представляют. Потому как в нем есть некая порочность существа падшего, и значит — какими бы ни оказались причины падения, а они сами по себе, возможно, весьма основательны и уж наверняка небезынтересны, но и независимо, — стоял он, значит, там, откуда падать можно, и оттого знания у него и за тех, и за этих должны остаться, знания, они нравственностью одной не определяются, хотя это, конечно, и обидно для тех, кто устоял. Так что есть смысл к Гундосому приглядеться повнимательней. И вторая мысль. Насчет пустого холста у Томилиной. Что не черный квадрат это, не символ и тем более не случайность, а много круче и точней, только не сразу понятным становится. Не очень, правда, еще четкая мыслишка, а уж остальные-то совсем куцыми обрывками, и слова доброго не стоят. А ожидание — оно само по себе, надо дело сделать, и сделаем. И сделали. Ровно в пять минут

---

одиннадцатого Кузнецов не торопясь зашел в телефонную будку. Елена ответила голосом даже более сонным и недовольным, чем в пять, но это был все же голос человека, хоть сколько-то поспавшего, а не еще только собирающегося, и Кузнецов совершенно спокойно, извинившись, однако без особой горячности, явно всего лишь отдавал долг вежливости, изложил тоном никак не окрашенным, что нужно встретиться, буквально на несколько минут, хорошо бы через полчаса у Тимирязева, я как раз окажусь в этом районе, если это слишком неудобно, то назначь другое время и любое место, но, честно говоря, не хотелось бы, сегодня очень напряженный день и перекраивать его довольно затруднительно. Елена молчала мгновение, даже не размышляя, а просто пытаюсь окончательно проснуться, поняла бесполезность этого занятия, буркнула, что придет, и положила трубку. И только потом сообразила, что согласилась-то в основном, чтобы побыстрее эту трубку положить, а теперь придется из-за собственной дурости вылазить из-под теплого одеяла, оставлять новую подушку (подушка — вот она, тут, под головой раскинулась, она себя этой ночью полностью проявила и класс показала, она умница) и тащиться в промозглую дрянь отсыревшего города. Мысль эта была противна самому естеству, казалась абсурдной, возмущала безмерно, но возмущением непродуктивным и безнадежным, обещание уже дано, звонок явно из автомата, так что ничего не изменить, будь проклята эта неспособность

---

принимать хоть какие-то логичные решения спросонок, вот, действительно, взяли прямо тепленькую. Елена кое-как выбралась все же из постели, плеснула в лицо прохладной водой, два раза, кривясь, формально провела щеткой по зубам, выпила несколько глотков сока и даже закурила сигарету, правда, после первой затяжки ее потушила. И не через полчаса, конечно, но минут через сорок-пятьдесят, непонятно, от чего больше подрагивая, от холода или от отвращения к себе и окружающему миру, вышла к Никитским, отыскивая у памятника фигуру Кузнецова. Он уже не сидел, а стоял, и так стоял, что никто бы не мог и подумать, будто он когда тут сидел, так стоял, что сразу ясно — пробежал мимо и встал на минуту, вот и стоит. Елене махнул издали приветственно, но не с той радостной приветственностью, с которой, знаете, машут, подпрыгивая и улыбаясь, а так, больше обозначая: я тут и жду. И когда подошла, только кивнул, скупой улыбнувшись, и проговорил хоть без лишней спешки и суетливости, но достаточно быстро, с явным нежеланием делового человека терять время на пустые формальности:

— Слушай, Елена, хватит валять дурака, что мы с тобой устроили какие-то детские игры, это смешно, и странно, что до сих пор обоим не стало стыдно. Выходи за меня замуж.

Елена постояла молча, как будто ждала, что он еще скажет. Хотя ничего она на самом деле не ждала, так просто, смотрела куда-то вбок и мерзла. Затем

---

сказала негромко, даже без всякого раздражения, правда, в тоне чувствовалась усталость, но усталость эта явно не имела отношения к бессонной ночи:

— Ты вот что, Андрей, если захочешь когда еще столь же умное поведать, постарайся найти другое время суток, у меня по утрам с юмором паршиво.

И резко подняла глаза на Кузнецова. На лице было спокойствие и немного безгливости.

— А сейчас извини, я спать пошла. Ты не пропадай, звони.

И пошла. Через шаг обернулась, зябко приподняв плечи:

— Неважно выглядишь, тебе тоже стоит прилечь.

Ушла совсем. Кузнецов вслед ей не смотрел, быстро пересек улицу, тут же у ТАССа взял машину и меньше чем за десять минут добрался до дома.

## 9

Андрей Петрович открыл дверь в квартиру, когда увидел сидящего на подоконнике Васю. Тот имел довольно свежий вид и следил за движениями Андрея Петровича чистыми ясными глазами, но не делал никаких попыток обратить на себя внимание, и по каким-то неуловимым признакам все же было понятно, что просидел Вася на подоконнике с прошлого вечера. Кузнецов воспринял это как должное, вернее,

---

никак не воспринял, только кивнул в сторону открытой двери:

— Заходи, хоть чаю горячего выпьем, холодно...

Вася легко прыгнул с подоконника, не спеша спустился по ступенькам, встал у порога и даже заинтересованно заглянул в квартиру, как будто никогда там не был. Но заходить не стал, а, чуть отступив назад и засунув руки в карманы, проговорил негромко, как бы не сообщая, а только уточняя и дополняя неоднократно и подробнее изложенное:

— Ну, понятно, я дурак, что хотел свою дурость на другого свалить. А дураков, видишь, нет. Но я не виноватый, тогда стенки не было. То есть была, просто я не видел. А получается, что нарочно... Мне на работу надо.

И как-то в одно мгновение, засуетившись, скомкал лицо в торопливой деловитости, рискнул глазами по сторонам и почти побежал, перепрыгивая через ступеньку, придерживаясь правой рукой за перила, а левой смешно и нелепо помахивая в воздухе. Кузнецов молча постоял, не двигаясь, дослушал дробь Васиних прыжков до хлопка подъездной двери и вошел, наконец, в квартиру. Поставил чайник, сел тут же на кухне, не раздеваясь, и стал ждать, пока закипит, после первых же глотков горькой обжигающей жидкости чуть не потерял сознание, с трудом дотянулся до ящика рядом с плитой, нашел аллахол и аспирин, проглотил, тяжело дыша, навалившись всем телом на скрипуче подавшийся стол. Зазвонил телефон. Ан-

---

дрей Петрович уже автоматически шел к нему, когда, пошатнувшись, сообразил, что не сто́ит, но был рядом и поднял трубку. Говорил Федя Бадмаев, тот самый приятель, который недавно консультировал по поводу Дорофеева и доставал его координаты

— Ну, Кузнецов, ну ты даешь, ну, старик, отмочил! А я-то, чурка, еще его досками почета соблазнить решил, а он все подметки давно на ходу срезал, вот молодец, тут весь народ от зависти волосы рвет, какая идея, какой классный ход!

— Заткнись на секунду, я сейчас соображаю плохо, какой народ, что отмочил?

— Да насчет вчерашней статьи, это ж блестящая задумка с покаянием...

— Или конкретней, или давай попозже, сказал же, голова тяжелая, не врублюсь.

— Что ты кокетничаешь, о твоём братании с Дорофеевым второй день вся Москва говорит, газету друг у друга из рук рвут, мне уже все ребята обзвонились...

Андрей Петрович тихонько положил трубку на рычаг, с нехорошим предчувствием постоял, соображая, вышел на лестничную клетку, позвонил в квартиру напротив к Анне Львовне, спросил, не осталось ли вчерашних газет. И газеты остались, и статью Кузнецов нашел сразу. Бегло просмотрел, так же на кухне, все еще не сняв плаща, потом перечитал медленно и внимательно. Долил в чашку горячего из чайника, выпил эту чашку с двумя сухарями «Осенними», за-

---

курил с удовольствием, а еще несколько минут назад даже мысль о сигарете показалась бы убийственной. Но сейчас он чувствовал себя прекрасно, давно так хорошо и уверенно не чувствовал. Взял телефон, нашел в записной книжке нужный номер: — «Будьте добры Дорофеева». «Здравствуйте, Андрей Петрович, — отозвался необыкновенно ласковый девичий голос, в котором почему-то почудилась Кузнецову сочувствующая интонация. — Степан Иванович просил его сегодня ни с кем не соединять, но относительно вас отдал специальное распоряжение, что примет вас в любое время без предварительного предупреждения». И сразу же повесили трубку. Кузнецов терпеливо позвонил еще раз: «Девушка, передайте Дорофееву, что мне незачем с ним встречаться, он мне нужен всего на два слова по телефону». — «Простите, Андрей Петрович, у меня нет указаний что бы то ни было передавать Степану Ивановичу и для вас не имеется более никакой информации». Слова короткие гудки. Терпение Кузнецова казалось неизбежным, он сам собой любовался, когда в третий раз обратился, ничуть не утратив любезности: «Послушайте, девушка...» Вот за свою же любезность и получил, кинули трубку самым наглым образом, как в справочной Мосхозторга. Хорошо. Андрей Петрович даже повеселел. В любое, говорите, время? Пообщаться захотелось? А что, у меня теперь дел немало, я свои дела почти все уже переделал, а может, и совсем все переделал. Так и самому скоро станет

---

скучно. Кузнецов вышел на улицу. Хотел привычно вскинуть руку, но сам себя одернул: зачем, будем отныне менять привычки-то, никуда не спешим, трояки экономим, каждую возможность пройтись пешком воспринимаем с благодарностью. И не спешил, и сэкономил, и с благодарностью, а уже через полчаса вступал на знакомый малиновый ковер, пустили не то что беспрепятственно, секретарша, похоже, ошалела от счастья при его появлении, как бы ей оттого плохо не стало. Дорофеев при появлении Кузнецова стал то ли мрачновато, то ли смущенно слезать со стула, за что-то там зацепился, повозился, недовольно бурча себе под нос, и встал около стола, смешно свесив ручки и глядя исподлобья. Кузнецов прошел и сел в знакомое кресло без приглашения, но и без наглости, кивнув довольно приветливо. Однако первый разговора не начинал и смотрел вопрошающе. Дорофеев, продолжая стоять, кашлянул:

— Вы, конечно, прежде всего, Андрей Петрович, меня извините. Но, поверьте, а верить не обязательно, я вам сейчас, если хотите, любые самые веские доказательства предоставляю, что никакого отношения к этой мерзкой писанине не имею. Виноват только в небрежности, произошла досадная утечка информации, виновные о ней сильно пожалеют. И великий публицист тоже. Нелепость. Поверьте же мне.

— Да что вы сегодня как батюшка, Степан Иванович, не ваш это тон, и извиняться не за что, верю я, верю, и даже вам верю. Только не в том дело. Неуж-

---

то я мог подумать, что вы на такую глупость способны? И мысли такой изначально не было. Конечно, утечка, конечно, нелепость. Да ведь суть от этого не меняется, статейка-то правильная по всем пунктам. Молодой художник надежды подавал? Подавал. Образование бесплатное от государства получал? Получал. По специальности не работал, на автобазу пробрался? Не работал и пробрался. Мудрый Дорофеев руку протягивал? Протягивал. Раскаявшийся Кузнецов руку схватил? Вот тут, конечно, поторопились чуток, не очень-то крепко он ее и хватал. Но если отбросить мелочи, то по справедливости верно. Коль не совсем послал, лазеечку, пусть крохотную, да оставил, значит, схватил-таки, остальное нюансы, успокоительное для внутреннего употребления. Ну, и еще про эмигранта, даже бывшего и осознавшего, а может, особо за бывшего и осознавшего стоило бы, наверное, по морде дать, это в народе имеет название шить политику и явно доносиком отдает. Но и тут не подкопаешься под доброе отношение, из лучших ведь побуждений, исключительно как положительный пример! А насчет самого слова, кто чего в полемическом запале не брякнет. Главное, повод-то сам подал, сам к Дорофееву поперся, никто силком не тащил, все сам. И картинки старые обсуждал, и сроками ненадолго интересовался, и договорчик краем глаза просматривал. Так что совсем незачем вам извиняться, Степан Иванович, я не за тем пришел и уж, конечно, ничьей крови не жажду, обижаете даже...

---

Дорофеев повернулся, полез назад на свой стул, снова зацепился за что-то и снова забурчал. Потом, угнездившись, наконец, принялся смотреть на Кузнецова обычным, вялым и ничуть не подкрашенным заинтересованностью взором. С минуту прошло в тишине, и вдруг мелькнуло что-то в этом взоре, Степан Иванович даже слегка подался вперед, ручки его зарылись в бумажный ворох, зашевелились в нем:

— А давайте вы сами выступите? Там же. Я вам, захотите, полполосы устрою. И все выскажете. Что угодно. Хоть материтесь, никто слова не поправит, гарантирую.

— Смеетесь, Степан Иванович? С чем мне выступать, действительно, что ли, материться? Или бить себя в грудь и кричать, что никогда эмигрантом не был и Родину не продам? Или наоборот, визжать, что ни в чем не раскаиваюсь, а на закостеневшего чиновника Дорофеева, посмеявшегося полезть своими номенклатурными лапами в мою нежную душу вместе со всей его благотворительностью, плевать хочу? Или посоветуете выступить с изысканным психологизированным искусствоведческим эссе, в котором тонко намекнуть, что причины, заставившие меня в свое время отойти от творчества, как и те, что ныне настоятельно требуют возврата, лежат в областях далеких от возможностей обыденного толкования и имеют отношение к парадоксальной непредсказуемости вечной трансформации артистической натуры? Пойдет, а?

---

Дорофеев во время монолога Кузнецова заметно светлел и веселел, откинулся на спинку стула, ручки из бумаг вынул, сложил их на коленках и даже пару раз ими по тем коленкам пришлепнул. А потом и кивнул энергично, заговорив с нехарактерной для себя живостью, только какой-то малейшей крохи убежденности не хватало этой живости, как глазам его не хватало всего одной искры надежды:

— Ну вот и верно, совершенно вы правы, Андрей Петрович! Конечно же — только так. Наплевать и забыть. И нечего ни перед кем расшаркиваться, а с этой дрянью вообще вязаться — только себя замарать. Вам, небось, уже звонили всякие? Наверняка звонили. Ну и черт с ними, вы же им прекрасно сами цену знаете. А нам с вами работать надо. Ну, считаем, что ничего не было, приказать принести договор?

Кузнецов слушал Степана Ивановича чрезвычайно внимательно и, только окончательно убедившись, что тот более ничего говорить не собирается, а только прицеливается к клавише на селекторе и ждет, позволил себе крайне мягко начать:

— А ведь вы сейчас надо мной немножко издеваетесь, товарищ Дорофеев. И в душе посмеиваетесь. Хоть совсем немножко, может, даже очень по-доброму, не от дурных чувств, а только от мудрости и силы ее, но и издеваетесь, и посмеиваетесь. Уж очень искренне и навязчиво, думаете вы, желает этот молодой и невинность соблюсти, и капитал приобрести. И трепыхается, и оскорбленную чувствительность разыг-

---

рывает, а может, и разыгрывать не надо, настолько сам себя убедил, но как тогда прибежал, так и теперь: велели — и явился. Потому что, по сути, велели, когда отказали в телефонном разговоре, это я не обиду выражаю, а уточняю для большей ясности. Да и какая обида, если, действительно, явился. И все-таки не совсем уж полное право на существование имеет ваша усмешка, уважаемый Степан Иванович. И статья... что статья, чепуха, конечно же, если серьезно... Нет, врать не стану, у меня вчера, действительно, был тяжелый день, и ночь так себе, а тут с утра еще разное, и статейка весьма к месту оказалась, признаюсь, слегка получился перебор, вспылал, звонить вам стал не без раздражения. Но это объяснение только того, почему сейчас, правда, я бы в другом случае спал, а не с вами разговаривал. Но с невинностью и капиталом — ошибка. Хотя и было — картинки рассматривал. Я не знаю, какое вы к известной мне и наверняка отлично известной вам компании имеете отношение, но какое-то имеете точно. И выход на Платова, и слишком уж точная информация, что именно пятьдесят листов, и именно к «Карамазовым», и именно тридцать на восемьдесят. Да. Пришел тогда домой и внимательно их рассматривал. И не с тем чтобы выбросить или в шкаф навсегда запереть, а совершенно конкретно прикидывал, как они будут выглядеть в книге. Не удивлюсь, если вы об этом и сами прекрасно знаете. Но это совсем не важно, основное — я сам знаю, что прикидывал. И потому без статейки, без

---

всего прочего дополнившего, я бы все равно никуда не делся, и усмешечку, и издевочку предполагая, даже будучи в них уверенным. Но и когда вы шипели на меня в прошлый раз с нарочитой педагогической злобностью, и когда теперь подыгрываете, подталкивая, чтобы я сам нашел наиболее для себя удобный и приемлемый способ себя уговорить и поприличней пойти на попятную, вы, уверяю вас, все же имеете в виду кого-то другого. Я пришел сюда не торговаться ни с вами, ни с собой. И не просить вас оставить меня в покое; как я уже понял по хоть крохотному, но опыту общения с вашей бригадой, какие бы то ни было просьбы вами слабо воспринимаются. И не ставить ультиматумов, посылая стол пеплом сожженных рисунков, бесполезность этого тоже отлично вижу. Я затем только явился, чтобы вы перестали обманывать себя и оперировать некими абстрактными понятиями, одно из которых имеет условное наименование «Кузнецов». Нету никакого понятия. Вот он я, перед вами сижу. Ведь вы же владеете какими-то уникальными методами сбора информации и ее анализа. В ситуациях, когда она труднодоступна, когда ее скрыть хотят. Тут же наоборот, я всячески готов вам помочь. Применяйте свои методы, крутите, вертите, щупайте. И уверен — если вы не полные шарлатаны, то сами должны понять то, в чем отказываетесь мне верить на слово: не получится дергать меня за ниточки, ничего из этого не выйдет, кроме нервотрепки. Я не подпишу никаких договоров. Я не стану оформлять никаких

---

книг. Я сколько угодно с любыми мыслями и настроениями просижу у себя дома над своими рисунками и что угодно при этом разыграю в собственном воображении, но с вами иметь дел никаких не буду, пока сам не решу, а чем больше вы режиссируете сценок с мудрыми дяденьками вокруг капризного ребенка, не понимающего собственного блага, тем дальше я окажусь от такого решения. Ждите из больницы Дали, Степан Иванович.

Дорофеев грустно вздохнул. Возможно, это касалось состояния здоровья Сальваторе. Но, наверное, оно в тот момент не казалось столь тяжелым, чтобы отмечать его целой минутой молчания. Потому Степан Иванович начал немного раньше:

— Знаете, Андрей Петрович, я, видимо, во время нашей первой встречи, действительно, принял с вами неверный тон. У меня, в самом деле, имелось довольно много информации, но она оказалась мертва, тут нет моей большой вины, сказала спешка и экстремальность ситуации, которую во многом вы сами и создали. Но не станем считаться очками. Если уж втягиваете по собственному желанию меня в разговор, заставляющий анализировать все («все» подчеркнул) мои побуждения, или побуждения группы, как вы выразились, к которой я принадлежу, если сами как будто настаиваете на изменении мнения о теперь уже ваших побуждениях, а надо полагать, что так, раз постоянно тыкаете меня носом в мои ошибки, не важно, реальные или только вам кажущиеся, то

---

тогда давайте и на вашу позицию попробуем взглянуть без всякого лукавства. То есть не мы, а вы сами попробуйте, я тут ни помощником, ни советчиком быть не могу, даже на роли слушателя выводов не настаиваю. И все же загляните в свою душу повнимательней: а не обнаружится ли там некоторой толики самого обычного кокетства, пусть чрезвычайно изящного, пусть по сложнейшим рецептам замешенного, пусть даже выстрадавшего, а все-таки и обычного? Подождите, вы не вскидывайтесь сразу, я ведь тут имею в виду кокетство как совершенно справедливую и естественную защитную реакцию личности на непредвиденные и резкие изменения внешних условий. Потому послушайте спокойно, я начну с того, что попытаюсь объяснить причины собственного ошибочного отношения к вам. Ну, не стану говорить о самом первом пласте, изложенном во взорвавшей вас статье. Хотя, чего врать, некоторый соблазн подобного подхода и у меня появлялся — времени мало, а тут схема проглядывается элементарная: юное дарование, пытаюсь проложить новые пути в искусстве, сталкивается с твердолобым непониманием чиновников и гордо уходит в сторону, раз вы так, мол, не хочу иметь с вами ничего общего, стану творить для вечности, а на хлеб как-нибудь без вас заработаю. Но я все же, простите за нескромность, профессионал и сразу же, копнув чуть поглубже, почувствовал порочность кажущейся простоты. Не обнаружилось никаких ужасных чиновников, все совершенно наоборот, вам чуть

---

не с пеленок создавали условия наибольшего благоприятствования, я и не знаю, у кого еще было такое удачное во всех отношениях начало. Но, что самое главное, не имелось юного дарования, пытавшегося проложить новые пути. То есть само дарование сейчас не обсуждается, некоторые способности, бесспорно, присутствовали, но вот насчет путей... Слабенько, очень слабенько. Серенькое ученичество. Тут, конечно, первая мысль: но ведь он-то не понимал, что слабенько, это очень мало кто из авторов про себя понимает. Но и такую спасительную мысль сразу пришлось отменить; понимал, весьма хорошо понимал Андрей Петрович, много лучше других, уровень своего творчества, о чем свидетельствуют не только его прямые высказывания и многочисленные споры, в частности с Ломовым, — в высказываниях может наличествовать юношеское гордое самоуничижение, — но и, основное, его же собственные работы более позднего времени. Никак не мог создатель этих работ не понимать уровня своих предыдущих. И совсем тогда чепуха получается, бунт какой-то дурацкий в ситуации, когда вовсе нет против чего бунтовать. Насчет несправедливости окружающего мира вариант тоже отпадал сразу же. В искусстве по отношению к вам вы никакой несправедливости не видели, а видели бы по отношению к другим, так и боролись бы средствами искусства, пока никто не мешает. В том же мире, куда вы ушли, если и ощущали какую-то неправильность, то отлично научились ее приспособлять для

---

собственных нужд. Да вы никогда и не пытались играть роль борца со злом, даже пассивного, если таковых можно назвать борцами. Вообще, между нами, ваш образ жизни настолько мало походил на тот, что вели доктора наук, ушедшие в вахтеры, что я удивляюсь, как им еще не заинтересовались соответствующие органы. Кругом, короче, нелепость получается. А уж в чем в чем, но в нелепости я вас почему-то изначально заподозрить не мог. И, в конце концов, перебрав и отбросив еще несколько столь же неудачных вариантов, я пришел к выводу — еще раз повторяю, что имел крайне мало времени, — что вы на самом деле ниоткуда никуда не уходили, а просто выбрали наиболее удобный и комфортабельный для себя путь. И, учитывая специфику вашего характера, может, оно и логично, хотя со стороны кажется диковатым. Построить свое существование так, чтобы творчество к внешним его сторонам никакого отношения не имело. Спокойно отсидеться на обочине, дозреть, превратиться в самостоятельного мастера и затем уже достойно, без запаха вундеркинизма, со свежими, не побитыми художнической бытовщиной нервами, открыто заняться серьезным делом. Но при этом вы попали в собственную ловушку. Слишком хорошо все сделали. Выкопанное логово оказалось слишком благоустроенным, и с годами вы к нему столь привыкли, что, когда пришла пора вылезать, уже ослабло желание что-либо менять. Да к тому же и вопросы практические. Во всем остальном вы хозяин, знаток, рыба в

---

воде, даже в чем-то щука, если не акула. А тут давно оторваны, серьезные связи утеряны, репутация забыта, придется поначалу все равно чувствовать себя новичком, возможно, выслушивать какую-то чепуху от дураков, согласно кивать головой... Ну и испугались, стали тянуть резину, сами себя уговаривать, что еще не время, хорошо бы еще чуть-чуть... Согласитесь, картина достаточно логичная и вполне может показаться единственно верной, из нее я, собственно, и исходил при первой нашей встрече. Отсюда и мой тон. Надо было сначала дать вам полный карт-бланш, чтобы снять комплекс новичка и убрать нежелание возиться со всякими мелкими сложностями, неизбежными у любого начинающего, да и продолжающего заниматься нашим делом в условиях существующего бюрократического аппарата. А потом, когда вы все-таки испугаетесь неожиданной необходимости немедленно выйти на свет, что понятно, и замашете ручками и ножками — прикрикнуть, разозлить, дать толчок, чтобы вы не переползали с ленцой с дивана на стул, поминутно оглядываясь, а разом вскочили, далее же дело само пойдет. И, если честно, я ведь тут совершил не очень много глупостей, даже кое-каких результатов добился, раз, сами говорили, после той нашей беседы разглядывали свои рисунки с достаточно конкретной целью. Но, признаюсь, уже, когда вы в прошлый раз уходили от меня, я в последний момент ощутил некоторую неуверенность в действенности и целесообразности выбранной мной линии. Такое, зна-

---

ете, впечатление, как будто совершенно правильно рассчитанные шестеренки неожиданно провернулись вхолостую. Пришлось признать, что где-то мы недоработали, и задачу решенной считать рано. С одной стороны, вы оказались несколько жестче, логичней и последовательной нормы, имею в виду ту норму, которая вытекала из приведенных изначальных посылок, а с другой — у вас оказалась повышенная чувствительность, чуть не болезненная, с элементами автоматического противодействия, к самым проверенным и почти всегда предельно действенным методам даже не принуждения, ни в коем случае не принуждения, а мягчайшего убеждения и тактичнейшего направления ваших поступков. Но и это бы еще ничего, существуют способы, уверяю вас, очень точной, ювелирной корректировки, однако если бы названное не сочеталось с неким неучтенным фактором в самих послылках. Да-да, Андрей Петрович, я сейчас с вами совершенно откровенен и вынужден признать, что пока, действительно, не владею четким планом действий для достижения поставленных целей. Но так же откровенно, ничуть не блефуя, уверю вас, что только пока не владею. Потому что, какими бы ни были основания вашего поведения, их глубина, мудрость, стойкость, все самые лучшие качества не то что не опровергают, а даже под малейшее сомнение не ставят полнейшую абсурдность в нынешней ситуации самого поведения. А если есть абсурдность, значит, ее можно устранить. Дело только, как вы сами дога-

---

дались и мельком обмолвились, в получении дополнительной, желательной исчерпывающей информации и совершенствовании основанной на ней методологии. Ну что ж, времени у нас не много, но оно есть. И больше спешить я не стану. Хотелось бы надеяться, что вы приняли мою речь как извинение.

Лицо Кузнецова, когда он заговорил, выражало всю гамму чувств самой серьезной благодарности без малейшего налета мелкой двусмысленной язвительности:

— Ну что вы, Степан Иванович, пустое, какие извинения, совсем неуместно между нами понятие вины. Я о другом думаю. А почему вам, собственно, не пришли в голову другие, более простые варианты? Ну, например, если продолжать предложенную вами увлекательную игру, я элементарно перехотел. Это ведь часто бывает, когда слишком долго и слишком страстно о чем-то мечтаешь, о женщине, о творчестве, о славе, о бутылке пива. И желание проходит не от его удовлетворения, не от пресыщения и разочарования достигнутым, а от себя самого. Надоедает, не хочется больше. Или другой вариант. Очень не люблю, когда меня в рай не пускают по анкетным соображениям, но не люблю еще больше, когда тянут в него за уши по соображениям каким бы то ни было. Возникает автоматическая ответная реакция организма. Или так. Каприз художника, не желающего даром получать то, за что собирался бороться до последней капли крови. А вот еще проще. Брезгливость. Самое обыденное чувство некоторых людей, которые, мо-

---

жет, и осознать не в состоянии, а нутром чувствуют, что дело темное, и на всякий случай боятся замараться. Это еще в народе чистоплюйством называется. А еще существует лень. Желание спать подольше.

— Так, так... Еще какие-нибудь варианты предложите, или фантазия иссякла?

— Что так саркастично, увидели в чем-то нелогичность или неестественность?

— Да нет, насчет вашей логичности я уже комплименты делал, а с естественностью... Пожалуй, только с последней каплей крови чуть переборщили, а так ничего. Не хватает, однако, некоторой чудинки, для полного реализма, такой, знаете, легкой небрежности на самом видном месте холста, что и придает настоящую законченность шедевру. И еще бы каплю домотканой философии с выходом на вселенские проблемы. Без нее истинному российскому интеллигенту любая дурасть не в радость.

— Вот вы меня как высоко, в истинные да российские... За такое грех не отблагодарить. Что ж, давайте, попробуем по вашим рецептам. Вы, кажется, обмолвились по поводу самостоятельного мастера, достижения какого-то нового уровня в моих последних работах. А откуда у вас такие сведения, кто делал вывод и решал?

— Я, Андрей Петрович, и выводы делал, и решал. Мне вполне достаточно.

— Так то вам, а для меня в этом вопросе вы, простите, никто. Вы так считаете и, возможно, правы,

---

другой иначе сочтет и тоже правым окажется, объект-то не абсолютен. Хотя критерии и есть, они не на такой, даже новый, уровень рассчитаны.

— А я и не говорил, что Рафаэль.

— Вот видите.

— Помилуйте, Андрей Петрович, что же получается: вы вроде меня подводите к такой пошлейшей мысли, будто, если не Рафаэль, так, значит, и вовсе ничего не надо? Странно от вас после всего нашего разговора было ожидать такого неуважения к собеседнику, это как-то даже, знаете, не по-спортивному выходит.

— Виноват, не хотел обидеть, но мысль-то ничуть не более пошлая, чем та, что без среднего уровня не возникает вершин. Это даже не иллюзия, а обыкновенная педагогическая сказка для смирения зарвавшихся серых мышек. А если бы в сказке и была доля правды, хотя ее нет, все полнейшее вранье, но если бы и была, так что же, становится благодатной почвой, черноземом с удобрениями для произрастания истинных плодов высокого духа? Дело, может, и прекрасное, но на него тоже особый дар требуется, и не каждому эта роль по силам, есть опасность, что в какой-то момент вместо полезных питательных веществ почва начнет вырабатывать яды, да еще смертельные, прежде всего для нее самой.

— Стыдно, Кузнецов, стыдно, культурный как будто человек, в приличной семье выросли, а такую, простите, чушь несете из репертуара впервые сопри-

---

коснувшихся с цивилизацией дикарей, ошалевших от наплыва чувств и впечатлений. Нехорошо.

— А вы меня, Степан Иванович, не стыдите, забыли что ли, мы ведь чисто абстрактный разговор ведем, вы вариант, я вариант, беседуем теоретически, зачем же на личности переходить? Вы сами еще в прошлый раз основное с барственной небрежностью мимо ушей пропустили, а теперь неудачей раздражены и хотите какой-то новизны откровений. Но чем вы эту новизну заслужили, собственными примитивными сценками с перемудрившим и запутавшимся мальчишкой в главной роли?

— И что же я такого главного пропустил в потоке вашей неизбывной мудрости? Уж не тонкий ли намек, что вы десять лет карандаша в руках не держали, рисовать разучились и нашли, наконец, истинное свое призвание на автобазе? Опять дурочку начинаем валять? Я все же, кажется, моментами совсем перестаю вас понимать, Андрей Петрович.

— Вот я и говорю, что пропустили. Про карандаш запомнили, а основного моего искреннейшего признания не заметили. Я ведь начал с того, что душу открыл, вы же заглянуть туда не пожелали, лишь скользнув равнодушно холодным взором по поверхности. Неверие, только неверие в человека погубит все ваши дела непременно.

— У вас, кажется, сильно улучшилось настроение. Я сам не против балагана, если к месту, но вы, по-моему, переходите уже ту грань, за которой боюсь

---

поставить под сомнение ваш вкус и чувство меры. Вы, видимо, утомлены сегодня...

— Ах, как заговорили, товарищ Дорофеев! Неужели что-то вас за живое задело, уж не подозрение ли в недостатке профессионализма? А настроение у меня не улучшалось, оно и было прекрасным. Несмотря на то, что действительно утомлен. Да только опять не там ищите. Да вы вспомните, я ведь в прошлый раз, как разговор зашел, так прямо и сказал, что вас кто-то дезинформировал, и вовсе я не художник, ошибочка вышла. И кто же виноват, что вы восприняли это, да и сейчас продолжаете, как что угодно, от кокетства до каприза с заумью, вместо того чтобы принять единственную и простенькую правду? Ну, слукавил я насчет десяти лет и карандаша, ну, работал я все это время и, видимо, буду дальше работать, пока не сдохну, но тут лукавство небольшое, оно суть не затрагивает. Поймите же, одно к другому отношения не имеет, я, действительно, не художник, я нем, и от немоты своей не страдаю. Я другое, может, лучше в миллион раз и интересней, но другое, и художником никогда не стану, что бы ни создал. Кому же это лучше всего знать, если не мне, что за недоверие дурацкое, право. И бесплодна ваша глубокомысленная возня, ошиблись, так имейте разум признать ошибку. Меня-то зачем дергать зря, некрасиво.

Последнюю фразу Кузнецов произнес не укоряюще и не обиженно, а совсем как-то умудрился лишить ее окраски, настолько, что сразу же в комнате завелась тоскливая скука, и последовавшее за тем в

---

течение нескольких минут молчание оказалось естественным и единственно возможным фоном и этой тоски, и этой скуки. Потом Дорофеев сказал с чиновническим равнодушием и казенной простотой:

— Попытка ввести в заблуждение должностное лицо при исполнении служебных обязанностей не является поступком, возвышающим гражданина в глазах любой организации. Тогда мы с вами вот как поступим, товарищ Кузнецов, только сейчас послушайте меня очень внимательно. Начиная с этого момента в любое время с десяти до восемнадцати, в любой день, кроме субботы и воскресенья, до самого конца вашей жизни вы можете прийти в этот кабинет. Сколько бы, каких бы работ вы ни принесли, независимо от жанра, техники, сюжета или манеры, все они в самые кратчайшие сроки будут приняты и увидят свет в том виде, в котором вы пожелаете.

Кузнецов резко поднялся с кресла, тон его тоже стал сух до неприятности.

— Надеюсь, Дорофеев, вы оценили мою тактичность, не позволившую даже намеком поинтересоваться истинными причинами столь пристального интереса к моей персоне и настоящими целями, которые вы преследуете в своих действиях?

И тут вдруг лицо Дорофеева странно оживилось, невероятно, никто не поверит, но чуть не улыбка промелькнула на его устах и восторженность в голосе:

— Да ведь что интересоваться, Андрей Петрович, ясней ясного, вижу: такой талант в безвестности

---

пропадет, и для искусства какой урон, для всей нашей культуры, это же наша святейшая обязанность — помогать молодежи, как же иначе, помилуйте...

После чего Кузнецов равнодушно пожал плечами, развернулся и пошел. На пороге ему даже показалось, что он расслышал за своей спиной что-то вроде хихиканья, но внимания не обратил и довольно скоро очутился дома.

## 10

Хотел сразу же лечь спать, но, видать, в тот день кто-то из ответственных за уровень меда в бочке перестарался и в последний момент уже засыпающего Кузнецова стащил с кровати еще один телефонный звонок. Никогда Андрей Петрович не взял бы трубку, да звонок был междугородным и что-то в его тоне заставляло реагировать. Прозвучавший голос Феди Бадмаева Кузнецов узнал мгновенно, хотя слышимость была ужасной. Кузнецов приложил все усилия, чтобы разобрать каждое слово и не пожалел. Хотя сам говоривший, казалось, не придавал своим словам ровно никакого значения и нагло занимал и без того предельно перегруженные линии междугородной связи пустопорожней светской болтовней, беся измученных телефонисток звонким легкомыслием:

— ...Да, кстати, тут у нас такое рассказывают... как будто черкасские что-то с нашими не поделили, и

---

шуму, шуму... будто даже стрельба была, хоть угодников выноси, да всех вроде и вынесли, а они старые, совсем старые, им дальняя дорога вреднее, чем мне самогон, у нас, знаешь, водка из магазинов совсем пропала, да что водка...

Андрей Петрович собеседника ни разу не прервал, информацию о критическом состоянии городской розничной торговли воспринял полностью и лишь сочувственно хмыкал. Только под конец разговора он задал единственный вопрос, прозвучавший довольно странно:

— И кто же больше всего пострадал от шума?

Впрочем, собеседнику ничуть вопрос странным не показался, с прежней непринужденностью журчал голос в трубке:

— ...Больше, больше, куда уж больше, прямо до смерти, а прежде, треплются, на красной фирме катались... — Тут Кузнецов вежливо, но решительно попрощался и нажал на рычаг. Дополнительной информации ему не требовалось, он достаточно хорошо знал, кто из известных ему людей иногда ездил на красном микроавтобусе фирмы «Форд», предоставленном союзным ведомством перед Олимпиадой в распоряжение Ростовского областного управления Госкомнефтепродуктов. И тут же Андрей Петрович набрал номер Сазонова:

— Виктор, вы еще ничего не слышали о ростовском деле?

Сазонов ответил мгновенно, без малейшей заминки:

— Нет, а что там произошло?

---

А вот тут Кузнецов как раз несколько замялся, соображая, не стоит ли всю информацию попридержать до личной встречи, однако на одну фразу все же решился:

— Сам пока ничего не знаю, но, думаю, стоит быть повнимательнее ко всему новому.

На этой фразе, которая наверняка показалась бы идиотской любому, самому привередливому слушателю, Андрей Петрович закончил день, а я все-таки позволю себе немного отвлечься и поделиться с читателем переполняющим меня чувством восторга. Спешка спешкой, но нельзя же отказывать себе во всех радостях.

## 11

Так вот, тут, товарищи, такое!.. Да, юг есть юг. Прямо как с тем заправщиком история, если кто не слышал.

В 78-м году было, на Северном Кавказе. Тогда там самые крутые дела шли, цеховики, коробейники, левый транспорт, бензин в дефиците, короче, самый ленивый заправщик на колонке имел за смену пятихатку, это если даже пальцем не шевелил. Само только место стоило штук десять, но вопрос не в деньгах, устроиться было невозможно, на весь регион меньше десятка заправок, по своей воле никто не уходил, а сажать тогда еще не сажали. На нефтебазе же в Пя-

---

тигорске работал Ваня. Лет сорок стоял у танков сливщиком. Дело тяжелое, грязное, ну, имел он, конечно, от водителей бензовозов на бутылку регулярно, чтоб не очень копался, был доволен и вскоре уже собирался на пенсию. А тут приходит сверху распоряжение открыть по краю еще чуть не два десятка новых колонок. Начинается паника, лишь бы кого со стороны к такому хитрому занятию не приставишь, надежных же, да и свободных ребят в таком количестве и в один момент не достанешь. Тогда и вспомнили о Ване, все-таки свой, не наглый, не спился, столько лет рядом крутится, пусть отъестся чуток, хоть не навредит. И поставили Ваню за пульт новенькой бензоколонки при выезде на трассу. После окончания первой же смены у него в кармане оказалось около четырех сотен чистых левых. Он пришел домой уставший, поднялся к себе на восьмой этаж одной из первых в городе панельных башен и выбросился из окна, оставив записку: «А я всю жизнь проработал за сто рублей!» Что это не байка, могут подтвердить многие заправщики из старых на Кавминводах, да хоть тот же Вова Тюрин, он до сих пор на частной в Кисловодске.

Так вот, чувства мои, видимо, близки к Ваниным. Уж очень тут здорово. Но побеждает все-таки не тоска по упущенному, а радужность открывающейся перспективы, да, если совсем честно, бог с ней, с перспективой, само по себе удовольствие настоящего вполне покрывает расходы прошлого и будущего.

---

Ко мне сюда даже жена недели на две приехала. Не совсем легально поселилась, а еду ей то Сережка таскает, его Катерина через день разгрузку устраивает, то в ресторанчике через дорогу берем — не сильно обременительно. И что здесь вообще может быть обременительным, если чуть не сутками валяемся на пляже. Состояние эйфории. Никто друг на друга ни разу мрачно не посмотрел.

Правда, вчера я заметил, что Наталия (жена моя) странно долго стоит у берега по колено в воде и смотрит в сторону моря. Подошел, а на глазах у нее слезы. Интересуюсь, не перегрелась ли? Нет, отвечает, это у меня обычное состояние после зеленого дола. Врет. Кто знает Наталию, вряд ли поверит, что она может по подобной причине расплакаться, да и что вообще она может расплакаться. Но у меня на этот счет есть кое-какие собственные мысли, которые я пока обнародовать не собираюсь. Однако фраза относительно зеленого дола требует некоторого уточнения.

Дело в том, что отнюдь не моим самым любимым писателем является Роберт Пени Уоррен, а Сергея, и он с собой в любую поездку обычно брал сначала еще черную «Всю королевскую рать», а последние несколько лет зеленую, где, кроме того, и «Приди в зеленый дол». А так как я совсем никуда никогда никаких книг не беру, каждый раз решая хотя бы вне Москвы отойти от убийственной для времени привычки читать сутками — и при этом каждый раз решению своему изменяю по не имеющей оправдания

---

слабости характера (тут нет ни малейшего кокетства, слабость эта проявляется по отношению к вещам много более низменным, чем книги, например, к сигаретам, уж остального я позволю себе не перечислять), — то, оказываясь где-либо вместе с Сергеем, что случается чаще, чем нам обоим, может быть, и хотелось бы, я вынужден в очередной раз тратить часы после того, как уже не работается, и перед тем, как появится возможность заснуть (а часов этих, к сожалению, обычно немало), на перечитывание историй Вилли Старка, Джека Бёрдена и Касса Мастерна. А впоследствии, как сказано, к ним прибавились злоключения Анджело Пассетто. (Понимаю, что после столь прямого моего признания, каждый, имеющий к этому склонность, с легкостью начнет отыскивать следы влияния Уоррена на мое творчество и даже прямые заимствования конструкций, например: «„Так бы и сделала“, — сказала женщина, и вдруг она будто очень устала». Но должен сразу предупредить о ложности такого пути, только чтобы оградить исследователя от бесплодных занятий. Бесспорно, я испытал на себе влияние Уоррена, но всего лишь как любой другой части моей жизни, неважно уже, по моей воле или нет ставшей этой частью, будь это авария на 89-м километре Горьковского шоссе, предложение руки и сердца в тринадцать лет, история с фальшивыми, но стоящими на ребре червонцами, ежедневный галазолин на ночь или Володя Самолетов — неожиданно умерший от рака легких официант

---

из «Праги», много раз организовывавший столик в, казалось бы, самых безнадежных ситуациях. Но как писатель, то есть одновременно духовный наставник, непосредственный учитель профессии, не говоря уже об образце для подражания, Уоррен ко мне никакого отношения не имел, не имеет и, по многим причинам, принципиального характера иметь не может. Что же касается совпадения некоторых конструкций, то не буду врать, будто согрешил по неведению, а потом случайно обнаружил найденное мной у другого. Если я вообще когда соберусь подыскивать себе хоть в чем-то оправдание, то уверяю, ссылака на какое-либо неведение придет в мою голову последней. Но я не вижу никакого смысла отбрасывать понадобившийся мне инструмент только потому, что им уже пользовались. И пусть при помощи этого молотка изваяли бессмертное произведение искусства, а мне потребовалось всех делов — забить гвоздь для кухонной полки, я не стану с трепетом взирать на освященное великим мастером орудие и пытаться заменить его в своих неловких пальцах куском кирпича, а в том, что и я, и мастер увидели необходимость использовать для удара именно молоток, не моя подражательность, и уж тем более не намек на конгениальность, но естественное для любого человека следование логике, заложенной в природу окружающих нас вещей.) Жене моей, хоть и не так часто, приходилось оказываться вместе со мной вдали от дома, но приходилось, и так как во многих привычках мы с ней схожи, то и она

---

---

уже давно знала названные истории и злоключения чуть не наизусть. Однако специально мы с ней никогда не обсуждали ни тот, ни другой роман (как ничего другого, впрочем, тоже), так, упоминали очень редко какую-нибудь ситуацию оттуда к случаю, но я и не подозревал, это выяснилось только теперь, что на Наталию именно «Приди в зеленый дол» действует несколько угнетающе своей безнадежностью, а успокаивает просветленная грусть «Всей королевской рати». Странно. Странно, сколь противоположное восприятие одних и тех же вещей может быть у близких и, главное, почти во всем предельно точно понимающих друг друга людей.

Для меня вся возможная безнадежность сконцентрирована как раз в «Королевской рати». По сравнению с ней самый тоскливый фолкнеровский крик августовского света кажется многообещающим гуканьем невиннейшего новорожденного ребенка. И последние слова Старка («Все могло пойти по-другому, Джек. Ты должен в это верить»), и окончательное откровение старика («...Обособленность есть индивидуальность, и единственный способ действительно сотворить человека — это сделать его обособленным от Бога, а быть обособленным от Бога означает быть греховным. Следовательно, сотворение зла есть знак Божьей силы и славы. Так должно быть, дабы сотворение добра могло стать знаком силы и славы человека...») на самом деле не что иное, как особого рода литературный прием, причи-

---

---

ны использования которого анализировать сейчас не входит в мою задачу. Причем прием этот намеренно неловок, но не только потому, что это было не так, что корчащемуся на холодном мраморе с пулей в животе (а не «в нижней части груди», как пишет Уоррен) Вилли Старку меньше всего в тот момент казалось интересным, во что оставшуюся часть жизни станет верить Джек Бёрден, и не только потому, что старик так никогда до смерти и не понял, откуда берется, вернее, откуда взялось зло, и не мог понять, как девственница никогда не поймет причины оргазма, сколько бы лет ни провела над теоретическим исследованием этого вопроса. Основное в другом, и самый большой актер, и самый лучший человек не сможет какой бы то ни было светлой и успокаивающей интонацией даже на крохотную долю изменить смысла фразы: «Ваш дом сгорел, а дети погибли». Никто и не говорит, что не надо пытаться этого сделать, тут уже вступают в силу правила приличия, и что случилось бы со всей нашей цивилизацией без этих правил, но не меньшая опасность, чем желание обходиться без них, — придавать им любое другое значение, кроме обыденного и общепринятого. И то, что «Зеленый дол» несколько грубее, — опять же вопрос чистой технологии. Можно было отправить Анджело Пассетто на электрический стул, а можно было на самом деле и обойтись. Нелепо говорить, что «смерть его нужна для того, чтобы Марри Гилфорт понял все про свою жизнь и отравился, а Сай Грандер впервые

---

почувствовал боль и осознал себя человеком». Никогда, никому, ни для чего чужая смерть не нужна, она ничего не решает, ничего не проясняет и ничему не служит, это такая наивная иллюзия, что даже странно, зачем столько сил и столькими как будто неглупыми людьми потрачено на ее развенчание. Но Уоррен-то в число этих людей не входит, он принимает данность как положено, и как данность она его в действительности не очень и интересует. Однако в мире Пассетто деяние разрешено, оно существует, существует не наравне со смертью, не как ее причина, или следствие, или антитеза, а совершенно самостоятельно, как основной закон данного мира, из которого выводится все остальное. А потому лунный свет, заливающий все небо и весь этот мир в последней строке, свет, видимый только тому, кто наконец поднял голову, да и сам человек, стоящий с поднятой головой и увидевший свет, — они естественны, они логическое следствие из посылок, предопределивших жизнь Анджело, а не его смерть. Законы же «Королевской рати» совершенно противоположны. Старка нельзя было не убить. Как и Адама Стентона. И судью Ирвина. И Мортимера Литлпо. И Касса Мас-терна. И младшего Старка. И всех остальных. Потому что все остальные там тоже погибли. Потому что сам Джек Бёрден ждет только того, когда закончится книга и умрет старик, ждет, чтобы вместе с Анной Стентон тоже исчезнуть, и не важно, что исчезновение это на сей раз называется не смертью, а другим,

---

более нейтральным словом, опять технология, главное, роман заканчивается предпоследним абзацем: «Итак, летом этого, 1939 года нас уже не будет в Бёрденс-лендинге». В этом мире деяние обречено и бесперспективно, нет, не преступно, Уоррен крупный художник и нигде даже в худшей назидательности не опускается до пошлости, не преступно, но безнадежностью близко к абсолютной глупости. А абзац последний, все эти «Мы, конечно, вернемся...» и особенно «...уйдем из дома в кипящий мир, из истории в историю, чтобы снова держать ответ перед Временем», во многом ничего более, как та самая успокоительная интонация в устах горестного вестника, так и хочется сказать: боже... Или, вернее, здесь только так: Боже, какие уж тут «конечно», какие «вернемся» и какие «истории»!.. Я написал «во многом ничего более», и действительно во многом, но не совсем, этот абзац своими молодыми людьми на теннисных кортах представляет собой довольно хитрую рифму с другим эпизодом, который уж и вправду по верности ноты безысходной тоски вряд ли где-нибудь имеет себе равных. Но это я опять вдаюсь в технические вопросы, которых обязался не касаться.

Вот по каким причинам слезы на глазах моей жены, появившиеся под впечатлением очередного перчитывания именно второго романа книги, а не первого, показались бы мне странными даже в том случае, если бы я мог воспринять без изумления появление на ее глазах слез вообще по какой-либо причине.

---

Но это единственное, что за все время нарушило полнейшую безмятежность нынешнего лета. В остальном остающиеся от сидения за машинкой, сна и еды часы в совершенном блаженстве доходят чуть не до вершин размороженного абсурда, я лежу на песке и с внимательнейшей заинтересованностью слушаю меланхолический диалог жилистого, почти черного мужика со своим сыном лет пяти:

— Папочка, ну почему же ты такой лысый?

— Ну что ты, сынок, какой же я лысый, у меня все в волосиках, и ручки, и ножки...

— Папочка, а почему если в пузо человека шпагу воткнуть, а потом отпустить, то она так и задрожит, так и задрожит?!

— Ты, мне лучше, сынок, другой вопрос задай, этот слишком глупый, просто совсем даже дурацкий, ты это пойдешь у мамочки спроси...

А потом я с таким же мучительным интересом наблюдаю, как этот сынок зарывает в песок камень чуть не больше себя весом и напевает при этом ангельским ласковым голоском:

— Заковали мы вот, заковали бандита в тяжелые цепи...

Или на балконе сижу, рабочее состояние приваживаю. Виды, я вам доложу, со здешних балконов... А, где наша не пропадала, имею я, в конце концов, хоть раз в жизни право упростить себе задачу без глубинных оснований только потому, что мне так хочется и так действительно проще. Вы все равно давно до-

---

гадались, что том Уоррена лежит сейчас передо мной на столе, не по памяти же я привожу столь простран- ные цитаты, так что уж не стану мудрствовать и ис- пользую готовенькое до конца, уверяю, пойдет лишь на пользу. «Я тоже смогу уйти и... жить красивой, чистой, безупречной жизнью в краях, где вы сидите за мраморным столиком под полосатым тентом, пьете вермут с сельтерской и черносмородинной настойкой, а перед вами плещет и блещет прославленная морская синь». Ну, скажите, какая прелесть! Прямо-таки на- поминает мои детские строки: «Вы снова пьете вис- ки, разбавлены не слишком, чуть-чуть орандж и то- ник, совсем немного льда...» Замечательно сказано. Очень идет к моим нынешним ощущениям. Тоже вот сижу на балконе, тента, правда, нет, даже и не поло- сатого, да он и не нужен, моя сторона и так после по- лудня всегда в тени, и столик не мраморный (да вряд ли и тот был целиком мраморный, такие чрезвычайно редки, скорее все же с мраморной столешницей, не знаю, чья это оговорка, автора или переводчика), а белого пластика на ажурных ножках, такой, видели, наверное, дачный комплект вместе с двумя кресла- ми, и, уж если совсем честно, пью я тоже не вермут с сельтерской. Несколько не то воспитание. Но дол- жен заметить, что и холодная сибирская водка с хрус- тящим, чуть переперченным рыночным огурчиком не способна замутить прозрачную чистоту ощущений. Конечно, чисто эстетически, для завершенности ком- позиции, на втором кресле не помешала бы девичья,

---

именно девичья, а не женская фигурка (жена тут не в счет, хотя фигурка у нее и подходит, но, во-первых, Наталия здесь всего на несколько дней, а во-вторых, она на балконе не появляется, ее с пляжа не выго- нишь), но все же без такой фигурки ощущения мно- го острее, терпкость порой, как ни странно, смягчает резкость вкуса. И снова прибегну к помощи лауреа- та двух Пулитцеровских и Боллингеновской премии: «И если не развлекаюсь сегодня, то не потому, что стал выше этого и достиг святости... Когда вас лечат от пьянства, вам что-то подмешивают в вино, чтобы вас вывернуло... Кто-то, наверно, подмешал этой дряни в мои развлечения... чем тут гордиться, если желудок у тебя не принимает развлечений?» Я дол- жен настаивать, что это не метафора, а чрезвычайно тонкое наблюдение, тут дело именно в желудке, даже если развлечения понимать в самом широком смыс- ле. Так вот, у меня с этим, несмотря на неизбежную для моего пола и возраста язву, нынче полнейший по- рядок, переварю любое, только бы не испортилось, а уж тут об этом и думать не приходится, все самое свежайшее. Еще к вопросу о разных точках зрения: «А с Джеком Бёрденом не случилось ничего, ибо с Джеком Бёрденом никогда ничего не случалось, он был неуязвим. Может быть, она и была проклятием Джека Бёрдена — его неуязвимость». (Отметьте для себя три «быть» подряд, я к этому еще как-ни- будь вернусь.) Со мной тоже никогда ничего не слу- чается. Уж теперь в особенности. И, во всяком слу-

---

чае, ничего, что бы хоть намекало на уязвимость. При этом данное свое качество — а я позволю себе, пусть и с некоторой долей условности, считать названное именно моим качеством, а не свойством окружающего мира — отнюдь не рассматриваю как проклятие, а даже наоборот, если и подумаю когда о собственных, хоть малейших достоинствах или преимуществах перед кем-то в чем-то, ничего иного не отыщу в закромах, кроме того бёрденовского проклятия. Или другой пример: «...у него начался один из периодов Великой Спячки. Вечерами он возвращался домой и, зная, что все равно не сможет работать, сразу ложился спать. Он спал по двенадцать, по четырнадцать, по пятнадцать часов и чувствовал, как все глубже погружается в сон... А по утрам он валялся в постели, не испытывая никаких желаний... И он думал: „Если я не встану, я не смогу снова лечь в постель“». Так описывается один из основных кризисных моментов в жизни героя. Инстинктивное самосохраняющее движение личности к спасительной временной деградации, попытка раненого зверя отлежаться на дне оврага. Но знающие меня хорошо и долго наверняка воспринимают с удивлением, насколько точно тут нарисован мой самый обычный жизненный ритм, в котором я только и могу нормально существовать. Со мной недавно произошло как раз обратное, я стал спать по восемь часов, рано вставать, каждый день выезжать из дома по каким-то делам и только тогда окончательно понял, в какой мере со мной не все в поряд-

---

ке. Потребовалось немало усилий, чтобы взять себя в руки, плюс некоторое везение и стечение уже описанных мною обстоятельств, позволившее мне в тутошних райских условиях потихонечку войти в норму. Когда я, наконец, почувствовал реальное начало этого вхождения, то сразу же установил личный рекорд, и через пятьдесят часов меня растолкала ошалевшая от испуга Катерина и сообщила, что послала мужа за врачом. Меня хватило только на две просьбы: стакан сока и оставить в покое. После чего всего еще часов через двенадцать я привычно переполз с кровати на кресло и понял, что жизнь входит снова в нормальную колею. Так что тут, знаете ли, общих законов нет. Я ведь никому не запрещаю хоть круглые сутки прыгать. Только, желательно, не у меня над головой.

Но вот единственное, в чем я полностью согласен с классиком (?), — это в том, что у нас действительно слишком часто вяжет рот от хурмы, которую мы не ели. Впрочем, пора решительно отложить книгу в сторону, иначе моя увлекающаяся натура заставит слишком много времени и сил уделить не самому плодотворному сравнительному комментированию. Об этом достаточно (жалко, не знаю, как звучит по-латыни).

Да... Я уже понял, что толком передать весь свой восторг и упоение окружающей роскошью природы и цивилизации мне явно не удастся по объективным причинам, вдаваться в которые не хочется, чтобы не портить настроение себе и не вызывать жалость у дру-

---

гих. Ладно. Хотя обидно. Но это уже к родителям. А мне придется попросить вас поверить на слово, что хорошему художнику здесь даже не потребовалось бы особых усилий для создания полотна, спокойно заткнувшего за пояс всю таитянскую серию. Я же прошу прощения за неуклюжую попытку и, прежде чем продолжить Хронику, хочу остановиться еще на нескольких, на мой взгляд, необходимых (вы вынуждены с ним мириться) для понимания последующего текста событиях и мыслях.

Я уеду отсюда за неделю, если не меньше, до своего дня рождения, все зависит от того, на какое число Аркаша возьмет билет в Италию. Не знаю еще, буду отмечать или нет, но если билет окажется раньше, чем на шестое, то Сергей останется единственным из тех пятидесяти, что на мои двадцать четыре сели за составленные в ряд столы сразу слева от входа в зал второго этажа нового «Белграда». Единственным, с кем я продолжаю общаться, и одним из немногих, оставшихся в этой стране или на этом свете. А там тогда, пожалуй, собрались нескучные люди, ну да об этом когда-нибудь в свой черед.

Сейчас главное то, что происходит нечто значительное, вернее, значимое, что я, боюсь, не до конца понимаю, как будто кто-то, будем надеяться, благожелательный пытается в критической ситуации (это он знает, что она критическая, а я еще нет) с большого расстояния объяснить мне что-то жестами, а у меня не хватает сообразительности уловить их смысл.

---

И взгляд мой все время соскальзывает на выходящих из воды женщин. Странно, сколько здесь прекрасных женских тел, и нет ни одного хоть относительно приличного мужского. Правда, к одной из дальних знакомых на несколько дней перед гастролями в Америке приезжал муж, он танцует в кордебалете Большого, но даже он никак не исправил безрадостности общей картины, как взятая напрокат изысканная дорогая вещица не улучшает интерьерера бедной захлавленной лачуги.

А вот на женщин смотреть приятно. Это для меня новость. Когда приятно именно смотреть и когда приятно только смотреть. И еще новость. Каждая строчка дается со все большим трудом, по сравнению даже с совсем недавним, а уж с давним чуть более и вовсе несоизмеримым, но это не вызывает никакого раздражения, и если я слишком хорошо знаю, насколько мне следует спешить, то такое знание, и тоже впервые, приходит в противоречие с ощущением.

Когда-то я слишком быстро начал, ну, насколько слишком, мне, может быть, объективно судить не дано, во всяком случае — очень быстро. К тому, конечно же, существовали достаточно серьезные внутренние основания, да еще и легкость, и удовольствие от самого процесса, независимо от результатов — моя на всю жизнь самая прекрасная и неотвратимая беда. Но, бесспорно, присутствовало и везение. Нет, ничего фантастического, вполне в рамках приличий,

---

но оно не играло в прятки и не устраивало сюрпризов, а работало под надежного старого кореша, который благодарениями не надоедает, может и загулять, ненадолго исчезнув, и буркнуть в трубку что-нибудь не очень приветливое утром с похмелья, но ты прекрасно знаешь, что при необходимости можешь всегда на него положиться. А вот это уже опасно. И наступает момент, и такой момент наступил, когда на скорости потерялось расстояние, а за ним незаметно и время. Обычный эффект ровной дороги. Но обычность еще никогда никого не спасала. Как с теми же записными книжками. Еще в начале 70-х прокурор, вынужденный требовать срок Черномордику, плакал: «Для следствия стыдно работать с такими сопляками, если эта мода распространится, роль обвинителя сможет исполнять любой ребенок, только научившийся читать!» И зал слегка постанывал, когда зачитывались записи из делового дневника подсудимого: «25-е. 18.15. Маяковка. Взял у Гвоздя шузю за 2,5. 26-е. 14.30. Пушка, отдал шузю Тишорту за 3». Особенно смеялся над этой историей Валера Толстый — солидный человек, совсем еще недавно командовавший подводной лодкой, всегда говоривший, что если вещь стоит меньше штуки, то полезней ее сразу выбросить, если, конечно, только это не макароны по-флотски. Когда лет через пять, приехав из-под Таллина, после одной из лучших недель в своей жизни, я разбил вдребезги машину на Маломосковской и, подбегая к его дому, потому что уже опаздывал, увидел Валеру

---

выходящим из подъезда в сопровождении двух молодых людей, профессия которых не оставляла никаких сомнений, то еще не знал, что по его записной книжке возьмут потом около пятидесяти человек, не прикладывая ни малейших усилий — настолько точно и подробно там были обозначены координаты и занятия каждого. И сколько же более умных людей впоследствии повторили этот подвиг! Не правда ли, все сие до боли напоминает попытку оправдаться? Что ж, за пренебрежение правилами движения приходится расплачиваться и этим. Но, по крайней мере, теперь я достаточно хорошо научился соблюдать все лимиты, и потому прочие душеспасительные беседы пока отложим до осени.

## 12

Итак, проспав весь остаток вечера и последующую ночь, Андрей Петрович встал и отправился на работу. Уже несколько раз, проходя мимо Лермонтова, он, автоматически скользя взглядом по скамейкам, ожидал увидеть алкашей и обманывался в ожиданиях. Но сегодня ребята оказались на месте и производили крайне благоприятное впечатление. Всё в них, начиная от антикварной ветхости штиблет, начищенных, однако, с опасной для глаз старательностью, и кончая цветом явно самой тупой в мире бритвой, но выбритых щек, говорило о том, что друзья завязали

---

столь же решительно, сколь и недавно. Они уже издали улыбочиво кивали Кузнецову, но совсем не приглашающе, а так, с приветливостью по знакомству, ни в коем разе не желая навязываться. Андрей Петрович все же свернул с прямой, притормозил и тяжело опустился на лавку со стороны Ушастого. Привет, буркнул. Ему старательно ответили вразнобой. Помолчали. Потом вопросительно взглянул на часы. Да, да, подтвердили, насчет времени договор прежний. Опять помолчали.

Заговорил глуховато: слушайте, мальчики, а этот, письмоносец гундосый, хоть, подозреваю, совсем он не гундосый, что он-то суетится? С вашей компанией, как я понимаю, у него серьезные контры, и к той, другой, полковничьей, получается, без всякой уважительной преданности. Зачем книгу таскает, ведь в ней расписываться приходится?

— Ах, вот куда вас потянуло, маэстро, — срывающимся на сип голосом протянул Усатый, переключаясь через колени огорченно замершего Ушастого и стараясь поймать взгляд собеседника, — вот, значит, как решили? Ясненько... да только зря, не потянете. Пока не потянете, Андрей Петрович, тут нужно долго душу свою тренировать, чтоб она такую исключительную гибкость и эластичность приобрела. Вам бы пока так, по-простому справиться. Или совсем не получается? Подождите, подождите, а может, вас совесть заела? Да это мы мигом, лишь намекните, сделайте милость, устраним, как не было.

---

— Ага, как не было, — невпопад, как будто о другом думая, вдруг неожиданно встрял Ушастый и снова замер.

— Так вам как, Кузнецов, отпущение в письменном виде, или уговорить прикажете? А что, мы и уговорить — будьте любезны. Вот, к примеру, отлично тема проработана. Про относительность нравственных понятий и различные системы этических ценностей. Ну, там, что в одном месте чем больше жен, тем почетней, а в другом и разок хвостом вильнуть большой грех, кто физиономию показать стыдится, а кто пузо, кто про рыгнуть за столом и подумать не смеет, а для кого встать без этого — хозяев обидеть. Вы не волнуйтесь, у нас примеры все проверенные, надежные, из толстых книжек. Или еще. Насчет «судьи кто?». Тоже знаем, а ведь и вправду, ведь если осуждается, то, значит, кем-то, а кем он должен быть, чтобы иметь не то что возможность, а хоть бы право осуждать? Очень перспективная тема для анализа! Так, может, вы сами выберете, в конце концов, мы уж расстараяемся.

— Да ладно, — плохо реагировал Кузнецов, куда-то вбок смотрел, не ухмыльнулся даже ни разу, — ладно вам, давайте по-честному, он что, с вами раньше работал, что вы так на него взъелись?

Ушастый с такой скоростью вперед подался, что Усатого чуть не прищемил.

— Ну и что, ну и работал, ну и при чем тут это, очень, думаешь, проникательный, поймал нас, лич-

---

ные счета сводим, обижены? А вот и глупо. Да нет никакой обиды. Тем более счетов. Он же ни предал никого, ни страшной клятвы не нарушил, ни сам ничего мерзкого не подписал. Его же ни мы не звали, ни туда никто не переманивал. Но тут совсем просто, и не изначально задуманная пакость, и не выстраданное идейное перерождение, а самое простое отсутствие точки отсчета. Ну и ладно, ну и хорошо, делай что хочешь, за штаны не держат, но ведь чем натура человеческая замечательна — вот и спокоен, и тени угрызения совести нет, и на любое чужое мнение наплевать, и не чувствует, что дурным занимается, потому, как само понятие дурного отсутствует, а все равно не утихомирится, пока собственную пакость томами обоснований не обставит и, главное, пока еще кого-нибудь к ней не приобщит. Тут-то уже провокаторство и начинается! Мы вот против Лысого имеем что-нибудь?

— В смысле против Полковника? — уточнил Кузнецов.

— Пусть Полковника, — отмахнулся Ушастый, — имеем мы против него что-нибудь? То есть, имеем, конечно, но в каком смысле? Ледяной чинуша, профессионал, дело свое делает, как положено, ну не без того, чтоб и себе хорошо при возможности, но за просто так пыл проявлять, потихоньку на ушко развратные мысли нашептывать — да ему это и в голову не придет. А Гундосый незаметно соблазн уже чуть не в автоматизм ввел, мороженым девушку в кино

---

угощает так, чтоб она непременно поняла и значение этого мороженого, и необходимость его взять, и чтоб непременно взяла.

— А может, все-таки перерождение? — Кузнецов не спорил, он тосковал некрасиво и исходный пункт искал. — Может, все-таки оно, ведь и вы со стороны смотрите, то есть в том виде оно, что думал человек и к каким-то таким выводам пришел, которые его изменили, и он почувствовал необходимость таких изменений и не только в себе? Если подумать, Гундосый-то единственный, как я и предполагал, может сравнивать изнутри, а каждый из вас, хоть и с превеликим благородством, но свою песенку поет, через баррикаду не перелазил и от сектанства не застрахован.

— Ага, значитца, по баррикаде полазить захотелось, а вам не приходило в голову, Андрей Петрович, как такие лазающие называются?

— Ну, все ясно, ребята, — встал Кузнецов, ноги немного занемели. — С названием, это мы еще разберемся, это не к спеху, а вот просьбу мою вы, конечно, не выполните?

— Не выполним, Андрей Петрович, и не из принципа, плевать, да вы хоть поженитесь, только у нас с ним связи нет, незачем нам с ним связываться.

— И где найти, не знаете?

— Ой, да не беспокойтесь вы, он сам вас еще сто раз найдет, особо при таких ваших настроениях. Когда вляпаться мечтаешь, лужу не пропустишь.

---

— Опять грубить начинаем?

— А раздражаете. И не мы к вам нынче с просьбами.

— Неужели вы, ребята, все еще не видите, что я на рожон не лезу и не правоту свою перед вами доказать мне требуется? Пускайте время, пошел я.

— Уже пустили. Вы тоже зла не держите, работа, знаете, нервная.

Кивнули друг другу, Кузнецов к вокзалу направился.

### 13

Он на вокзале точно знал, куда ему сегодня идти, и не машинально, не под влиянием каких-то дурацких игр подсознания, а с осмысленной расчетливостью пьяницы, безошибочно находящего путь в магазин перед закрытием, когда вроде бы все мыслимые входы и выходы перекрыты дружинниками, хотя продавщица винного все равно давно ушла и красит губы в подсобке, — с такой расчетливостью и непреклонностью пошел Кузнецов в самый конец платформы (или к началу ее, когда как), забрался в головной вагон, в самый первый тамбур и встал в углу, наискосок от рыжей девчонки, пристально глядя мимо нее, но так, чтобы с края поля зрения не исчезало яркое солнечное пятно волос. И все как обычно, следующая остановка, парень в бушлате, семь минут

---

заколдованного молчания, быстрый поцелуй на прощание, взмах рукой, «до завтра!», бушлат исчезает в дверях на разъезде. Все это время и потом, когда она осталась одна, до станции, где им обоим выходить, Андрей Петрович разглядывал девчонку очень внимательно, но так совершенно отрешенно было выражение ее лица и такой тусклой безнадежностью отливали глаза, что это разглядывание почти в упор не только не вызвало раздражения рыжей или ее спутника, но даже оставило, а может, заставило остаться их вовсе безучастными по отношению к застывшей в расслабленной напряженности фигуре у противоположного окна. Рассматривая, стараясь подметить и понять мельчайшие нюансы поведения странной пары, Кузнецов, однако, не ставил перед собой никакой конкретной задачи, более того, спроси его кто сейчас, если бы и нашелся человек с правом на такой вопрос, зачем это нужно и какова цель, Андрей Петрович ничего не смог бы ответить, более того, сам испытал бы некое недоумение. Но вопрос задан не был и даже самому себе задан быть не мог, потому что ясность чувства необходимости происходящего, важности и непосредственной касаемости не оставляла места сомнению, вызывающему вопросы. Рыжую Кузнецов при выходе пропустил вперед (на их станции дверь открывалась с его стороны), но не устремился, как всегда, к работе, выкинув мгновенно из головы все постороннее, а замешкался, покрутился у газетного киоска, стал искать по карманам сигареты,

---

оглядываться рассеянно... Много, однако, усилий, чтобы следить за девчонкой, приглядывать не пришлось. Она явно никуда не спешила, чуть шаркающей, городской уличной походкой прошла несколько метров до конца платформы, спустилась, аккуратно посмотрела направо и налево, как будто поезд мог подобраться к ней бесшумно, пересекла пути и поднялась на платформу, параллельную той, где остался Андрей Петрович, сделала еще несколько шагов, села на скамейку, положив руки на плотно сдвинутые колени. Кузнецов уже ничего не изображал, а просто стоял сбоку расписания, прислонившись к стене, курил и спокойно поглядывал на замершую женщину, он ее вдруг про себя перестал называть девчонкой. Минут через десять подошла электричка на Москву, заслонив скамейку, а когда поезд тронулся, рыжей на скамейке не было. И Кузнецов поплелся к базе медленно, хотя уже опаздывал. Он пытался выстроить какой-то событийный и логический ряд, но получалось это у него как-то очень коряво и неуклюже. Значит, так: она едет, а потом возвращается. Нет, насчет возвращения — потом, иначе совсем ничего не сложится. Пока пусть она просто каждое утро добирается от Москвы до станции, цель на время отложим. А он той же электричкой — от сортировочной до разъезда, предположим, там работает. Тогда эти ежедневные свидания им удобны и довольно естественны. Но каждый раз, прощаясь, она говорит ему «до завтра». Значит, больше они в тот день не ви-

---

дятся, да и ночи проводят порознь, коли ранним утром каждый выезжает из своего дома. Когда же они встречаются? В те дни, когда я выходной? Не получается, таких совпадений не бывает, у меня график скользкий, а они тут всегда, в любой день недели. Суббота с воскресеньем? Нет, в лучшем случае только воскресенье, по субботам их тоже видел. Но тогда почему они ведут себя так, как будто расстались на несколько минут, почему молчат, неужели от встречи до встречи за целую неделю не накопилось всякого, о чем хочется рассказать близкому человеку? Какая-то дурная платоника с хемингуэвщиной, но парнишка в бушлате вовсе не похож на восторженного студента шестидесятых, он и тогда-то на него вряд ли походил, тут другие были университеты. И хотя уже раньше стало ясно, что поначалу принятое за разбитную шпанитость являлось на самом деле совсем не отталкивающей, а даже скорее приятной, хоть не очень привычной свободой в манере одеваться, носить эту одежду, двигаться, вообще жестикулировать. Это было ни в коем случае не приедающееся юношеское назойливо-крикливое «посмотри на меня», а нечто чуть усталое, с доброй усмешкой, предельно органичное. Манера молодила без малейшей утрированности, и порой разница в возрасте с девушкой почти не ощущалась, особенно когда она, вся напружинившись, клала ему руку на плечо и сразу становилась явной ее совершенная женственность. Все так. И тем не менее. Совсем другие университеты. Да и она. Не-

---

сомненно, не хватает той толики неуклюжей дурости, что придала бы хоть тень правдоподобия выстроенной схеме с ежедневными семиминутными встречами двух трепетных молчаливых влюбленных. И это еще при попытке употребить самую обыденную посылку с работой на станции. Но, как выяснилось сегодня, — а потому, что не вызвало удивления, и раньше мелькало неосознанной, диковатой, непонятно откуда взявшейся догадкой, — рыжая со станции возвращалась в Москву. (То, что именно в Москву, и почему для этого доезжает до станции Кузнецова, а не выходит с парнишкой на разъезде или в любом другом месте, Андрей Петрович понял сразу, зная наизусть расписание электричек в обе стороны. В течение ближайших двух часов поезда промежуточные мелкие пункты проскакивали без остановок, женщина выбрала действительно самый быстрый способ добраться до города.) В Москву она возвращалась несомненно. И, получается, проделывала весь путь только ради тех самых семи минут, от первого быстрого взгляда в глаза до прощального взмаха руки. Чепуха. Полная чепуха, сказал себе Кузнецов, на дороге поблизости никого не было, и он уже вслух, хоть и негромко, продолжил: чепуха, просто она иностранная шпионка, а он ей сведения с закрытого завода таскает, каждый день передает температуру в реакторе, а меня они засекли, приняли за майора контрразведки и решили для отмазки подпустить чуток лирики. Опять ты, Хабидулин, эту свою!.. Но последние слова были произ-

---

несены уже не Андреем Петровичем, а диспетчером автобазы на ее территории, с которой мы, как не имеющие пропуска, должны немедленно ретироваться. Второй раз отступаю от собственных принципов, но уже знаю, как смогу оправдаться.

## 14

А в это время... (Не устану умиляться, но ведь, правда, здорово?!) А в это время, скользнув холодным взглядом по мыкающийся толпе у стоянки такси на Курском, появился на привокзальной площади Семен Варфоломеев без малейшего следа недавних недомоганий, да и вовсе такой блистательно-свежий, благоухающий импортом от зубной пасты до дорогих лосьонов, будто соскочил с подножки самого дорогого вагона ихнего трансконтинентального экспресса, а не сполз с полки вот этого замызганного пассажирского, в котором даже СВ не предусмотрен. Неподражаемым легким и безудержным своим шагом направился Семен пешком по Кольцу — глядя на него, каждый усомнился бы в полезности любого вида транспорта — и через несколько минут оказался у Лермонтова, где уже ждали. Варфоломеев молча, улыбкой и кивком, поприветствовал подельников, те чуть не запрыгали, привставая со скамейки, тоже улыбаясь, даже больше, чем улыбаясь, едва физиономии себе не повредили должными выразить радость движениями, но

---

тоже молча, только ручками жесты делали: присаживайтесь, мол, уважаемый, — и скамеечку оглаживали в том месте, куда приглашали, будто соринки какие смахивали, а не было там никаких соринки. Однако Семен еще раз рукой сам провел и посмотрел на нее, проверил, не грязно ли, лишь затем опустил, огляделся довольно, улыбку несколько уменьшил, но не совсем снял, какой-то отблеск ее оставил блуждать по губам. Помолчали еще немного с полным сознанием непристойности и бесполезности спешки. Первым неназойливо распечатал беседу Ушастый:

— А что, Сёма, со здоровьем уже полный порядок? Не поторопился ли вставать, ведь такая, знаешь, простенькая простуда, она самая опасная последствиями...

Нельзя сказать, чтобы уж совсем не уловил Варфоломеев в первой вкрадчивой фразе некоторого настораживающего оттенка, однако, несмотря на всю внешнюю свежесть и бодрость, недавняя болезнь и мерзкая дорога, видимо, все же притупили в нем остроту реакции, и ответ его прозвучал в достаточной мере если и не самонадеянно, то уверенно:

— Ладно — со здоровьем. Все получилось довольно удачно. Старик Платов оказался удивительным умницей, мы с ним во многом очень близко сошлись, даже стоит подумать, не привлечь ли его к работе более серьезно... Ну, это потом, а пока он отлично в нашей ситуации разобрался и, по-моему, указал очень верный путь. Я там же все и устроил, во

---

всех подробностях, потому и позволил себе немного расслабиться. Собственно, даже уверен в успехе, уже должны быть какие-то результаты...

— Ага, — беззаботно отозвался Усатый, казалось, так и не вынырнувший, да и не собирающийся выныривать из радостно-приветственной прострации, — вот это точно, результатов тут у нас!..

Варфоломеев мгновенно скинул с углов губ остаток улыбки, быстро оглядел приятелей ставшим вдруг до неприятной холодности спокойным взглядом и резко сменил тон:

— Давайте, умники, быстро выкладывайте, в чем дело. Только без балагана, я уже понял, что спешу.

Усатый, казалось, указания не воспринял вовсе, продолжал безмятежно блаженствовать, только отодвинулся чуть, вроде подчеркивая малую свою причастность к происходящему, но Ушастый сразу перешел на тон деловой, хоть и не без слегка несерьезной грустинки:

— Результаты, товарищ Семен, у нас имеются явные. Кузнецов тут совсем недавно перед работой нарисовался, и знаешь, что его в данный момент больше всего интересует? Никогда не догадаешься! Исключительно точка зрения Гундосого на создавшуюся ситуацию. Чуть ли не просил нас встречу с ним организовать. А вся твоя хитроумная комбинация с картинками волнует его не больше, чем осадки в Тибете.

— Вы с Дорфеевым связывались?

---

— Дорофеев, Дорофеев... А что Дорофеев? Ну, связывались. Так он же у нас стратег. Теоретик. Фундаментальщик. Его наши сиюминутные конъюнктурные проблемки не сильно интересуют. Он говорит, что задачу в принципе решил, исходя из реальных данных. Это Кузнецова имеет в виду. То есть, в каком направлении на него воздействовать. А уж за результаты, подходят они нам или нет, и уж тем более за сроки появления этих результатов маэстро отвечать не собирается. Так что лажа у нас, Сёма, полная лажа, надо бы по старинке, никогда я в эти высокие материи не верил!..

— Ладно, не паникуй, давай еще раз уточним положение. Какова на данный момент расстановка сил?

— Положение... расстановка сил... — снова мечтательно встрял Усатый, — заражают нас, гады, бюрократизмом...

Варфоломеев поморщился:

— После, всё после, время!..

Ушастый начал прикидывать старательно:

— Значит, так. Ну, сам Председатель по-прежнему пребывает в нетях, формально занят подготовкой как будто некой специальной программы особой важности, но, судя по нашим данным, основную часть этой программы составляет одна очаровательная мамаша двух чудных близняшек, а также попутно возникающие сложности с рядом благотворительных организаций от ГАИ до ОБХСС. Во всяком случае,

---

после своего редкостного по экстравагантности решения сделать Лысого ВРИО более никакого видимого влияния на работу комиссии Председатель не оказывал, и не похоже, чтобы собирался что-то в своем поведении менять. Далее Лысый. — «Его Кузнецов Полковником величает», — проявил осведомленность Усатый, но не был удостоен внимания. — Этот, как известно, никогда особыми талантами не отличался, а тут совсем заклинило; может, похождения Председателя покоя не дают, может, бремя должности подломило, но он рискнул, как давно уже никто не пытался, — почти контрабандой выставил своего кандидата, нарушив все нормы посвящения, и уже умудрился протащить его, вернее, ее, через первую инстанцию. Так что Лысому сейчас любая сложность с Ломовым — костью в горле, ему главное как можно быстрее без сучка, без задоринки пропихнуть всю группу, и, если даже кто стукнет на Кузнецова, Лысый уши заткнет и только ускорит дело. Плюс к названному мы имеем в активе столь же привлекательную, сколь и настырную дамочку и начавшего проявлять активность Гундосого. Вот такой подарочный набор. Каюсь, лично я в некоторой растерянности.

Семен задумчиво посмотрел на стену здания МПС с удивительно уродливыми часами:

— Ребята, вы все же непосредственно Кузнецовым больше занимались, давайте как на духу, есть у нас еще хоть малейший шанс самим выправить положение? Любым образом, сагитировать, усювестить,

---

соблазнить, запугать, в конце концов, нестигаемого Андрея Петровича?

— Шанс, говоришь? Кто его знает, шанс, может, и есть, вон Дорофеев даже считает, что вообще нечего прыгать, Кузнецов сам себя при любом раскладе скушает и нейтрализует. Только никто не знает когда. Как не знает и что он за этот период успеет выкинуть. Так что насчет шанса не отвечаю. А вот что времени у нас совсем нет — это точно. И за то, что есть, мы сами ничего не успеем — тоже точно.

Варфоломеев быстро поднялся:

— Хорошо, убедили, делать, действительно, нечего. Придется доставить Ломова.

Ушастый вздохнул с облегчением:

— Ну, наконец-то! Только не надо так резко подскакивать, шеф, тебе придется отдохнуть от путешествий.

Семен обернулся удивленно:

— Вы, кажется, забываетесь, милейший, лавры Лысого спать не дают?

— Брось, Сёма, я сейчас не шучу, тебе второй раз светиться на такой заметной трассе нельзя, можем изначально засыпать Ломова и тогда вообще все впустую.

— Чепуха, сам же только что убедительнейше рассказал, что нынче всем не до того.

— Оно, конечно, но и уверенным быть... что-то я все же чую за Председателем, уж слишком явным его кураж кажется.

---

— «Чую», «кажется»! Железные аргументы! — Варфоломеев говорил раздраженно, но вид его был скорее задумчивый. — А предположим, даже и аргументы. А ты видишь еще какой-то способ связаться с Ломовым? Разве только вас с Михаилом Юрьевичем вместе командировать.

Ушастый моментально изобразил классический пример той самой улыбки, которой следует отвечать на поощрительную шутку высокого начальства, и, не прерывая ее, вкрадчиво поинтересовался:

— А если Сашу Волкова попросить?

Семен тут же сел:

— Как, разве он уже здесь, что же ты раньше молчал?

— Да я сам только что об этом узнал.

— Что значит только что?!

— Так прямо сейчас.

— Ты что, издеваешься, откуда?

— Сёма, раскрой глаза: он уже с минуту на тебя скалится.

Варфоломеев поднял голову и обнаружил на противоположной скамейке и в самом деле Сашу Волкова, с приветливой безмятежностью улыбающегося всей честной компании. Семен вздохнул радостно и облегченно. Все встали.

Всего несколько слов для справки. Уж Саша тут точно и без всяких сомнений работает чистым Рахметовым. И я бы очередной раз пошел бы на измену собственным принципам, и, хоть Ломова тогда дейст-

---

вительно привез Волков, я бы обошел как-нибудь этот момент, чтобы не морочить читателю голову знакомством с новым лицом, никакого более участия в описываемых событиях не принимавшим и далее упоминаемым всего раз и то мельком. Но дело в том, что единственным из действующих лиц Хроники, с которым меня до сих пор связывают близкие профессиональные отношения, является как раз Саша. Так что я вынужден, дабы постоянно не ловить на себе укоризненные взгляды, не только назвать, но и отдельно отметить, с просьбой к читателю обратить особое внимание: Волков — глава международной террористической организации по борьбе с насилием и развратом. В тот момент Саша был занят важнейшей и опаснейшей работой, связанной с разоблачением и уничтожением подпольной организации юристов-куроводов в Тургайской области. Поэтому Варфоломеев так и удивился Сашиному появлению у Лермонтова. Но то оказалась короткая передышка, и, исполнив просьбу друзей, Волков вернулся в Тургайские степи, чтобы продолжать свое благородное дело. Судя по поступающим ко мне сведениям, там все еще далеко от завершения. Более того, мы вынуждены постоянно расширять поле деятельности. Потому читателю пока придется ограничиться полученной информацией. Однако сразу могу успокоить: результаты, в конце концов, наверняка будут успешными, как и все, за что берется Саша, и тогда я их сразу же смогу обнародовать. Остается только подождать.

---

---

Короче, уже через несколько минут после самых теплых приветствий между высокими сторонами было достигнуто полное взаимопонимание, и Саша, обещав ближайшим же рейсом вылететь, отправился в Домодедово, алкаши вдруг стали на глазах хмелеть и поспешно ретировались в сторону тенистых зарослей, а Варфоломеев по своей дурной привычке рванул пешком по Садовому.

## 15

Минут через тридцать, расположившись в люксовском номере «Белграда» под видом капитана югославской сборной по баскетболу, Семен говорил что-то в телефонную трубку женским голосом с иностранным акцентом. Потом он еще несколько раз куда-то спускался, с кем-то перешептывался, уединялся в ванной, долго выбирал сорочку из неожиданно оказавшейся в гостиничном шкафу богатейшей коллекции, и в результате всех этих неторопливых, но целенаправленных действий около семи часов вечера на ступеньках перед входом в полузакрытое заведение оказался хоть и великоватый по размеру, но крайне привлекательный и ухоженный мужчина с тремя розами в тонком целлофане, явно ожидающий даму. И, судя по тому, что простоял он недолго, дама почти не опоздала, хотя, может, была она и не дамой, по возрасту вполне сошла бы и за девушку, но кто их,

---

нынешних, разберет. Сёма, сверкнув глазами, подлетел эдаким воплощением и олицетворением лучших качеств и настроений, от радостной предупредительности до вежливейшего восхищения:

— Прошу прощения, не вы ли случайно Наталия Томилина? Да я, собственно, и не сомневался, моя сестра мне вас подробнейше описала, только не предупредила, что вы хороши настолько! Она, к сожалению, немного задерживается, знаете, какой-то официальный обед в торговом представительстве... Послала меня с извинениями, просила занять вас до ее прихода, это недолго, если не возражаете, поднимемся тут на второй этаж, чтобы не топтаться у дверей...

Наташа посмотрела на Варфоломеева с некоторым подозрением, однако не слишком большим:

— Сестра?.. Что-то Ингрид никогда не сообщала мне о наличии у нее таких крупных братьев. Впрочем, вы мало похожи на злодея. Так, где предполагаете убить время, только чтобы не топтаться?

Некоторый сарказм последней Наташиной фразы был в какой-то степени подтвержден видом столика, за который Семен, нежнейше касаясь двумя пальцами локотка, препроводил свою спутницу. Накрытый на три персоны, он слабо соответствовал задаче мимоходного и краткого убиения времени, а скорее всячески взывал к таковому убиению основательно и надолго. Однако улыбка, мелькнувшая на устах Наталии при виде яств и напитков, если и

---

засвидетельствовала некоторый скепсис, то замешанный на вполне отменном аппетите. После первых нескольких минут, заполненных непринужденным, но предельно корректным Семиным трепом и позвякиванием посуды, пришла пора поднять бокалы, и Варфоломеев уже пропел нечто соответствующее и плотоядно задавил в могучем кулаке молящую о пощаде рюмку коньяка, и краем глаза зафиксировал ломтик сентиментального швейцарского, и ждал только мига, когда дама прикоснется губами к краю бокала с «Аджалеш», и миг этот уже почти настал, как вдруг названная дама произнесла очень четко, так, что на поверхности вина каждое слово оказалось отмеченным мелкой рябью:

— Хватит валять дурака. Кто вы такой и что вам от меня надо?

Семен со скромным нахальством потупил взгляд, собираясь изложить что-нибудь изысканно куртуазное, затем поднял его, внимательно посмотрел в глаза сидящего перед ним существа, тяжело вздохнул и с крайне плохо скрываемым сожалением поставил рюмку на стол.

— Ладно, будь по-вашему. Хотя и зря. Конечно, ничей я не брат, Ингрид сейчас вообще нет в Союзе, это я вам звонил днем, небольшой электронный фокус, хотелось совместить приятное с полезным, чтобы не беседовать в метро, а просто так приглашение на ужин с незнакомым человеком вы приняли бы вряд ли. Сразу уйдете или сначала повозмущаетесь?

---

— Обязательно повозмущаюсь. — Наташа, однако, бокал свой не ставила, а продолжала держать у губ, даже еще чуть ближе к губам поднесла. — Непременно, но у меня начинают возникать подозрения, что вы потратили столь большие усилия не для того или, по крайней мере, не только для того, чтобы выписать себе девочку на вечер. Так что сначала хотелось бы вас выслушать. Ну, хоть начать слушать.

Варфоломеев последний раз мельком с глубочайшей тоской коснулся взглядом осиротевшей рюмки и окончательно посерьезнел.

— Насчет усилий и девочки — это вы верно. Хорошо. Тогда позволю себе обойтись без пространных предисловий. Речь идет не о моей мифической сестре, а о вполне реальной вашей. Надеюсь, вы в курсе в последнее время появившихся у Татьяны планов?

В глазах Наташи впервые за вечер появилось нечто вроде заинтересованности:

— Постоите, так это вы тот самый загадочный иногородний жених из легенд? Вот бы никогда не подумала, ну, совсем не в сестрином вкусе.

Семен даже покривился:

— Перестаньте, какой я вам жених. Да и в том, как раз дело, что никакого жениха в природе не существует. Все гораздо сложнее, а начистоту, так попросту гораздо хуже. И тут требуется ваша помощь.

— Да кому требуется-то, Татьяна меня ни о чем не просила, вам, что ли? Кто вы такой, в конце концов?

---

— А вот это вы, девушка, плюньте. — Казалось, Семен вместе с веселостью потихоньку начал утрачивать и заботу об исключительной вежливости. — Это вам совсем ни к чему, и голову себе не забивайте. Про меня вам ничего не надо, лишнее, к делу не относится, у меня свои цели, и совсем случайно получилось, что линии пересеклись, и вы краем оказались причастны. Вы слушайте, что для вас важно, я все, что надо, скажу. Татьяна попала в нехорошую историю. В очень паршивую. То есть она как раз считает, что совсем наоборот и что ей чрезвычайно повезло, но это величайшая ошибка. И разубедить ее сразу не удастся. То есть это, скорее всего, и потом никому не удастся, она только сама может понять. И на это одна надежда. Но ей ничего не должно мешать. А сейчас она как в угаре. При своей энергичности успеет очень быстро наделать трудно исправимых глупостей. Разных. С работой там, со знакомыми, с картинами. Так вот и с квартирой. Останется на пустом месте, а потом и захочет все переиграть, да не так окажется просто, и как бы эти сложности толчком не стали, вроде бы чепуха, но если равновесие, тем более неустойчивое... Вы бы вот что, повременили со всеми этими родственными обманами, она сестра все же ваша, не стоит пользоваться случаем, не тот это случай.

— Так-так, — протянула, прищурившись, Наташа, — любопытненькая история... Излагаете вы, правда, необычайно темновато, но, кажется, что-то до меня начало доходить... Нет, значит, никакого

---

жениха? И на что-то еще, выходит, Татьяна должна решиться и все пока не окончательно? А вам лучше, чтоб не решилась?

— Да я при чем? — отмахнулся Варфоломеев, — я тут десятое дело, сестре вашей лучше, а не мне.

— Ну, это тонкости, пусть сестре, лучше, одним словом. А если она пока успеет квартиру свою мне отдать, то без квартиры ей не решиться будет труднее, ведь тогда на улице окажется, не к мамочке же возвращаться, правильно?

— Правильно, — подтвердил Семен, хотя его заметно покорибила столь прямая постановка вопроса. Наталия, впрочем, реакцию собеседника полностью проигнорировала и продолжала еще более заинтересованно:

— Значит, и обратная, как я понимаю, зависимость тоже существует? То есть, если я потяну с обменом, сестренка вполне может образумиться и дать задний ход?

— Да не так это все впрямую. — Семен уже попросту начал расстраиваться. — И не в одной квартире дело, и даже далеко совсем не в ней, но как один из аргументов, той самой лишней каплей, может и сработать, слишком там пока все неопределенно.

— Понятно, понятно, — перебила Наталия, — вы не думайте, я не по дурости упрощаю, а для конкретности, чтоб неясностей избежать. Ведь вы меня в суть той самой дурной Татьяниной истории не посвятите?

---

— Ни в коем случае.

— И ее мне спрашивать бесполезно?

— Только хуже будет.

— И какое вам до всего этого дело, мне тоже не узнать?

— Тоже!

— Ну, тогда считайте, что при имеющихся у меня сведениях я все достаточно нормально усвоила и изложила, и, получается, миссию вы свою исполнили полностью и с блеском. Или желаете добавить еще какие-нибудь подробности?

— Не желаю, — с полной уверенностью ответил Семен тоном, не слишком далеким от самой вульгарной обиды. И тут Наталия вдруг широчайше улыбнулась такой открытой и непосредственной улыбкой, о наличии которой еще мгновение назад никто и не смог бы предположить в ее арсенале:

— А хоть Семеном-то вас на самом деле зовут?

— На самом.

— Тогда скажите, Семен, за столик вам все равно платить, независимо от того, будем мы ужинать или нет?

— Давно уплачено.

— Так, может, тогда я могу выпить, чего добру пропадать?

Варфоломеев несколько секунд посидел неподвижно, бессмысленно уставясь на рюмку, потом перелил ее содержимое в фужер, добавил минеральной и хмыкнул:

---

— Очень рад вас видеть.

Наташа, соглашаясь, кивнула и преодолела, наконец, те миллиметры, что разделяли все это время ее губы от края бокала. И далее вечер был самым обычным, с беседой, неожиданно быстро ставшей совершенно естественной и дружеской, с неутомительными танцами, ликером под кофе и слегка поникшими от табачного дыма розами, оставленными на столе. Не стану врать, не знаю, поднималась ли перед уходом Наталия в номер к Варфоломееву, чтобы поправить прическу, в точности мне известно только то, что, когда во втором часу ночи Семен открывал дверцу такси, прическа эта была в полном порядке. И заснул Варфоломеев, как ему показалось, с чувством исполненного долга. До конца смены Кузнецова оставалось всего несколько часов.

## 16

Против обыкновения, Андрей Петрович на сей раз после смены не стал баловать себя всяческими приятными мелочами от ванны с шампунями и ароматическими солями до свежей газеты в кресле под сестер Бэри и ледяной апельсиновый сок, как поступал всегда, если не предвиделось срочных дел, и даже не поспешил под душ, предварительно приготовив все для заварки кофе, что практиковал иногда, если срочные дела, наоборот, намечались. Нехотя, с заметным

---

усилием снял влажный плащ и набухшие сапоги, как-то неловко помыкался в коридоре с полминуты, туповато разглядывая вешалку и соображая, куда податься, двинулся было на кухню, но дальше раковины не прошел, открыл воду, поймал ртом струю, сделал несколько глотков, заломило зубы, внизу живота появилась неприятная тяжесть. Поплелся в комнату, сел на край дивана, стал подоконник разглядывать. Через некоторое время заломило плечо, так уже бывало, когда долго в одной позе, а нынешняя смена выдалась утомительная, тоже пришлось много сидеть. Хотел прилечь, даже подушку перекинул от спинки в изголовье, но так и не сдвинулся. Обычно холод переносил лучше других, а тут и холода нет, комната теплая, но появился какой-то озноб, начали замерзать кончики пальцев. Плечо совсем онемело. Но очень не хотелось хоть что-нибудь менять. Вот еще несколько минут, и встану. Вот еще полчаса, и встану, и пойду. Вот еще час. Вот еще один только час. Обязательно надо по делам. Нельзя попусту терять столько времени. Но уже все яснее становилось в темнеющей и холодеющей комнате, расплзающейся, размывающейся и исчезающей бесследно, что, конечно же, не обязательно и, конечно же, не надо, и терять-то совсем уже нечего. К вечеру, уже в полной темноте, Андрей Петрович поднялся, преодолевая сильную боль, не зажигая света, оделся и вышел на улицу. Там ему показалось даже теплее, чуть ли не уютней, но он сейчас не заострял внимания на собственных

---

ощущениях. Быстро добрался до театра, прошел со служебного входа, даже не кивнув вахтеру, который знал Кузнецова, но почему-то недолюбливал и обычно всячески старался придрататься, а тут только кивнул вежливейше, только что под козырек не взял. Васю долго искать не пришлось, он околавался за сценой и не пытался изобразить занятости. Кузнецов взял его за руку и повел, не отпуская, как ребенка, и тот не удивлялся, не спрашивал ничего, шаркал равнодушно своими огромными растоптанными башмаками по лужам и лишь изредка шморгал носом, с подкупающей откровенностью проводя по нему рукавом куртки. Придя домой, Андрей Петрович сел к столу и стал курить, а Вася расположился на табуретке ближе к окну и батарее, пытаясь время от времени засунуть под нее ноги, однако безуспешно. Да и не топили в тот вечер. Комната продолжала остывать, хотя порой казалось, что далее некуда, и вскоре в ней стало до дрожи дымно и мерзко, как в аэропортовском сортире Якутска лет пятнадцать назад, где головная боль начиналась раньше, чем успевал расстегнуть ширинку. Так они и сидели, и беседовали, пока Вася неожиданно не заснул, припав щекой к подоконнику и задышав ровно и глубоко, словно навеки излечился от всяческих простуд, а говорили они примерно вот о чем.

— Давай, что ты там прошлый раз про дураков и стенку, только постарайся помедленней, я тогда не понял ничего.

---

Это Кузнецов не зря попросил, обычно Вася говорил слишком быстро и не очень внятно, но сегодня как раз речь его была даже слегка замедленной, казалось, он сам внимательно прислушивается к тому, что произносит, и часто удивляется непонятно откуда возникшим не очень знакомым словам и интонациям, и даже не всегда все понимает, но при этом понять всячески старается.

— Тут, Кузнецов, все просто. Я не придумал, я не умею, я увидел. Сначала хотел, чтобы ты объяснил, но тогда надо вопрос задать, а я еще не мог. Может, и сейчас тоже, но я скажу, и если ты скажешь, что все равно непонятно, то все равно, другого нет никого. Раньше как было? Думаешь, я не видел, что отличаюсь? И отлично видел, только наплевать. Все разные. Подумаешь! Вон у нас во дворе Витька-калека, да ты его помнишь, и хуже еще бывают. Разные... А я, мало ли что, я себя кормлю, у меня работа есть, и знакомые, и друг вот настоящий, потом еще Томила, это много. А я знаю умных всяких, и им хуже. И когда с Варей началось, я думал, так и надо. При том, что мне ведь сказали, я не только сам, и все объяснили в подробностях, так получалось, что и надо, и лучше ведь не только мне. Когда она первый раз отнекивалась, я же почувствовал, что отнекивается, хоть и говорила про подождать и подумать, и я тогда Татьяну просил, и она пошла говорить, так я посчитал, что причина обычная, ну, что мне рассказывали, дети там, жилье, плата заработная. Странно, я всегда чувство-

---

вал, когда нельзя, а тут не почувствовал. И даже не сразу почувствовал, когда она мне напрямик сказала, решил, еще, может, кого попрошу, чтобы сказали, как я не умею, может, у Татьяны не получилось, может, тут мужик нужен или постарше кто. А потом только почувствовал. Вдруг как-то получилось. Вот тут я ту стену и увидел. И понял, чего хотел в самом деле. Ведь хотел же перелезть, ведь вот какое, оказывается, было желание, на чужие плечи встать и перелезть. А мне место показали. И не мне даже, а что просто нельзя. Нельзя дуракам. А ведь прежде «дурак» такое простое было? Ну и что? Мне по-разному говорили, и вежливо так, что голова у тебя слабая, и про давление внутри черепа, и про витамины, ну и дурак, так кто дурака не хватал, проще, чем плюнуть, Тут же получилось, что по эту сторону один я остался, с той же не вижу даже, кто еще близко стоит, а кто разбежался давно. Вот и непонятно теперь, зачем вообще оставаться, кто это только придумал, я ведь с самого начала жить не навязывался, меня не спрашивали, я маленький был. Или бы сразу, чтоб для ясности, вот твоя клетка, а вот твоя, и кто желает, то пожалуйста, но без обещаний и добровольно. Но это я, конечно, много захотел. А все равно нечестно, как, знаешь, глаза развязать, а ноги нет, и приманку перед носом, но чтоб не дотянуться. Плохо сказал, да, опять не смог спросить как надо?

— Все ты смог, сиди спокойно, не ломай батарею, а что тебе сама Варя-то сказала?

---

— Да ничего не сказала, буркнула поверх головы, что не надо больше ходить, и при чем тут Варя, не в ней вовсе дело, я же и говорю, что не так спросил, вот и ты не про то.

— Про то я, про то, и Варя тут при чем. И все при чем. Тоже, великое открытие сделал! У нее, может, стена повыше твоей. Ну, хорошо, я попытаюсь сказать. Только ты вот что учти. Ты ведь сказал, что я тебе друг, ты ведь ко мне как к другу пришел? Тогда так и договоримся, что я не учитель тебе, не книжка с ответами и так же за стеной сижу со связанными ногами, а ответить на что-то попытаюсь не потому, что сильно умнее или глаза шире открыты, я про это сильно и шире еще потом скажу, а потому, что раньше, видать, напоролся и дольше про это думал. Вот ты Витьку-калеку со двора вспомнил. Я его хорошо знал, он дрянной человек, он всегда всю дрянь свою на несчастье списывал и культы как ордена выставлял, а если б не это, он бы еще хуже был, так хоть вреда меньше. Но он в чем прав? Он всю жизнь культями этими народ дурил, хитрил и прикидывался, а на самом деле, когда в пьяной истерике рубашку на груди рвал и слезу с рублем пытался вышибить, все равно краем глаза трезвейше следил, как оно и не стоит ли где прибавить. Потому что в действительности считал всех в тот момент хуже себя разбирающимися в ситуации, пусть они и здоровые, и богатые, и холерные, и образованные, но тут его игра, и им задумана, и для него поставлена, и никто другой в ней главную

---

роль все равно не получит. Вот он, между прочим, никогда и никакой стены не чувствовал, и тем не просто молодец, а прав тысячу раз. И нельзя измерить, во сколько раз он лучше других. Как и любой.

— Да, — чуть не обиженно протянул Вася, — а сам же говорил, что дрянной, а если еще и хуже, если злодей какой, тоже лучше?

— Ну, это он для тебя злодей, для себя он злодеем быть не может, все равно найдет способ себя оправдать. И к тому, что ты говорил насчет дураков и слабой головы. Это тоже только со стороны все эти сравнения — слабый-сильный, больше-меньше, — а изнутри нет и быть не должно. Всякий для себя самый умный и самый лучший. И только так. Вот говорят, что дурак, осознавший свою глупость, уже не дурак. Чепуха. Он дурак вдвойне. Потому что позволил оскорбить себя себе самому. Это нельзя. Это ты основу оскорбляешь, самую-самую!

— Подожди, Кузнецов, послушай, а разве не про таких говорят, что эгоист?

— Да ведь назвать что угодно как угодно можно, только я в одно верю: что тот, кто не поймет, что он единственный и неповторимый, а потому самый ценный, никогда себя не сможет уважать по-настоящему, за всякие там заслуги, за прекрасные душевные качества, нет, не сможет, а значит, и про других никогда до конца не поймет, и их никогда уважать не станет. Ты вот слышал про кого-нибудь, что он, мол, жизни не пожалеет за свои убеждения? Тут-то как раз вра-

---

ные и начинается, когда на одну доску ставят жизнь и убеждения, но вроде — пожалуйста, имеет право, его ведь жизнь. Но кончается почему-то обычно тем, что по первости стараются в основном за свои убеждения чужих жизней не жалеть. И тут не оттого, что сразу так задумал, а просто путь коротенький, раз себя уже хоть в теории, хоть на момент, а посчитал за ничто, за разменную монету, которой можно расплачиваться, потому что их много, ведь и с гордостью при этом: «нас много!», то уже остальных прочих за подобную монету посчитать совсем ничего не стоит. Полюби ближнего, полюби ближнего... Бога полюбить смогли по-настоящему, только по собственному подобию исполнив, а в ближнем чье отражение? Абстракцию не полюбишь.

— Я тут, Кузнецов, совсем уже перестал понимать.

— Чепуха, все ты прекрасно понимаешь. Бывало, например, что тебе кто-нибудь, ну, мать, говорит, что желает добра, и делает что-то, или велит сделать, а ты видишь, что никакое это не добро, что она ошибается, хоть и считает, что знает, как тебе лучше?

— Редко, ведь моя мама, ты же ее знаешь... Но, кажется, я понимаю, о чем ты говоришь.

— Ладно, пусть не тебе, пусть ты как будто делаешь кому-то хорошее, а человеку оказывается плохо, и на тебя же в обиде, хоть ты из лучших побуждений?

— Ну, такого сколько угодно. Да вот и с Татьяной и ее лысым.

---

— Подожди, я договорю. Тут объяснение простое и одинаковое с тем, про что я раньше, пусть вещи и противоположные. Каждый отлично знает, что нужно для него самого и как ему будет лучше. Ну, пусть не отлично, но много определенной, чем про другого. А применять это знание пытается как раз на других, то есть все занимаются не своим делом, как в гостях иногда хозяин, вроде из лучших побуждений, чтоб тебе удобней было, заставляет сменить собственные удобные туфли на его тапки меньшего размера, и ты ходишь, мучаешься, да еще должен с благодарностью улыбаться, стараясь не обидеть. А с любовью наоборот, да главное с уважением, потому от него все, без него совсем другая игра, так вот тут забываемся. Пытаемся только другого любить. И получается одна дрянь.

— Зачем же дрянь, как ты можешь, ведь это хорошо, когда другого любишь.

— Конечно, хорошо, про это я и говорю, просто замечательно, и лучше ничего не бывает. Но человек, сам никогда не испытывавший голода, не может по-настоящему чувствовать потребность накормить другого голодающего. А боль? Если ты сам ее не испытал, все твои вздохи по поводу чужой все равно окажутся сторонними. И любовь человека, не любящего себя, — одна неправда, игра, выдумка, головное дело.

— Хорошо, хорошо, ты, наверное, все очень правильно говоришь, и я, может, не все слова знаю,

---

ну, не по одному, а в смысле, когда они у тебя вместе, да пускай, раз ты говоришь, значит, верно, только мне-то сейчас что делать? Что мне, к ней теперь идти и рассказывать, как я себя полюбил и уважать научился, и она сразу замуж согласится? Ну, ты же настолько умнее меня, научи, пожалуйста!

— И ничего ты, Васечка, не понял, ни вместе, ни по одному. Сначала полюби и уважай, а еще раньше заучи, раз понять не хочешь, что ничем я не умнее тебя и никто для тебя не умнее тебя, для себя самого ты самый умный, и только ты. А когда это будет, когда затвердишь наизусть, тогда ни к кому тебе ходить станет не нужно и никому ничего рассказывать не потребуется. И тогда нет никакой стены, пойми же ты, наконец, ее вовсе нету.

— Ну, пусть нету, ты ведь знаешь, значит, нету, я теперь такой умный, как и ты, только мне пока не очень здорово, ну ладно, я тут еще новенький, а ты-то сам, ты давно умеешь? И тебе уже совсем ни к кому ходить и ничего рассказывать не надо?

— А вот это ты, Васенька, уже хитришь. Подловить меня хочешь. Только зря, я ведь тут перед тобой не безупречного учителя изображал, а сразу сказал, что на свою стенку не хуже тебя карабкаюсь, на ту самую, несуществующую. И хожу, и рассказываю, только что вот так походил, как не дай тебе бог. И, может, еще глупостей понаделаю столько, сколько тебе и не привидится. И все же я никогда не скажу, что это нечестно по отношению ко мне, и не задам

---

твоего вопроса — зачем вообще оставаться. За свою дурь сам расплачусь, а вселенской истерики по этому поводу устраивать не собираюсь, что до того, что я сам идеала достигнуть не могу пока, да если и никогда, я знаю, что он есть, и у меня точка отсчета имеется, это как с теми же идеалами христианскими, про это не так уж и глупо, как кажется, в «Крейцеровой сонате» написано, ну, тут еще сегодня тебе сложновато, рискни просто поверить.

— Что сложно, не большая беда, мне тебе на слово поверить — сильно лучше, но ты все «я» да «я», а мне и так ясно, что ты-то разберешься, как следует, и сам разберешься, ни у кого помощи просить не станешь, но ведь ты хочешь, я так понял, чтобы и я сам, а иначе смысла нет, ведь правильно? А тут даже если все выучить наизусть, как ты говоришь, ничего не получится, если сил не хватит. А как стать сильным, если с самого начала слабый? Вот недавно мама по телеку кино разрешила посмотреть, «Тихая застава», про пограничников, очень верное кино. Там один солдат спрашивает командира: а как мне сильным стать? И тот ему объясняет, что нужно меньше копать в себе и вообще обращать на себя внимания, а больше про других думать. И я тебе скажу, что точь-в-точь как про меня, я совсем так же — как начну про себя разбираться, сразу сил никаких не остается, а по твоим словам получается, только из этого силы и можно брать. Так что же, выходит, у нас с тобой совсем по-разному, и мне по-твоему нельзя?

---

— А это, Вася, потому, что мне мама никогда не разрешала смотреть такие фильмы про пограничников.

— Это ты шутишь сейчас?

— Да. Извини. Но все равно, командир тот наврал. Шут с ним. А вот ты просто не то за слабость принимаешь. Обычная непривычка, вот и все. На каютки ходил когда?

— Ты ж знаешь, меня с вами не отпускали.

— Ну, так давай этой зимой вместе ходить начнем, я тебя научу, но ты и так для примера поймешь. Когда первый раз за сезон на новый лед после большого перерыва выходишь, потом, уже дома, сваливаешься, и кажется, что совсем без сил. А на самом деле это ты их набираешься, и другого способа нет.

— Да, тебе хорошо говорить, это для здоровых, а вот мне даже и врачи не разрешали уставать, мне опасно, мне потом лучше может не стать, а совсем плохо.

— Ну что ж, совершенно безопасного способа приготовления по-настоящему вкусных котлет, видимо, не существует вовсе.

— Ты опять пошутил, Кузнецов? Ты предупреди, а то я сегодня сразу после работы...

Приблизительно так они и беседовали, только в реальности еще гораздо путаней, нуднее и дольше, а когда Вася заснул у подоконника, о чем упомянуто, Кузнецов перенес его на диван, раздевать не стал, сунул только подушку под голову, кинул в ноги плед и

---

позвонил Васиным родителям, чтоб не волновались. У самого же Андрея Петровича были еще дела в городе, и он, оставив подробную, написанную огромными печатными буквами инструкцию для дальнейшего поведения утомленному другу, вышел на улицу.

## 17

Если вы помните, от Кузнецова до дома, где жил Сазонов (а именно к нему и даже без предварительного звонка направился Андрей Петрович, у них было заранее договорено), добираться пешком совсем недолго, надо только дойти до Трубной, подняться немного вверх, а там через двор в сторону Сретенки. Кузнецов двигался не спеша, как будто гуляючи, что смотрелось бы смешно на темной промозглой улице, коль было бы кому смотреть, а тем более смеяться. Андрей Петрович последнее время что-то слишком часто стал ловить себя на подобной странности: он то ли осторожничал, то ли приберегал силы, то ли нарочно делал все так далеко от предела возможностей, чтобы ни в коем случае даже приблизительно не выяснить этот предел. Но в основном очень уж глуповато, по мелочам — непривычно медленно читал и помалу, вдруг неожиданно откладывая в сторону книгу без всяких видимых причин и отдыхал, совершенно не будучи уставшим. Посуду мыл частями, с большими перерывами, кастрюли со сковородками и вовсе по од-

---

ной, предварительно долго отмачивая, чтобы как можно меньше скрести. В прачечную недавно отнес всего две простыни и пододеяльник, хоть грязного белья скопилось уже прилично. Все превращалось в какой-то затяжной нуднейший ритуал и пока не выбивало из жизненного ритма только потому, что, инстинктивно опасаясь до конца осознать происходящее, а от этого оказалось бы никуда не деться, нарушьясь ритм чересчур наглядно, Кузнецов еще умудрялся вписываться в обыденные рамки, как бы в рассеянности подтасовывая колоду и выбрасывая из нее будто ненужные шестерки и экономя на пустых (на веру принималось, что они пустые) ходах. Вот и сегодня он вышел из дома слишком рано, и совсем явно рано, так как уж к Сазонову-то не следует приходить раньше договоренного, как и позже, к нему только вовремя надо, но естественность оказалась приданной исключительно убедительно Васиным неожиданным сном, и нежелание ему мешать даже не пришлось изображать. Прогулка, пусть самая недолгая и не в очень подходящих условиях, если это именно прогулка, а не автоматическое целенаправленное передвижение из одного пункта в другой, предполагает некое, определенное обстоятельством настроение и рождает хотя бы подобие мыслей, такому настроению соответствующих. Вот и Андрей Петрович, только миновав магазин «Ноты» с Сандуновскими банями в глубине и переходя дорогу к овощной палатке и крохотному продмагу за ней, уже передался элегическим воспоминаниям о Саше Чалки-

---

не, чья мятущаяся душа разрывалась некогда между нервной азартной прибыльностью винного отдела и расслабляющей вальяжной обеспеченностью помывочного отделения, тревожащей, однако, некоторым налетом холуйства. Проработав несколько месяцев в магазине, Саша заходил к Кузнецову слегка возбужденный, похудевший, оглядывался быстро и зорко, в движениях его сквозили изящество и ловкость, в речи, однако, появлялся оттенок усталости, почти не наигранной:

— Знаешь, это все-таки никакими бабками не окупается, ну, купил я своей еще одну побрякушку, что она, оттого слаще стала? Надоело каждый день ждать посадки. И контингент... К вечеру начинаешь выражаться одними междометиями, пора перебраться на другой угол.

И он мгновенно перебирался, связи у Чалкина в микрорайоне от «Узбечки» до «Охотника» были безотказными. Но обычно не более чем через полгода его мировоззрение претерпевало заметные изменения, Саша мягко вплывал к Андрею Петровичу, уютно расплывался в кресле и затягивал, томно поводя очами:

— Конечно, клиент идет недурственный, грех жаловаться. И общество изысканное, все банщики интеллигентнейшие люди, многие со степенями, но, знаешь ли, угнетает несколько ложное положение, в конце концов, как ни крути, совершенного равенства между тем, кто трет чужую спину, и тем, кто подстав-

---

ляет свою, сложно добиться даже при полной социальной интеграции. И как-то расслабляет все, совсем мышей ловить разучиваешься. Да и финансовый вопрос... Нет, понятно, кое-что капает, но не сравнить, не сравнить... недаром при всех сухих законах бутлегерство считалось самым достойным занятием для мужчины. Тянет, тянет к живому делу, да и острые ощущения приносят порой некоторое удовольствие... Пора, пора перебраться на другой угол.

И уже через несколько дней резкая фигура Чалкина царила в привычном орущем винном мирке. И как приятно бывало порой махнуть властелину из-за голов остервеневшей толпы в самый торговый пик около семи и получить не просто бутылку без очереди, нет, Саша никогда не позволял себе поступить с приятелем так же, как с каким-нибудь районным начальством невысокого ранга или шофером начальства рангом повыше, он мгновенно оставлял стойку и, отойдя в угол, к горе ящиков, дарил крепкое рукопожатие, обязательно, хоть минуту, но без намека на суету и спешку интересовался делами, обменивался новостями, передавал приветы общим знакомым и лишь затем, совершенно мимоходом, как не имеющее к визиту никакого прямого отношения, ставил на стойку что-нибудь эдакое, чего и в накладных наверняка никогда не бывало, и столь же безразлично смахивал куда-то протянутые деньги, не прерывая фразы. И все это время в его мирке никто даже пикнуть не смел, лишь кроткие взгляды порой достига-

---

ли беседовавших, и приятель Чалкина плюс ко всему получал еще и полностью свою порцию тлеющего в них уважения. Когда-то Саша учился во втором медицинском, куда поступил без видимого блата, затем жена, ребенок, смерть отца, к концу второго курса стал подрабатывать мойщиком на первой автостанции, она тогда находилась недалеко от института, на Комсомольском, вторая беременность жены, осложнения после воспаления легких в стройотряде, академический отпуск, постоянное место на мойке, кое-какие приключения, развод, вторая жена... ну, и так далее. Они познакомились давно, только Кузнецов перебрался в центр, и один из его приятелей узнал, куда именно, выяснилось, что буквально в двух шагах определяет алкогольную политику региона школьный еще товарищ этого приятеля и сие может оказаться небезынтересно. Кузнецов с такой мыслью согласился и вскоре был представлен. Получилось нечто вроде если не дружбы, то довольно хорошего приятельства. И расплачиваться Андрею Петровичу приходилось всего лишь не такими и частыми вечерами, когда Саше приходило настроение поведать хорошему человеку о превратностях быстротекущей жизни. Нет, он ничуть не раздражал, держался удивительно ненавязчиво и был даже любопытен Кузнецову своим неистребимым жизнелюбием, неутомимостью и простодушной азартностью. Так что крайне трудно было назвать расплатой общение с Сашей, а вот настал же такой момент, когда выговорились все самые трудные на-

---

звания. Но о том периоде, когда у Андрея Петровича окончательно испортился характер, я уже упоминал. И с этих пор прошло немало времени. Собственно, именно об этом, что прошло немало времени, и размышлял, коли можно назвать столь солидным словом мелькание в голове Андрея Петровича чего-то не очень связного и четкого, именно об этом, а вовсе не о Саше Чалкине, который только на миг возник в памяти и сразу же пропал без заметного следа, размышлял Кузнецов, проходя мимо крохотного продмага с предсмертно мерцающими витринами. Как всё «будто недавно» моментально вдруг оказывается «слишком давно». И становятся музейными мелочи, еще вчера жалким мусором прятавшиеся в глубине кармана. Ах, какая тоска, господа, какая же беспросветная тоска. (Тут не от стилизации, но ведь и мысленно не произнесешь: «Ах, какая тоска, товарищи!») Вот и на самой Трубной. Сюда-то точно «Аннушка» доезжала, но не поворачивала ли она еще и к рынку? То есть, когда последний раз снимали рельсы, они закруглялись на самой площади, это несомненно, но не было ли до того еще одного сокращения путей? Вот уже нужно кого-то спрашивать или где-то смотреть, а ведь тогда наверняка казалось, что забыть подобное невозможно. А странное приземистое строение в начале бульвара перед самым подъемом? Не тут ли располагался знаменитый общественный туалет, где можно было помимо прочего колониального товара всегда приобрести всего за рубль добрую порцию

---

плана, щедро разбавленного жженым и перетертым березовым веником? Или уже путаница с тем, другим, нынче вечно закрытым в самый неподходящий момент, что на углу Неглинки и Кузнецкого? Ну, это ладно, ладно, трамваи, сортиры, здесь же рядом, в сотне метров, только повернуть направо перед китайской стеной, жила девушка, первый роман, нет, не первая любовь, а первый серьезный роман, хотя скорее его попытка только, ничем не закончившаяся, но со всей предварительной атрибутикой по полной программе. У нее была своя отдельная комната в коммунальной квартире, что по тем временам считалось большой удачей, и, помнится, приехала сестра из Ленинграда, чуть старше и значительно красивее, с мужем, почти стариком, лет тридцати, холемым пижоном, однако предельно вежливым. Тогда пошли первые реальные деньги, и Кузнецов явился с ящиком коньяка и розами на столик, вечер явно удался, но потом выяснилось, что оставленный на такси червонец (жил еще с родителями, далековато, а метро уже закрыто) оказался трешкой, могло не хватить, и пришлось занимать пятерку у пижона, но он мило смеялся: какие, мол, тут займы, прилично ли в нашем обществе заострять внимание на подобных мелочах, и вправду смешно смотрелась эта пятерка на фоне батареи недопитого коньяка, и так и не была отдана, забылась естественнейшим образом, то есть вот, оказывается, она-то как раз и не забылась, а имя, имя той самой девушки с довольно сереньким личи-

---

ком и великолепными длинными стройными ногами в капроновых чулках со швом, такое совсем просто имя — но хоть расстреляйте... Шаг убыстрялся непроизвольно, приходилось искусственно сдерживать его, что требовало усилий и, утомляя, вызывало раздражение, а под властью слишком резких чувств, любых, тем более таких, как раздражение, Андрей Петрович никогда не позволял себе являться к Сазонову, возникновение такого правила изначально определило чувство самосохранения, а Кузнецов пока не имел оснований ему не доверяться. Потому пришлось немного заняться собой, а это значило в данный момент совершить насилие, то есть опять же нечто не очень приятное, но за необходимостью сносное. В результате действительность не изменилась ничуть, но в знакомую дверь Кузнецов позвонил минута в минуту и в том состоянии, которое считал для себя приемлемым здесь и сейчас.

## 18

Сазонов открыл сразу же, могло показаться, что он ждал за дверью, впрочем, впоследствии такое предположение уже не казалось слишком нелепым. Виктор выглядел несколько необычно, вместо привычной выцветшей ковбойки и замызганных тренировочных был на нем, хоть и довольно мешковато сидел, вполне приличный темно-коричневый костюм, и

---

даже имелся галстук почти в тон, правда, купленный явно до денежной реформы и не слишком за дорого. Посетителя хозяин тоже повел не самым привычным путем, кухню миновал и головы не повернув, а в гостиной вместо вечной табуретки уселся в павловское кресло, другое такое же жестом предложив Кузнецову. Когда же на низком столике из личных апартаментов герцога Девонширского появилась бутылка пусть самого дешевого, пусть дагестанского, пусть московского разлива, но коньяка, Андрею Петровичу пришлось под видом поправления прически слегка дернуть себя за мочку уха, чтобы восстановить полную уверенность в реальности происходящего. Виктор, однако, совершенно невозмутимо наполнил две рюмки, после чего, подняв одну из них и изобразив на физиономии нечто типа приглашения последовать его примеру, не очень умело, но с видимым удовольствием и быстро выпил. Кузнецов примеру последовал. И только наполнив по второй, Сазонов заговорил:

— Виноват, но надеюсь, что вы извините меня. Быть может, следовало предупредить по телефону о моей неготовности к сегодняшнему вашему визиту, видите ли, из партии, о которой мы договаривались прошлый раз, имею пока только две доски, и работа не очень спешная, так что можно было и подождать. Но у меня сегодня выдался неожиданно свободный и потому на редкость тоскливый вечер, и я подумал, что вы не очень рассердитесь, если потраченное вами время не полностью компенсируется практической

---

пользой от этой траты. Коли я ошибся, прошу прощения еще раз.

Кузнецов, до того внимательнейше разглядывавший отлично знакомую ему инкрустацию столика, резко поднял глаза и спросил, хотя в словах его из всех интонаций менее всего присутствовала именно вопросительная:

— Виктор, давайте без предисловий, вы что, все-таки связались с этой ростовской командой?

Сазонов не ответил. И пить больше не стал, только рюмку поднял и понюхал ее зачем-то, но не так, как, знаете, с коньяком это положено делать, слегка поводя ладонью над поверхностью жидкости и изображая наслаждение искушенности, а по-простому, как хозяйки старый суп проверяют — не протух ли. Потом на место рюмку поставил, вздохнул не очень искренне:

— Послушайте, Кузнецов, а вам никогда не казалось, что ваша несколько нарочитая прямота и так тщательно культивируемая определенность высказываний граничат порой, а то даже и не граничат, совсем непосредственно переходят в... как бы тут поточнее выразиться... Я бы сказал, почти в...

— Да в глупость, Виктор, это вы и хотели сказать, какое уж там почти, в самую обыкновенную глупость. И просить вам у меня прощения не за что, я имею в виду изначальные извинения, уж, в чем в чем, а в навязчивости вас не обвинишь, да и насчет практической пользы полный порядок. Я и сам сразу

---

понял, что нынче вы в странноватом настроении, но, должен признаться, я тоже сейчас довольно далек от идеального спокойствия, поэтому, если желаете хоть какого-то разговора, давайте и еще немного отступим от ритуала. Вы не будете подыскивать формулировок и забудете об особой вежливости, а я постараюсь по возможности, ну уж только по возможности, не слишком огорчать вас своей прямолинейностью.

Сазонов вдруг широчайше улыбнулся, и Андрей Петрович сообразил, что впервые во всей красе видит его зубы, они оказались великолепной формы и удивительно красивого, с жемчужным оттенком цвета.

— Каюсь, Кузнецов, я, видимо, всегда, к сожалению, недооценивал вашей чуткости. Ну что ж, такие открытия приятны, даже если они поздноваты. А вот хочу ли я какого-то разговора?.. Не стану лукавить, вполне возможно, что и хочу. Да только не получится у нас с вами такого разговора, как бы оба ни старались, и не в том дело, чтоб уйти от ритуала, это как раз можно. Но слишком мы разной породы. Нет, не подумайте, я не про такую чепуху, как роковое непонимание или несовместимость, понять, в конце концов, что угодно не так уж трудно, а все же для этого надо сделать усилие, роскошь которого ни вы, ни я по разным причинам себе не позволим. Так что на разговор, в полном смысле слова, конечно же, не претендую, а вот соучастием некоторым, что явно проступает, бесполезно скрывать, соблазнюсь, позволю себе слабость.

---

Кузнецов, на миг усомнившись в себе, еще раз, насколько мог сейчас внимательно, посмотрел на Сазонова. Даже попытался заглянуть ему в глаза. Глаз, правда, не увидел, Виктор слегка прикрыл их, снова склонившись к рюмке, и слабо лучащаяся из-под оказавшихся неожиданно очень длинными и красивыми ресниц сероватая полоска не могла дать никакой информации. Все же Андрей Петрович понял сразу, что усомнился зря, — и малейшей слабости Сазонов себе не позволил и не позволит, и соучастием его даже самый хитрый следователь не соблазнит. Только сформулировав это именно в такой форме, Кузнецов сообразил, как двусмысленно может прозвучать употребленное Виктором слово, если иметь в виду некоторый оттенок их взаимоотношений, сообразил, но мысль отбросил как досадную помеху, она отдавала юмором того уровня, который был сейчас неуместен, впрочем, возможно, Сазонов и оговорился или просто не совсем точно выразился, хотя ни то, ни другое за ним обычно не замечалось, возможно, и не о соучастии вовсе шла речь, а о сочувствии. Но это оказалось бы еще большей нелепостью. На самом деле Андрею Петровичу вовсе не хотелось заниматься анализом подобных тонкостей, и единственное, что он сделал бы сейчас с удовольствием, — допил молча с Виктором бутылку и куда-нибудь пошел. И, скорее всего, сам Виктор вот такое поведение и воспринял бы как самое естественное, несмотря на всю необычность его сегодняшнего настроения и поведения. Но

---

что-то Кузнецову мешало быть естественным, и особенно раздражала неясность, что конкретно, и откуда взялось, и когда появилось, раздражало само раздражение, ничем не обоснованное и тона весьма дурного. Тогда Андрей Петрович мобилизовал всю свою старательность и тоном насколько смог бесцветным и ровным поинтересовался, как бы совершенно мимоходом, словно к предыдущему вопросу, уже воспринятому хозяином с неудовольствием, этот не имел ровно никакого отношения:

— Что, Виктор, неприятности, действительно, так серьезны?

Сазонов поднял глаза, и Андрей Петрович понял, что ничего не потерял, когда не сумел в них заглянуть. Нечего там разглядывать. До неприятного нечего. Даже удовлетворения они не выражали. Хотя другим способом выражено оно было довольно явно и четко, эдаким громким хмыканьем, означающим, несомненно, только одно — вот и отлично, вот и прекрасно, что ты сам первым об этом заговорил, теперь у нас все с тобой пойдет как по маслу. Несомненность значения хмыканья оказалась так абсолютна, что у Кузнецова на миг даже снова проснулось, казалось, совсем исчезнувшее в последние часы чувство скуки, но тут же снова пропало, как умный и тактичный близкий человек, заглянувший в дверь и сразу понявший, насколько его присутствие сейчас неуместно. А Сазонов тем временем выпил-таки свой коньяк, мимоходом, совсем не заостря на этом внимания, и мимоходом же

---

сделал неопределенный жест рукой, означавший, видимо, что дальнейшее наполнение рюмок отныне становится нерегламентированным и теряет ритуальное значение гостеприимного застолья. Заговорил с легкой ленцой, но стало ясно — выяснение настроения собеседника и его готовности к диалогу закончено, и не потому, что все выяснено, а потому, что с самого начала не имело значения принципиального.

— Неприятности... Да, пожалуй, и неприятности тоже... Только вы не волнуйтесь, не такие уж они и серьезные, а к вам совсем никакого отношения не имеют. Подумали, небось, что меня прихватили, вот я и задергался, ищу теперь, кому пожаловаться. Ей-богу, если б такая чумная мысль и пришла в голову, о вас на предмет жалобы вспомнил бы последним. А вот спросить и вправду хочу. Вы ведь меня презираете. Не сильно, конечно, так, безличностно и по касательной. И вряд ли когда-нибудь задумывались, откуда это ваше презрение, оттого ли, что образ жизни мой и основной род занятий, к которому вы невольно, по жизненной необходимости оказались причастны, вызывает у вас инстинктивную брезгливость, или оттого, что вы в самой личности моей ощущаете порой нечто близкое каким-то сторонам собственной природы, причем тем именно сторонам, которые у вас самого вызывают меньше всего уважения?

— Зря вы, Виктор, не идет вам это. Если б я еще мог подумать, что вас, действительно, трогает, презираю я вас или нет, то, может, и взялся бы разубеждать,

---

хоть для виду, для соблюдения правил приличия. Вас же другое волнует, да и не волнует, конечно, скорее некоторое любопытство возбуждает — так ли хорошо, как вам, удастся мне свою совесть успокаивать. То есть, не проглядывает ли у меня порой презрения к самому себе. А значит это только то, что у вас как раз проглядывает. Так вот, вынужден огорчить. И тени душевного беспокойства не имею, а, следовательно, и не требуется мне себя уговаривать. Потому и секретами такого уговаривания поделиться с вами не могу. Причем именно те, как вы выразились, наиболее близкие к вашим стороны моей натуры вызывают у меня наименьшие огорчения.

— Здорово, Кузнецов, сумели себя уговорить, не зря я всегда к вашим талантам с полным уважением.

— Напрасно обольщаетесь. Уговорить нельзя. Сказал уже.

— Тогда что же вы с собой сделали?

— Смеяться будете. Ничего. А вот вы с собой явно какую-то пакость сотворили. Только никак не пойму, в чем же дело, что и когда смогло поколебать вашу легендарную невозмутимость, не поверю, чтобы на это оказались способны и самые неблагоприятные внешние обстоятельства.

— Ладно, ладно... — быстро и крайне вяло пробормотал Сазонов, уже окончательно утверждая Кузнецова в мысли, что не нуждается в диалоге и требуется ему не ответчик, а слушатель, — легенды,

---

невозмутимость, обстоятельства. Что вы опять про обстоятельства, не суетитесь. У меня сейчас свой интерес, он для вас теоретический, мы абстрактно говорим, понимаете, вообще, со вселенской точки зрения. И обстоятельства ни при чем. Вот вы такой тонкий намек сделали, что, если мы с вами вроде чем-то похожи, то, чем похожи, вас более всего и устраивает. То есть это вы в ответ как бы на мое предположение. Но не задумались. Полемический прием ловко использовали. Вы всегда лихой полемист, да тут другое надо, тут в слова уходить бесполезно. Ведь мной предположенная похожесть, она не в сути, не в серьезной стратегии, а в мелкой сиюминутной тактике. Бегущие от лесного пожара заяц и волк тоже в какой-то миг похожи становятся.

— Это кто ж из нас заяц, а кто волк? — не выдержал все-таки Кузнецов.

— А, бросьте, — уже с откровенным раздражением отмахнулся Сазонов, — никто из нас, конечно, не волк, это у меня так, художественный изыск провалился. Я про что говорю, общего между нами по серьезному счету ничего, а вам казалось, что есть, и вас раздражало, но по гордыне, а в ней и начало ваше, и конец, вы же, наоборот, временную тактику в предмет самоутверждения превращали. И не надо улыбаться, не за грамматикой следите, за мыслью, вы же прекрасно меня понимаете, а другое сейчас значения не имеет. Так вот, не скрою: это внутреннее ваше перед самим собой замаскированное извинение за яко-

---

бы похожестъ весьма обидно для меня, потому и хочу попытаться уверить вас в обратном. Ведь, на самом деле, кто вы такой и какой, собственно? Знаете, мне все время хочется говорить о вас во множественном числе, что странно. Я лично таких больше не знаю, а ведь при самой малой общительности своей в силу той же тактики вынужден круг иметь широчайший, но не встречал подобных, а все же как будто вы не лицо даже конкретное, при всей вашей индивидуальности и индивидуализме, а только представитель некого, не знаю, как и определить, класса ли, слоя ли общества... Да бог с ним, с определением. У нас вот разница в возрасте чепуховая, чуть больше пяти лет. А ведь это принципиально. Не вообще, вообще-то как раз чепуха, а вот с вами оказалось принципиально. Вы не на меня не похожи, вы ни на кого получились не похожим. Потому и можете язвить по поводу моей невозмутимости, что сами прекрасно видите в этом свое превосходство. Только вот тут ваша ошибка из главных: никакое не достоинство, а основная беда эта невозмутимость. Ведь на самом деле вы попросту всяких эмоций лишены, вы чувств не проявляете не потому, что уж очень хорошо научились сдерживать, а потому, что проявлять вам толком нечего, вы всё только обозначаете, как в театре двадцатых: вот тут на табличке написано «лес», тут «река», и все всем понятно — это вы волнуетесь, это нервничаете, а взгляд тусклый, как там у Лермонтова, «тусклая бледность». Нет, я не против, вы меня

---

знаете, я все готов принять, а тем более, когда полнейшая тактичность и корректность — какие могут быть разговоры, наилучший вариант, особенно при деловых отношениях. Впрочем, чисто деловых, как практика показывает, не получается, они все равно рано или поздно в какую-нибудь сторону сваливаются. Но не в это дело. Хорошо, пусть даже ваша прерзительная нейтральность, но тогда не судите! Будьте логичными до конца — тут не ваше, не дано ли, не интересно ли, смешно ли, но не ваше, так и плюньте. Но ведь нет — судите, и не просто судите время от времени и от случая к случаю, а непрерывно и всеохватно эдакое осуждающее свечение излучаете. Позиция-то крайне трусливая получается, безопасная и прибыльная. Вы же непобедимы, вот что меня в вас пугает, ни за что не зацепишься, а тут, проиграл или выиграл, вы в любом случае свой кусок зрелища получите и правы окажетесь, потому что — зачем было вязаться, до конца верно ведь никто никогда ничего не делал. И откуда вы такие взялись, грушницкие недостреленные, недаром мне только что тусклая бледность на ум приходила, как до такого блистательно-го автоматизма натренироваться сумели, ведь ни до таких не было, ни после, я с теми тоже сталкивался, они, может, во сто крат хуже, но живые зато, у них в случае чего кровь идет, а у вас и желчи не осталось. Даже Федя Бадмаев, при всей его примитивности, способен на серьезные желания, а вы именно за это, за единственное, может быть, или, по крайней мере,

---

немногое оставшееся у него человеческое, его же и презираете.

Кузнецов слушал очень внимательно, пытаясь выудить из бессвязного потока какую-нибудь информацию, он даже примерно предполагал, какая именно ему нужна, и хоть понимал, что напрямую Сазонов ничего не скажет, но ждал, что, возможно, проговорится ненароком, проронит по невнимательности, однако пришел к выводу, наконец, что, несмотря на всю возбужденность и кажущуюся растерянность мысли, Сазонов остается самим собой и ни на какую оговорку надежды быть не может. Потому Андрей Петрович затянувшийся монолог хозяина прервал достаточно вежливо, но твердо:

— Достаточно, Виктор, я уже все понял, и теперь буду думать, в какой форме принести вам извинения от себя лично и от всего поколения. Однако давайте пока высокие материи оставим до более подходящих времен. Думаю, что, как я и предполагал, ростовский товар оказался весьма темным. Конечно же, ужасной пошлостью в этой ситуации прозвучит любая фраза о том, что вам же говорили, вас же предупреждали и так далее. Мы же с вами бежим пошлости, правда? Мы же люди сложнейшей организации, даже наши разногласия в столь тонких областях находятся, что в них и Петровке не разобраться, ну вот, раз уж слово произнесено, давайте без затей. Чем я могу вам помочь? И умоляю вас, поверьте: балаган необходимо хоть на миг приостановить, у меня сейчас появились кое-ка-

---

кие не совсем обычные возможности, но тут важно не опоздать. И потому мне нужен не поток сознания, а четкая информация. Что еще может всплыть? Чего я знать должен и не должен? Кто еще в курсе? Вот вы тут Федю Бадмаева упомянули...

— Информация? — Сазонов вдруг широчайше улыбнулся с детской открытостью. — Что-то вам в последнее время слишком часто требуется четкая информация. Ладно, Андрей Петрович, чепуха это все. Сами нафантазировали. И про Федю забудьте. Да и нет у вас никаких возможностей. Это вещи несочетаемые — вы и возможности. Себя ли обманываете, вас ли кто обманывает. Хотя вам такое представить трудно, вы же провидец, вы же предсказывали, вы же предупреждали; вы же никогда и ни за что — ни-ни. А какая во всем этом ваша заслуга, если у вас никогда в жизни не дрожали от страсти губы, если вы даже не представляете, что такое настоящее желание, когда тошнит от него, когда руки судорогой сводит... Вам это от меня слышать дико и смешно, понимаю, всегда наслаждался вашей снисходительной жалостливой улыбкой над моей убогостью, когда порой после нашей встречи вы ехали ужинать в «Белград», а я плелся пешком впельменную на Маросейке. Но в результате банкротом-то оказались вы, а не я, так всю жизнь и изображали прожигателя, а ни разу всеми своими сумасшедшими ночами не смогли сами себя разогреть до температуры хоть чуть повыше комнатной.

---

Кузнецов встал, даже не пытаясь более скрывать своей усталости.

— Хорошо, хорошо, Виктор, хватит. Не хотите излагать никаких подробностей — не надо. Будем считать, что с меня достаточно имеющегося. Естественно, я ничего не обещаю, но, поверьте, сделаю все, что смогу. Скажите хотя бы, насколько мало у нас с вами времени?

Сазонов открыл уже было рот, чтобы ответить, и даже издал какой-то предварительный звук, по которому, однако, никак нельзя оказалось предопределить характер ответа, но тут, по всем законам сценического действия, зазвонил телефон, и Виктор поднял трубку нарочито несуетливым жестом, а все же мгновенно. Кузнецов потом вспоминал с некоторым недоумением, как совсем не удивился тому, что Сазонову позвонили в такое время, а ведь это категорически не было в обычаях дома. Андрей Петрович только поднял вопрошающе брови, интересуясь, как поступить, и получил в ответ внятный жест, означавший, что разговор краткий и не интимный. Действительно, Виктор очень быстро, хоть уважительно, проговорил в трубку:

— Да, конечно, Николай Никодимович, обязательно, — и дал отбой.

Но, привсей своей незначительности, телефонный разговор как бы подвел окончательную черту под их странной и раньше даже никогда бы не представимой беседой. Сазонов уже снова был прежним, суховато-

---

непроницаемым педантом, слегка провинциальным, слегка старомодным и крайне малообщительным. Диким бы показалось теперь Кузнецову услышать от него хоть что-то в стилистике прошедшего вечера, он и не услышал, так как произнес хозяин традиционно и с привычной нейтральностью:

— Потому еще раз придется просить у вас прощения за неаккуратность, но, видимо, лучше вам забрать все вместе в следующий раз...

Казалось, однако, что к нейтральности тона Сазонова примешалась еще и некоторая рассеянность, впрочем, и Кузнецов с большой долей рассеянности пробормотал:

— Конечно, конечно... — и быстро вышел.

Доля внезапно нахлынувшей рассеянности оказалась столь велика, что сознание не зафиксировало даже, пожали они на прощание друг другу руки или нет. Однажды наступил момент, когда это почему-то заинтересовало Андрея Петровича. Но любопытства своего удовлетворить он так и не смог. Впрочем, упомянутая заинтересованность появилась много позже. Как обычно, ближе к первому воскресенью августа.

## 19

Всего несколько относящихся к делу фактов остается мне упомянуть, прежде чем перейти к заключительной части Хроники. Они относятся к тому

---

странному совпадению, что несколько людей, между которыми не могло быть, да и, если подходить строго, не было ничего общего, одновременно, одним и тем же вечером, в очень похожих позах сидели на диванах (тут даже для красоты композиции не позволю себе приврать — диваны были совершенно разными) и очень старательно размышляли о предметах, между которыми при определенной направленности ума кое-кто, возможно, и обнаружил бы некоторую связь. Наташа Томилина, например, слегка наморщив непривычный к такому насилию лобик, изредка прикрывала направленные в пустоту глаза и тихо, но очень внятно бормотала примерно следующее, не изображая, однако, диалога с собственной совестью, да и вовсе ничего не изображая, а скорее, просто звуком своего голоса разбавляя непривычно долгую до этого тишину (не один час она так сосредоточенно и поначалу молча просидела):

— Ага, ищут, значит. Ищут, ищут... Свободу они ищут. А чего, можно себе позволить. Ведь больше ничего уже не надо, все-то у нас есть. Нет, про жилплощадь в таком контексте даже и упоминать некрасиво. Умные, талантливые, удачливые. Удачливые, талантливые, умные. Умные — дальше некуда. Вот со свободой только постоянная неувязочка. Ну, ничего, это нароем. Да еще и не без благородства. Широкая душа. Все остается людям. Гори огнем, где наша не пропадала. Впрочем, на самом-то деле нигде наша сильно не пропадала. Да ладно. Хорошо. Пол-

---

ностью с вами согласна. Но зачем тогда зацепочка? Зачем страховочка? Неувязочка, зацепочка, страховочка. Нет, мы, конечно, не намекаем. Мы тут совсем ни при чем. Мы даже не знаем об этом ничего, упаси боже! Совсем-совсем ничегошеньки не знаем. Это там какие-то фокусники чужими голосами придуриваются. Опять хорошо. И еще лучше будет. Только кто-то снова в запасе остается. Вы тоже талантливые. Умные и удачливые. Тоже, но не настолько. Поэтому пока в запасе. И, в конце концов, вам тоже надо дать возможность проявить благородство. А мы пока разберемся. Со своей мятущейся душой и израненным сердцем. Вы будете метаться потом. Следующая ваша очередь метаться, не понятно, что ли? Почему же, понятно. Очень хорошо понятно. Ну, может, и не очень хорошо, но понятно. Вы нашли — мы нашли. Вы потеряли — мы потеряли. Наш выигрыш — ваш выигрыш, наш проигрыш — извините. Главное — честно. Честь превыше всего. Англия надеется, что сегодня каждый выполнит свой долг. Родимся как ересь, умрем как предрассудок. Очень красиво. Чрезвычайно замечательно. Но — страховочка. Страховочка — деточка. Деточка Наточка. Так, значит, категорически продолжаете настаивать, что свобода?

Бормотание Томилиной-младшей становилось все менее внятным, но все более громким и закончилось со стуком в дверь, за которой в смежной комнате мать готовилась к урокам. И властный стук этот, явно намекавший на нежелательность продолжения слыш-

---

ком громких звуков, видимо, мешавших успешному педагогическому процессу (я боюсь утверждать, но мне так кажется), имел далеко не последнее значение в решении вопросов, от упомянутого процесса крайне далеких.

Елена не бормотала. Она писала письмо. То есть ничего она, конечно, не писала. Потому как, подобно прочим в тот вечер, сидела на диване в вольной позе, менее всего приспособленной для эпистолярных занятий (вот они, фединские штучки), и мучилась угрызениями совести (несильно) на тему того, что давно собирается, но никак не может собраться написать одно письмо. А несильно мучилась в какой-то степени, возможно, потому, что точного местонахождения адресата Елена не знала. Но все же мучилась, так как она в глубине души подозревала, что если бы, действительно, приложила все усилия, то велика вероятность это местонахождение и выяснить. Однако дело, конечно, не в угрызениях, угрызения — чепуха, гораздо хуже то, что к ним примешивались много более серьезные чувства. Ведь само по себе столь вялое отношение к уточнению адреса противоречило всем основам, принципам, чему там еще... Да всему, всему противоречило. Немедленно требовалось идти, действовать, какое там идти — бросаться, кидаться, горы переворачивать и всех на уши ставить, но определить, выяснить, добиться и решительно уничтожить шкодливую нелепицу последнего времени! Но что-то не бросалось и не кидалось. Но хоть решительности

---

ничуть не уменьшалось, наоборот, любая тень сомнения, а и не тень, и не сомнение это даже были, так, каприз потревоженных городской сутолокой нервов, но и он отмечен с легкостью и окончательно, — не уменьшилось решительности, однако сейчас хватало почему-то только на это вот довольно ленивое сочинение в уме (или про себя, не знаю, как лучше, и так, и так звучит дурковато) столь необходимого послания: «И вот, в связи со сложившимися обстоятельствами, я вынуждена наконец потребовать... — Нет, не так. Надо проще и спокойней, это же не меморандум, он сразу истерику заподозрит. — Короче говоря, тут все так складывается, что я больше не могу, не хочу и не намерена валять дурака и должна, в конце концов... — Опять чепуха, тут же создается впечатление, что я натворила каких-то глупостей, при чем здесь валять дурака? Деловой, только деловой стиль и краткость. — Поскольку вопрос давно решен, не вижу смысла в нелепых затяжках. Странно, что элементарные чувства порядочности и ответственности не подсказывают тебе, что проблема, изначально касавшаяся все-таки двоих... — Совсем бред. Как будто совращенная девочка настаивает, чтобы на ней женились. И откуда во мне пробивается такой фонтан безвкусицы? Неужели ситуация настолько влияет? Как же тогда это характеризует саму ситуацию? Хватит, хватит, опять заумь началась. Будем конкретны и без угрюмости. — Давай кончать этот балаган, он дурного толка и давно всем надоел. Любые благород-

---

ные идеи, конечно, твое личное дело, но плюс ко всему каждый человек имеет перед другими еще и определенные... — Фу, пошлятина! Но как бы все-таки сказать-то по-человечески... А может, и нельзя это нормально сказать? Глупости. Очень даже можно. Просто сейчас голова не работает. И чувствую себя мерзко. Вот оно самое худшее, что чувствую себя... Ладно, чепуха, хватит размазни. — Значит, так. Или ты немедленно явишься и мы забудем произошедшее как нелепую шутку, или... — Господи! Да должен же он все-таки понять, этот гениальный идиот, какое тогда для меня получается „или“!»

Варя Павшина, сидя на своем диване (и на любом другом, я думаю, тоже), не смогла бы, конечно, принять столь свободную позу, как Наташа или Елена. Определенная скованность всегда присутствовала в линиях ее тела, но все же, насколько Варя могла, она расслабилась и тоже размышляла. А поскольку позволить себе такую роскошь, как только размышлять, Павшина никогда бы не посмела, то она еще и рассказывала сказку, пытаясь усыпить разыгравшуюся под вечер Катюку. Варя сказки всегда рассказывала, а не читала, хоть какие-то детские книжки в доме были, но сам процесс чтения не являлся частью обыденности, и Павшиной не пришло бы в голову заниматься чтением так просто, ни с того, ни с сего, у себя дома, вечером, после тяжелого рабочего дня. Да и рассказывание сказки дочери представлялось Варе всегда столь бытовым и естественным делом, что обращаться за этим

---

к книге так же дико, как искать где-то инструкцию по кормлению грудью. Но, надо признать, что рассказчицом Варя была очень плохим. Когда-то слышанное ею самой по большей части забылось и перепуталось, собственная фантазия и образное мышление не очень способствовали оригинальному творчеству, так что сказки обычно получались довольно убогие, и сегодняшняя не представляла собой исключения. Звучала она примерно так.

— Жила-была коза. Были у нее козлята. Ну, и козел, ясно, раз козлята. Козел был так себе, ну, обычный козел, все бы ничего, только уж очень он сильно это... ну, капусты много ел. И вот он ее один раз так натрескался, что помер. Почему отравы, и правильно я всегда говорю, что она полезная, ты спи, не перебивай, а то уйду. Она полезная. Но он не оттого помер. Он ее просто слишком много съел. Нет чтоб как все, пришел домой и немного, с устатку... Нет, он все сожрал, что было, нагрузился и... затяжелел. В яму свалился. Откуда я знаю, какую яму, простую, мало ли сейчас ям вокруг накопано. Закрывай глаза, кому говорят, и одеяло с пола подбери. Так вот. Осталась коза одна. С козлятами, понятно. И как-то идет она по лесу, глядит, под кустом другой козел лежит. Болеет. Взяла лечить. Нет, никакой она не доктор, одни доктора лечат, что ли, только бюллетени пишут, еще раз тебя услышу, точно ничего рассказывать не буду. И вообще, я устала, у меня еще дел по дому куча. Ладно, ладно, не ной.

---

Короче, так. Решила этого козла к себе взять. Он ничего был, хороший даже. И козлятам польза, и ему, а козе куда деваться, когда кругом одни волки, да и те свиньи...

Катя уснула, как всегда, мгновенно, на середине зевка, не успев даже толком закрыть хитро подсматривающие за матерью сквозь опущенные ресницы глаза. Но так же всегда, как бы быстро это ни происходило, за кратчайшее мгновение до того Варя успела почувствовать и понять, что дочь засыпает, и замолкнуть, замереть, чтобы не вспугнуть так и оставшееся для нее чудесным и таинственным, несмотря на всю привычность.

Татьяна Томилина, сидя на диване в тот час, молчала. Вернее, из ее неплотно сомкнутых уст доносились время от времени какие-то звуки, но были они столь тихи и нечленораздельны, что представляли собой, скорее всего, слегка видоизмененное голосовыми связками дыхание и ничего более. Правую ногу Татьяна закинула на левую, и вот на этой правой коленке умещался небольшой блокнот, в котором Томилина водила карандашом. То был не рабочий блокнот с хорошей бумагой и удобным креплением листов — к орудиям своего труда Татьяна всегда относилась с исключительной привередливостью, — нет, самый обычный, для не очень важных бытовых записей или телефонов, когда надо быстро, а настоящей телефонной книги нет под рукой. Собственно, для этой цели — записать какой-то номер или переписать от-

---

куда-то — и взяла некоторое время назад Татьяна в руки блокнот, но цель выпала из внимания и памяти, а блокнот остался на колене, и в нем Томилина рисовала, почти не глядя, и даже надолго прерывалась, вовсе, казалось, забывая о занятии, но ни бумаги, ни карандаша, тем не менее, не оставляла. В результате на тонком желтом листе, больше привычном к грязноватым небрежным следам от шариковой ручки, появилось нечто совершенно нехарактерное и неорганичное не только для этого листа, но и вовсе несвойственное манере Татьяны, настолько чуждое всему духу ее прочих работ, что будущий историк живописи, самый тонкий эксперт и крупнейший специалист именно по творчеству Томилиной, никогда не решится отнести эту немудреную поделку к ее произведениям, несмотря на самую достоверную подпись. Подпись, впрочем, на листе так и не появилась, а осталось на нем следующее. Слегка склоненная женская головка с крайне неопределенными возрастными и даже расовыми признаками. Выражение лица самое пустейшее и бессмысленное. Взгляд тусклый, а губы в движении, но каком-то нарочито мелком, сутливым, ничего не определяющем. И все с подчеркнутой приторностью и красотью. Шейка нежная, ушки аккуратненькие, колечки кудряшек вокруг них ровненькие, брови тоненькие, ресницы длинные и изогнутые. Даже неприятно, как в сиропе измазаться. Но, что главное, линия была совсем чужая, ученическая, рука, предельно точная, безошибочная и

---

самоуверенная рука Томилиной не чувствовалась. Так что ни одного шанса определить подлинность вещи будущему искусствоведу. И даже знай он прекрасно лицо самой художницы, пересмотри сколько угодно ее портретов и фотографий, никак ему это не помогло бы. Но любой из знавших Татьяну лично, нет, вру, любой из знавших ее очень хорошо, а таких, на самом деле, не очень уж и много, но любой из них мгновенно бы узнал, понял и поразился. Поразился бы тому, что и самое лучшее изображение художницы не передавало этого редкого, только порой и почти неуловимо проскальзывающего в ее чертах выражения, что проступало за штрихами рисунка сладенькой головки. Тоскливой и неуверенной безоглядности.

Блокнот в руках развалившейся на диване Тоси был много солидней, не в кожаном, конечно, но чуть ли не в кожаном переплете. И записи в нем носили столь же стройный и четкий характер, сколь и размышления их творца. Первый пробный шар со статьей о Кузнецове прокатился успешно. То есть не в смысле каких-то конкретных результатов, о них судить было пока рано, но начальный этап компании точно соответствовал плану. Написано то, что надо, за чьей надо подписью, в каком надо органе вышло, и, главное, при печатании удалось до мелочей соблюсти все тонкости. И якобы обычные типографские звездочки между главками статьи получились шестиконечными. И если газетный лист на просвет посмотреть, то слово «неправда» из статьи оказывалось

---

как раз под карикатурой на израильских агрессоров с другой стороны. И еще множество самых разных тайных знаков совершенно точно говорило, что за внешне невинным содержанием статьи скрывается категорическое указание всем жидомасонам немедленно уничтожить упомянутого Кузнецова, если не физически, то морально и творчески обязательно. Однако Тося, несмотря на огромное свое уважение к силам и возможностям провоцируемой организации, прекрасно понимала, что запустить на полную мощь весь ее механизм, как бы прекрасно отлажен он ни был, одной, даже идеально организованной акцией невозможно. Да и имевшаяся в Тосином распоряжении информация указывала, что заставить таинственного спрута показать действительно все свои щупальца можно только массированным, планомерным воздействием, оказав точное, направленное давление на его мозговые и нервные центры, то есть, полностью симитировав ихнюю жидомасонскую тотальную и всепроникающую тактику. И вот сейчас под рукой, привыкшей к составлению самых сложных многоходовых комбинаций, вырисовывалась столь подробная и блестяще разработанная диспозиция, по сравнению с которой и чапаевский план взятия Парижа казался бы детской забавой. Я не стану приводить это произведение полностью. И не из-за слишком большого объема. Его тонкость, стройность, изящество и логическая красота таковы, что можно было бы свободно пожертвовать любым количеством страниц

---

без малейшего риска утомить читателя. Нет, я боюсь другого. Что в не очень чистые или, скажем мягче, хотя бы в не очень опытные руки попадет слишком опасный и действенный инструмент, даже оружие, с помощью которого с той же легкостью, что и самые благие дела, можно натворить множество ужасных бед. Так что ограничусь всего несколькими цитатами, которые не позволят людям без твердых нравственных устоев и принципов использовать знание, само по себе великое и прекрасное, во зло, но, надеюсь, убедят читателя в Тосином высочайшем мастерстве. «Пункт 17. Трансляция по первой общесоюзной программе зрительской конференции, записанной иркутским телевидением, на тему „Творческая манера художника Кузнецова как эстетический противовес некоторым мотивам в росписи Храма Соломона“. Там же: выступление инициативной группы по охране Байкала с требованием опубликовать список членов первого советского правительства без всяких партийных кличек и псевдонимов, а только под собственными фамилиями, а лучше даже под материнскими (для мужчин) и девичьими (для женщин). Пункт 36. Организация Кузнецову заказа на иллюстрацию подарочных изданий романов „Всё впереди“ и „Судный день“ с последующим широким обсуждением работы и выставкой лучших рисунков в Витебске. Пункт 83. Включение главы о Кузнецове в уже готовый публицистический сборник под рабочим названием „Не только у них есть чем гордиться“».

---

---

Вася сидел на диване в позе не столько расслабленной, сколько спокойной, и была она скорее аккуратной, чем напряженной. Дыхание его казалось ровным и беззвучным, а взгляд светлым и безмятежным. Открытостью и простодушием веяло от всей Васиной фигуры. Но даже мне так никогда и не удалось узнать, о чем он думал в тот вечер.

## 20

А под утро, в самое мерзкое время суток, которое только можно придумать для любой погоды, а уж для дождливой осенней особенно, в хитром домике на Коровинском состоялось расширенное заседание уже известной нам комиссии. В дополнение к прежнему составу из долговязого седобородого старика, бритоголового атлета и очкастой англomanистой дамы, на нем присутствовали: цыганка из зубо-врачебного кабинета за рододендромом, Семушкин В. К. и гундосый письмоносец. У меня имеется информация начиная с того момента, когда Виссарион Кузьмич уже заканчивал свой многочасовой доклад:

— Таким образом, вы можете судить обо всем объеме проделанной работы. Но не хотелось бы, чтобы создалось ложное впечатление, будто нам постоянно сопутствовала только удача, и в нашей деятельности не было никаких сложностей. Уже само по себе отсутствие уважаемого Председателя в момент приня-

---

тия наиболее принципиальных решений и назначение меня, конечно же, не имеющего ни такой мудрости, ни такого опыта, исполняющим обязанности, естественно, вызвали в первый миг в наших рядах некоторое замешательство. Но, следуя чувству высокой ответственности и опираясь на силу наших идей, весь коллектив группы фиксации еще более сплотился под моим руководством для достижения намеченных рубежей и, считаю, с честью выполнил свой долг. Я также должен выразить личную благодарность Совету, что моя, может быть, в чем-то и выходящая за рамки правил просьба не осталась без внимания. Однако хочу надеяться, что новая и неожиданная кандидатура искренне не вызвала ни у кого недоверия, со своей же стороны полностью уверен, и это подтверждают объективные результаты проверки, что, возможно, и поступившись где-то в данном вопросе буквой, мы строго следовали духу и сделали ценнейшее приобретение, независимо от чьих бы то ни было собственных пристрастий и интересов. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить Совет за постоянное благожелательное внимание к нашей работе и чуткое ненавязчивое руководство. Если мне, несмотря на все старания, не удалось в своем докладе осветить какие-то нюансы настоящего положения дел, буду рад ответить на любые вопросы относительно малейших подробностей.

Все присутствующие громко вздохнули, переведя дух с большим облегчением, но без заметной радости. Первым и мгновенно встрял Гундосый:

---

— Ладно, Йоша, ты это, конечно, чрезвычайно аккуратненько насчет преодоленных сложностей закружил, но только вот у меня касательно Томиной все же сомненьице остается. И я не за букву беспокоюсь, с буквой-то ты как раз исключительно все гладенько провернул, но вот с духом... тут не дух, тут душок некий наличествует. Ну, хорошо, проверка проверкой, уж не знаю, какие там замечательные результаты, да ведь моральные основания и искренность стремлений, то есть основа основ, — что-то здесь уж очень личностное проглядывает, и пристрастность, и интересы промелькнули оговоркой докладчика. А личностное — оно не самое стойкое, сегодня одни пристрастия, завтра другие, достаточно ли надежный фундамент для столь серьезного дела?

Семушкин на наглое «тыканье» Гундосого никак не отреагировал, то ли, действительно, ощущал пушок на своем рыльце, то ли имел какие другие основания не связываться с письмоносцем, возможно, обладающим и не всем известными полномочиями, но самообладания ничуть не потерял и отвечал с полным достоинством:

— Я должен еще раз напомнить, если кто-то случайно упустил из виду, что все относящееся к основаниям и стремлениям не входит в обязанности моей группы. Мы занимаемся исключительно фиксацией, подготовкой к проверке и окончательным оформлением. И также напомню, что общие вопросы может безапелляционно решить никто и ничто иное,

---

как только Последнее Общее Собрание. Что же касается постановки под сомнение самих результатов проверки...

Седобородый отвлекся от накручивания правого уса на карандаш и перебил Семушкина с раздраженным добродушием (что-то явно было деланное: то ли раздражение, то ли добродушие, только не понятно, что именно), обращаясь при этом, правда, к Гундосому:

— В самом деле, так-то уж зачем? С результатами уж у нас действительно уникально, можно сказать... чуть ли не по двенадцатому уровню тогда Томила прошла, не ошибаюсь?

Зубоврачебная цыганистая старуха, на которой при последнем вопросе остановился взгляд Седоусого, немедленно заверещала с совершенно не идущими строгому тону собрания пронзительностью и злобностью, от которых все даже поморщились:

— По двенадцатому, по двенадцатому, аж по самому и без обману, по самому что ни на есть раздвенадцатому!

Тему эту, видимо, сразу же решили прикрыть, чтобы не вызывать к жизни столь неприятных звуков, и Атлет, кашлянув для привлечения внимания в пудовый кулак, поспешил воспользоваться моментом и тут же перевести беседу на другое:

— Скажите, Кузьмич, я, собственно, так, по мелочи, для справки, насчет Елены Антоновны. Ведь ее изначально дублем фиксировали, по второй кате-

---

гории. Но в связи с известными сложностями, чтобы потом не возникло каких-нибудь дополнительных неприятностей... В конце концов, может быть, сделать самостоятельную проверку и попытаться оформить женщину в ординаре? У меня почему-то предчувствие, что есть определенный шанс...

Семушкин аж взвился:

— Позвольте, какие у нас есть основания для столь странных действий! — Тут еще Гундосый подхихикнул: «Ага, ага, и этот еврей брата привел, пусть парень выпьет!» — Если вы намекаете, что данный случай!..

На сей раз Седобородый жестко остановил надвигающийся базар:

— Хватит. Тут кто-то, кажется, забыл, где мы находимся и чем призваны заниматься. Елена Антоновна пойдет по второй категории, как зафиксирована, и нечего намекать на неприятности. Последнее Собрание само все расставит по своим местам, это не наше дело. Давайте достойно завершим свое. Скажите лучше, Семушкин, насколько вы уверены в фиксации самого Ломова, что для нас гораздо важнее.

Виссарион Кузьмич снова был воплощением корректности:

— Считаю, что имею по Ломову исчерпывающую информацию. Ваш вопрос вызван, видимо, тем, что просочились слухи о повышенной активности семеновцев. Но это, кстати, не только Ломова касается. Однако тут на всех направлениях ситуация

---

под контролем, и я не вижу никаких оснований для беспокойства. Относительно же именно Ломова, то я лично занимался и проверкой правильности оформления, и даже специальным, довольно дорогостоящим тестированием, потому могу с полным основанием заверить, что опасения напрасны. И вообще, еще раз подтверждаю: вся подготовленная нами группа выведена на уровень, абсолютно соответствующий нормам, положенным перед Последним Собранием.

Седобородый благосклонно кивнул Семушкину и встал:

— Ну что ж, мне остается только поблагодарить всех за проделанную работу. Будем считать весь подготовительный период для данной группы отправляемых законченным. Вам также просил передать свою личную благодарность Председатель, он перед самым нашим совещанием связался со мной и сказал, что в самое ближайшее время надеется приступить к своим обязанностям. Как только это долгожданное и радостное для всех нас событие произойдет, сразу же будет назначена и дата Последнего Общего Собрания. А пока, если ни у кого больше нет никаких замечаний и дополнений...

Все уже стали со сладостным предвкушением расправлять затекшие спины, как неожиданно подала голос Семушкинская приспешница по военно-полевым играм:

— Прошу прощения, всего один момент. Только что по экстренным каналам поступило сообщение

---

о том, что возможно появление кандидатуры на резервное место в группе, и необходимо провести всю необходимую работу для подготовки реализации этой возможности в случае необходимости.

Седобородый начал медленно и неприятно бледнеть на глазах:

— Они что там, совсем... какой резерв, группа зафиксирована по предельно допустимым нормам... Вы ничего не перепутали? Ведь на это имеет право только...

Но девица осталась отрешенно-официальной:

— Путаница исключена. С правами тоже все нормально.

И лишь потом не удержалась, добавила от себя слегка интимным тоном, за многозначительностью которого, вполне возможно, ничего и не скрывалось, кроме желания самой девицы показать сомнительную осведомленность:

— Тут, видимо, задействованы такие силы...

После небольшого, сумбурного и не принесшего отдохновения перерыва, заседание продолжилось и закончилось уже при дневном свете.

## 21

Вернувшись от Сазонова, Кузнецов заснул, выспался, проснулся и встал в совершенно нехарактерное для неприсутственного дня время. Более того, он

---

быстро собрался и вышел из дома с решительностью, вовсе для утренней поры беспрецедентной, а уж причина этой решительности была, если говорить прямо и честно, без малейших сомнений дурацкой до крайности. «Хватит, — сказал себе Андрей Петрович, — хватит всех этих темных глупостей! — Ничего подобного, конечно, он себе не сказал, думаю, и вовсе ничего не сказал, никогда не имел Кузнецов манеры сам с собой беседовать. Это я так, пытаюсь подручными художественными средствами изобразить то, для изображения чего необходимы средства совсем другие. Но на их подбор и использование требуется времени, сил и таланта гораздо больше, чем в данный момент имеется в моем распоряжении. — Пора кончать шпионские страсти и перестать пачкать недоверием родной кагэбэ. Нет там и не может быть никакой системы, просто встретились случайно несколько раз по дороге, может, какая неувязка с транспортом вышла, плюс что-то где-то с моим графиком совпало, а я уже и губы развесил. Или губы раскатывают, а развешивают другое? Ладно. Вот сегодня все и выясним, какие такие хемингуэйские блюминги...» Кузнецов пошел пешком, но на знакомую лавку у Лермонтова даже не посмотрел (а зря, его оттуда проводили заинтересованным и не без ехидства взглядом), проскочил сразу к вокзалу и первый вагон выбрал вполне осознанно. В тамбур шагнул, уже окончательно убедив себя, что никакой рыжей не будет, что день сегодня случайный и произвольный, что всем неле-

---

постям, с якобы потаенным глубоким смыслом, а на самом деле полным одной претенциозной безвкусицы, пришел неизбежный и логичный конец, пусть с некоторым опозданием, но пришел... Рыжая в тамбуре была, а потом было и все остальное. И встреча, и безмолвные километры, и взмах руки, и... ну, я уже сказал, что все остальное. Только Кузнецову не требовалось идти на работу, и он вернулся в Москву на той же электричке, что и рыжая. Сел, конечно, в другой вагон, чтобы не мозолить девочке глаза, но сам понимал, что даже это лишнее, она явно не видела ничего кругом, двигалась с заметным натужным автоматизмом, потому уже по городу Андрей Петрович направился вслед за рыжей довольно смело и без всякой маскировки. Она вернулась домой. Почему-то Кузнецов ни на секунду не усомнился, что именно домой, так открывают, а главное, так закрывают за собой только собственную дверь. Прошло совсем немного времени, и Кузнецов после ряда несложных, но не совсем одобряемых общественной моралью (потому я и опускаю подробности) действий, связанных с посещением районного телефонного узла, выяснил, что за упомянутой дверью проживает Ланская В. Л. Далее совсем просто, хотя и непонятно зачем, оказалось уточнить, что проживает она там в одиночестве. Впрочем, «непонятно зачем» уже давно относилось ко всему вместе. Андрей Петрович добрался к себе, у него стали побаливать колени, закутался на диване в плед, знобило. Время от времени засыпал ненадолго,

---

но когда просыпался, не двигался, только открывал глаза и смотрел перед собой пусто и внимательно. Сколько времени это продолжалось, точно сказать трудно. Когда он открыл глаза в очередной раз, был уже вечер, хоть и непонятно какого дня, а на стуле посреди комнаты, лицом к дивану, сидел Павел Николаевич Ломов. Тем же вечером, расположившись на парапете, неподалеку от ресторана гостиницы «Дружба», Виктория Львовна Ланская и угощала прохожих шампанским. Ей сегодня пошел тридцать второй. Внезапно вспомнилось, как пару лет назад попался один странный, сначала явно не хотел пить, брезговал, наверное. Потом случайно встретились взглядами. Станный. Станный такой...

## 22

И все-таки, что больше привлекает меня?

Ворваться на площадь горящего города во главе пьяной от ярости толпы — или же, стоя на холме, мягким движением руки и несколькими тихими разумными словами привести в чувство осатаневший народ?

Поднять свой флаг на линкоре окруженной, обреченной флотилии, отправив к берегу на плотике онемевшего адмирала под улюлюканье сорвавшейся с тормозов команды, и прорываться к экватору, имея на борту трехдневный запас воды, — или раненому

---

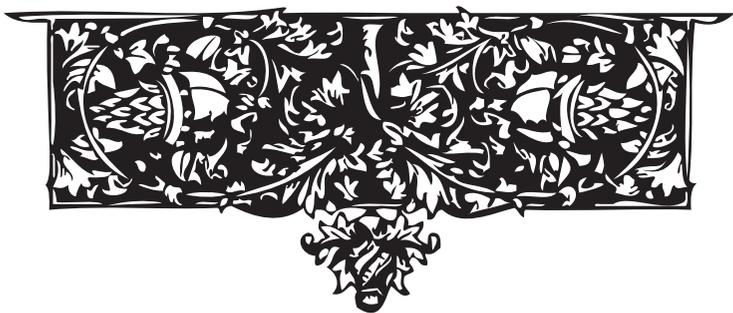
лейтенанту со счастливыми глазами, пришедшему сообщить, что армия согласна, в штабе ждут только меня и пора брать власть, передать через слугу записку: «Простите, господа, но сегодня я занят»?

Ах, как хочется красивого жеста! Даже когда малейшее чувство вкуса предостерегает от излишней красоты. Впрочем, я столь искренен и безобиден в своих увлечениях, что вполне могу рассчитывать на собственное снисхождение. Но вечерами, что делать нам глухими поздними вечерами, помнящими о прошлой бессонной ночи и уверенными в предстоящей? Когда не пьется и не читается, когда за стеной давно уснули жена и дети, когда неожиданно возникший в репродукторе после двенадцати голос, немного поворковав, ласково простился со всеми, когда осталось две сигареты, глаза болят, а десятый раз переписываемая фраза становится все корявей и корявей? Конечно, отговорок придумано много. Порой даже кажется, что основные силы человеческие изначально брошены были на придумывание отговорок. Но и малейшая трусость не проходит бесследно. Привычка долго и регулярно врать другим неизбежно приводит, в конце концов, к потере реальности. Чудовищ порождает не сон разума, чепуха, нет ничего благостней здорового сна. Их порождает бессонница и пустая непродуктивная работа ума. Кто-то перестарался. Нам нельзя было давать так много и так мало одновременно. Смешно ставить будильник, обозначая тонкой стрелкой завтрашнее промозглое утро в синих

---

тнях, и браться за вечную книгу, последняя страница которой теряется в полном безразличии ко времени. Я не спрашиваю, хватит ли сил, хотя их хватит, как хватало всегда и всем, но не это успокаивает, а нелепость самой постановки вопроса. Что значит «хватит», на что хватит, насколько хватит? Где бы произвольно ни обозначить границу, хоть просто закрыть глаза и ткнуть пальцем наугад, там и будет её самое верное место. Потому что в тот же миг оставшееся за чертой потеряет всякий смысл и некого и незачем станет вопрошать. Примитивная, почти игрушечная ловушка для простофиля, и если бы оставалось кому удивляться, то, несомненно, стоило бы удивиться, сколь безотказно она срабатывает, ласково усмехаясь над самыми свирепыми и хитроумными капканами.

Только не сомневайтесь — утром будет еще хуже.



---

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Одним из последних событий, упомянутых во второй части Хроники, было посещение Ломовым Кузнецова. После чего мне пришлось на некоторое время прерваться по чисто техническим причинам, о сути которых мне придется, хотя бы частично и очень кратко, проинформировать читателя. Делаю это вынужденно, хотя на протяжении всего исследования старался не утомлять никого жалобами на сложности труда истинного хроникера, труда, который, порой имея принципиальнейшее, а то и основное значение для автора, на самом деле в Истории есть мелкий забавный артефакт, стандартная, случайная пылинка на стекле микроскопа. Однако в данном случае мои личные проблемы стали причиной некоторой чисто структурной нечеткости, потому приходится вдаваться в объяснения. Дело в том, что изначально, собира-

---

ясь изложить суть беседы Ломова с Кузнецовым, не предвидел никаких сложностей, так как считал, что обладаю достаточным количеством безупречного и вызывающего полное доверия материала. Привычно систематизировав, обработав упомянутый материал, получил несколько страниц полностью устроившего меня текста и без тени сомнений повел Хронику дальше. Но через некоторое время, в ситуации, подробности которой по ряду причин я не имею права даже упоминать, мне в руки попали документы, в авторстве которых есть некоторое основание подозревать лично П. Н. Ломова. Или, по крайней мере, можно утверждать, что академик имел к их появлению самое непосредственное отношение. Среди прочего, там пересказывалось и содержание к тому времени прекрасно мне известного и уже вошедшего в канонический текст Хроники разговора. На первый взгляд я не обнаружил для себя ничего нового и поэтому, поместив, естественно, как обычно, тщательнейше исследованные материалы в научный архив, продолжил работу с чистой совестью. Однако уже при подготовке Хроники к печати, в который раз перепроверяя каждый факт и безжалостно избавляясь от упоминания всего, что может вызвать не то что у читателя, а у меня самого хоть тень сомнения в совершенной правдивости изложенного, я начал вносить исправления в изначальное описание встречи Ломова с Кузнецовым. Исправления показались мне в первый момент чисто стилистическими, хотя порой и уточняющими какие-то ню-

---

ансы беседы, однако довольно быстро я обнаружил нечто для себя неожиданное. Даже не исправляемый, а, казалось, всего лишь слегка отредактированный текст получился не только почти вдвое больше изначального — такие мелкие курьезы случаются при редактировании и у самых гениальных стилистов, — принципиально другое: возникла некая, совершенно новая для меня нота, определенный оттенок, делавший прежнюю, казавшуюся мне безупречной картину не то что недостаточно достоверной, а уж почти сомнительной. В настроении, близком к паническому, я еще раз зарылся в архивы, использовал все возможные, а порой и иные способы проверки информации и понял, наконец, причину своего беспокойства. Видимо, в материалах, использованных при подготовке первого варианта, все же преобладали особенности личностного восприятия Ломова П. Н., в то время как второй, несомненно, склонялся в сторону особенностей реакции на происходившее именно Андрея Петровича. И таким образом, хотя в самих фактах не было никаких противоречий, страннейшим образом картины получились, на мой взгляд, все же слишком различными, для того чтобы составлять из них нечто усредненное в попытках создания иллюзии исторической беспристрастности. Конечно, Хроника не научное исследование, и я прекрасно понимаю опасность смещения стилей, но все же решил единственный раз пожертвовать чистотой стиля ради, может быть, любопытной для читателя возможности самостоятельно

---

оценить правдивость некоего события независимо от личной реакции на него непосредственных участников происходившего.

Поэтому привожу оба варианта, еще раз уточняя, что первый очень условно, со всеми мыслимыми оговорками и извинениями за неточность обозначения, можно именовать как «вариант Ломова», в то время как второй с той же мерой предосторожности следует считать «вариантом Кузнецова».

## 2 (По Ломову)

Появлению Ломова Андрей Петрович не удивился. Удивился, что его так долго не присылали. Поздоровались без холодности, искренне, хоть и слегка, улыбнувшись друг другу. Ломову не пришло в голову хлопать Кузнецова по плечу, восклицать: «Сколько лет, сколько зим!» или произносить задумчиво: «Гора с горой...» Кузнецову подобное в голову не приходило никогда. Чай не пили и обошлись без предисловий.

— Андрей, я должен просить прощения?

— Не должен.

— Все же у меня не было права втягивать тебя в эту историю.

— Вопрос не из области права. Перестань, Паша, ты не потому приехал. Думаю даже, не по своей воле приехал. Отдать тебе шкатулку?

---

— Приехал я по своей воле, а шкатулка мне не нужна. Тебе она нужна еще меньше.

— Это ты так решил. Я ведь твоим друзья или представителям, не знаю, кто они там, подробнее изложил ситуацию, ты наверняка в курсе, иначе бы не появился.

— Не друзья и тем более не представители. Уверен, они из твоих изложений ничего не поняли. Но тут странного мало. Гораздо неприятнее, что я сам ничего не понимаю. Мне был задан единственный вопрос: кто из твоих знакомых не подвержен соблазнам? Вопрос дурацкий, таких людей не существует. Я много лет не общался с тобой. И все же ответил не задумываясь. Был не прав?

— Прав. Относительно того, что вопрос дурацкий. Я же, скорее всего, соблазнам подвержен точно так же, как и прочие смертные. Но сейчас не о том речь. Меня ведь и твои друзья... Хорошо, хорошо, пусть не друзья, — прервал Андрей Петрович попытку Ломова вновь возразить против подобного определения, — пусть не друзья, пусть кто угодно, это я только для простоты названия... Они меня тоже весьма активно соблазнять пытаются. И приманка у них не пустая. Шкатулка же полна глупого лукавства, и проще всего плюнуть на эту шкатулку. Так что не соблазн здесь, а обида, самая простая обида — зачем меня болваном выставляют? Вот и ты пришел мне не правду сказать, а заставить что-то сделать, пусть, по-твоему, и правильное, но с за-

---

крытыми глазами. Ведь не скажешь ты мне правды, Паша, не ошибся я?

— Андрей, остановись, не надо, это не твой тон. Я ничего заставлять тебя сделать не хочу, не имею возможности, мысли такой, сам прекрасно знаешь, и появиться у меня не могло. Уж тем более претензий к тебе никаких, а ты так говоришь, как будто я именно с претензиями. Бог с тобой! Мне всего лишь совестно, что по собственной глупости или безответственности, в минуту паники впутал тебя в дурную историю. И свою только ошибку хочу исправить, а не на какие-то твои права и свободы покусьтись.

— Относительно тона, это ты верно, Паша. Он мне самому неприятен последнее время. И стоило бы извиниться, тем более что не в одной твоей шкатулке дело, а может, даже и не в ней вовсе. Только ты от моего вопроса про болвана и правду мягко ушел, а без него разговор наш пустой, и никакой самый искренний тон его не наполнит.

— Ни от чего я не уходил. Просто вопрос твой мне не совсем понятен, а уж обида тем более. Какую правду ты хочешь знать? Кого отбирают и по каким принципам? Представления не имею. Я вот, например, сгодился. Но потому ли, что такой замечательный ученый, или по цвету глаз, или по родству в восьмом колене с купцом Гусятниковым, — сказать не могу, на основании параметров проверки, даже с моими достаточно профессиональными возможностями анализа, выводов сделать не удалось. Да на-

---

верняка о большинстве параметров, как вовсе о сути методов этой проверки, я и не подозреваю. Но тебя больше, думаю, интересует другое. Какова цель отбора, не пуста ли приманка, как ты сам выразился. С этим проще. И цель имеется, и приманка не пуста. К сожалению, более конкретно объяснить не получится, тут не моя воля. Но особая конкретность для тебя значения и не имеет. Можешь предположить или представить любое самое лучшее и приемлемое — рай, межгалактический клуб для избранных, путевку в светлое будущее, тайное общество всемогущих филантропов-миллионеров, — у тебя фантазия побогаче, не стесняйся. Все, что ты сформулируешь, будет неверно, но более чем достаточно для принятия решения. Потому как главное не в сути приманки, а в расплате за нее. Ты освобождаешься от всего. Заметь, я выбрал наиболее мягкое слово «освобождаешься», а не «лишаешься» намеренно, чтобы ты не упрекнул меня в назойливом сгущении красок. Но вслушайся еще раз в звучание фразы: «Ты освобождаешься от всего». И не надо перечислений — как только начинаешь, сразу идет бесконечный ряд попыток найти лазейку: а вот это останется? Ну, может быть, тогда вот это? Уж это-то никуда деться не может? Чепуха. Ничего не останется. Формула без изъянов: ты освобождаешься от всего.

— Вранье, Паша. Опять вранье, от которого я порядком устал. Пытаетесь изобразить какой-то Страшный суд по анкетным данным, окарикатурен-

---

ных булгаковских персонажей мне подсовываете, многозначительными глупыми фразами пугаете: «освобождаешься...» Да кто и от чего меня освободить может? «Меня» — и «освободить». Тебе самому, Павел Николаевич, не смешно?

— Мне, Андрей Петрович, совсем не смешно. То, что персонажи булгаковские, — это твоя личная проблема. Я знаю женщину, так у нее добрые сказочные медведи бегают, и ничего. А с заданием ты почти справился. Только, к сожалению, наполовину, на далеко не самую важную половину. Про Страшный суд очень даже наглядно получилось, для рабочей модели подходит несомненно. Насчет же освобождения не понял ничего. То есть сделал именно то, от чего я предостерегал, — нашел изъян и в нем уверился. Да как можно еще Андрея Петровича освободить, если он сам себя от всего давно освободил, оставшееся же посторонним влияниям неподвластно? Хотя, чтобы освободиться, ты, действительно, сделал все что мог. А вот относительно оставшегося... Ты уверен?

— Уверен.

— Странно. То ли ты в самом деле за эти годы так изменился, то ли я в тебе изначально ничего не понимал? Постой, а не постиг ли ты случайно вечную тайну бытия? Тогда конечно. Тогда ты мне очень быстро и популярно сможешь объяснить суть уникальности личного на фоне унифицированного хаоса.

— Паш, а Паша, не гуляй, а то я тебе действительно кое-что популярно объясню. Вы со своими ве-

---

ликими тайнами бытия знаешь у меня где? Еще начни рассказывать, что без своих домашних тапочек, воспоминаний о первой дизентерии и умения рисовать корову мне грозит потеря богоданного «Я» и растворение в этом твоём противоестественно придуманном унифицированном хаосе. Ничего мне, Паша, не грозит. Вот если бы я начал вас слушаться и втемную указания выполнять, тогда грозило бы. И потеря, и растворение. А так нет. Вы считаете меня недостойным реального знания? Хотите отделаться рабочими моделями? Хорошо. Я в вашу благородную компанию не лезу. Желаете получить шкатулку обратно? Извольте. Нет? Требуется моими руками некие движения совершить? Не получится!

— Андрей, ты хоть сам понимаешь, о чем говоришь? «В компанию лезть», «отделаться»... Да от тебя отделаться как раз ничего не стоит. Андрей Петрович Кузнецов вообще никакого отбора не проходил, перед Кузнецовым вовсе никто никакого выбора не ставил, это Ломову предстояло решать и выбирать, а Кузнецов тут человек посторонний и случайный, ну, ошибка произошла, ну, может, я лично виноват в той ошибке, но от тебя-то никаких гамлетовских подвигов не требуется, отдай чужое, скажи, что путаница вышла, — и всех дел, зачем на пустом месте трагедию изображать?

— Хватит, Паша. Хватит. На самолюбии моем играть так же глупо, как и на прочих тонких чувствах. В самом деле, выбор не передо мной ставился, а пе-

---

ред тобой. Вот ты свой и сделал. Честь тебе и хвала. У меня, между прочим, даже мысли о его правильности возникнуть не может. Потому как это твой выбор. А свой я сделаю сам. Возможно, шкатулка попала ко мне и случайно. Но теперь-то существует причина, по которой вам нужно, чтобы именно я шкатулку вернул. И ты пришел ко мне сейчас не об услуге просить, а убедить. Хотя нет, для убеждения другое требуется. Скорее обратиться. Тебе вера требуется. Не верю.

— К сожалению, Андрей Петрович, может быть, только ты и веришь. Вот только вера у тебя несколько изуверская. Впрочем, достаточно теоретизировать. Это правда. Обстоятельства сложились так, что я вынужден тебя уговаривать, по крайней мере пока. Но существует еще одна причина, по которой тебе придется все же шкатулку вернуть. Я очень не хотел об этом говорить, но, похоже, ты мне доказал, что выхода нет. Может быть, слышал — я женат. Подробности сейчас значения не имеют, но последнее время наша семейная жизнь стала достаточно сложной. У жены масса проблем, и, думаю даже, большинство из них не очень со мной связано. Говорю так не для оправдания, надеюсь, понимаешь — перед тобой мне оправдываться не в чем. Просто хочу, чтобы картина стала для тебя как можно более ясной. Изначально предложение было сделано мне. Я поставил условием участие в проекте жены. На него согласились, и уже проверку и оформление документов мы проходили вместе. Она проверку прошла. Но только как моя

---

жена. Об этом предупреждали отдельно и настойчиво — права самостоятельно принимать решение ей не дано. Мой отказ воспринят женой в крайней степени болезненно. Она готова сделать все возможное и делает все возможное для моего усмирения и возвращения в стойло. Но еще раз подчеркиваю: главное для нее сейчас — собственные проблемы, я интересен не сам по себе, а в основном как гарант их решения. Я или любой другой на моем месте — большого значения не имеет.

— Это уже серьезней. Насколько я понял, твоя жена не будет возражать против того, что я займу твое место, в случае если ей не удастся заставить тебя изменить решение? Выходит, в комплект к шкатулке прилагаются еще и семейные узы? Как же тогда освобождение от всего?

— Ни о каких узах речь не идет. И с освобождением все в порядке. Но вот ответственность ты берешь не только за себя — твое решение автоматически становится ее решением.

— А если я отдам шкатулку, твоей жене придется вернуться к тебе, и у вас снова станет все хорошо? Что же ты сразу не сказал, сейчас же разыщу Полковника, можешь быть спокоен.

— Нет, Андрей, ты не совсем верно понял. Прежде всего, жене никуда не надо возвращаться, она никуда не уходила, это я ушел, и не от нее. Но главное в том, что, скорее всего, у нас все не станет хорошо вне зависимости от того, отдашь ты шкатул-

---

ку или нет. Более того, думаю, она меня просто возненавидит, решив, что по моему капризу осталась у разбитого корыта. Так что дело вовсе не во мне и не в ней, а в тебе. У тебя хватит смелости решать судьбу неизвестного человека, решать окончательно, как ты сам выразился, втемную?

— А твоя жена, когда делала выбор, обладала столь же полной информацией, как и я, или у нее глаза были открыты?

— Она считала, что открыты.

— Не надо двусмысленностей. Давай совершенно конкретно, у тебя есть какие-либо факты, ей неизвестные?

— Нет.

— Тогда о какой моей смелости и тем более ответственности может идти речь? Она свой выбор сделала самостоятельно, это ты как раз рискуешь принимать решение за неизвестного человека.

— За мою жену.

— За неизвестного, Паша, за неизвестного, даже нескольких твоих фраз о ней достаточно, чтобы понять — совершенно неизвестного. А слово «жена» даже запутать что-нибудь — и то не может и на меня магически не действует, ты это прекрасно знаешь.

— Понятно, шкатулку ты не отдашь.

— Ничего тебе не понятно, Павел Николаевич. Шкатулку я, скорее всего, отдам. Да почти наверняка. Только решать буду сам.

---

— Это последнее, что у тебя осталось.

— Это последнее, что у меня осталось.

— Послушай, Андрей, а нет ощущения, что у тебя просто состояние тихой истерики?

— Ничего себе вопрос. Конечно, истерика. И не всегда тихая. Но не только у меня и не только сейчас. У нас у всех изначальная истерика.

— Я и не знал, что ты умеешь употреблять множественное число в первом лице. Не хватает еще услышать от тебя «наше поколение».

— Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю, и поколение здесь ни при чем.

— Ты не найдешь решения, Андрей Петрович, все слишком разные.

— Вот-вот, и я о том же. В первом лице только и есть, которые слишком разные, остальные в третьем. А решения... Скорее всего ты прав, не найду. Но это уже совсем другой разговор, который сегодня мы с тобой не договорим.

Уже в дверях, когда Ломов одевался, Кузнецов спросил, почему-то, незаметно для себя, чуть более тихим голосом, чем прежде:

— Ты картоны на набережной видел?

— Нет, но знаю о них. Настоящие?

— Настоящие.

— Я, действительно, так бы смог?

— Они твои, Паша.

— Обманка.

— Конечно, обманка. Ты не жалеешь?

---

Ломов пусто улыбнулся и вышел. Уже в спину ему Кузнецов поинтересовался:

— Жену-то хоть как зовут?

— Елена Антоновна.

### 3 (По Кузнецову)

Кузнецов не только не удивился присутствию в своей комнате Ломова, но, казалось, вовсе никак не отреагировал, правда, кивнул слегка, одновременно протирая с усилием плохо раскрывающиеся глаза, да буркнул что-то типа «привет», но и кивок этот, и бурчание были столь невнятные, что скорее могли и почувиться — в едва проснувшемся человеке все неопределенно. Впрочем, и Ломов не бросился к Кузнецову с улыбками и похлопыванием по плечу, что, на самом деле, не показалось бы особо странным при встрече двух приятелей, хоть и разошедшихся в этой жизни, но разошедшихся без всякой видимой причины (Кузнецов тогда не соврал Томиной, конкретной и явной причины, а уж тем более ссоры, действительно, не было) и не видевшихся шестнадцать лет после долгой и весьма близкой дружбы. Но не организовалось улыбок с похлопываниями, даже и кивка с боротанием не получилось заподозрить за Ломовым, он так же неподвижно продолжал сидеть на стуле, как и в первый момент, когда его увидел Кузнецов,

---

продолжал сидеть и разглядывать Кузнецова, но и тут нельзя сказать, что уж слишком внимательно или с каким-то особым значением. Так от нечего делать рассматривают поздним вечером в вагоне метро сидящего напротив пассажира.

Кузнецов слез наконец с дивана, продрал глаза окончательно и поплелся на кухню ставить чайник. Потом гремел там еще какое-то время посудой, чего-то возился в ванной и пришел в комнату уже с готовым кипятком — видать, не большим количеством чая собирался поить гостя хозяин. Ломов тем временем уже сел к столу и выставил перед собой (достал, надо думать, из кармана, так как никакого багажа у него не было) больше чем наполовину пустую бутылку питьевого спирта, про которую Кузнецов уже забыл, как она выглядит, поскольку последний раз покупал ее (и, следовательно, видел) в глубочайшей юности по пять пятьдесят в пьяном порту Мотыгино на одной из великих сибирских рек. Себе Кузнецов налил только чай, перед Ломовым же, кроме чашки, поставил еще и тонкий стакан для выпивки, но поползновениям намекать на закуску не совершил. Ломов не обратил на все это никакого внимания, как, впрочем, и на предложенный чай, плеснул себе на два пальца спирта, восприняв отсутствие соответствующего стакана у Кузнецова как данность, вернее, никак не восприняв, быстро, как бы невзначай выпил налитое и более уже до конца визита к бутылке не притрагивался, хотя и не убирал ее со стола и даже не

---

затыкал лежавшей рядом черной резиновой пробкой, мощной такой пробкой, какими обычно пользуются в химических лабораториях для закупоривания сосудов с опасными реактивами. Первым молчание нарушил хозяин, сделав это с явным над собой усилием, так как было совершенно ясно, что оно его тяготит гораздо меньше, чем предстоящий разговор. И не потому, что предстоял обязательно какой-то тягостный разговор, а только потому, что именно разговор. У Ломова подобное настроение заметить было трудно (хотя по нему вообще мало что заметно), и все же первым заговорил не он.

— Шкатулка на месте, Паша, можешь не волноваться.

— Меньше всего меня волнует судьба шкатулки.

— Понятно. А больше всего тебя, видимо, волнует моя судьба.

— Честно говоря, и она не очень.

— Совсем понятно. Значит, на сорок седьмом километре не оказалось чистых стаканов, так же, как борта на Уэлен. Или все же алкаши накрутили? Постой, а не из той же команды католический громил? Тогда ясно...

— Выходит, не зря меня предупредили, что тебе, оказывается, все совсем понятно и ясно. А мне казалось, что я тебя хоть немного знаю...

— Ну, знать ты меня, Паша, никогда не знал. Ни ты меня, ни я тебя. Как выяснилось. Это все сейчас имеет хоть какое-то значение?

---

— Мне, Кузнецов, в отличие от тебя, еще пока очень многое непонятно и неясно, в том числе и то, что сейчас имеет хоть какое-то значение. На данный момент только одно несомненно — ты, еще не знаю по какое место, но точно увяз в дерьме и имеешь явную тенденцию оказаться там по уши. И хотя утверждаешь, что я тебя никогда не знал, но моего знания достаточно, чтобы предположить первую твою мысль после моего предыдущего заявления: не лез бы ты, Паша, не в свое дело. Так?

— Так. Повторить или где расписаться, как у вас принято?

— Расписываться — это не у нас принято, это, как я понимаю, теперь у вас. И повторять не надо, потому что, к сожалению, вранье. К великому моему сожалению. Так как шкатулку тебе прислал именно я.

— Если считаешь, что знаешь меня достаточно, то какая моя в ответ должна быть следующая реплика?

— Видимо, что ты меня присылать тебе шкатулку не просил.

— Слушай, Паша, стоило ли так далеко лететь, чтобы побеседовать с самим собой? Давай ты и дальше будешь продолжать вести этот диалог за двоих, только в каком-нибудь другом месте. Я сейчас в совсем плохой форме.

— Не сомневаюсь. Но выгнать так просто не удастся. Потому что ты сейчас уже не только себя —

---

этим давно занимаешься, — а еще и меня предаешь. На самом деле, не только и не столько меня, но через абстракции ты с легкостью перешагиваешь, а вот через конкретного человека не можешь.

— Ну, на таком уровне я точно разговаривать не буду.

— Будешь, Кузнецов, будешь, у тебя нет другого выхода, потому что у меня нет никакого выхода. Поступать можешь как хочешь, то есть это не я тебе разрешаю, а все равно ты сделаешь как хочешь, но от разговора со мной тебе не уйти. Хоть ты и сотворил из себя неуязвимого супермена, а совсем от сомнений себя не избавил, и если я сейчас говорю, что ты можешь мне ненароком, не разобравшись, глотку перерезать, то у тебя смелости не хватит хоть на какую-то долю в это не поверить.

— Да, попал я... Паш, а Паш, ну если тебя хамством не возьмешь, может, хоть на жалость клюнешь? Какой там супермен, какая неуязвимость, поверь, пожалуйста, вправду мне сейчас очень плохо, и вообще тошно, и конкретных личных сложностей до черта, не с руки мне нынче еще и в твоих — не говоря уже о действительно абстрактных — проблемах разбираться. Ну, чего ты хочешь? Шкатулку забрать? Вон она, в ящике стола лежит. Мне ведь ее изначально твой посыльный с тем и передал, чтобы я вернул ее, когда спросят. Это уже потом алкаши воду мутить стали, то есть сначала Гундосый, но он, как я понял, в другом смысле, а алкаши-то, они ведь из твоей ком-

---

пании, что ж вы сразу-то не договорились? Да ладно, забирай шкатулку, и бог с вами со всеми...

Вид Кузнецова за всего несколько минут беседы изменился сильно, и если бы не слишком большая естественность и слишком малые артистические способности Андрея Петровича, то можно было бы подумать, что он и впрямь старается разжалобить визитера. Сразу после пробуждения физиономия Кузнецова выглядела хоть помятой и не очень свежей, но только со сна и привычно, а вот вдруг неожиданно быстро под глазами появилась плохая синева, веки набухли, крылья носа побледнели, от углов рта вниз пошли муторные тени. Да и тон из обычного вяловато-спокойного стал слишком неподдельно искренним, что любого знающего Кузнецова человека обязательно насторожило бы как явный признак болезненного физического состояния Андрея Петровича. Но Ломов и тут проявил полное отсутствие чуткости, никак на происходящее с хозяином не отреагировал и говорить продолжал все более напористо:

— Ты ведь совсем ничего не знаешь, даже мелочей, а делаешь вид, что давно все решил. Никто ни с кем не договаривался, просто ситуация была экстремальная, вот я к твоей помощи и обратился. Мне сразу шкатулку выбрасывать нельзя было, по ней мое местонахождение определялось, я на восток мотанул, не очень подумав, и, если бы она там застряла или исчезла, все слишком быстро стало бы ясно. Мне время нужно было потянуть. Вот шкатулка сюда и приеха-

---

ла. Я как считал — у тебя полежит, центр, квартира, никаких подозрений, решат, что и я тут, ну а когда поймут, что ошибка, попросят, ты и отдашь, скажешь, что не в курсе, ну и все на том, я уже уходил из зоны видимости. Но у них тут какая-то неразбериха получилась, тот, кто мной лично заниматься начинал, исчез куда-то, а новый, я его знаю тоже, он болван, тебя начал всерьез вместо меня фиксировать. Я же этого еще не знал, а ребята уже поняли, вот они тебя сразу и предупредили, чтобы ты не отдавал никому ничего, а просто сказал, что нету. А ты что вместо этого? Шагнул в широко открытые объятия?

— Ах, какая патетика! И не шагают в объятия. В крайнем случае в них падают. Паша, не морочил бы ты мне голову. Я, к своему глубочайшему сожалению, со времени нашей последней встречи начал немножко разбираться в путаных монологах повышенной эмоциональности. Но вот отвечать на них в соответствующей стилистике, к своему глубочайшему счастью, так и не научился. Потому позволь мне перевести ситуацию, насколько я ее понимаю, в плоскость более обыденную, без лишней зауми и тумана. Кто-то кого-то для чего-то отбирает. Не без некоторого бюрократизма этим занимается — «фиксирует», по вашей фене. Ну, кого — судя по твоей замечательной кандидатуре, понять не очень сложно. А вот кто и, главное, с какими перспективами — тут полная темнота. И ты, как понимаю, света мне в ней не прибавишь? — Ломов неожиданно кивнул утвердительно и

---

с даже странноватой поспешной готовностью. — Но, какие бы там перспективы ни были, ты, видать, на них поначалу основательно клюнул. И положенную процедуру прошел если не до конца, то до какого-то весьма значительного этапа, ведь шкатулка — знак уже достаточно определенный, так? — Ломов опять кивнул, но уже не столь поспешно. — Вот тут ты и решил дать задний ход. По какой причине, ты мне тоже не объяснишь. Это естественно, потому что иначе никак не обойтись без объяснения, от чего ты, собственно, конкретно отказываешься. Каковую тайну от меня тщательнее всего и скрывают. Хорошо. Не будем даже разбираться, сам ли ты решил рвануть когти или тебя, как ты выражаешься, «ребята» сагитировали. Но очевидным остается одно — ты в какой-то момент запаниковал, мотнул подальше, а от шкатулки сразу же не избавился только по каким-то техническим причинам, опять не хочу вникать, каким, но главное — если бы не они, так ты бы ее просто выбросил и про меня даже не вспомнил. До сих пор нет возражений? — И опять кивнул Ломов, но опять еще медленней. — Вот и выходит, что ты ее просто-напросто выбросил, всего лишь почему-то с моей помощью. Ладно, я не в претензии, что с моей. В конце концов мы с тобой некогда были друзьями, а даже совсем постороннего человека, попутчика в автобусе можно попросить выбросить пустую пачку изпод сигарет, если он сидит ближе тебя к открытому окну. По крайней мере, понятна будет такая просьба.

---

Но непонятно другое. Зачем устраивать истерику, если попутчик этот задумается: а стоит ли ту пачку выбрасывать или она ему самому еще на что может сгодиться? Ну, правда, бывает, в последний момент передумаешь, жалко станет или еще что. Так скажи, тоже ничего страшного, я же сразу тебе предложил: забирай шкатулку обратно — и дело с концом.

Казалось, до того ничем не пробиваемого Ломова слова эти, сказанные Андреем Петровичем предельно мирно и даже несколько тоскливо, разозлили вдруг до чрезвычайности, и стал говорить он чуть более отрывисто, с не очень приятной интонацией, хотя и сдерживаясь, но очень явно было, что сдерживаясь:

— Ты, Кузнецов, совсем некрасиво дурака валяешь. И нарочно это делаешь. Не для того ведь, чтобы я в твою наивность поверил. Сам прекрасно знаешь, что уж я-то в нее поверить никак не могу. А скорее всего, чтобы унижить меня. Как раз подчеркнуть, что это я к тебе пришел, да еще должен просить о чем-то. Чтобы я сам все назвал своими именами. Тем, что тебе представляется своими именами. А на самом деле это, действительно, только для тебя свои имена. Ты все что угодно можешь назвать по-своему, и сразу этим исковеркать до неузнаваемости. То есть, опять же, тебе кажется, что можешь и что до неузнаваемости. Но ничего в реальности от твоих словесных выкрутасов не меняется. И поступки твои благородней не становятся, и гадость, как она была гадостью, так

---

ею и останется. Ты отлично все понимаешь. Твоя-то понятливость, фантастическая какая-то даже сообразительность более всего как раз всех и обескураживает. И тебе сразу ясно было, что никакая шкатулка мне не нужна, в тот же момент, как ты мне опять же сразу ее и предложил вернуть. Ясности хочешь, патетика тебя не устраивает? Отлично. И зря надеешься, что не буду тебе объяснять, почему я от шкатулки отказался. Надеешься, надеешься. — Ломов настаивал чуть ли не укоризненно, хотя Кузнецов и не отрицал, он вообще никак не реагировал. — Я вижу, что надеешься, даже фигуру такую логическую мне подкинул невзначай, чтобы удобнее было не объяснять. Но про это я тебе как раз все скажу, потому что это именно самое главное. И я, наверное, соврал. То есть, может, и не совсем соврал, я изначально четкой мысли не имел, но какая-то подспудная была, конечно. Я ведь шкатулку именно тебе передал. Что у тебя центр, и живешь один, потому она полежать спокойно может — все так, но я бы и еще кого для такого дела подобрал, если бы, как ты говоришь, просто пустую пачку из окна выбросить, еще кого, а не человека, с которым столько лет не виделся. Но я, значит, в самой глубине чувствовал, каким шкатулка соблазном оказаться может. Пусть невероятное, пусть странное стечение обстоятельств, но ведь может, да и не таким уж невероятным стечение оказалось. И единственный, в ком я даже заподозрить подверженность какому бы то ни было соблазну не мог, — это ты.

---

Подумать, сам Кузнецов! Всегда недостижимый для меня идеал абсолютного стремления к свободе! Да я и не хотел его никогда достигать, этого идеала, наоборот даже — основной твой порок всегда видел в этом стремлении, но когда вдруг и впервые именно в нем потребовалась мне опора, и я уже не сомневался, что ничего надежнее нет, — все лопнуло. Кузнецов! Недосыгаемой вольности пророк и сам предтеча купился на раз и со скоростью, которая и для нас грешных, с ног до головы обусловленных, непостижима и недостижима. Так вот, я твой светлый образ больше в душе своей лелеять не собираюсь, потому и невинность твою рискну потревожить. — Тут Кузнецов отчего-то совершенно не к месту и нехарактерно для себя весьма скабрезно улыбнулся. — Очень подробно попытаюсь объяснить, зачем от шкатулки отказался и почему тебя предателем считаю, очень подробно, чтобы не осталось у тебя возможности даже перед самим собой спрятаться за твою любимую мудреную невнятицу. Кто и для чего производит отбор? А так ли это в самом деле для тебя важно и, главное, непонятно? Ведь основное ты прекрасно сам сразу сообразил, то есть кого отбирают. Да-да, тех самых отбирают, которых надо, Васю твоего не возьмут, можешь не сомневаться. А перспектива, что ж, перспектива — она и вправду самая фантастическая. Что бы ты сам себе ни напридумывал и что бы я тебе ни порассказал, все будет мало, даже жалкого подобия не получится. Но только для нас эта перспектива, пойми

---

ты это абсолютное и окончательное «только». То есть и раньше такие были, и после будут, это постоянный отбор, он всегда происходит, но сейчас наша очередь, и опять же только, только нам решать! Да, тебе мои восклицания могут смешными казаться. — Как раз к этому моменту Кузнецов стал необычайно даже серьезен. — И правда, я, как ты сказал, сам поначалу основательно клюнул. Не то слово, как основательно, до кишок наживку заглотил. А уж что мне-то, без пяти минут академику, по сравнению с тобой, без пяти минут дворником, свое право на побег оправдывать? У меня как будто, по сравнению с тобой, ну никакого такого права просто быть не может, а у тебя как раз все права, ведь для тебя это даже может выглядеть совсем и не как побег, а всего лишь подтверждение и олицетворение твоего изначального героического отказа. Но это неправда, это основная неправда. Потому что именно мне колебания хоть в какой-то мере простительны, ведь если я здесь шел на соглашения и получал за них соответственно, но ты-то, ты-то не можешь не понимать, что там продажа еще худшая, особенно сейчас, когда здесь тебе уже никто не предлагает, то есть, наоборот, когда здесь...

— Подожди, подожди, — с чрезвычайной заинтересованностью прервал Кузнецов собеседника, — кажется, я что-то начинаю понимать... Когда говоришь, здесь предлагают — не предлагают?.. Но нет, сначала я с тобой вот по какому делу должен объясниться решительно. Никак не могу признать, что

---

ты на какие-то там соглашения шел, за которые получать не стоило, или самого получаемого ты не стоил. Правда, ты писем, за которые отбирали, не подписывал, но ведь ты не подписывал и тех, за которые давали. Впрочем, ни за то, ни за то не передо мной тебе отчитываться, ты мое отношение к этим играм знаешь. Впрочем, все чепуха — как бы то ни было, а ты получил только положенное, да и то, может, не до конца. И никакое твое академичество к моему дворничеству отношения не имеет, тут не понимаю, зачем тебе придуманная взаимосвязь потребовалась, то есть, наверное, немного понимаю, но это ты больше от дешевого психологизма, чем от реальности. Заинтересовало же меня другое, вот тот твой намек последний про сейчас и здесь... Паша, а с Дорофеевым ты хорошо знаком?

Совершенно, казалось, невинный вопрос, да и заданный столь же невинным тоном, почему-то произвел на Ломова крайне странное, почти неприятное впечатление. Как будто большую бестактность, если не совсем уж неприличие усмотрел Павел Николаевич в этом вопросе, но не столько сконфузился оттого, что обычно бывает с людьми воспитанными, сколько обозлился, но вместе с тем (такое часто вместе случается) и успокоился:

— Что же, Кузнецов, ход твоих мыслей довольно ясен и даже нельзя сказать, чтобы уж очень глуп. Да, знаю я Дорофеева и достаточно хорошо знаю. Знаю и еще кое-кого в том же роде, а может, и покуче.

---

И, конечно же, смысл твоего вопроса мне тоже понятен. Ты думаешь, что сначала меня те купили, а когда появились эти и предложили воспользоваться совершенно новыми возможностями, только уже не там, а здесь и сейчас, то я всего лишь навсего быстренько перекупился, и вся моя, как ты говоришь, патетика оттого, что новые условия мне более выгодными показались? Бред это, Кузнецов, даже оправдываться смешно. Во-первых, что бы там Дорофеев и компания ни предлагали, все равно с возможностями владельца шкатулки ни в какое, даже отдаленное сравнение не идет. Во-вторых, я и без Дорофеева, между прочим, и сам же сказал, что, не особо подличая, в рамках нынешней системы не слишком могу жаловаться на ограничение перспектив. И третье, что самое главное: исчезни вдруг все Дорофеевы вместе взятые, я своего решения не изменю, потому что не в них дело, а во мне самом, в нас самих, потому что именно нам там делать нечего, нам нигде делать нечего, кроме как здесь, ведь если все мы там окажемся, то здесь уже вовсе никогда ничего не будет. Возьмешь ты на себя такую ответственность при всей твоей муторной и безразличной неприязни ко всему этому «здесь»? А то, что Дорофеев появился, то, что в самом деле новые и, не скрою, порой завораживающие возможности в связи с этим могут открыться, так почему надо сразу, не пытаясь даже разобраться, становиться в позу оскорбленной невинности? Ну, ладно, ладно, твоя невинность — твое дело, только почему твоя

---

невинность столь однобока: от Дорофеева воротит, а шкатулка взгляд ласкает?

А Кузнецов, как ни странно, уже перестал быть серьезным. Выглядел он совсем плохо, но чувствовалось, что это физическое и внешнее, а внутренне он как бы расслабился и добро повеселел, как будто то ли решил, то ли забыл вдруг что-то крайне для себя неприятное, и теперь даже подобие душевной улыбки тронуло его потрескавшиеся, но начавшие оживать губы. Впрочем, голос оставался еще достаточно слабым.

— Ты опять, Паша, нервничаешь. Безразличная неприязнь вряд ли бывает, а уж однобокая девственность — это вообще из области сексуальных извращений. Оправдываться тебе смешно? И отлично. Непонятно тогда, зачем ты пытаешься заниматься этим смешным делом. Да и зря в чем-то хочешь меня убедить, я ведь в малейшей мелочи с тобой не спорил и не собираюсь. Ты опять, как когда-то, сам себе все нафантазировал и собачишься исключительно сам с собой, не желая понять единственную, самую простую вещь — я-то тут при чем? Опомнись, Паша, приди в себя, меня же никто никуда не выбирал и не отбирал. Я во всей этой истории сбоку припека и зацепился случайно, только по твоей же собственной неосмотрительности. Это ты, исключительно ты и такие, как ты, имеете ценность и там, и здесь. Когда говоришь «мы», то совсем непонятно, почему в это «мы» включаешь меня, ваш выбор, видимо, в самом

---

деле принципиальный и для чего-то решающий, но какое все это имеет отношение ко мне? Тобой Дорофеев занялся потому, что ему важно решение Павла Ломова, а мне он позвонил только потому, что в меня ненароком шкатулка угодила. Ты вот постоянно на какую-то мою нравственную ответственность за твои поступки намекаешь, что чуть ли не обманул я тебя в твоей вере, даже слово «предательство» обронил. Но одного никак понять не хочешь: ни к твоей нравственности, ни к твоим поступкам, ни вовсе к вашим высоким трагедиям — я тут уже «вашим» употребляю нарочно, в конкретно обозначенном смысле, — так вот, к названному сидящий перед тобой Андрей Петрович Кузнецов ровно никакого отношения не имеет. Ты думаешь, я сейчас клоунаду разыгрываю и свою железную непреклонность демонстрирую? Да какое уж тут железо, я, может, гораздо более, чем ты способен предположить, в себе вещества много мягче и пахучее обнаружил. Ведь сам после первой встречи с Дорофеевым вот здесь же, за этим столом рисунки свои рассматривал и радужные планы строил. Строил, строил, сам себе не очень признавался, а строил. И потому мне уж совсем невинностью не похвастать, я путь не меньше твоего прошел, хоть и без самолетов. Но и тогда, и теперь никакое «мы» мне в голову не приходило. Вы это вы, а я это я, и решение каждый принимать будет каждый за себя. Так что давай всю эту лирику заканчивать. Хочешь шкатулку забрать? Забирай. Хочешь стукнуть Лысому, что они

---

обозначились? Пожалуйста. Да тысяча способов у тебя есть, чтобы решить вопрос как считаешь нужным, и совершенно тут тебе не требуется меня переубеждать, да еще с таким пылом. А знаешь, я только сейчас заметил эту несообразность. Так вы мне все голову заморочили, что элементарные вещи стали доходить с большим опозданием. Как-то уж слишком велика твоя лично заинтересованность в моей персоне. Даже если за чистую монету принять все твои рассуждения про пророка, предтечу и светлый образ, и при том какой-то неучтенный фактор чувствуется. Или я чего-то принципиального не знаю? Про шкатулки тайные роковые свойства? Про алкашей? Про Гундосого? Паша, что тебя все-таки привело сюда из Уэлена?

Если могло существовать выражение, более всего неподходящее к физиономии Павла Ломова, то это выражение смирения. Однако сейчас на ней присутствовало именно оно, хотя и явно чувствовало себя там странно.

— Ты прав, Кузнецов. Нет, я ни от единого слова, доселе сказанного, не отрекаюсь, и не солгал я ни в чем, и душой не покривил. И все-таки ты прав: имеется, имеется неучтенный фактор, хотя ничьи роковые свойства здесь ни при чем. И я в любом случае не смог бы у тебя ни шкатулку просто так забрать, ни стукнуть кому, ни еще каким способом решить все по собственному разумению. Уж раз ты сам оказался поставленным перед выбором, не важно теперь, в силу каких обстоятельств и по

---

чьей вине, то ни я, ни мы, в твоём смысле «мы» употребляю, совсем не имеем права судьями выступать и свое мнение силком навязывать. Иначе в чем была бы наша разница с теми? Это их методы, а не наши, и только в том, особенно, наша нравственная сила. Еще раз повторяю, что в любом случае окончательный выбор оставался бы исключительно за тобой, и сейчас остается, и в любом случае мне было бы очень тяжело, что твой выбор совсем не тот, на который я надеялся, да что там надеялся, уверен был и другим эту уверенность внушал. Но тяжело — это еще не трагедия. А вот когда еще и неучтенный фактор... Потому как для тебя тут, Кузнецов, фактор, а для меня — жена.

Сделав таковое и на слух странноватое заявление, Ломов смиренность с лица уронил, но обнаружил под ней что-то уж окончательно нейтрально-тоскливое, человеку свежему и совсем показалось бы непонятным, зачем вообще с таким выражением нужно разговаривать, настолько оно более приличествует молчанию. Кузнецов же, напротив, оживлялся все более, но тоже несколько странно оживлялся, как будто совершенно независимо от содержания беседы и ее течения. Потому что иначе совсем трудно понять, почему при последнем слове Ломова, вовсе не таком уж веселом и легкомысленном слове «жена», Андрей Петрович как-то даже глуповато хихикнул, отрешенно глядя в давно пустую чашку. Между тем Павел Николаевич продолжал, с явным старанием

---

сформулировать свою мысль как можно более четко и без всяких других видимых задач и целей:

— Тут, Кузнецов, ко всему прочему вышла еще вот такая накладка. Я фиксировался вместе с женой, такое иногда, в виде исключения, разрешается. В данном случае, наверное, как признание моей особой ценности. И сейчас в шкатулке все оформлено на двоих. Получается, что решать тебе придется не только за себя. Вот тут и возникает моя повышенная личная заинтересованность.

— Чепуха какая-то, — наконец отреагировал Кузнецов, хотя и не очень активно, — что значит «не только за себя»? Ты чего меня путаешь, ну, оформлялся ты вместе с женой, ну что ты опять меня в чужие дела втягиваешь? Она же с тобой отбивать собиралась, а не абы с кем, вот и улаживайте это про-меж себя, по-семейному, какая моя тут роль может быть?..

— «Абы с кем», — как-то совсем по-детски передразнил Кузнецова Ломов. — Абы да кабы. Вот в том-то и дело. В том-то все и дело. У меня с женой весьма непросто... Но вот это, впрочем, тебя, действительно не касается. Короче — жена моя пойдет не со мной и не с кем-либо другим, а именно с тем, за кем останется шкатулка, кто бы он ни был. Я по этому поводу ни о каких чувствах и прочих неинтересных для тебя материях распространяться не стану и меньше всего хочу, да и надеюсь, вызвать у тебя жалость. Я и вообще об этом говорить не хотел. Но поскольку

---

ты уж еще раз проявил повышенную сообразительность... Так вот, здесь она будет со мной. Несмотря на все сложности. Здесь мы будем вместе. И одну ее не возьмут. Но если кто-то пойдет по этой шкатулке... В том числе и ты.

— Да-а-а... — протянул Кузнецов со всем соответствующим торжественности и чувствительности момента соучастием. — Конечно, семейная жизнь — штука сложная... А ведь я как-то даже и не слышал, чтоб ты был женат. И из знакомых никогда никто не обмолвился...

— Ну? — совсем просто и искренне изумился Ломов. — Я думал, ты знаешь. Вас даже как будто знакомили, вроде у Борьки на каком-то дне рождения, когда я в командировке был. Она его жены приятельница. Лена, не помнишь такую? А мне казалось, у нее внешность запоминающаяся...

Конец разговора стал у бывших приятелей отнюдь не кульминацией его, а вышел неожиданно тусклым и скомканным. Ломов уже не сидел, а рассеянно блуждал по комнате, но не с той нервностью, которой киноактеры изображают повышенную возбужденность, а, наоборот, как бы в явных видах пустого убивания времени, и так же неакцентированно ушел, словно и не ушел, а вышел на пару минут, но он все же именно ушел — и ушел, без сомнения, навсегда. А Кузнецов хоть и продолжал сидеть на стуле как приклеенный (в который раз не устаю умиляться оригинальности своего образного мышления), но поза его под конец

---

совсем перестала быть позой человека беседующего и выражала лишь крайнюю степень нежелания совершать хоть какие-то движения. Так и продолжал Кузнецов сидеть еще очень долго после ухода Ломова, я даже боюсь говорить, насколько долго, потому что это может показаться явным преувеличением, а опасения быть замеченным в преувеличениях, как вы наверняка давно уже заметили, гнетут меня прежде всего другого. И я ограничусь сообщением, что так вот и досидел Андрей Петрович до нескольких неприятных для него телефонных звонков, которые последовали один за другим с безвкусовой (я не виноват) драматургической навязчивостью и сценической очередностью (тоже не виноват).

#### 4

Первым позвонил Николай Никодимович. Он так и представился, без фамилии и прочих уточняющих деталей, но Кузнецов почему-то мгновенно вспомнил, где он уже слышал это имя-отчество, и так же мгновенно, что уж совсем странно, сообразил, какого рода личности оно принадлежит, и даже не удивился такой своей памятью и сообразительностью. Николай Никодимович попросил Андрея Петровича зайти, и по возможности быстрее.

— Некогда мне, — сказал Кузнецов. — И никогда я без повестки к вам не ходил, можете поинте-

---

ресоваться, у вас еще небось живы те, которые помнят.

— Ладно, — бесцветно буркнул Николай Никодимович, — не тот случай, чтобы характер показывать. Да тут, вообще, и не в вас дело, просто только что Сазонов повесился.

— Как? — Кузнецов дурковато не верил. — Как так, я ведь совсем недавно, почти только что...

— Вот-вот, — раздраженно, но вежливо перебил Николай Никодимович, — наши идиоты тоже очень похоже причитают. Так что зайдите поскорее. Комната такая-то, пропуск будет заказан, — и повесил трубку не прощаясь.

Следующей позвонила Томилина. Вася в очень тяжелом состоянии находится в больнице. Нет, не в психушке, что-то то ли с сердцем, то ли с желудком, в какой-то непонятной районке, надо все срочно выяснять. И дала адрес, как потом выяснилось, в крайней степени приблизительный.

Кузнецов не успел даже удивиться, что звонит ему Томилина, а не Васина мать, как раздался еще один звонок, и Андрею Петровичу сообщили, что Общество спасения духовных ценностей России мечтает организовать персональную выставку художника Кузнецова в Грановитой палате и просит как можно быстрее отобрать как можно больше работ. Поскольку говорил мужской голос, Кузнецов, не взяв и мгновения на раздумья, очень грубо выматерился, бросил трубку и помчался разыскивать Васю. Нашел он его

---

довольно быстро, хотя, как уже сказано, информация Томилиной оказалась не слишком точной. В реанимации довольно паршивой окраинной больницы Васю не особенно настойчиво пытались оставить на этом свете. Кузнецов устроил большой переполох, вскоре подъехала и бригада знакомых ребят из Склифосовского, еще кое-кого подключили, короче, к утру появилась надежда, что Вася выкарабкается. Андрей Петрович направился домой — привести себя в порядок перед визитом к Николаю Никодимовичу, а я поясню вопрос, которым не задался Кузнецов. Относительно касательства к делу Тани.

В какой-то момент Томилина обнаружила, что вся кипучая деятельность, которую она развила в последнее время, вдруг сразу достигла целей, и неожиданно заниматься стало больше нечем. Родственный обмен с сестрой завершен. Картины разобраны, расфасованы, частью уничтожены, остальные упакованы, и по ним принято решение. В театре досрочно закончила одну большую работу, подала заявление об уходе в связи с переменой места жительства и уже перетерпела тот этап, когда еще, пусть из вежливости, но достаточно навязчиво уговаривают остаться. Так же прочно и аккуратно были запудрены мозги всем родственникам и знакомым с выдачей предельно сколь убедительной, столь и неопределенной информации. Это тоже входило в предварительные условия. И даже, самое главное: внутри самой себя был наведен полный порядок, все разложено по полочкам,

---

закреплено и полностью готово к любым бурям и натискам. Всё. Теперь только ждать, и, по многим признакам, отнюдь не долго. Вот тогда и выяснилось, что осталась еще одна мутная зацепка, непонятно каким образом, но мешающая полному душевному комфорту и боевой готовности. Варя Павшина. После той единственной встречи в закутке министерского гардероба Татьяна ни разу не пыталась поинтересоваться результатами своей миссии, с Васей не встречалась и мельком, Кузнецов молчал, а откуда еще могла поступить информация? Да, на самом деле, просто все это вылетело из головы начисто. Но вот оказалось, что нет, что нужно еще что-то довыяснить, договорить, дополнить, а если совсем честно, то и вовсе неизвестно что, но нужно. И Томилина пошла разыскивать Варю. Начала с уже известного ей места, но в министерстве сказали, что уже несколько дней, как Павшина уволилась, а почему и куда — в официальном порядке сообщить не могут, не та фигура гардеробщица, чтобы такие подробности отдел кадров интересовали, статья же, если вам очень надо, тридцать первая, по собственному. Старушка на вешалке была не столь непреклонна и рада бы поделиться, да особо нечем, как будто намекала Варя, что переезжает куда, но толком так ничего и не объяснила. Адрес Павшиной Татьяна, впрочем, получила легко. Однако соседка по квартире, мерзкая бабка, даже не пустила на порог, только буркнула через цепочку: нету, мол, съехала — и сразу захлопнула дверь. ВПЖРО

---

подтвердили, что да, все правда, квартиросъемщица Павшина с двумя несовершеннолетними детьми еще вчера была выписана с занимаемой площади. Как это неизвестно куда, у нас не буржуазное общество, у нас просто так не выписывают, у нас без указания куда и заявления не примут. Если так уж требуется, можем посмотреть. Посмотрели, но было всего лишь обозначено, что по оргнабору Междугорской АЭС. Далее Татьяна совершила почти невероятное. Она нашла в Москве контору, которая занималась этим самым оргнабором на эту самую АЭС. Зачем она это сделала, совершенно непонятно и ей самой было, совсем дурацкая затея, но искала и нашла, что-то ей такое слишком знакомое чудилось во внезапном и темном исчезновении Вари, но получилось, что искала зря, АЭС какая-то совсем закрытая, и не в Междугорье она, а Междугорья на самом деле нет никакого, да и, скорее всего, вовсе не АЭС, оргнабор, правда, видимо, существовал в реальности, но какие там списки, какие адреса, идите, девушка, по добру-поздорову, еще не так давно вас за одни такие вопросы саму потом долго бы искать стали. Томила-на немедленно (почему немедленно, что за спешка и паника, откуда вообще такие эмоции на совершенно пустом месте?) бросилась ловить в театре Васю, но и его, выяснилось, уже несколько дней там никто не видел, не обращая, впрочем, на это никакого внимания, ведь болел он довольно часто. Васиного домашнего телефона у Татьяны, конечно, не было, у Кузне-

---

цова никто не брал трубку, кадровик на совещании, но номер все-таки нашелся в вездесущем месткоме, и Томила услышала сквозь треск разболтанного автомата в вестибюле рыдания Васиной мамы. Он со вчерашнего дня исчез из дома и не подавал о себе никаких известий. За следующие несколько часов Томила узнала неожиданную для себя вещь. Как, оказывается, трудно, или даже невозможно, при всей нашей совершенной системе учета и контроля, даже в самой столице что-либо выяснить об исчезнувшем человеке, а уж если он пропал только вчера, то даже самые серьезные люди (Татьяна сказочно быстро добралась до самых серьезных) начинают двусмысленно улыбаться и не воспринимают никакие доводы относительно чрезвычайности ситуации. Короче, к вечеру Томила запаниковала окончательно, почти отчаялась, и эта отчаянная паника толкнула ее на поступок вовсе безрассудный. Она обратилась в инстанцию, право тревожить которую дано ей было лишь в крайних и исключительных случаях. И в глубине души Татьяна понимала, что вовсе не такие случаи имелись в виду и что лишний раз там напоминать о себе и беспокоить не стоит, так как все же чувствовала, несмотря на все положительные результаты, некоторую свою неполноправность, как любой человек, пусть и самый достойный, но воспользовавшийся протекцией. А все же Томила обратилась, и сделала это не задумываясь и не просчитывая вариантов, и оказалась абсолютно права. В хитром до-

---

мике на Коровинском встретила она полное понимание, делом занялась лично цыганка и вопрос решила быстро, хоть и не очень легко. Васю обнаружили в зале ожидания Аэровокзала. Он все сделал хоть и предельно просто, но с нехарактерной для него предусмотрительностью. Взял дома несколько упаковок снотворного (Васе им приходилось пользоваться хоть и в малых дозах, но постоянно, потому в аптечке всегда имелся большой запас, мать даже не обратила внимания на исчезновение его части), пришел на вокзал, в туалете проглотил всю почти сотню таблеток, после чего принял расслабленную позу на стуле в самом малолюдном углу зала и прикрыл лицо газетой. Еще очень долго никто не побеспокоил бы отдыхающего человека, если бы не странная настойчивость Томилиной и подозрительные возможности цыганки. Впрочем, и так чуть не опоздали, Вася уже отплывал. Томилина попыталась использовать свои связи на Коровинском еще и далее, отчего-то сомневаясь в силе советской медицины, но тут Татьяне без особых околичностей намекнули, что это она уже несколько хамит, правда, успокоили, что все обойдется и так, и даже почти дали совет, намекнув на Кузнецова. Ну а потом произошло уже мною рассказанное, Вася стал выкарабкиваться, Андрей Петрович поехал домой, а Татьяна осталась еще на некоторое время в больнице, чтобы договориться (?) со следующей сменой сестер и санитарок. Только перед расставанием задержала Кузнецова на несколько мгновений, проговорила

---

быстро, схватив его за рукав уже в дверях, перед самым выходом на улицу:

— Ну что ж, видать, для всех пришла пора принятия решений, так вот, ты сам мне право дал своим молчанием, я ждала, я достаточно ждала после того нашего разговора, а теперь, получается, могу сказать: все портреты остаются у тебя, они теперь твои будут, теперь ты их автор, и тебе отвечать, сама закину, очень скоро, сама, тут можешь не беспокоиться...

Андрей Петрович слушал бормотание Татьяны крайне рассеянно, как нечто вовсе к себе не относящееся, слегка кивнул на прощанье, но было совершенно ясно, что кивок этот означает согласие с последними словами насчет «не беспокоиться», что, мол, он и не собирается беспокоиться, только с последними словами и ни с чем другим, и зашагал торопливо, буркнув: «Потом, потом...» — что совсем уже непонятно что означало. Татьяна, впрочем, вела себя не лучше, она реакцию Кузнецова не восприняла, так как вовсе ее не видела и не слышала, сразу же, отпустив рукав Андрея Петровича, развернулась и исчезла во влажной пахучей белесости утренних больничных коридоров.

## 5

Дома Кузнецов пробыл недолго, привел себя в порядок способами довольно жесткими, которыми давно не пользовался, и вскоре отправился на встречу

---

с Николаем Никодимовичем в форме, которую сам для себя определил как «приемлемую». И идти было недалеко, и пропуск оказался заказан, и где кабинет, объяснили толково (у них, между прочим, тоже разгильдяйства хватает, так что я не зря обращаю внимание на эти мелочи), потому Андрей Петрович перед Николаем Никодимовичем появился всего через несколько минут после начала рабочего дня, чем поверг последнего в явное изумление. Изумление, тут же высказанное («Как это вы в такую рань умудрились...»), говорило о том, что даже привычки Кузнецова здесь достаточно хорошо известны, но Андрей Петрович никак не отреагировал, он хотел как можно быстрее получить информацию, и получил ее в полном объеме.

— Да, действительно, Виктор Сазонов повесился вчера, в своей квартире, видимо, что-то около шестнадцати часов. Экспертиза еще не дала официального заключения, но это не очень принципиально. Я не буду, Андрей Петрович, перед вами разыгрывать Порфирия Петровича (да, забыл сказать, что Николай Никодимович был поразительно похож на актера Смоктуновского, что Кузнецов отметил с первого взгляда, потому даже вздрогнул, услышав про Порфирия Петровича) и сразу вам все расскажу без малейшей недоговоренности, хоть совершенно и не обязан этого делать. Но у меня много проблем и мало времени, не могу его тратить на протоколно-допросные красоты. Так вот, смерть Сазонова — это

---

в чистом виде наша ошибка и брак в работе. Утром мы произвели обыск в его квартире, потом приехали сюда, поговорили немного предварительно и отпустили под подписку. Это модно сейчас, не дай бог переусердствовать с задержанием. Но тут, честно говоря, дело даже не в моде, просто я сам чего-то главного в Сазонове не понял, у меня и мысли не было его задерживать, он ни скрывается, ни ходу следствия помешать никак не мог, полная, казалось, гарантия, а уж насчет самоубийства... Сазонов казался совершенно спокойным, улыбался несколько раз так мягко... Я, дурак, смысла этой улыбки не понял. А он пришел домой и примерно через час повесился. Но я и сейчас многого не понимаю, почему он все же так поступил? Ведь ему если срок и грозил, то не такой уж большой, а ему сорока не было, здоровье идеальное, да и возможностей еще сколько угодно... Вы его хорошо знали?

— Знакомы мы были давно. Лет пятнадцать, наверное. А как я его знал? Думаю, что плохо. Впрочем, сейчас все это уже не имеет значения. Есть кому его хоронить? Мне почему-то кажется, что нет. Я бы занялся, если у вас нет ко мне других вопросов. А на поставленный вами я ответить не могу ничего. Почему вообще вы обратились именно ко мне?

— Хоронить Сазонова в самом деле некому. Возьмете на себя — буду только признателен. А обратился я именно к вам по многим причинам, и все же на некоторые вопросы, Андрей Петрович, вам при-

---

дется ответить и кое-что выслушать тоже придется. Первая причина самая непосредственная. Сазонов оставил записку. И адресована она лично вам. Отдать пока не могу, но прочтите и попытайтесь объяснить мне ее смысл.

«Кузнецов, больше всего мне было бы обидно, если бы ты воспринял произошедшее как подтверждение своей правоты. Постарайся понять, что и тут ты проиграл гораздо больше, чем я. Ведь мне-то жить *хочется*».

— Вряд ли, Николай Никодимович, я что-нибудь смогу вам объяснить. Все это никакого отношения к интересующему вас делу не имеет. Так, странное продолжение одного спора, который Виктор вел с самим собой, хотя отчего-то и считал, что со мной. Правда, поверьте (но несмотря на и «правда», и «поверьте»), в тоне Кузнецова совершенно не было заметно особого желания добиваться, чтобы собеседник в действительности сильно поверил правдивости Андрея Петровича), я ничего для вас полезного рассказать не могу.

— А что вы знаете про ростовское дело?

— Ну вот, наконец, добрались и до сути. Про ростовское дело я знаю сильно меньше вашего, но и при этом меня в него замешать не удастся.

— Бросьте, опять начинаете мальчишествовать, как по телефону. То, что вы тут чисты, нам прекрасно известно, иначе бы я с вами изначально не так и не о том разговаривал. Меня интересует другое: насколько

---

ко сам Сазонов понимал, куда он ввязался, он ведь тоже не был большим уголовником. Только не надо, знаете, бояться замарать светлую память друга, и фамилий с явками я у вас тоже не требую, мне сейчас главное понять ситуацию.

— Да насчет памяти я не слишком тревожусь. Виктору теперь разницы никакой. А насчет понимал ли... Опять ничего толком не скажу. Думаю, понимал ровно столько, сколько сам хотел. О ростовском деле он, конечно, знал. О нем все знали. И он поначалу, думаю, не больше других. А в последнее время... что вы у него там нашли при обыске?

— Что мы у него там нашли при обыске, этого я вам не скажу. Но намекну, что кое-что нашли. Впрочем, и это большого значения не имеет. Тут другое. У меня из системы постоянно выпадает какое-то основное смысловое звено. Ведь в Ростове были трупы. И вещи были взяты известные, много раз меченные. Сазонов об этом не мог не знать. И то, что он не самый незаметный в своем мире человек, тоже прекрасно понимал. Ну, хорошо, отбросим любые моральные ограничения, хотя уже это странно, повторяю, не был он уголовником, а то, что я так говорю, само по себе много значит, но отбросим, пусть останется элементарное чувство самосохранения, простейшая осторожность. В чем тут дело, что за дикий поступок, можете вы объяснить?

Тут Кузнецов прямо взмолился, на сей раз совершенно искренне, так что ему не пришлось даже в этой

---

свой искренности убеждать собеседника, столь она была натуральной при всей несвойственности Андрею Петровичу:

— Поймите же вы наконец, что ничего я вам объяснить не смогу, да и к чему вся эта уже отвергнутая вами литературщина и психологизация? Вы занимаетесь конкретным преступлением, ну и занимайтесь, ищите грабителей, если еще не всех нашли, какая вам теперь уже разница, что там понимал или не понимал Сазонов, что бы он ни понимал, вам точно не скажет.

— Не надо, Андрей Петрович, не надо прикидываться таким простачком-то, конечно, не расскажет. Но сейчас ведь не только и не столько о Сазонове речь. Посмотрите, что получается. Вы приходите к Виктору, как обычно, за заказом, но совершенно не как обычно проводите у него вместо нескольких минут более часа и уходите без досок. И все это буквально накануне обыска и самоубийства Сазонова. Да к тому же он оставляет для вас записку не очень понятного содержания. Можем мы на такое при расследовании, как вы выразились, конкретного преступления, не обратить внимания?

— Судя по точности ваших сведений, вы за мной следили довольно пристально. И сами уже сказали: причастности моей к ростовской истории не обнаружили. Так что вы от меня хотите? О чем мы с Виктором говорили? Вам это надо? Так могли устроить прослушивание. — Тут Николай Никодимович со-

---

строил столь выразительную гримасу, говорящую о состоянии электронного обеспечения даже в такой уважаемой организации, что Кузнецов не удержался от неуместной ухмылки. — Ладно, говорили мы. О том, что лучше: просаживать по кабакам деньги на девочек или тратить их на духовное развитие личности. Да, я совершенно серьезно. Вы не представляете, как странен мне самому был этот затеянный Виктором разговор. А без досок я ушел, потому что Сазонов сказал, будто не успел ничего подготовить. Как я теперь понимаю, просто предчувствовал скорые неприятности и не хотел меня в них впутывать. К тому же у нас договор был: я беру в работу на сто процентов только светлые вещи, а судя по тому, что вы там что-то нашли... У Виктора же были весьма четкие представления о порядочности, как вам это, с вашей точки зрения, ни покажется странным. Возможно, своеобразные, но четкие. И этих своих представлений он держался до конца. Ну вот, теперь я вам в самом деле сказал совсем все что мог, больше ничем полезен быть не могу. Когда и к кому мне обратиться насчет похорон?

— Погодите еще немного, Андрей Петрович. С похоронами проблем не возникнет, мы сами к вам обратимся. А вот про то, что рассказали все... Хотя, к сожалению, не рассказать-то вы умудрились ничего, придется по этому вопросу оставить вас в покое. То есть формальные показания мы с вас снимем и официальный протокольчик попросим подписать, но это

---

позже, время терпит. А вот по существу, раз вы сами не хотите идти на откровенный разговор, мне тогда придется кое-что высказать в виде... ну, чуть ли не ультимативном. И постарайтесь понять, насколько все это не блеф, с желанием вас напугать или, не дай бог, перевоспитать. Мы, да и что тут за «мы» скрываться, я лично тоже отношусь к вашей позиции и к вашим принципам со всяческим уважением. И не собираюсь на них покушаться. Но у нас тоже есть позиция, и есть принципы, и мы готовы их защищать с не меньшей последовательностью и с не меньшим упорством, чем вы свои. Но, впрочем, ближе к конкретной ситуации. В течение многих лет вы ходили по острию ножа. Да, с абсолютно строгой юридической точки зрения вы умудрились не совершить ни одного поступка за чертой закона, хоть и приближались порой к этой черте на немислимо опасное расстояние. Однако вам прекрасно известно, что все эти годы упомянутая строго юридическая точка зрения не была самой популярной и общеупотребительной в наших кругах. И достаточное количество людей, много менее вас склонных топтаться на пороге статей уголовного кодекса, оказались в разных неприятных местах, от психушек до лесоповалов. Неужели вы всерьез можете считать, что судьба оказалась к вам так благосклонна только из-за порядочности Сазонова и ограждения им вашей невинности? А уж сейчас и особенно — кто эту вашу невинность хранить будет? Да любой из ростовчан с превеликим счастьем опознает вас как скупщика все-

---

го награбленного, наемки ему только, что есть шанс не получить вышку. Но ни в коем случае не подумайте, что я вас шантажирую. Уже сказал, по этому делу вы проходить не будете, и тут мое слово твердо. Меня интересует вопрос принципиальный, чтобы вы до конца прониклись мыслью: так, как было, уже не будет. Мы вас не трогали, терпели или не замечали — это как вам угодно — не из-за ваших красивых глаз и не из-за особого уважения к вашему осторожному обращению с законом. Просто нас весьма устраивали одновременно две вещи. С одной стороны, то, что определенную роль, то есть реставратора, эксперта, консультанта, в известной нам серьезной компании играете именно вы, и, с другой стороны, что вы, Андрей Петрович Кузнецов, играете именно эту роль. Сейчас поясню. Нам довольно быстро стало ясным ваше чуть ли не болезненное нежелание играть в какие-либо азартные игры, кроме своих собственных. В любые игры, от меркантильных до возвышенных. И это было для нас очень удобным. Мы могли быть уверенными, что, пока окружение Сазонова прислушивается к авторитетному мнению Кузнецова, а авторитет с годами только возрастал, нам хотя бы со стороны этой достаточно многочисленной и активной группы не грозят большие неприятности, и если где-то взяли церковь или квартиру крупного коллекционера, или на Сотби появилось что-то очень знакомое, то тут нужно сначала поискать в другом месте. Но и пока Андрею Петровичу ничто не мешает лелеять

---

собственную автономию, он не доставит нам неприятностей шумными благородными поступками и не заставит применять к нему меры специального воздействия, которые всегда, говорю вам совершенно честно и откровенно, были для нас только лишними неприятностями и головной болью. Вот так все и шло и для вас, и для нас достаточно сбалансированно. Но ситуация резко изменилась. И дело не в том, что Сазонов, в конце концов, не послушался вашего совета и связался с откровенной уголовщиной. Во-первых, это когда-нибудь должно было произойти неизбежно. Такие, как Сазонов, всегда рано или поздно переступают грань. На место Сазонова придут другие, тоже продержатся некоторое время, потом и они сорвутся — и так далее. Все это прогнозируемо и потому нас вполне устраивает. И притом продолжало бы устраивать, что тут существует такой сдерживающий и стабилизирующий фактор, как Андрей Петрович Кузнецов, нам хорошо знакомый и не пугающий сюрпризами. Однако время переломилось. Мое сегодняшнее знакомство с вами — это одновременно и прощание. Да, собственно, в другом случае я, конечно, не был бы с вами столь откровенен, и вовсе, видимо, не состоялось бы такой беседы. Но мы сдаем дела. Отныне наша организация устраняется от подобной, чисто внутренней суеты. И вами начнут заниматься ребята, которые удивительно сумеют испортить вам жизнь только из чистого служебного усердия, как это ни покажется вам дико. И мы даже намеком не по-

---

советуем им оставить вас в покое. А вот на это у нас уже есть собственный резон. Потому что время переломилось во всех отношениях. И если раньше у вас в самом деле не было иного реального выхода — или комфортное зарывание в нору, или всеобщие неприятности, — то сейчас этот выход появился, и нас он более чем устраивает. Это и наш выход, и ваш выход, и всеобщий выход.

— Ого! — радостно воскликнул Кузнецов и очень весело рассмеялся. — Так, значит, Дорофеев всего-навсего из вашей конторы. И как я, дурак, сразу не сообразил? Вот уж, действительно, молодцы, не ожидал я от вас такой тонкой работы. Значит, вы мне выход предлагаете... А подписать ничего не надо?

Николай Никодимович явно совершенно искренне обиделся, и тон его стал почти неприятен:

— Очень вы, товарищ Кузнецов, зря становитесь в такую позу. Степан Иванович, к моему большому сожалению, к нашей, как вы изволили выразиться, конторе никакого отношения не имеет. Но гражданская позиция Степана Ивановича и вытекающая из нее деятельность находят во всех здоровых кругах общества, в том числе и в нашем, самую широкую поддержку и самое глубокое понимание. Ваша же реакция в данном случае полностью противоречит здравому смыслу. Хорошо, довольно долгое время социальная ситуация не давала вам возможности самовыражения в тех формах, которые бы вас

---

устраивали. И вы избрали удобную для себя манеру существования, которая кому-то могла больше нравиться, кому-то меньше, но была вполне логичной и всеобщего равновесия не нарушала. Сейчас же ситуация резко переменялась. Перед вами открыты все пути, вам предоставлены все возможности, более того — не знаю почему, это меня не касается, но, видимо, есть достаточно веские основания, — вам оказывается особое расположение. И уже в таком случае ваше брезгливое фырканье может восприниматься или как детский каприз, или уж, извините, как какие-то психические асоциальные отклонения. Но мне все же кажется, что вы просто не до конца осознали суть происходящих перемен, не успели еще отойти от слишком укоренившегося стереотипа поведения, и вам всего лишь нужно время для раздумий. А вас, собственно, никто и не торопит. Мы сами всегда выступаем прежде всего за продуманность решений. За продуманность, но и за ответственность.

— Послушайте, гражданин начальник, а давайте по-простому. Насчет психических отклонений — это вы мне психушкой грозите? Так давайте тогда весь расклад — за это тебе то будет, а за это столько и по такой-то статье, чтобы мне в самом деле о чем было подумать. Иначе какое ответственное решение, опять капризы могут начаться, нет, со мной определеннее надо...

Глубоко и огорченно вздохнув, Николай Никодимович встал:

---

— Нет, ничего, равным счетом ничего вы, Андрей Петрович, не поняли в нашем разговоре. Не захотели или не смогли. Впрочем, признаюсь откровенно, меня лично все это перестает так уж сильно трогать. Я свое дело сделал и считаю, что добросовестно. А прочее — дело ваше. Согласны вы или не согласны, но время диспетчера Кузнецова закончено. И чем быстрее свыкнетесь с этой мыслью, тем менее болезненным будет переходный период. Но деться вам все равно некуда, даже таких сомнительных лазеек, как срок и психушка, уже не оставлено, не надо наивничать. Прощайте, Андрей Петрович. Приятно было с вами работать, расстаюсь не без сожаления. Прощайте.

## 6

Кузнецов вернулся домой и позвонил в больницу. Сказали, что Вася еще в сознание не приходил, но этого уже ожидают, и прогнозы приличные. Едва повесил трубку, как позвонила Томилина, Андрей Петрович ей пересказал новости, Татьяна сообщила, что освободится ближе к вечеру и заедет в больницу проверить, как и что, договорились, если потребуется, разыщет Кузнецова. Затем Андрей Петрович набрал номер Елены, но там никто не подошел. И тут раздался звонок в дверь. На пороге стоял скупое, но радостно улыбающийся Гундосый. Он прижал руки

---

к груди и произнес с ноткой неформальной торжественности:

— Ну вот, наконец, я к вам и пришел, Андрей Петрович!

Кузнецов молча пропустил гостя в квартиру и, медленно подняв глаза (начиналась головная боль, движения становились осторожными), вяло поинтересовался, что, собственно, означает странная приветственная фраза.

— Да какая же странность, какая же тут странность, — защебетал Гундосый, не замечая или нарочно игнорируя полнейшее несоответствие собственной жизнерадостности с первого взгляда заметному паршивому состоянию Кузнецова. — В чем таком вы могли странность усмотреть?! Ведь давно же сами, Андрей Петрович, хотели меня видеть и говорить со мной, да я и сам желал, порой едва сдерживался, но нельзя было, никак нельзя было раньше, а вот теперь время настало, и я пришел, пришел, наконец-то, и рад этому, и признаюсь без экивоков, что рад, а вы вдруг какую-то странность усматриваете!

— Хорошо, хорошо, — промямлил Кузнецов, неприятно щуря глаза, — все хорошо, если не так громко и быстро. И вот еще что. — Он начал явно с трудом подбирать слова. — Я не хочу... хамить, я и вправду собирался поговорить, но тут столько всего... Поэтому давайте так... Если опять этим тоном... Да не в тоне дело, а просто хватит с меня карнавала, устал я несколько... от ваших праздников... Хотите

---

просто и коротко — валяйте. Нет — хотя бы перенесем. Сегодня я не в форме. — Гундосый мгновенно проявил чудеса конформизма, смягчился и попростел лицом, глаза притушил до температуры окружающей среды. Кузнецов перемены счел достаточными и пригласил гостя в комнату. Гундосый сел первым и тут же раскрыл рот с явным желанием продолжать речь, но вдруг мгновенно рот закрыл и уставился на Кузнецова с исключительным вниманием и готовностью слушать. А поскольку Андрей Петрович еще раньше всем своим видом выразил точно такую же готовность в отношении Гундосого, то возникла некоторая пауза, прерывать которую, казалось, не собирался никто из присутствующих. В какой-то момент Кузнецов даже раздражился и вознамерился все-таки выставить почтальона, как нарушителя конвенции, но вовремя взял себя в руки и взглянул на ситуацию самокритично.

— Может, вы и правы, — сказал он. — Хоть я вас и не звал, но мысль о встрече имел и, кажется, где-то даже ее высказывал. — Гундосый сразу часто-часто закивал, всяческими мимическими средствами подтверждая, что да-да, и имел, и высказывал, и о том имени и высказывании Гундосому отлично известно, но, кроме того, в частоте киваний почтальона Кузнецову почудился легкий осуждающий намек, который Андрей Петрович ни к чему более не смог отнести, как только к собственному косноязычию. И тогда Кузнецов ляпнул с не очень свойственной ему греческой вежливостью:

---

— Вы их когда предали?

Гундосый подождал ровно на одно мгновение дольше, чем требовалось обычному сообразительному человеку для понимания, что продолжения вопроса не последует, и только затем подтвердил свое понимание, так и сказав:

— Понимаю, Андрей Петрович. Выражение, вы, правда, употребили крайне общее, о сущности понятия предательства можно рассуждать годами. — Кузнецов чрезвычайно четко выразил на своем лице полное нежелание рассуждать годами о чем бы то ни было. — Но мне кажется, я в самом деле понимаю, что вы имеете в виду. Да, я совершил переход на противоположную сторону. Скажу более: вы, может быть, пока не знаете, но я совершил его даже два раза. Сначала ведь меня отобрали и даже почти зафиксировали самым обычным путем. Вижу, вам это кажется странным и вызывает недоверие, личность моя представляется слишком незначительной для отбора. Вы еще более можете удивиться, когда услышите, что я совершенно обычный почтальон, а не липовый диспетчер автобазы, почтальон по духу и даже происхождению, почтальонские корни моих предков теряются в глубине веков. И все же я был отобран и всю процедуру прошел до конца, почти до конца, и сомнениями всякими мучился, и успокоительные теории строил, и алкашами соблазнялся, и даже удостоен был самого Дорофеева лицемерья. Так что вам может и обидным показаться, ведь каждому

---

его случай представляется исключительным, но я все то же, что и вы, прошел поначалу, ладно, пусть не совсем то же, а, без сомнений, подобие достаточное. И, в конце концов, они меня убедили.

— Алкаши или Полковник? — строго уточнил Кузнецов. Надо отметить, что он вообще за несколько последних минут, хоть и с видимым усилием, но сосредоточился и слушал Гундосого с не совсем обычной старательностью. Правда, и Гундосый отвечал Андрею Петровичу без прежнего ерничества, демонстрировал серьезность и обстоятельность:

— Тогда еще Лысый был на десятых ролях, Председатель сам всем занимался, просто сейчас у него легкие личные неприятности, да там все уже практически в порядке, вы скоро сами с ним познакомитесь. А убедили меня, конечно, алкаши, как вы довольно метко определили компанию Дорофеева. Я уже и шкатулку получил, и о последнем сроке был уведомлен, как они моим охмурением занялись. Должен сказать, но это я уже потом увидел, что сыграли они главным образом на моем классовом сознании и социальном чутье. То есть с самого начала избрали тактику чрезвычайно верную. Мои личные права на выбор, на исход, на исключительность и отдельность судьбы не то что ни под какое сомнение не ставились, а вовсе как бы выносились за скобки постоянным знаком. Основной же упор делался на мысль простейшую, но соблазнительно многослойную: а как же, мол, остальные почтальоны? Это

---

вам сейчас может показаться примитивным, но вы вдумайтесь. Ведь, действительно, ученый там или поэт — суть его любого действия в том, чтобы создать нечто, совершить такое, что принципиально отличается от созданий и свершений всех прочих. То есть, если и имеется, к примеру, стремление к какой-то идеальной поэзии, то сам этот идеал предполагает уникальность. И получается, что даже чисто профессионально поэт, пусть самый плохой поэт, уже готов быть не как все. А в чем идеал почтальона? Вам это сочетание слов может показаться дурацким. — По виду Кузнецова было ясно, что дурацким не кажется. — Но идеал везде есть, вне зависимости от уровня наших амбиций и притязаний. Так вот, идеал почтальона сродни идеалу железнодорожника в стремлении к наиболее упорядоченной обезличенности. И письмо, и поезд должны быть доставлены именно тогда, когда должны быть, не раньше и не позже, вне зависимости от каких-либо особенностей души почтальона или машиниста. Но если последнему еще есть на что опереться своей податливой и склонной к хаосу человеческой натурой, его всегда всей своей структурной мощью поддержит железнодорожное расписание, то почтальон — я имею в виду, естественно, настоящего почтальона, а не всех этих самозванцев по совместительству или неприкаянности, — так вот, настоящий почтальон вынужден каркас безличной упорядоченности возвращать в собственной душе.

---

---

— Достаточно, — сказал Кузнецов. Он до этого момента слушал и без намека на какое-то нетерпение, а тут вдруг сразу сказал: — Достаточно, — и таким тоном, что Гундосый мгновенно замолчал и, осознав, видимо, некую неприемлемость для хозяина своей манеры изложения, со вниманием уставился на Кузнецова, ожидая разъяснений, которые и последовали. — Достаточно мне голову морочить. Я уже все понял про неординарность вашей натуры. Алкаши вам объяснили, что нехорошо бросать тут остальных почтальонов, — вы к ним переметнулись. Но потом классовое чувство опять дало сбой, и вновь вы у Лысого со шкатулкой. И ради подобной истории вы затруднили себя визитом ко мне?

— Да, — со строгой простотой и полнейшей откровенностью подтвердил Гундосый. — Да, именно ради нее и затруднил. Чего-то более сложного хотели? Извините, не держим. — И вдруг быстро встал и пошел к двери. Успел даже приоткрыть ее, прежде чем Кузнецов медленно и чуть ли не с обидой (вовсе ему несвойственная интонация) протянул:

— Зря вы свой характер показываете...

— Ах, зря?! — Гундосый тут же вернулся и сел на прежнее место. — Это я-то зря показываю? — Голос стал почти откровенно зол, и следа не осталось от обычной благодати. — Что же вы сами делаете, Андрей Петрович, и зачем встретиться со мной пожелали? Думали, я приду и аккуратненько все вам по полочкам разложу? У этих, мол, такие-то условия,

---

---

перспективы, такие-то плюсы и минусы, а у этих, пожалуйста, вот такие-то. Это нам при одних условиях больше подходит, а это при других. Андрей Петрович не спеша прикинет, что к чему, со свойственной ему безошибочностью отметет любое, хоть малость не соответствующее высочайшим понятиям Андрея Петровича о нравственности, и сделает окончательный выбор. Нет уж, уважаемый, все это наглое вранье и ломание, в котором даже я, всеми презираемый предатель, участия принимать не собираюсь. Это уж вы тогда с Дорофеевым, будьте любезны. Или с Председателем. Одно и то же на самом деле. Я ведь от алкашей потому и ушел, что одно и то же. Председатель знает точно — отбор необходим. Дорофеев также уверен — допустить отбор нельзя, нельзя допустить и до отбора. И для каждого из них самая большая ересь в мысли о самоценности самого выбора, прежде всего...

— Ага, — поддакнул Кузнецов, — и там плохо, и тут не лучше, но зато дорога...

— Знаете что, Андрей Петрович, — чуть не взвился Гундосый, — вы все-таки удивительный тип в своем желании любую ситуацию свести до уровня старого пошлого анекдота. Самое для меня странное, почему у вас до сих пор с любой из этих двух компаний не возникло полнейшей душевной близости. Да разве дело в том, где плохо, а где хорошо? Ведь единственная реальная ценность — свобода определения этих «плохо» и «хорошо» лично для тебя.

---

— А что же вы сами тогда с книгой бегаєте, — продолжил тоном своим выказывать крайнее миролюбие Кузнецов, все более контрастируя с взьерошенностью гостя. — Кто мне, интересно, первым стал идейку подкидывать шкатулку прикарманить? И насчет того, что терять здесь нечего?

— И неправда! И неправда! — уже почти кричал Гундосый. — Ничего я не подкидывал, только одного хотел, чтобы вы сами хоть чуть-чуть думать начали. Я постарался вам лишь толчок дать, импульс изначальный, а вы на меня ответственность за окончательное решение свалить пытаетесь!

Но Кузнецов не дал себя сбить криками:

— Что-то все равно у вас никак не увязывается. Пусть вы пытаетесь представить какую-то третью сторону, пусть отмежевываетесь и от алкашей, и от Лысого, но методика-то у всех у вас одна. Те тянут каждый на свою сторону, не предоставляя никакой информации, вы же вроде как апологет свободы выбора, а все на том же нуле данных, система «пойди туда, не знаю куда», что всю вашу декларацию свободы сводит полностью на нет.

— Смешно вы, право, рассуждаете. — И Гундосый в самом деле хихикнул, как будто ему вправду смешно. — Какое-то у вас мышление лобовое, не ожидал даже. Вы что, действительно думаете, будто степень свободы выбора базируется на степени знания предмета? Детский лепет, право слово. Возьмите любую элементарную модель. Жениться — не

---

жениться, ехать — не ехать, рожать — не рожать. Да кто же по-настоящему знает, на ком он женится, куда едет или кого рождает? Все это глупая иллюзия, не нужно тут никакого знания. Единственное, что требуется знать как следует, — самого себя. Только это знание все решает, только оно. А самый важный выбор, он ведь у каждого имеющего голову хоть раз в жизни, но бывает, — уйти или остаться, — разве делают его на основании углубленного изучения сведений о том свете? Нет, ответ исключительно внутри, только в тебе, и так во всем, и никакая, Андрей Петрович, не нужна вам дополнительная информация, а необходимой у вас имеется более чем достаточно.

— А у вас? — вдруг быстро спросил Кузнецов.

— Что у меня? — не сразу переключился Гундосый.

— Ну, у вас информации, то есть, по-вашему, «знания себя», тоже более чем? Что же вы так долго из стороны в сторону шарахались, да и сейчас я толком не понимаю, приняли вы шкатулку или нет. Вам-то, выходит, не только дополнительная информация для выбора потребовалась, но еще и опыт, и проверка на собственной шкуре, а от меня вы требуете шага с крыши с завязанными глазами на основании лишь внутреннего самочувствия?

— Ничего я от вас не требую, — сказал Гундосый неожиданно тихо и почти грустно. — А шаг этот вы сделаете все равно именно на таком основании — и ни на каком другом. Только голову будете

---

себе лишней раз морочить. И никуда я не шарахаюсь. Я ведь и не говорил, что любой выбор безошибочен. Он правилен. А это не одно и то же — «правильный» и «безошибочный». Можно быть правым и ошибаясь, а уж неправым, не ошибаясь, — сплошь и рядом, тут сомнений нет. И выбор я свой давно сделал, но это выбор почтальона, вам его не понять. Вы не почтальон. Вот и вы свой сможете сделать только тогда, когда поймете, кто вы. Может быть, вам в самом деле и нужна дополнительная информация, но лишь о вас самом, а не та, которой вы так настойчиво добиваетесь.

Уже когда, уходя, Гундосый стоял в дверях, Кузнецов вместо прощания спросил с мрачноватым нажимом:

— А вы точно уверены, что я тоже не почтальон?

Тут гость впервые улыбнулся с совершенным спокойствием и искренностью:

— Точно. Уверен. Вы слишком поздно встаете и не любите долго держать в руках нераспечатанные письма. Так что можете быть спокойны.

## 7

А потом позвонила Елена. Кузнецов, как только услышал ее голос, сразу же хотел сказать что-то типа: «Ты где была? Я тебе недавно звонил», — то есть фразу, которую автоматически говорил любому,

---

кому на самом деле незадолго до того звонил и не застал дома. Но тут же то ли вспомнил, то ли сообразил, что в данном случае этот автоматизм может быть воспринят как-то не так, а потом сразу же вернулось ощущение, восстанавливающее всю ситуацию, объясняющую, почему может и почему не так, и Андрей Петрович как-то загнулся после «алло», возникла не совсем ловкая пауза, потрескивающая телефонная муть, в которой прозвучал предельно лишенный интонационной окраски голос Елены:

— Нам нужно увидеться.

Кузнецов прекрасно знал, в какой ситуации каждая женщина произносит именно эту фразу и именно таким тоном. Он, правда, хотел было задать столь же стандартный в этом случае вопрос: «А ты уверена?» — но тут же понял, что Елена может отнести вопрос не к тому, что стоит за ее фразой, а к самому факту встречи, и потому всего лишь, снова после неловкой паузы, торопливо подтвердил:

— Да-да, конечно, назначай время.

И время было назначено.

Больше ни на что у Кузнецова в тот день сил не оставалось, хоть и одна лишь бессонная ночь, но годы уже не те, а ведь помните, по двенадцать часов без перерыва просиживали за картами, утром к открытию шли завтракать напротив в «Будапешт» (селедочка по-сегедски с холодным пивом, а паштет...), потом разъезжались каждый по своим делам, и дел этих было много, и все их делали, а потом часикам к

---

восьми, когда начнет спадать жара, снова собирались, кидали на пальцах, кто сегодня не пьет и за рулем, и ехали на двух, а то и на трех машинах в «Архангельское», «Кооператор» или «Русскую сказку», где за все платил выигравший прошлой ночью. А оттуда снова к Петьке и за карты, и снова до утра, и так подряд пять, шесть, а бывало, и семь суток без перерыва, и ничего, никто внимания не обращал. А на днях мне Петька звонил из Калифорнии, ну его, к чертовой матери, говорит, этот магазин джинсов, сплю и вижу, кому бы его загнать, никаких сил нет пахать по двенадцать часов с одним выходным, перехожу, говорит, в трэвел-бизнес, буду в Москву летать, может, хоть по дороге отосплюсь. Вот что значит возраст. Короче, уставший Андрей Петрович лег спать довольно рано и проснулся на следующее утро перед работой вполне свежим.

Алкашей у Лермонтова не было, и Кузнецов, хоть и отметил их отсутствие, но поймал себя на мысли, что впервые за последнее время ему даже совсем не интересно, есть они или нет, как-то вдруг надобность и заинтересованность в них вовсе отпала. И рыжей не было в тамбуре. «Виктории Львовны», — поправил себя Кузнецов, но тут же отмахнулся, нет, никакой не Львовны, а рыжей не было сегодня в тамбуре, и вдруг Андрей Петрович жестко и ясно, до медного привкуса на зубах, понял, что все закончилось, и закончилось навсегда, не прошло, не осталось позади, а просто отрезано и исчезло. И ис-

---

чезновение это полностью обесценивало не только само исчезнувшее, но и все оставшееся. И уже совершенно безразличным взглядом смотрел Кузнецов, когда ехал через сутки с работы, как вошел в вагон спутник рыжей с уставшими глазами и насильно раздвинутым в улыбке ртом, как за ним впорхнули две слегка подвыпившие девочки лет по восемнадцать, раскрашенные с непередаваемым упорством и умением, тайну которого бережно хранит дальнейшее Подмосковье. И как сели они втроем на скамейку рядом с Андреем Петровичем и, потягивая пиво из грязноватых бутылок, продолжили, видать, давно начавшееся довольно бессвязное общение, предельно разбавленное мерзковатым хихиканьем девиц и горделиво самодовольным мычанием парня, что, впрочем, никак не могло повлиять на незамутненную тупость сути самой беседы. Правда, в какой-то момент Кузнецов на мгновение почувствовал легкий налет удивления от того, насколько присутствие рядом рыжей при прежних встречах волшебным образом создавало изысканную иллюзию на месте ее спутника и как на подобную уловку попался зритель, менее всего подверженный восприятию такого рода иллюзий... Но момент этот промелькнул легко, безболезненно и бесследно, взгляд Андрея Петровича остался прежним, и дерзкий рыжий образ навсегда ушел от него в ознобливом тошнотворном мареве пустеющей подмосковной электрички второй половины дня самого неприятного времени года.

---

---

А вот Федя Бадмаев явился без звонка. И с звонком-то не являлся уже неизвестно сколько лет, а тут нарисовался. Ждал, стоял на лестничной клетке, в уголке, даже не рядом с дверью. Тихонько так стоял, всячески старался быть незаметным. Смотрелось нелепо, но не весело. Кузнецов кивнул без удивления, повернул ключ в замке, приглашающе чуть посторонился, пропуская посетителя.

— Что ты, что ты... — тихо, почти шепотом заторопился Федя, — давай здесь, я быстро, мне всего-то пару слов...

— Не дури, Бадмаев, совсем, что ли, нервы сдали, кому я нужен, слушать меня?

— Ты, может, и не нужен, да и нервы, конечно... Ну, я очень прошу, давай вот отойдем к окошку, правда, всего минуту, пожалуйста...

Кузнецов вздохнул, скорее устало, чем тяжело, даже дверь прикрывать не стал, подошел к подоконнику:

— Да не дергайся ты так. Твоя фамилия даже не упоминалась. Я бы и так ничего не сказал, мне и нечего, ты сам знаешь, но никто даже не спрашивал, успокойся.

— Знаю, знаю, — отмахнулся Бадмаев, хотя отмахнулся как-то странно, не поднимая руки, одной кистью, — что ты, я и подумать не мог, я знаю, что не сказал, меня ведь тоже Никодимыч вызывал, я

---

---

сразу понял, что он ничего не знает, если бы ты чего сказал...

— Послушай меня внимательно, Федя, — Кузнецов прервал торопливый и слегка путанный монолог незваного гостя голосом довольно неприятным, но без видимого раздражения, хотя следующие слова постарался произнести предельно четко, не столько даже говоря, сколько как бы диктуя:

— Это не он, это я ничего ни о чем не знаю. А потому ничего ни о чем и ни о ком рассказать не могу. Твоя минута закончилась. Можно я пойду? — И уже сделал шаг к двери, но Бадмаев вдруг буквально вцепился Андрею Петровичу в локоть, чего, естественно, никогда не только не позволял себе, а даже помыслить о чем не мог:

— Я тебя умоляю, ну, секундочку еще подожди, я совсем про другое хотел спросить. Я ведь, понимаешь, честно говоря, в смысле Никодимыча, то есть мы с ним, то есть мы с ним, конечно, ничего...

— Да прекрати ты егозить, Федя, — Кузнецов высвободил локоть решительно, но без малейшей попытки обидеть. — Знаю я прекрасно, что ты слегка постукивал. И все знают. Но тебя ж никто никогда, ни единым словом...

Бадмаев мгновенно изобразил жертву великого оскорбления и страшного оговора:

— Андрей, как ты мог!.. — но тут же понял, что и изображение получилось не очень, и зритель не тот,

---

потому мгновенно скис: — Ой, да перестань, Кузнецов, ну, ты же должен понимать...

— Все я очень хорошо понимаю. Грань ты никогда не преступал и серьезной пакости от тебя не было, и случаи были, когда даже наоборот... Короче, сказал ведь уже, что никаких претензий. Но тебе-то от меня сейчас чего надо, если какие проблемы, то тебе лучше к своему Никодимычу... Ну ладно, ладно, не к своему, — увидев снова попытку Феди начать мимический спектакль и совсем не желая его созерцать вновь, Кузнецов решился на явную уступку. — Хорошо, не к своему совершенно, а полностью там чужие и посторонние люди тебе все объяснят гораздо лучше, чем я. И поддержат, и помогут, раз сам сказал, по ростовскому делу у них к тебе претензий нет. Неужели ты не понимаешь, что я последний человек, который может тебе нынче быть полезен?

— Так вот в этом-то и дело Андрей, вот тут-то и главный вопрос, я именно по нему-то ничего и не понял. То есть, я как раз очень хорошо понял, вернее, даже почувствовал, но это точно, что они что-то задумали серьезное. И даже не просто задумали, а уже чуть ли ни готовы сделать, а уже, может, и начали. Они как бы к нам интерес потеряли. Я сначала подумал, только ко мне, и слава богу, мне, сам понимаешь, сейчас как раз лишний интерес... Но нет. К нам. То есть, похоже, к совсем-совсем нам... А, может, что массовое, может, какое окончательное решение вопроса намечается? Я, знаешь, человек не старый и

---

даже как будто не из этих, но память о начале пятидесятих, она не только в генах... Вот я и подумал, что, может, ты, о тебе Никодимыч так, довольно уважительно...

— Так вот что тебя взволновало, Бадмаев, — Андрей Петрович уже чуть не улыбался и явно потеплел. — Ну, что ты, перестань, какие такие решения вопросов, приди в себя... Нет у меня, конечно, никакой особо тайной информации, да и отношения у нас, про уважительность, это ты несколько... Но я думаю, что дергаться, а уж особенно тебе, совсем не следует. Действительно, происходит у них что-то, видимо, достаточно принципиальное, но не похоже, что для нас особо страшное. Да, правда, не знаю я ничего точно! — уже чуть не выкрикнул Кузнецов в ответ на поднятые в этот момент Федины глаза с зарождающимся блеском благодарности и надежды. — Предположения только одни. Ну, скажем, просто устали люди. То есть, естественно, не в нашем понимании устали, а просто понятно, что дальше все это бессмысленно. Ты сам посмотри вокруг. Сколько все это еще может продолжаться. Хорошо, десять лет еще, двадцать... А толку? Это у них основатель железный был, а эти, как я понимаю, вполне даже из плоти и крови. И вполне структура с тоски забарахлить может. Или игры какие внутренние. Что даже, скорее всего. Это ж только извне впечатление монолита и нерушимого единства, а копни поглубже любую такую контору... А еще просто бывают чисто

---

формальные изменения структуры, мы ведь на самом деле представления не имеем, как там в реальности все устроено. Да миллион еще вариантов, но мне почему-то совсем не то что не страшно, а даже не тревожно, я как-то так близко на свой счет совсем не принимаю. Конечно, конечно, это только мое мнение, но ведь ты же мнения и хотел, хотя ты, может, и другого чего хотел, но тут, извини, действительно, ничем более... А подожди, — у Кузнецова вдруг и тон, и взгляд сделались чуть более заинтересованными, чем обычно при общении с Федей, — подожди, может, у тебя как раз что-то более конкретное ко мне, ты всегда в делах практических много смысленнее меня оказывался, а теперь, когда Никодимыч тебя совсем за штат вывел...

Бадмаев даже оскорбленную невинность изображать более не стал, поморщился только да вздохнул негромко:

— Ну, в самом деле, чепуха какая, Андрей, какой штат, совсем несмешно, давай, больше не будем об этом... Я другое хотел сказать. Я ведь тебе специально перед разговором с Никодимычем не звонил, я даже намеком не хотел, знаю тебя, ты бы обязательно чепуху какую-то усмотрел, что я, мол, подкупить желаю. Хотя знал, что тебя вызывают и, признаться, дергался несколько, нет-нет, ни в коем случае про твою порядочность, просто там, знаешь, бывает, у любого совершенно случайно вырваться может; как ни крути, а товарищи не без способностей все-таки по

---

этой части... Но сейчас-то ты уже ничего такого заподозрить не сможешь, теперь-то мне от тебя не надо ничего, и даже с твоим повышенным чистоплюйством пакости не усмотреть. Короче, если ты прав, и ничего страшного, а может, даже щелочка какая появится, то я, будь уверен, не пропущу. Было, было некоторое, ну что тут уж дальше темнить, эти ребята думали, что они меня используют, но тут еще разобраться на самом деле... Мы тоже кое-что за эти годы, кое-как, кое с кем и не без пользы... И ты только знай, Кузнецов, что я все оценил, я в благодарностях сейчас рассыпаться не буду, но, поверь, как только появится малейшая возможность...

На последних нескольких фразах заинтересованность и благожелательность Андрея Петровича исчезли столь же быстро, сколь и появились, он довольно вяло кивнул Бадмаеву и на последних Федичных словах уже входил в квартиру, успев услышать практически из-за двери:

— Господи, Андрей, только бы ты не ошибался!..

## 9

У сестер Томилиных как-то толком повидаться последнее время не очень получалось. Иногда пересекались у родителей, но больше на бегу: Татьяна заскакивает, Наталия уже убегает, или наоборот. По

---

телефону несколько раз в месяц, а может, и не несколько уже, а может, и не в месяц, но все равно, без особых подробностей, так — как будто относительный порядок, и слава богу. И это не то чтобы кошка какая-то пробежала, или пакость была затаенная, а просто... Да что, у вас у самих сестер-братьев нет что ли, должны понимать. Но когда Наталия позвонила, сказала, что зайдет навестить, Татьяна обрадовалась искренне, уходя на работу, ключ под ковриком оставила, чтоб сестре не ждать, если раньше придет. И действительно: вернувшись, застала Наталию уже у себя, она стояла перед тем самым станком с подрамником, мешковину скинула на пол и рассматривала портрет с непривычной для себя внимательностью. Обернулась медленно, не менее внимательно посмотрела на сестру:

— Это твой, что ли?

Вопрос, конечно, можно было понять двояко, но, судя по реакции, не его уточнение потребовалось Татьяне:

— А ты, что, видишь его? — И тут же язык прикусила, но Наталия восприняла по-своему, сразу потеряв интерес к холсту:

— Я вашим птичьим языком не очень владею, с терминами тяжело, мы люди простые... — Отшла к дивану, села. — Да бог с ним. Я ненадолго, но это достаточно важно, поэтому я сразу, без предисловий, ты меня только выслушай, не перебивай, все, что захочешь, скажешь потом, хотя я от тебя ответов

---

никаких не прошу, и вроде бы они мне и не нужны вовсе.

Татьяна, естественно выразила на лице некое удивление крайне нехарактерными для сестры тоном и манерой изложения, но не чрезмерно, и, тоже присев, сестру не перебивала.

— Видишь ли, Танюша, до меня тут на днях, и, поверь, совершенно не по моей воле, а даже в какой-то степени против, дошла информация, или не совсем информация... Только вот не надо меня ни о чем спрашивать, — предугадала она естественную попытку Татьяны открыть, наконец, рот. — Я что знаю и что смогу сказать, сама подробнее объясню, а ты потом, потом... Короче, относительно этого жениха твоего, и переезда, и родственного обмена... То есть, насчет именно жениха как раз информации совершенно никакой, но мне, похоже, уж это-то совсем лишнее. А вот с квартирой мне, думаю, надо совсем конкретно и подробно объясниться. Я, если честно, сначала решила все на самотек пустить. Пусть, мол, ордер выпишут, а там уже все равно никто никуда не денется. Но чепуха все это, тут особое надо устройство иметь, хорошо, поняла быстро. Так что я тебе уже сейчас говорю, подумав, это не первая такая реакция ошалевшей от неожиданных перспектив девчонки. Ты сама решай, бумажек пока ведь никаких нету, все еще совершенно спокойно переиграть можно, я узнавала, но только решай окончательно. Я обратно уже не съеду. Я если от родителей соскочу наконец,

---

то все, никаких вариантов. То есть не то что я тебя в случае чего на порог не пущу, это твоя квартира, она тебе не в подарок досталась, это только мамочка может считать, что в подарок, я-то прекрасно понимаю, но сама я уже в отчий дом не вернусь — извини. Так что решай сейчас, пока время есть, и понимай, что не только за себя решаешь.

Татьяна более ни единой попытки перебить сестру не делала. Более того, когда та как будто закончила монолог или, по крайней мере, сделала паузу и подняла глаза с выражением все-таки чуть-чуть вопросительным, старшая Томилина ровным счетом никак не отреагировала, продолжая крайне заинтересованно и внимательно разглядывать лицо Наталии. И, как ни странно, мысли ее были крайне далеки от услышанного. Она вдруг с совершенно неестественной, почти остервенелой тоской поняла, а может, и не поняла еще до конца, но начала явно догадываться, что упустила что-то важное, может быть, самое важное, что вот чей портрет надо было писать последним, что как быстро растут дети, что самое близкое иногда замечаешь слишком поздно, что порой и самый лучший художник с самым совершенным взглядом оказывается удивительно слепым... Татьяна встала, подошла к сестре, провела рукой по ее волосам. Знала, что Наталия этого не любит, но сейчас ей захотелось погладить девочку, и погладить именно так, и почему-то не сомневалась, что Наталия не будет против, и Наталия не была.

---

— Знаешь, сестренка, ты сейчас, пожалуй, иди. Мы с тобой еще пообщаемся, и еще не раз, я, может, только теперь догадалась, насколько нам это потребуется, вернее даже, мне потребуется. И с квартирой голову себе не морочь. Квартира — это, конечно, очень важно. Это, наверное, даже, одно из самых наиважнейших. Но, поверь, есть вещи гораздо более серьезные. Несоизмеримо. Иди. Я все решу. Я позвоню тебе. Иди.

Наталия вышла как-то очень тихо и быстро. Татьяна подошла к холсту, с усилием, что-то стала быстро устывать последнее время, подняла мешковину, заботливо укутала станок. И принялась подробно, очень подробно оглядывать все вокруг, пытаюсь одновременно что-нибудь чувствовать. Ничего не почувствовала.

## 10

Георгий Александрович Платов родился в конце прошлого века. Фамилия его к громким успехам известного атамана касательства не имела и графскими достоинствами никогда не отличалась, однако в родословной книге Орловской губернии значилась на полном основании, хоть и по четвертой части. Впрочем, если в лице и даже иногда в повадках деда Платова еще проскальзывала некоторая инородность, то юный Георгий смотрелся форменным русаком, а уж

---

нрав и замашки сызмальства имел самые отечественные. Верно угадав в них явную угрозу благополучию обширного, незаложенного и приносящего прекрасный доход имения, матушка, до болезненных судорог крошечного невыразительного лица любящая своего единственного сына, отослала учиться его перед началом десятых годов в солидный немецкий университет, хоть и слегла после этого на три месяца с тяжелой и тоскливой мигренью. Георгий Александрович очень любил матушку, трепетно относился к памяти странно и рано скончавшегося батюшки, не имел малейшего желания унижить достоинство рода, однако еще до окончания родительской мигрени умудрился перекочевать из добротных гейдельбергских аудиторий в крайне сомнительное итальянское палаццо, где человек без имени и, похоже, просто еврей вроде бы подающим надежду юношам якобы давал уроки чистоты и ясности античного рисунка, которого, как известно, вовсе не существовало. Чему юноша обучился у ложного итальянца, непонятно, да и место пребывания Георгия Платова в разных точках Европы и в разное время трактуется большинством историков живописи и искусствоведов весьма неопределенно, а меньшинством замалчивается полностью. Доподлинно известно всего несколько фактов, связанных с «Ротондой», и то установить их удалось по нескольким подаренным Платову салфеткам с рисунками Модильяни и сделанными им же не совсем приличными надписями. Кое-где в специальной литературе упоминается еще

---

мерзкая драка в публичном доме между Платовым и Лотреком, но серьезные исследователи не позволяют себе отнести этот факт к достоверным. Как бы там ни было, нет сомнений, что самые красочные моменты российской истории Георгий Александрович умудрился пропустить, впрочем, не выказывая по этому поводу никогда и малейшего сожаления. Только в начале двадцатых появился он каким-то темным образом в Москве, несколько лет помотался между ней и Петроградом (Татлин запустил в Платова гаечным ключом, Маяковский — пепельницей), потом столь же темным путем с совсем уже темным мандатом от некой всемирной, одновременно коммунистической, культурной и благотворительной организации Платов вновь умудрился выбраться в Европу. Матушка его к тому времени скончалась, от имени, естественно, не осталось и следа, друзья и связи, даже родственные, практически исчезли, и если кто вспоминал случайно о Георгии Александровиче, не сомневался, что больше в России его не увидит. В нескольких частных коллекциях Бостона и Филадельфии есть с десяток работ, принадлежащих или приписываемых кисти Платова, но следов пребывания его самого в Новом Свете практически не имеется, как почти всегда в жизни этого человека — только слухи и домыслы. Несомненно одно: в начале тридцать пятого по заранее заказанному пропуску Платов вошел в один из тихих московских кабинетов и провел в нем более часа. Дед мой, Вячеслав Иванович, был соседом

---

Платовых по имени, и от него я впервые услышал о Георгии Александровиче, в детстве они не раз срывали рождественские мандарины в серебряной фольге с одной и той же елки. Перед войной дед уехал учиться хирургии в Пражский университет, в клинике которого и остался затем работать, занимаясь попутно наукой.

Уже в конце двадцатых молодой профессор-хирург женился на выпускнице того же университета, девушке с российскими корнями и классической фамилией Рабинович. В тридцать втором родился мой отец, и супружеская пара посчитала, видимо, что настало время добиться полного счастья. О том, что его не хватало, свидетельствуют глубокие коммунистические убеждения профессорской семьи, приводившие в восторг беззаботное студенчество и с легкой доброжелательной улыбкой воспринимаемые окружающим преподавательским составом. В тридцать пятом состоялось гармоническое воссоединение реальности и идеалов, родина заключила в крепкие и горячие объятия своих детей. Через несколько месяцев бабка, знавшая двенадцать языков, получила приговор, как международная шпионка, дед такой чести не удостоился, языков он знал всего пять и сел просто как обычный русский контрреволюционер. Платов же из тихого кабинета вышел без конвоя и сразу уехал в маленький пыльный городок на Волге, где безвылазно прожил двадцать лет преподавателем черчения местного техникума. В пятьдесят пятом они

---

встретились с моим дедом в Москве. Вячеслав Иванович остановился у родственников по пути из колымского лагеря на отведенную ему для жительства орловщину и случайно узнал, что открылась первая персональная выставка Платова. Увидев среди посетителей двухметровую фигуру из прошлого века, Георгий Александрович сослался на внезапное недомогание и пил после этого трое суток с Вячеславом Ивановичем, закрывшись в темной комнате при огромной кухне нашей коммунальной квартиры, той самой квартиры, где нынче умудрился разместиться целый театр Табакова.

Более пути их не пересекались. Дед вскоре умер от атрофии почек, отбитых в остервенелых лагерных драках, а Платов снова уехал на Волгу и с тех пор в столице появлялся крайне редко, хотя картины его стали давно желанным приобретением для лучших музеев мира.

Казалось, бури отечественной истории последнего столетия даже внешне не затронули Георгия Александровича. Все та же вальяжная грузная фигура, медленный, барственный взмах руки, мягкий, слегка равнодушный взгляд и интонация той искренней заинтересованности во мнении собеседника, что давно отошла в прошлое вместе с судом присяжных и черно-белыми порнографическими открытками на твердом картоне, тисненном по краю лентой тусклого сусального золота. И картины Платова — исключительно волжские пейзажи с редчайшими вкраплен-

---

ями едва намеченных парой мазков фигур на дальнем плане — поражали совершенным покоем и мудрым оптимизмом. Лишь самый пристрастный и злонамеренный взгляд мог заподозрить в добротных, подчеркнута реалистических полотнах некоторую фальшь, граничащую с плохой и темной усмешкой, но ни поведением своим, ни творчеством Георгий Александрович не давал повода для подобного взгляда.

Иногда летом, по просьбе высокого художественного начальства, Платов принимал у себя небольшие группы студентов столичных художественных учебных заведений, выезжавших «на натуре», как-то размещал в пустующих классах местного техникума, хотя собственно занятий практически не проводил, а лишь изредка поглядывал на чей-нибудь этюдник, многие почему-то стремились провести лучшее курортное время неподалеку от старого мастера. При этом как таковых учеников или последователей у Платова не было, и сам он никому не оказывал явного предпочтения. Случалось, однако, он почти равнодушно просил разрешения у обычно неприметного первокурсника оставить на память несколько набросков, брал их не глядя и засовывал в огромную бордовую папку свиной кожи. Никаких видимых последствий для авторов отобранных работ это не имело, происходило крайне редко, и весьма странно, что в свиной папке как-то почти одновременно оказались довольно беспомощные и неряшливые листы Ломова, Томилиной и Кузнецова. Все они еще не раз впоследствии приезжали

---

на Волгу и делали работы гораздо более интересные, и Платова устаивались видеть у своих этюдников, но никогда более не попросил он какую-нибудь из этих работ. А последние несколько лет Георгий Александрович, казалось, вовсе прекратил общение с внешним миром, никуда не выезжал, у себя никого не хотел видеть, о новых его картинах не ходило даже слухов, и появилась уже молодежь, которая очень удивилась бы, узнав, что Георгий Платов — это не только глава в энциклопедии или бронзовые таблички под полотнами Третьяковки, но и вполне реально существующий человек, отличного здоровья и внешности, никак не говорящей о девятом десятке. Все годы, прожитые на Волге, художник занимал две просторные комнаты огромного деревянного дома, лет сто украшавшего центральную площадь городка и всем своим видом показывавшего, что собирается заниматься тем же по крайней мере столько же. Когда-то внизу располагался лабаз, затем сменило вывески множество контор, сейчас окна и двери по фасаду и вовсе были заколочены досками, однако Платов имел собственный вход. Со стороны, обращенной к реке, прямо в жилое помещение вела широкая, словно полированная лестница, ее верхняя площадка образовывала нечто вроде довольно просторного балкона, на котором в сырой закатный час сидели Георгий Александрович с Семёном Варфоломеевым.

— Вижу, — скучно и тихо говорил Платов, — вижу, вы огорчены результатами, но, поверьте моему

---

опыту, редко когда все проходило идеально. Думаю даже, на сей раз мы сработали на достаточно высоком уровне, имейте все-таки в виду, что мой отдел занимается проблемами наиболее сложными, хотя я, естественно, ничуть не умоляю профессионализма коллег и значимости их работы. Но все же у нас климатура специфическая.

— Уровень высокий чрезвычайно. — Семён нынче настроен был хоть и, как обычно, чрезвычайно почтительно, но несколько саркастически. — Жена Ломова закусила удила, Томилина написала Последний портрет, про Кузнецова даже говорить не хочется. Один Павел Николаевич радуется безмерно, но считать это большой победой...

— Кто же говорит о победах, слово для нас во все неуместное, но горячитесь вы (хотя Варфоломеев по виду отнюдь не горячился, но Платову лучше знать) совершенно напрасно. Жена Ломова тут ни при чем, она к делу отношения никакого не имеет, с Еленой Антоновной по-хорошему пристало бы разбираться не нам, а женсовету, впрочем, и то много чести. Что же касается Томилиной, это никак не наш прокол, кто же мог предположить, что она окажется гением, они, знаете ли, совсем по другому департаменту проходят, а если хотите моего мнения, то и там ими занимаются по недоразумению. Хотя не имею плебейской привычки обсуждать действия вышестоящих, сам бы никогда с гениями связываться не стал, у меня, кстати, давно были и сомнения, и подозре-

---

ния, и я обращал внимание, но должного понимания не встретил.

— Ну что вы, Георгий Александрович, да кто больше вас встречает понимания? Только тут, прекрасно видите, другая история, тут и совпадение, и игра случая, и Лысый запутался, то ли ловушку поставил, то ли попал в нее с самого начала.

— Ах, оставьте, — как бы несколько раздражился Платов, а на самом деле совсем и не раздражился, — любые выкрутасы Лысого значения абсолютно не имеют, а уж о ловушках его и говорить смешно. Ловушки из области психологии да нравственности, исключительно для его же дурацких забав. А если лирику отбросить, то таким, как Томилина, все равно здесь делать нечего, они существуют по собственным законам. Пусть Татьяна Анатольевна пишет свой Последний портрет, даже если бы он и не был последним, сделать свои картины видимыми ей уже не дано. На уровне, которого она достигла, исчезновение контакта с миром неизбежно.

— Я, конечно, ничего не понимаю в живописи, но не хотите же вы сказать, что, к примеру, Сикстинская Мадонна и Джоконда так уж невидимы?

— Не следует путать совершенно разные вещи. Все Мадонны Рафаэля, а тем более Сикстинская, не есть только произведения искусства. Вы, как и многие, оказались жертвой обычной ошибки смешения вдохновенности и таланта. Впрочем, искусственная часть, конечно же, невидима у Рафаэля, но толь-

---

ко когда она столь же гениальна, как вдохновенная. У Леонардо совсем другое, его Мадонны изначально были исключительно творческим актом, кстати, это одна из причин, по которым они и не сохранились, Джоконда же, хоть никаким образом не Мадонна, стала творением пограничным, но не на пути туда, а наоборот, там попытка возвращения, только неудавшаяся. То есть от невидимой части избавиться удалось лишь в малой степени, сама картина осталась, но рассмотреть ее никто и никогда не смог. Ситуация простейшая, любому художнику понятная настолько, что часто появлялся искус ее технологического моделирования, а здесь, естественно, технология бессильна, Малевич пытался неуклюже симитировать квадратами, право, смешно...

— Томилина не Леонардо и даже не Малевич.

— Томилина не Леонардо и не Малевич. Но вот ваше, Семен, «даже не Малевич» мне совсем странно слышать из уст профессионала. Хотя, возможно, тут виновата моя собственная попытка применения сравнительной степени гениальности, но это, конечно, упрощение до неверного.

— Ладно, Георгий Александрович, относительно Томилиной я спорить не могу, здесь в конце концов ваша епархия, но почему тогда вы изначально не дали рекомендации оставить ее в покое? Она ведь не сегодня начала писать Последний портрет.

— Ну, на самом деле, начало никакого значения не имеет, начинали многие, однако мою позицию в

---

отношении Томилиной определило даже не это. Просто система должна работать независимо ни от чьего мнения, хотя бы и моего. И выбор, и отбор, и искус, и нравственные категории, и, если хотите, обыкновенная провокация — кто, собственно, имеет право лишать гения полного комплекта? Другой вопрос, что для него самого результат не важен, но истинная справедливость никогда не бывает логичной, так как зиждется на моральном принципе, далеком от реального смысла. Впрочем, не стоит забывать и об утилитарной пользе, хотя многие и относятся последнее время к ней скептически. Если помните, широко известная история краковского студента тоже, по сути, была всего лишь частным делом слишком близко подошедшего к черте молодого человека. И сам по себе его договор ничего не решал, а только излишне декорировал рядовой факт купли-продажи, причем для личности, уже к тому времени существующей вне моральных оценок. Но пустой сюжет пригодился другому гению, и трудно спорить с тем, что приобрел самостоятельную ценность.

— Редкостное занудство.

— Ну, положим, я тоже не люблю Гёте. К счастью, наше с вами мнение не может изменить сути. Однако вернемся к собственным проблемам. Мне так и не стала понятна причина вашего упаднического, если не сказать панического настроения. Не вижу для него никаких оснований.

— Огорчен, Георгий Александрович, что у вас сложилось такое впечатление, паники, конечно, никакой

---

нет, но некоторую нервозность скрывать бесполезно. До Общего Собрания осталось всего несколько дней, а все основные вопросы не решены. Даже если признать вашу правоту в отношении Томилиной (да я и не могу ее не признать, вы Главный эксперт), непредсказуемость действий Андрея Петровича грозит поставить под сомнение результаты всей подготовительной работы, к тому же странное поведение Председателя...

— Поведение Председателя всегда странное и обсуждению не подлежит. — В тоне Платова первый и единственный раз за время разговора промелькнула нота безапелляционности. — А в отношении Кузнецова я как раз считаю, что работа проведена полностью и, более того, отлично проведена. Андрею Петровичу не только представлены все аргументы за и против, но и дана отличная возможность оправдать надежды партии и народа.

— Вам легко шутить, оперативная работа всем экспертам кажется делом не очень серьезным, а у нас уже руки опускаются. Как будто ничего не упустили, перспектива творческого самовыражения — пожалуйста, группа Дорофеева, действительно, справилась отлично. От всех последствий саоновской истории избавили, Николай Никодимович почти невероятное совершил. Томилина свои картины оставляет. Ломова из Уэлена привезли, он красноречив был, как Троцкий. И никакого результата. Может, дать Кузнецову квартиру в новом доме, горком как раз недавно на Харитоньевском стройку закончил? Или госпремию...

---

— Только не подумайте, Семен, что я хоть в малейшей степени ставлю под сомнение ваши усердие и преданность делу. Однако никто не безупречен, да и противоположная сторона тоже вела себя достаточно активно. Николай Никодимович, действительно, сработал чисто, но вы поймите: самоубийство Сазонова для Андрея Петровича не только разрыв с опасным прошлым — опасным, опасным, как он ни подстраховывался и ни хорохорился, а отлично эту опасность понимал. Однако реставрация обеспечивала Кузнецову достаточно комфортное существование и, что для него самое главное, независимость и даже определенную свободу. Вы, конечно, считаете, что, отрезая ему этот путь, подталкиваете Андрея Петровича в объятия Дорофеева. И тут, возможно, ваша основная, методологическая ошибка. Любое давление оказывает на Кузнецова прямо противоположное действие. И это не какая-то разумная или нравственная установка, а нечто типа биологического свойства организма. Конечно, при правильном понимании даже такое свойство можно использовать в нужном направлении, но, во-первых, Кузнецов уж слишком чувствителен и к намеку на использование, а во-вторых, вмешался единственный фактор, который никогда нельзя учесть. Не буду брать на себя ответственность и определять в терминах отношения между Андреем Петровичем и женой Ломова, но реакция Кузнецова на просьбу друга юности оставить Елену Антоновну в покое плохо прогнозируется.

---

---

— Знаете, Георгий Александрович, может быть, это результат усталости и раздражения, но от всего нашего разговора у меня невольно появляется мысль: а стоит ли так уж возиться с Андреем Петровичем Кузнецовым? Кто он, собственно, такой, по сравнению с тем же Ломовым? Типичный неудачник, несостоявшийся художник, доморощенный философ без регулярного образования, человек весьма сомнительной добродетели и с совершенно несомненными капризами гипертрофированного самолюбия. Пусть они с Еленой делают что хотят, отличная получится парочка, чудный результат безответственности Лысого и достойные ученики Почтальона.

— Да, Семен, вы действительно устали и раздражены. Но героя нашего описали достаточно подробно и точно. Есть, правда, один нюанс. Кузнецова нельзя назвать несостоявшимся художником. Он не художник вовсе и никогда не имел шансов им стать. А поскольку прекрасно об этом всегда знал, то и неудачником в полном смысле слова тоже не является. Впрочем, отбросим тонкости, принцип уловлен верно. Но вот выводы... Кто он такой по сравнению? По сравнению он никто. У него нет уникальных разносторонних талантов Ломова. У него нет творческого гения Томиной. Да ничего у него нет. Более того, еще несколько лет назад я сам абсолютно уверенно рекомендовал бы не обращать на него никакого внимания.

— Что же изменилось? Кузнецов стал подавать надежды?

---

— Кузнецов ни при чем. Надежды стало подавать время. То есть появился хотя бы шанс, что потребуются умные люди. Шанс исчезающе малый, но нет права им пренебречь.

— Это Андрей Петрович-то умный? Видимо, я совсем перестал вас понимать.

— Всё вы отлично понимаете. И именно отсюда ваше раздражение. Кузнецов далеко не лучший материал. Он еще и плохо образован и обладает крайне ограниченным опытом вне искусственно созданного силой обстоятельств пространства. Через двадцать лет придут другие. С ними работать будет одно удовольствие. Но сегодня у нас выбора нет. Пока только собираются облака. Когда надвинется туча, никто кроме Кузнецова куроведам противостоять не сможет. Если тонет корабль, течь затыкают не идеалами, а подручными средствами.

— Я как-то постоянно опасаюсь, Георгий Александрович, ваших изумительно образных выражений. Шкатулка ведь попала к Кузнецову случайно, мы изначально ставку делали на Ломова.

— Опасаетесь правильно. А шкатулка случайно ни к кому не попадает. Ломов же необходим. Ломов совершенно необходим. Причем, в отличие от Кузнецова, был необходим всегда и всегда будет. Но против куроводов он бессилён и беззащитен.

— Так, возможно, и стоило бы лучше Павла Николаевича защищать, а Андрея Петровича приструнить и указать ему поостроже на его место и значение?

---

— Возможно, и стоило бы. Только и то, и другое бесполезно. Защищенный Ломов и приструненный Кузнецов — это парадоксы, а они, как вам прекрасно известно, проходят по другому ведомству. Конечно, неизбежно желание приделывать уши Андрея Петровича к носу Павла Николаевича, но мы-то с вами работники практические, что зря в эмпиреях витать.

— Послушать вас, Георгий Александрович, так остается только сложить руки и умиротворенно наблюдать, как наш герой сам прекрасно решит все проблемы. И чего зря суетились?

— А вот такого права у нас нет. Как нет у меня никакой уверенности, что решит. То есть решит, конечно же, но, признаюсь, не имею ни малейшего представления — как.

— И дальше что?

— Ничего. Вернее, все то же. Я достану из бордовой папки несколько совершенно бесталанных рисунков очередного юноши с явными признаками дурного характера, и мы сделаем еще одну попытку. В пределах возможного. С надеждой и верой.

— А время? Куроводы ждать не будут.

— Потому-то я и вспомнил о надежде и вере. Конечно, странно и даже нелепо, что такие понятия оказываются связанными с Кузнецовым Андреем Петровичем. Но что толку обсуждать данность? Поздней осенью на Волге не бывает красивых закатов.

---

Семен Варфоломеев не остался ночевать у Платова. Он ушел, вежливо, но очень быстро кивнув на прощанье, и старая лестница ни разу не скрипнула под его шагами. Художник еще долго сидел на балконе. Поздней осенью на Волге не бывает красивых закатов.

## 11

Женщина по имени Тося полностью овладела жидомасонскими методами воздействия на действительность. Методы эти оказались столь универсальны, что для Тоси уже не имело значения — обеспечить с их помощью условия наибольшего благоприятствования для деятельности синагоги в глухой тамбовской деревне, уничтожить карьеру самого патриотически настроенного православного деятеля или, наоборот, полностью нейтрализовать результаты работы всемирного конгресса иудаистов. Более того, совершенно элементарно решались и любые частные проблемы, вовсе не имеющие отношения к извечной борьбе сил света с темной еврейской идеей. Однако чистота души, нравственная девственность и культурная неискушенность Тоси сыграли с ней злую шутку. Она не подозревала, что в овладении внешними атрибутами знания таится змиева опасность приобщения, а всевластие неумолимо манит к бесконечному и оттого убийственному совершенствованию. Не удовольствовавшись поверхностными — и самыми

---

действенными — приемами, Тося ощутила жажду проникновения в суть и наивно сделала первый шаг на пути, по которому нет возврата. Когда минимально необходимый слой формальных знаний оказался освоенным, появилась неизбежная тяга к перу и бумаге. Здоровый, жизнерадостный человек на глазах роковым образом сам себя лишал естественных радостей бытия, все глубже утопая в пыли лукавых фолиантов. От Тосиных произведений той поры сохранилось всего несколько листов, которые я счел необходимым приберечь для историй, хотя бы как документ, свидетельствующий об опасности любого соприкосновения с духом Сиона, пусть даже из самых благих побуждений. Приведенный ниже отрывок входил в число предварительных набросков к вступительной главе многотомного труда «Этические основания христианского гебраизма (35-я основная попытка)».

*Совершенно непонятно, почему, защищая каббалу, Борхес посчитал, что боговдохновенность Библии исключительно третьей ипостасью приближает его к разгадке тайны. Все высказанное в «Обсуждении» о триединстве и его связи с учением об искуплении само по себе, возможно, и любопытно, но не имеет никакого отношения к собственно герменевтическим и криптографическим приемам каббалистов, о которых идет речь. Поэтому давайте изначально согласимся, что для разбираемого вопроса вовсе не имеет значения, какой из божественных сущностей были*

---

вдохновлены священные тексты, а важен только сам факт боговдохновенности. Это предоставит нам возможность нагляднее вычленив ту мысль Борхеса, опираясь на которую, мы попробуем более широко взглянуть на сущность текстов вообще. Итак, согласно «Оправданию каббалы», в расхожем тексте, типа газетной статьи, содержание во многом случайно, а форма необязательна. В стихах, подчиненных эвфоническим задачам, необязательным («второстепенным») является содержание. Третий тип писателя — интеллектуальный, — хотя полностью исключить необязательное не может, но максимально стремится приблизиться к Творцу, для которого вовсе не существует элемента случайности. Каббалисты представляли Священное Писание абсолютным текстом, буквально, слово за словом, продиктованным свыше. И, если существует подобная Книга, то «можно ли удержаться от соблазна снова и снова на все лады перетолковывать ее?»

Своей нарочито отстраненной интонацией и позой в меру заинтересованного, но и достаточно нейтрального собеседника Борхес не дает возможности оппоненту возражать или соглашаться. То есть, действительно, он ведь даже не утверждает, что, и при несомненной боговдохновенности Книги, необходимо искать тайную мудрость в подсчете количества букв, чтении священных текстов по вертикали и прочих каббалистических манипуляциях, а всего лишь довольно равнодушно и риторически спрашивает:

---

«Можно ли удержаться от соблазна?» Но если Борхес в своих эссе решает прежде всего собственные и, конечно, более эстетические, чем философские задачи, если его на самом деле, естественно, интересует не оправдание каббалы или хотя бы ее формальных приемов, а степень приближения третьего типа писателя к Творцу, то наше внимание направлено принципиально на текст как таковой, потому мы не можем ограничиться безучастным предположением о его боговдохновенности и вынуждены, пусть пока крайне поверхностно, затронуть историю вопроса. Начнем с основного. С того, что Текст нам неведом. Неизвест он был и самым древним каббалистам. Даже в тех трех списках Торы, что хранились по преданию в иерусалимском храме в качестве эталонных, имелись разночтения. Пусть только по поводу трех слов, но это уже не важно — или текст абсолютен, или нет, торговля здесь неуместна. Именно из понимания опасной зыбкости возникла масора. Масореты крайне остро и болезненно чувствовали ускользающую сущность незафиксированного текста и предприняли хотя наивную, но героическую попытку учета и контроля. Весь многовековой титанический труд по установлению библейского канона представляет собой неизбывное противоречие и отсюда яростный самообман. Если боговдохновенный текст являлся в нескольких облициях, если все равно требовалось вмешательство человека, то не оставалось другого выхода, как только признать боговдохновенность и

---

этого вмешательства тоже. Но пока речь шла о приближении к образцу в рамках одного языка (относительно халдейских включений предстоит отдельный разговор), как-то удавалось закрывать глаза на несообразность и мягко обходить стороной проблему правомочности редактирования и корректирования. Когда же началась эпоха переводов, потребовались более серьезные религиозные основания для практической работы с текстом. Следует подчеркнуть, что Таргум возник не вследствие внешних духовных факторов, арамейский перевод Библии потребовался не из-за попыток модернизации или хотя бы малейшего вмешательства в сущность самого Учения, как это происходило впоследствии уже в христианской традиции при распространении Писания на новые народы (древнерусский перевод Кирилла и Мефодия) или времена (немецкий перевод Лютера). Уникальность ситуации и как бы даже нарочитая чистота эксперимента заключались в том, что народ остался прежним, стремление к совершенной сохранности текста даже усилилось, а в силу чисто внешних причин и в исторически достаточно краткие сроки изменился только общеупотребительный язык — попросту большинство иудеев ко времени второго храма перестало понимать по-еврейски. Изначально Таргум, видимо, возник исключительно как устный параллельный перевод при публичных чтениях текста в процессе богослужения и носил достаточно прикладной характер. Но уже в тот момент пришло яв-

---

ное понимание того, что не все просто, что появляются признаки возникновения нового Текста и, соответственно, требуется определить его место в общей системе. Недаром в галахе отмечена попытка четко сформулировать порядок чтения Таргума, и эта попытка достаточно наглядно проявила основное противоречие: в библейском оригинале перевод следовало читать за каждым соответствующим стихом, в отрывках из пророков — за каждым третьим стихом, свиток Эсфири два лица читали одно за другим, отдельные места из книги Бытия вовсе не переводили и т. д. То есть чувствуется, с одной стороны, боязнь признать за Таргумом свойства равноправного текста, а с другой — непонимание, как без этого обойтись. Скорее всего, к IV веку Таргум уже был записан, но это не только не решило проблему, но еще более обострило ее. Некоторые духовные авторитеты вовсе порицали чтение Таргума, так как это вело к ложному толкованию текста (!), другие рекомендовали использовать записанный Таргум только для частного, но никак для публичного употребления, третьи, даже после появления официально признанных переводов на школьном уровне, рекомендовали прихожанам особый способ их применения. И вся история вхождения Таргума в традиционную еврейскую литературу полна стремления воссоединить противоположное, создать новый Текст, но как бы и не окончательно утвердить, что он новый, и что он Текст. Однако самое интересное для предме-

---

та нашего рассмотрения начало происходить тогда, когда и арамейский язык перестал быть разговорным для иудеев. Кажется, если подходить чисто логически и воспринимать Таргум только как неизбежную языковую подпорку на определенный период, после ухода арамейского из употребления вопрос элементарно снимается и нет никаких видимых причин даже упоминать о нем. Тем более что появляются иные проблемы с иными языками. Но даже в конце IX — начале X века р. Иуда б. Курайш порицал одну из общин за небрежное отношение к чтению Таргума вопреки обычаю, строго выполняемому в Вавилонии, Египте, Африке, Испании. И он был в своем праведном возмущении далеко не одинок. Что же мешало самым серьезным ученым с облегчением забыть обо всех связанных с Таргумом проблемах и, наоборот, настаивать на полном выводе его из обихода после утраты практической в нем потребности? Только ли чрезмерная раввинская косность и бездумное преклонение перед лишенной живого содержания традицией? Скорее, дело совершенно в другом. Так и не определившись окончательно в отношении боговдохновенности Таргума (да и не ставя никогда перед собой отчетливо такой задачи), духовные руководители чувствовали, вероятнее всего, даже не до конца осознанную невозможность так просто отмахнуться, избавиться от перевода, ставшего Текстом. Если бы мы могли написать, а они признать фразу «частично ставшего текстом» или «в какой-то степени

---

ставшего текстом», все решалось бы гораздо проще. Но истинные хранители (естественно, одновременно и продолжатели) религиозной традиции не могли не ощущать абсолютности понятия боговдохновенности. И именно это ощущение подвигало их на высказывание, может быть, на первый взгляд, достаточно противоречивых мыслей, на самом деле не оставляя выхода без привлечения принципиально новых подходов. (Естественно, все написанное крайне поверхностно и недостаточно, порой до неточности, да и относится большей частью только к Таргуму Онкелос, но отдельная история Таргума, я бы даже сказала Таргумов, если бы не побоялась обвинения в кощунстве, слишком обширна и далека от нашей темы, потому я вынуждена ограничиться сказанным, упомянув напоследок о том, что до сих пор Таргум читают по субботам в синагогах йеменских евреев.) Наиболее красноречивым фактом, подтверждающим вместе и необходимость таких подходов, и их невозможность, явилась история Септуагинты. Несмотря на ее общеизвестность, позволим себе, имея на то определенные основания, кратко напомнить некоторые детали. Примерно лет за триста до Р. Хр. в еврейской общине египетской Александрии, где господствовал греческий язык, в царствование Филадельфа II Птолемея был сделан перевод Пятикнижия. И хотя первоначальный текст перевода до нас не дошел, самые древние списки, наверняка не лишенные искажения, относятся к IV веку, но сам по себе факт

---

перевода и даже его датировки особенно не оспаривался, и вовсе не вокруг него шла серьезная многовековая полемика. (Отдельное мнение Генриха Греция мы здесь приводить не станем, оно может увести нас в сторону от темы, но интересующимся советуем справиться самостоятельно и дополнительно обратить внимание на примечание 5 к III тому «Истории евреев», особенно на ту часть, что начинается словами: «...самаряне в целях оппозиции иудеям сохранили старый шрифт. И действительно, они обвиняли иудеев в ереси на том основании, что Эзра и Зерубавель преобразовали еврейские письмена, увеличили число букв, а главным образом переписали новыми письменами Тору».) Значительно позже завершения работы над переводом большинство исследователей склоняется к тому, что в начале I века, но для нас это не имеет принципиального значения, некто Аристей (отбросим для краткости все любимые учеными приставки к этому имени типа «псевдо», «фиктивный» и т. п.) написал сочинение в форме послания к своему брату, в котором подробно, от лица очевидца, излагает историю создания Септуагинты. Упомянем без подробностей лишь те факты из послания, что имеют отношение к нашей теме. Библиотекарь Птоломея Филадельфа обратил внимание царя на ценность еврейского Закона, царь предложил приобрести его для библиотеки, на что библиотекарь логично ответил, что желательнее прежде Закон перевести. Птоломей Филадельф согласился и

---

отправил посольство, в состав которого входил сановник Аристей, с просьбой (соответствующим образом подкрепленной, но не в этом суть) к первосвященнику Элеазару прислать переводчиков. Вскоре Аристей привез в Александрию избранных толковников — 72 человека по списку Элеазара. На острове Фарос за 72 дня они осуществили перевод. Делалось это так: толковники в совместной беседе выработывали единый греческий текст, который затем записывал библиотекарь. После завершения труда перевод был зачитан на общем собрании александрийской еврейской общины, получил полное одобрение старейшинами как толковников, так и общины, признан действительным на все времена, а кто произведет в нем прибавление или поправку, подлежит проклятию. Кроме того, что сам перевод семидесяти (лишнюю пару для простоты отбросили быстро) для уровня филологии того времени оказался чрезвычайно удачным, и Септуагинта, действительно, надолго стала эталоном греческого Текста Пятикнижия, причиной широкого распространения «письма Аристеева», еще и придавшей ему дополнительный авторитет, стал пересказ всей истории Иосифом Флавием в «Иудейских древностях»: «Переводчики с величайшим усердием и трудолюбием стали ежедневно, непрерывно, вплоть до девятого часа, заниматься переводом... Когда же перевод был по прошествии семидесяти двух дней окончен и записан, Димитрий (библиотекарь) собрал всех иудеев в то место, где происходил

---

самый перевод законов, и прочитал работу громко в присутствии переводчиков. Все собрание выразило одобрение не только мудрым старцам, изъяснившим таким путем законодательство, но и Димитрию... При этом народ просил также дать прочитать закон старейшинам. Тут же все — первосвященник, старшие переводчики и начальники над иудеями — высказали пожелание оставить перевод в таком виде, в каком он сделан, и не изменять в нем ничего, так как он вполне точен и удачен. Все присоединились к этому пожеланию и высказали мысль, чтобы всякий, кто усмотрит в переводе что-либо лишнее, какое-нибудь дополнение или упущение, немедленно справился и указал бы на необходимость поправки; в этом случае они поступили вполне предусмотрительно, ибо таким образом они навсегда гарантировали неприкосновенность и сохранение раз признанного текста». Впоследствии основное внимание уделялось тому, насколько правдиво само «послание Аристее». Уж как его только не разоблачали. И не был он никаким сановником Птоломея Филадельфа, и вообще жил лет на триста позже, и библиотекарь не тот, и царица не та упомянута, и множество еще всяческих несообразностей. Короче, признали грубой фальсификацией позднейшего времени и так уж запозорили бедного Аристее, что никому в голову не пришел самый очевидный вопрос: а зачем, собственно, явно неглупому, достаточно образованному и, главное, глубоко верующему иудею потребовалось со-

---

чинять всю эту историю? Разоблачать требуется злой умысел, замешанный на корысти, но какая же может быть корысть у практически анонимного, даже имя свое ставящего под сомнение автора? В искреннейших же побуждениях стоит разобраться. А они просты и вполне естественны. Возник греческий перевод, которым сразу начали пользоваться иудеи (Септуагинта не только попала в библиотеку царя — экземпляр ее тут же попросила оставить у себя еврейская община Александрии), но является ли этот перевод Священным Текстом или всего лишь очередной и рядовой, пусть весьма профессионально выполненной работой толковников? Вопрос не мог не возникнуть у многих, и только Аристей взял на себя ответственность, пусть и задним числом, придать тексту черты Текста путем заострения внимания на значимости и совершенстве самого процесса перевода. Большинство исследователей близоруко считает ту часть «послания», где дается подробнейшая характеристика избранным толковникам, прославляются их мудрость и знания, наименее фактически ценной и не имеющей вообще какого-либо значения. Для Аристее же, наоборот, именно в ней был основной смысл, так же, как в большом количестве самих переводчиков. Следовало убедить (а может быть, и убедиться), что Септуагинта максимально лишена случайного, что в ней присутствует то совершенство, та абсолютная законченность и неизменность, которые и делают ее Текстом. Этого

---

главного в горячем мистическом порыве автора «послания» не понял гораздо более холодный и рассудочный Иосиф Флавий, и в приведенном нами отрывке уже нет упоминаний о проклятии даже замыслившим покунуться на целостность нового Текста, но известный историк со своей позиции также вполне признает произошедшее вполне удовлетворяющим поставленным задачам «гарантировать неприкосновенность и сохранение раз признанного текста». Однако и Аристей, и уж особенно Иосиф, от которого легенда более всего получила распространение, держались, на самом деле, в предельно реалистических рамках. Они слишком стремились к правдоподобию, и это сыграло с «посланием» злую шутку. Вместо того, чтобы задуматься над его сутью, последующие поколения занялись поиском фактических ошибок и злорадным изобличением фальсификатора. Нравственный подвиг Аристея в том, что он сделал попытку, но его беда, что попытка была слишком робкой, и если бы она не имела продолжения, то так и осталась бы, хотя важным и любопытным, но всего лишь примечанием к истории библейских переводов. К счастью, этого не произошло. Весьма характерно и знаменательно то, что мысль Аристея продолжил и развил именно Филон Александрийский с его неприязнью «софистов буквоедства». Менее всего он был ортодоксом, и его весьма своеобразные взгляды практически не оказали влияния даже на современный ему иудаизм самого начала нашей эры. Однако экзегети-

---

ческий метод Филона требовал постоянной и непосредственной работы конкретно с текстом, и любое свободное толкование и выявление аллегорических смыслов нуждалось в надежной и авторитетной опоре. Филон знал еврейский язык и, скорее всего, читал библейский оригинал, но родным для него был греческий, и тот уровень общения с Писанием, который требовался философу, ему могла дать только Септуагинта. Нарушитель мертвого покоя немых букв оказался перед необходимостью сначала придать вышедший смысл этим самым буквам, потому что иначе получалось, что он интерпретирует интерпретацию. Филон Иудей понял, что история Септуагинты ему необходима, но в изложении Аристея явно недостаточна. Тогда он довел ее до необходимого уровня совершенства. Толковники не только собираются вместе для согласования своих вариантов и выработки единого, наиболее правильного и адекватного оригиналу текста, но «как вдохновенные, они вещали не различные, а одни и те же имена и глаголы, как будто незримый внушитель подсказывал их каждому». Необычайно смелый, внешне даже дерзкий, но на самом деле абсолютно естественный, более того, в рамках его системы неизбежный шаг александрийского мыслителя. Иным путем, сколь угодно много авторитетности ни придавай переводу, он не станет Текстом. Требовалось только прямое свидетельство боговдохновенности вторичного акта, и Филон это свидетельство дал. Естественно, он все придумал.

---

Не сделал и попытки создать иллюзию правдоподобия хотя бы ссылкой на какой-то источник. Но здесь не фальсификации в нашем понимании, не ложь, а нечто вроде реконструкции — исходя из существующего должно было быть так, следовательно, так и было. Другой вопрос, что такая реконструкция для иудаистской традиции оказалась бесплодной, но тому причины не духовные и философские, а чисто исторические — война, ухудшение отношений между евреями и греками (опосредованно между иудаизмом и эллинизмом) и т. п. Однако для христианства мысль Филона оказалась не только чрезвычайно актуальной, но и в какой-то момент практически необходимой, особенно когда начался спор с евреями, насколько само христианство является исполнением ветхозаветных пророчеств. Евреи утверждали, что христиане просто неправильно истолковали (то есть 72 толковника всего-навсего неправильно перевели) эти самые пророчества. Иудаистам было проще, хотя проблемы с оригинальностью текста по-прежнему оставались, на них удавалось пока не обращать особого внимания, одновременно работая над окончательной фиксацией, но принципиальный факт изначальной боговдохновенности в наличии имелся. В конце концов, подробнее изложенную в 31-й главе Второзакония историю о том, как «Моисей вписал в книгу все слова закона» непосредственно с Божественного голоса, никто не оспаривал. Христианам, желающим доказать, что поняли как раз

---

все совершенно верно, ничего другого не оставалось, как только ухватиться за идею Филона. Иустин из Самарии, впоследствии принявший от римлян мученическую смерть и признанный святым, в своей Апологии уже в середине II века пользуется легендой Аристея именно в версии Филона, но самым показательным для нас является написанное, видимо, несколько позже кем-то от имени Иустина «послание к язычникам», явная подделка, но чрезвычайно характерная и имевшая в дальнейшем большое влияние. Там уже совершенно конкретно и с подробностями описывается, как каждый переводчик получает для себя отдельную келью, чтобы иметь возможность «самостоятельно исполнить перевод». При этом «надзирателям было приказано доставлять им все удобства, но не давать общаться друг с другом, для того чтобы можно было по их согласию удостовериться правильность перевода. Когда же царь убедился, что семьдесят мужей не только обнаружили полное согласие в мыслях, но и выразили их одними и теми же словами и что они нигде ни в одном слове не уклонились от этого полного согласия друг с другом, а сказали об одном и том же одно и то же, он был поражен и признал, что перевод был исполнен по Божьему внушению». Мы не станем далее углубляться в историю вопроса, хоть и достаточно любопытную, но более ничего принципиально нового нам не дающую, отметим только, что каждый раз, когда требовалось в споре даже со своими, христианскими, «либера-

---

лами» или «здравыми критиками» настоять на боговдохновенности текста, на протяжении многих веков традиционалисты опирались именно на легендарную версию возникновения Септуагинты. И когда в XVI веке начали подвергать сомнению подлинность и самого «послания Аристея», и, естественно, последующих его интерпретаций, и когда впоследствии окончательно уверились в том, что это подделка, духовные крохоборы смогли со злорадством уличить Аристея в исторических неточностях, но никто так и не сумел предложить какую-либо иную продуктивную идею боговдохновенности Нового Текста. Причем любого Нового Текста, после давно канувшей в Лету и самой ставшей в какой-то степени первоисточником Септуагинты, Нового Текста, постоянно появляющегося и постоянно требующего основного вопроса, текст он или Текст. К каким же успехам и выводам пришло стандартное высоконаучное богословие за почти две тысячи лет после пойманного за руку фальсификатора псевдо-Аристея? С одной стороны, конечно: «Главной чертой, отличающей св. писания Библии от всех других литературных произведений, сообщающей им высшую силу и непререкаемый авторитет, служит богодухновенность. Под нею разумеется то сверхъестественное, божественное озарение, которое, не уничтожая и не подавляя естественных сил человека, возводило их к высшему совершенству, предохраняло от ошибок, сообщало откровения — словом, руководило всем ходом их ра-

---

боты, благодаря чему последняя была не простым продуктом человека, а как бы произведением самого Бога. По свидетельству св. ап. Петра, „никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым“ (2 Пет. 1, 21). У ап. Павла встречается даже и самое слово „богодухновенный“, и именно в приложении к св. Писанию, когда он говорит, что „все Писание богодухновенно“ (2 Тим. III, 16). Все это прекрасно раскрыто и у оо. Церкви. Так, св. Иоанн Златоуст говорит, что „все Писания написаны не рабами, а Господом всех Богом“; а, по словам св. Григория Великого, „языком святых пророков и апостолов говорит нам Господь“». Но с другой стороны, никак нельзя не заметить, поскольку мы люди просвещенные и умные, что эта „богодухновенность“ св. писаний и их авторов «не простиралась до уничтожения их личных, природных особенностей: вот почему в содержании св. книг, в особенности в их изложении, стиле, языке, характере образов и выражений, мы наблюдаем значительные различия между отдельными книгами Св. Писания, зависящие от индивидуальных, психологических и своеобразных литературных особенностей их авторов». Вот такая обычная, мутная, едва теплая мешанина с откровенным желанием и невинности, и капитала. Впрочем, понимаю, что приведено достаточно простенькое изложение, нынче бытуют много более изысканные и оснащенные всеми последними модными атрибутами

---

изворотливой мысли, но суть не меняется. Вразумительного и, самое главное, искреннего ответа так и нет: вот тот самый конкретный текст, находящийся в данную минуту перед нашими глазами, еврейский, арамейский, греческий, русский, любой, абсолютен ли он, совершенен ли? Тут не может быть «с одной стороны» и «с другой стороны». «В начале сотворил Бог небо и землю». Можно ли считать, что каждая из букв каждого слова этой фразы дана свыше и лишена малейших элементов случайного и вариативного? Или только с ерами и ятями? Или только на другом языке? Или только напечатанная? Или только написанная? Или только определенным шрифтом (вопрос о шрифте, как мы уже упоминали, тоже в свое время ставился)? Словоблудие тут не поможет, все предельно просто. Если слово «сотворил» я имею право заменить на «создал», то с таким же основанием могу заменить и все остальные слова, абсолютных синонимов не бывает, а спор о мере их аутентичности находится в плоскости филологической и межличностной и с боговдохновенностью не соотносится. Бессилие перед невозможностью создания Аристеевой легенды универсального типа и применения привело к трусливому замалчиванию принципиальнейшей проблемы: а существует ли Текст вообще, и если существует, то где находится и как выглядит. Успокойтесь. Конечно же, Текст существует. Более того, именно сейчас вы его читаете. На самом деле, ведь никто так и не опроверг

---

утверждение Зенона по поводу черепахи. Да это и невозможно сделать внутри его системы, черепаха все равно успеет отползти. Единственный способ — не обращать внимания на глупости и просто переступить через панцирь. Найти, открыть, создать или хотя бы зафиксировать и удержать во времени Священный Текст практически нельзя. Попытки сделать это провалились не из-за технического несовершенства, самые современные копии на самых якобы вечных носителях информации не донесли бы первоначальный Текст Моисея до нас — так же, как они не донесут существующие сегодня Тексты до наших потомков. Просто потому, что в этом нет смысла. И именно так проявляется боговдохновенность текста. Нам дано явное указание, причем не в виде некоего чудесного проявления, а через скучную бытовую закономерность, — тексты бранны и вариативны, но Текст вечен и неизменен, так как сакральность существует вне его, хотя в нем и проявляется. Мы вынуждены признать или любой Священный Текст случайным, или любой случайный текст Священным. Чтение — не потребительский процесс, именно оно одухотворяет (или не одухотворяет) написанное. И это не глупый антропоморфизм или пошлый идеализм, а факт, порой плохо различаемый только из-за своей полной очевидности. Не надо путать Святой Дух с фокусничаящими экстрасенсами, он не «заряжает» бумагу, не пропитывает типографскую краску или чернила, все, что он может сделать, — это

---

дать нам зрение и при нашей внутренней готовности и нашем желании помочь данным зрением воспользоваться. Пассивно, как объект, любая самая информативно пустая газетная заметка не менее сакральна, чем Библия. Ойкумена может погибнуть, и через тысячи лет ученые новой цивилизации случайно обнаружат единственный сохранившийся от нас письменный памятник — обрывок балансовой ведомости молокозавода. Только от них зависит, смогут ли они найти в ведомости ответы на все интересующие их вопросы бытия, потенциально ответы там заложены. Впрочем, все это относится к любому тексту, к любой знаковой системе, независимо от ее материального выражения. Серьезнейшие исследователи давно занимаются тем, что, изучая соотносимость параметров египетских пирамид, находят выражения физических, математических, астрономических и много еще каких законов. Не сомневаюсь, что если они поставят перед собой такую задачу (просто, думаю, этого пока не требовалось), то и нравственные, моральные, этические, философские проблемы также вполне разрешимы с помощью этих пирамид. В Англии лет двадцать наблюдали гигантские геометрические фигуры, видимые только с воздуха и, наверное, с какой-то целью когда-то оставленные инопланетянами. Заложенную в фигурах информацию уже начали расшифровывать, и она оказалась чрезвычайно важной, а уж перспективы открывались просто фантастические. К сожалению, недавно семейная пара из

---

местных фермеров призналась, что это она, шутки ради, многие годы совершенно произвольно осуществляла фигурную стрижку полей. «К сожалению» потому, что фигурами сразу перестали заниматься, а ведь почерпнутые из них знания были вполне реальны, и кто ведает, что там еще удалось бы откопать. Как будто из всего сказанного следует сделать вывод, что создавать текст не имеет смысла вовсе, или наоборот, совсем нет никакой разницы, какой текст и в какой форме создавать, если раскиданные по полу кубики, роман Достоевского, Коран, зиккурат и школьное сочинение имеют равную потенциальную сакральность и одинаково беспредельны как источник познания (в том числе и духовного). В такой форме вывод будет не верен, так как содержит принципиальное противоречие. То есть про потенциальную сакральность и информативную беспредельность все правильно, но тексты как раз создавать надо, и очень даже имеет значение, какие тексты и в какой форме. Дело в том, что абсолюта здесь существует только в комплексе субъект—объект, и беспредельное упрощение одного составляющего требует беспредельного усложнения другого. Поясню на примере, сведенном до примитива ради краткости и наглядности. Представим стандартную систему книга—читатель. Если читателем будет Бог, в виде книги ему достаточно мельчайшей частицы вселенной. И чем дальше от полного совершенства читатель, ровно на столько же к нему для сохранения аб-

---

солютности системы должна приближаться книга. То есть в идеале, когда Книга есть Бог, то уровень читателя вообще не имеет значения. Это, кстати, прекрасно поняли мохаммедане. Именно история возникновения и становления текста не случайно нами упомянутого Корана наиболее продуктивна для исследования единства потребитель—потребляемое, но, поскольку ислам слишком далек от нашей темы, мы вынуждены ограничиться всего несколькими замечаниями. Мохаммед и не намекал, что полученные им свыше откровения где-то записывал, так как его первыми учениками были близкие родственники и друзья, прекрасно осведомленные о полной безграмотности учителя. После смерти пророка небольшая часть его откровений сохранилась в случайных записях слушателей, но основная существовала в заученной наизусть форме. Однако память — вещь не самая надежная, к тому же в битве при Йемаме многих ее носителей просто поубивали, так что Омар с Абу-Бекром решили собрать воедино и зафиксировать оставшиеся сведения. Работу поручили приемному сыну Мохаммеда Зейду, человеку достаточно образованному и компетентному, в свое время бывшему и чем-то вроде секретаря при учителе. Зейд сборник составил, но по причинам чисто бытовым и практическим «эс-сохоф» остался в домашнем употреблении Омара и Абу-Бекра, прочие же последователи учения продолжали читать Коран по разным отрывкам, кто во что горазд. Естественно, со време-

---

нем различия вариантов только увеличивались. Когда халифу Осману это надоело, он поручил все тому же Зейду создать, наконец, единую и обязательную для всех редакцию текста. Задача вставала перед Зейдом принципиально новая. Если «эс-сохоф» писался в расчете на людей, полностью находящихся «в материале», для узкого круга сподвижников и членов семьи пророка, которым было достаточно малейшего намека просто для освежения памяти, Осману требовалась общеупотребительная версия, которую можно было бы использовать в том числе и как инструмент обращения иноверцев. Зейд для начала провел кропотливую и необходимую в его положении формализацию, определил содержание, границы сур и их количество, но далее очутился, казалось, в безвыходном положении. Выстроить в хронологическом порядке суры не представлялось возможным, потому что никто уже не помнил (да и раньше не старался запомнить, так как при живом Мухаммеде это не виделось значимым), когда и что именно было сказано пророком. Еще меньше возможностей оказалось расположить суры в некоем сюжетном порядке, потому что полностью отсутствовал сам сюжет. И вот тут проявилась совершенная гениальность Зейда. Он понял, насколько все это не имеет никакого значения для создания Текста. И поступил, как любой гений, изумительно просто — сложил из сур, как из кубиков, пирамидку, исключительно по принципу величины, от самой длинной до самой короткой.

---

А потом для украшения конструкции выбрал еще одну коротенькую, содержащую вообще ноль информации, а потому пригодную для любого места, и поставил ее в самом начале. Получился Коран. Но Коран нельзя было воспринимать не просто как книгу, пусть даже боговдохновенную, это предъявляло бы слишком большие требования к потребителю. И мусульмане совершили следующий, совершенно естественный шаг, на который не отважились менее последовательные иудаисты и христиане, — признали саму книгу Богом. И они абсолютно правы, поскольку любое другое решение было бы не окончательным. А так все вопросы, связанные и с содержанием, и с возникновением Текста, оказались выяснены, вернее, вовсе потеряли значение, Бог, он и есть Бог, существовал всегда, всегда и будет, содержание же Бога нужно не понимать, а воспринимать, то есть, грубо говоря (это для внешнего взгляда грубо, а внутри системы очень даже тонко и верно), как можно больше раз подряд читать Фатихе — и более ничего не требуется. Другое дело, что при таком подходе вся система становится крайне уязвимой, так как малейшее сомнение в Книге-Богe мгновенно лишает книгу всякого смысла и значения, а основная мудрость ислама: «Нет Бога, кроме Бога, а Мохаммед пророк его» — сразу из всего становится ничем, но это уже вопрос крепости веры, к интересующей нас теме отношения не имеющих. Конечно, Коран — случай достаточно уникальный, идеальный и абсолют-

---

ный, потому наглядный, но пригодный более для иллюстрации, чем для практического применения. Малоперспективное, никчемное и даже, по большому счету, опасное занятие — моделировать исторические, духовные, психические и прочие процессы, которые способны до той степени инициализировать потенциальную сакральность текста, чтобы вполне случайный набор слов одухотворить до уровня Бога и наполнить вселенской значимостью, давая возможность второй части системы спокойно стремиться к нулю. К тому же нам, как не мусульманам, трудно проникнуться мыслью или даже, вернее, ощущением предвечности Корана и истинно воспринять его божественную сущность (не происхождение, а именно сущность). Впрочем, многое из сказанного в разной степени относится и к другим Священным Книгам, однако обращение именно к ним требуется нам не для суетного внешнего повышения уровня разговора, а для более точного определения понятия, крайне методологически необходимого в предстоящем исследовании. Понятие это — величина востребованности текста. Оно не несет оценочного характера, а служит исключительно количественным проявлением сакральности текста, каковая, в соответствии сказанному, у всех текстов потенциально совершенно одинакова. Теоретически когда-нибудь возможно изобретение шкалы, на которой, например, за сто единиц будет принята Библия, за ноль еще не найденная берестяная грамота с долговой распиской, а

---

также создание прибора, способного измерять по этой шкале величину востребованности любого текста в конкретных единицах. Пока же мы, естественно, вынуждены довольствоваться чисто сравнительным и достаточно субъективным использованием вводимого понятия. Кроме того, наши исследования будут далеки от чистоты эксперимента, потому что мы невольно сами становимся участниками системы и одним только самым беспристрастным вниманием к тексту повышаем уровень его востребованности, тем самым возбуждая потенциальную сакральность. Химики, добываясь, чтобы посторонние вещества, в том числе и вещества тела самого ученого, не мешали исследованию самых тонких реакций, используют вакуум и специальные манипуляторы. По сравнению с ними мы, скорее, будем похожи на средневековых алхимиков, которые не имели столь совершенных приборов, но при этом не отказывались от упорных попыток найти философский камень. Отдельно следует отметить, что в своей работе мы будем вынуждены совершенно искусственно ввести самоограничение, занимаясь только рукотворными текстами, хотя по большому счету это абсолютно неверно, так как для текста вовсе не имеет значения его происхождение. Но создание единой теории, с привлечением сакральной географии, сакральной астрономии и т. п. областей исследования, — дело будущего, которое мы всего лишь пытаемся приблизить по мере своих слабых сил.

---

---

В час, назначенный Еленой, в том же месте и в той же позе, что и прошлый раз, стояли Тимирязев с Кузнецовым. Все та же погода, плащ, влажные лавки и то же ощущение совершенной осмысленности заданного и промозглого происходящего. Кузнецов поймал себя на мысли, что почему-то это сравнение с прошлой встречей важно для него, но мысль была вялая и нечеткая, и он попытался даже пробубнить почти вслух, то ли пробуя сформулировать, то ли, наоборот, отогнать неприятный привкус: «Ничего не изменилось... нет, нет, нет...» Выглядело и звучало весьма дурковато, но ведь и в прошлый раз не сильно умно. Елена подошла сбоку неслышно, вернее обычно подошла, просто Кузнецов не расслышал, положила руку ему на плечо:

— Привет, Андрей. Я согласна. Хотя, может быть, ты передумал?

Кузнецов вздрогнул, получилось не очень ловко, тем более, что он не успел сообразить, прекратил ли к этому моменту бормотать свое нелепое «нет», и не получилось бы какого глупого, неуместного автоматического ответа на вопрос Елены, кстати, тоже достаточно глупый, так что впечатление рифмы с прошлой встречей усилилось еще более... Андрей Петрович резко дернул головой, стряхнув вместе с осевшими дождевыми брызгами привычную муторную сонливость последних дней и повернулся к Елене крайне внимательным и добрым.

---

---

— Привет, Леночка. Ты о чем?

И сразу отметил, что впервые назвал ее Леночка, и что вообще крайне редко называл кого-то уменьшительным именем, и не прозвучало ли фальшиво, и, хотя сразу же успокоил себя, что фальши вроде бы взяться неоткуда, но снова слегка разозлился на себя и еще раз дернул головой, а ведь никаких дождевых капель на лице в этот раз собраться не успело.

— Андрей, я про наш прошлый разговор, ты меня как будто замуж звал. Так вот, я согласна. Или что-то все-таки изменилось? А может, сказала не так? Извини, у меня со стилем изложения последнее время...

— Нет, нет, — поспешил прервать ее Кузнецов, изумляясь универсальности этого своего, ставшего уже привычным за последние несколько минут замечательно короткого и емкого слова. — Нет-нет, ничего не изменилось. Просто по тону и тесту последнего нашего телефонного разговора я почему-то ожидал услышать несколько иную информацию.

— Иная потом, погоди, давай по порядку, прости за прозу, но сам же говорил, мы не дети, а хочешь, пойдем куда-нибудь, сядем, свечи, давай в тот же бар на Октябрьской, где мы первый раз... хотя там нет свечей...

— Подожди, не части, — крайне мягко и почти ласково придержал Кузнецов Елену за локоть и вдруг обнаружил, что все в порядке, и отступила сонная промозглость, и стало легко, и стало просто. — Все

---

нормально, Лена, со свечами разберемся, сейчас давай кратко, времени у нас, подозреваю, не так много. Ты беременна?

Женщина с легкой гримасой отмахнулась:

— Беременна, беременна, но это как раз наименьшая из проблем, это все решаемо...

Кузнецов еще раз, несколько тверже, но не менее ласково придержал движение руки Елены:

— Я разговаривал с Ломовым. Он приходил ко мне. Был весьма красноречив и даже предельно откровенен. Так что давай пропустим подробности, я от них подустал. Тебе просто надо родить мне девочку.

— Какую девочку, при чем здесь девочка, и с чего ты взял, что будет девочка, у меня и задержка-то всего ничего, я даже до конца сама не уверена...

— Знаешь, а я почему-то уверен, что будет девочка, — внезапно улыбнулся Кузнецов, улыбнулся очень открыто и очень радостно, и Елена Антоновна впервые посмотрела на него серьезно, предельно внимательно и неожиданно быстро села на мокрую лавку, даже не подумав смахнуть мутную влагу. Молчала. Кузнецов продолжал улыбаться. И через какое-то время стало ясно, что продолжать разговор никому из них не хочется, а между тем, оба понимали, что, хотя все сказано, придется еще раз проговорить обязательное, чтобы хоть самого себя не укорять потом за неиспользованный шанс. Видимо, перспектива подобного укора больше не устраивала все же Елену, поскольку молчание прервала она первой.

---

— Андрей, давай тогда еще раз с самого начала и по порядку. Я знаю, что Ломов был у тебя. Он мне звонил. Действительно, получилось несколько нелепо. Я, правда, не подозревала, я думала, это такое проявление повышенной тактичности, ну то, что ты никогда не упоминал Павла, я и подумать не могла, что просто можешь и не сообразить, кто мой муж. Представляю, что он тебе наговорил обо мне и о наших отношениях. Вернее, совершенно не представляю, но очень сомневаюсь, что Ломов правильно изложил ситуацию, сомневаюсь, что ты ее точно понял, но, главное, поверь, я согласилась быть твоей женой не потому что... то есть, практически это, видимо, имеет какое-то значение, но здесь никакой корысти, это просто ситуативное совпадение... Господи, что я несу... Андрей, я же не навязываюсь тебе, я же не ставлю никаких условий. Я не хотела влюбляться, я не хотела зависеть от тебя, я пыталась избавиться, я тут даже глупостей всяких понаделала, ну что мы с тобой последнюю встречу Онегина с Татьяной инсценируем, скажи просто, что передумал, что было мимолетное помутнение...

— Нет, нет, — уже и не обратив внимания на замечательное слово, склонился Кузнецов над Еленой Антоновной, — нет, что ты, какое же помутнение. Совсем даже наоборот, а насчет корысти, да у меня и мысли не было, просто хочу уточнить какие-то нюансы, чтобы тебе же самой проще было принимать решения. Я сам-то ведь пока еще ничего не решил, но,

---

предположим, только предположим, что я остаюсь. Тогда ты рожаеть мне девочку, отдаешь мне, а сама делаешь что хочешь. Ну, что тебе, трудно, что ли, то есть, конечно, я глупость сказал, понятно, что трудно, но я постараюсь, все от меня зависящее...

Елена встала резко, чуть не ударив склонившегося над ней Андрея Петровича:

— Кузнецов, у тебя с головой все в порядке? Что ты надо мной издеваешься, ты хотя бы вообще примерно представляешь, о каком уровне выбора идет речь, при чем тут девочка, когда у нас с тобой появился... Да прекрати ты лыбиться!..

Но Андрей Петрович не прекратил, а наоборот, как будто еще более улучшив себе настроение, нежнейше посадил Елену Антоновну на место, вновь склонился над ней:

— Ну, хорошо, хорошо, тебе сейчас очень вредно нервничать, просто слушай и постарайся понять правильно, я очень коротко. Я, естественно, ничего точно не знаю и ни в чем не уверен, но тебе я предлагаю вещь предельно конкретную. Если, еще сто раз если, но если я остаюсь, а ты нет, то сначала ты рожаеть мне девочку, а потом я, со своей стороны, делаю все возможное, чтобы с твоей фиксацией не было никаких проблем. И опять же, если мне это удастся, а я почему-то все больше начинаю верить, что у меня нынче многое может получиться, то далее ты полностью свободна в своем выборе. Все мои условия только для этого отдельного случая. В любом другом мы с

---

тобой и разговаривать будем о другом. И обсуждать, и решать, и обязательно что-то решим. Но это только при том, что ты согласишься родить и оставить мне ребенка.

И опять молчание. Но не то, что первое, похуже, не очень такое, знаете, хорошее молчание. Потом Елена снова встала. На этот раз медленно и тяжело.

— Я, Андрей, может быть, и большая сволочь. Да, скорее всего. Но это даже для меня слишком. Такую цену я платить не хочу. Дороговато. Это не твой ребенок. То есть, позволь мне обойтись без подробностей, но вероятность того, что он твой, крайне мала. И, поверь, у меня нет сейчас ни сил, ни желания изображать что-то, а уж тем более благородство и мелодраму, я говорю тебе правду, и давай закончим на этом. Мирно и спокойно. Свои проблемы я решу сама. К тебе они отношения более не имеют.

Монолог произнесен был голосом ровным и почти тихим, однако, как говорили у нас в начальной школе на уроках чтения, «с выражением» и сопровождался пронзительным взглядом больших, чуть прищуренных глаз красивой женщины, но, казалось, ушел он в пустоту, Кузнецов к моменту его начала как будто вдруг потерял всяческий интерес к содержанию разговора и думал о чем-то совершенно другом, глядя мимо, будто внимательно изучая афишу кинотеатра повторного фильма. Повяло чем-то совсем даже в

---

данной ситуации неуместным, чем-то в роде скуки, не тоски или обиды, а именно скуки, и было это ощущение при всей своей неуместности столь заразительным, что Елена Антоновна сразу после последнего слова повернулась и пошла по бульвару к Пушкинской. И этот поворот, и походка ее были совсем не резкими и вовсе не демонстративными, а как-то все получилось очень естественно и тоскливо, Кузнецов даже не сразу среагировал, вернее, некоторое время как будто вовсе и не понятно было, собирается ли он вообще реагировать. Однако через несколько мгновений догнал женщину, на сей раз не дотрагиваясь до нее и даже не пытаясь остановить, просто пошел рядом и говорил, глядя перед собой, даже слегка не повернув голову в сторону собеседницы.

— Прости, Лена, у нас изначально что-то не заладилось со стилем. Ты не зря упомянула о мелодраме. Дурной вкус, конечно, не преступление, но штука противная, и я виноват. И в прошлый раз как-то подрачки сделал тебе предложение. Не уверен, что это поправимо, но хочу просто сказать, что люблю тебя, и что с тобой мне хорошо, а без тебя плохо. И я мог бы быть тебе хорошим мужем.

Остановился. Женщина пошла дальше, и не понятно было, расслышала ли последние несколько слов, произнесенные довольно тихо уже у нее за спиной:

— А о цене ты не думай. Нормальная цена. Обычная.

Вполне вероятно, что не расслышала.

Для того, чтобы читателю стали понятны основные положения Хроники, мы должны определить некоторые понятия. Основное из них — *правда*, в отличие от *истины*. Для примера удобнее всего воспользоваться творчеством Л. Н. Гумилева. Однако прежде я вынужден сказать несколько слов о личности и книгах названного писателя, что для меня принципиально, но человеку, не особенно интересующемуся этнографией и историей, может показаться вовсе не интересным, потому желающие пропустить данный параграф и сразу перейти к изучению следующего мало потеряют в освоении идей самой Хроники.

Следует учитывать, что значил для моего поколения и круга сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, прошедший 13 лет лагерей, штрафной батальон 1-го Белорусского фронта, почти запрещенный профессор 70-х, добившийся всемирного признания в нескольких областях науки. Потому все сказанное мной впоследствии надлежит воспринимать исключительно с учетом глубочайшего уважения и самого искреннего почтения к одному из наиболее значительных людей в истории развития российской мысли нашего века. Выношу это сразу за скобки, чтобы потом каждый раз не отвлекаться на выражения восхищения глубиной знаний автора и широтой его мысли.

Начнем с определения этноса. На самом деле в совершенном и завершенном виде у Гумилева оно

отсутствует. Наиболее четкие определения только от противного — это понятие не социальное, не биологическое и т. д. Но будем крайне лояльны и, чтобы не увязнуть в согласованиях, примем формулировку: «устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющих себя всем прочим аналогичным коллективам и отличающихся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени». (И здесь, и далее я не стану делать сносок и указывать, на какую-либо конкретную книгу или статью Л. Н. Гумилева, так как характер моей работы не академический и уж тем более не обличительный, читателю достаточно моих уверений, что, с одной стороны, ничего лишнего я за Гумилева не придумал, а с другой — прочел написанное им с большим вниманием.) Следует только постоянно держать в уме, что тот самый конкретный представитель этноса, который и «противопоставляет себя всем прочим», словом «этнос» не пользуется, а в реальной жизни довольствуется разговорами об «ихней вредной нации», «подозрительной национальности» или «богоизбранном народе» в зависимости от уровня образования и эмоциональной направленности беседы. С прочими терминами разберемся по ходу дела, а теперь давайте просто прочитаем для примера хотя бы главу «Блуждающий суперэтнос» из книги «Древняя Русь и Великая степь». После нескольких чисто информативных фраз о царе Соломоне и Вавилонском плене следует такой абзац: «Из Вавилона

---

евреи распространились по всей Месопотамии и Сузиане, где вошли в тесный контакт с персами. Есть даже предположение, что знаменитая антидэвовская надпись Ксеркса, запретившего почитание племенных богов дэвов, нашла отражение в Библии, в книге „Эсфирь“, содержащей описание того, как мудрый Мардохей благодаря очарованию своей племянницы Эсфири, пленившей царя, сумел организовать погром македонян и других соперников евреев, боровшихся за влияние на персидского царя царей». Все. Эпизод информативно исчерпан. Только в примечании Гумилев ссылается на книгу А. М. Тюменева 1922 г. Однако при чем здесь Тюменев, если достаточно открыть книгу «Эсфирь» и почитать, что там действительно произошло.

Начнем с того, что и само имя Ксеркса применительно к Ахашверошу или Агасферу под достаточно большим вопросом (но будем условно считать, что речь идет о Ксерксе I, которого иногда по греческому переводу называют Артаксерксом, хотя чаще в истории так именуют его сына, по слухам, причастного к безвременной папиной кончине), и когда «Эсфирь» была написана, и кем, и по какому поводу — дело весьма темное. Очевидно одно — некий довольно одаренный, но не очень умный еврей значительно позже описываемых им событий, даже если они имели место, создал литературное произведение с наивными сказочными мотивами и явным желанием ободрить приунывших от множества напастей со-

---

племенников историей со счастливым концом. Очень кратко ее перескажу из сочувствия к лености читателя, не имеющего под рукой Библии. Еврей Мардохей случайно подслушал двух евнухов, готовивших заговор против персидского царя, и тут же этих евнухов заложил. Царь Мардохея поблагодарил, даже велел записать этот случай на память, но по рассеянности веселой своей жизни быстро все забыл. Во дворце же Мардохей оказался потому, что его двоюродная сестра (а вовсе не племянница, как пишет Гумилев) Эсфирь была любимой женой царя. Но при том должность Мардохей занимал какую-то не очень значительную, а фаворитом у царя в то время стал Аман (имена даю по православному тексту) Агагит, то есть из страны Агаг, бывшей тогда частью Мидии. Греческие авторы Септуагинты по ряду причин элементарно ошиблись, переведя Агагита как «Македонянина», с их легкой руки и латинские переводчики стали упоминать «дух и род македонский». Так что, хоть Гумилев и указывает, что Македония в 490—465 гг. до н. э. входила в Персидскую державу, однако в книге «Эсфирь» про македонян вовсе нет ни единого слова. У Амана с Мардохеем возникла вражда, да и вообще фаворит евреев не очень любил, потому уговорил царя скрепить перстнем указ об истреблении «всех Иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день... и имение их разграбить». Мардохей понял, что дело плохо, и бросился за помощью к Эсфири. Тут сразу надо отметить, что во всей этой ис-

---

тории особо положительных героев не наблюдается. Артаксеркс выглядит редким подонком, Мардохей ему верно служит и всячески добивается высочайшего расположения, Эсфирь еврейство свое тщательно скрывает и вовсе не рвется поначалу защищать единоверцев (впрочем, сам вопрос о ее вере достаточно смутен), но Мардохей вполне прозрачно намекает сестрице, что ей не удастся так просто отсидеться в царском доме и спастись единственной из всех Иудеев. Женщина оказалась понятливая и согласилась против всяких правил пойти к царю без приглашения. Однако Артаксеркс пребывал в неожиданно хорошем настроении и не только не покарал жену за нарушение этикета, но и согласился выполнить любую ее просьбу: «Даже до полуцарства будет дано тебе». Но опытная жительница гарема прекрасно понимала, что полцарство полуцарством, а начинать серьезный разговор пока рано, муж трезвый, да к тому же месяц уже в койку к себе не звал, потому предложила лишь, чтобы царь с Аманом зашли к ней выпить и закутить. Два дня она Артаксеркса ублажала, после чего отважилась, наконец, попросить не губить евреев. Тот, видимо, совсем уже расслабился, так что начал дурочку валять: «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» (Как будто первый раз слышит о собственном указе, официально объявленном уже во всех городах.) Короче, Амана повесили, Мардохея возвысили, а прежний указ заменили на новый, не менее человеколюбивый, позво-

---

ляющий: «Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей, жен, и имение их разграбить». Грабить, правда, не стали, но в остальном, судя по Библии, распоряжение царя выполнили образцово, больше семидесяти тысяч по всей стране народу порезали. Очень некрасивая история.

Есть, правда, несколько нюансов. Прежде всего, единственным реальным источником информации является исключительно так называемый «свиток Эсфири», у многих исследователей вызывавший более чем серьезные сомнения в подлинности изложенного. Хотя автор «Эсфири» и ссылается еще на хронику царей Мидии и Персии, но никто в глаза хроник этих не видел. Прочие же писатели и историки, в том числе и Иосиф Флавий, всего лишь, зависимо от меры собственного воображения, пересказывали сюжет «свитка», не имея возможности воспользоваться любым иным источником (ну нету ни одного источника!). Сам же создатель «Эсфири» имел совершенно явную тенденциозную и даже прикладную цель, связанную с обоснованием праздника Пурим. Тут совсем другая, хотя и довольно интересная тема, потому я ее затрагивать не буду, только еще раз подчеркну, что текст свитка скорее живописен и талантлив, чем точен и умен. Однако, если даже воспринимать предложенную историю как реальный факт, стоит обратить внимание на одну из множества странностей.

Артаксеркс, вместо того чтобы просто отменить свой прежний указ об истреблении евреев, всего лишь позволяет Мардохею и Эсфири написать от имени царя «что вам угодно». Они пишут, но, опять же, начинают не с отмены предыдущего указа, а с того, что «царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей». Разгадка очень проста. Дело в том, что, по персидским законам, которым, как для нас сейчас это ни смешно, подчинялся и сам Артаксеркс, единожды скрепленный царской печатью документ уже ни в каком случае не терял силу, так что собирающиеся по написанному от царского имени указу Амана устроить резню евреям все равно действовали бы совершенно законно, а Артаксеркс мог всего лишь пойти на некий компромисс и дать возможность иудеям самим нейтрализовать действие указа Амана. Потому даже архимандрит Иосиф, автор комментария православной «Толковой Библии» к книге «Эсфирь», крайне прохладно относящийся к евреям и называвший Талмуд «человеконенавистническим», замечает: «Эсфирь испрашивает у царя позволение и 14-го Адара „делать то же“, что 13-го (т. е. „собраться и стать на защиту жизни своей“ — VIII, II), — потому, вероятно, что противники их в Сузах хотели и на следующий день возобновить свои нападения против тех, кого они ненавидели не только за их национальность, но и за их религию (вот почему и текст указа предписывает также оставить иудеев пользоваться своими законами). Это в

значительной степени смягчает обвинение иудеев в жестокости и мстительности, если они были не нападающей, а лишь энергично обороняющейся стороной и, вместе с жизнью, защищали и свое священное достояние — религию».

И последнее, что следует отметить. Евреев собирались уничтожить, как обычно, всех до единого и только за то, что они евреи, иудеи же не убивали по принципу «всех персов» или «всех еще кого-то», а только «врагов», «неприятелей своих». Впрочем, все эти нюансы большого значения не имеют. История, действительно, мерзкая. Людей убивали, убивали часто крайне жестоко, без всякого суда и следствия, а потом еще веселым праздником отмечали память об этом убийстве. Евреи поступили ничуть не хуже, чем те, кто собирался расправиться с ними, но и ничуть не лучше. Естественно, у Гумилева не было возможности, да и надобности входить во все, конечно, прекрасно известные ему подробности события, удостоенного одного абзаца. Но представим себе, как этот абзац следовало написать, если строго придерживаться фактов (понятно, что я не имею в виду слог, в слове соревноваться с блестящим стилистом Гумилевым нелепо, пытаюсь реконструировать только суть дела): «Если считать Библейскую книгу „Эсфирь“ основанной на реальных исторических событиях, что, впрочем, у многих исследователей вызывало обоснованные сомнения, то во время правления одного из персидских царей, вероятней всего, Ксеркса I (485—

---

465 до н. э.), в этнически пестром и нестабильном государстве произошел конфликт между придворными и между национально-религиозными группами, интересы которых эти придворные выражали. Аман, фаворит царя, возможно, принадлежавший к народу агагитов, добился царского указа, по которому надлежало истребить всех евреев в Персии. Другой придворный, меньшего ранга, иудей Мардохей, при помощи своей двоюродной сестры Эсфири, любимой жены царя, сумел организовать интригу, в результате которой на сей раз, в отличие от обычного, не евреев порезали, а евреи порезали своих врагов». Информативно практически то же, что и у Гумилева. Но если вы еще раз перечитаете приведенный мной абзац Льва Николаевича, то явно почувствуете смещение акцента — все же просто «организация погрома македонян и других соперников» имеет чуть-чуть, но другой привкус.

Прочтем следующие строки Гумилева. «Однако успех Мардохея оказался эфемерным. Персы охладели к евреям, и те радостно приветствовали Александра Македонского, пользуясь тем, что ни царь, ни его эллинские друзья никогда не сталкивались с евреями. Когда же греки и евреи оказались в пределах единой Селевкидской державы, между ними возникла кровопролитная война, закончившаяся победой евреев, основавших в Палестине царство с династией Хасмонеев». Здесь каждое слово изумительным образом поставлено с ног на голову. Пер-

---

сы совершенно к евреям не «охладели», как до того и «не воспылали», интересы разнородных общин персидского царства были противоречивы, таковыми и остались, эпизод с Эсфирью, если и имел место в действительности, то так эпизодом и остался, ничего принципиально в государстве не изменив. Что же касается Александра Македонского и его «эллинических друзей» (крайне расплывчатое понятие), то, во-первых, с евреями они «сталкивались». Во-вторых, Гумилев сам себе противоречит: если бы евреи, действительно, при Ксерксе устроили такую жуткую резню македонянам, то македонский царь вряд ли мог об этом не знать, еще его папа довольно долго с персами воевал и осведомлен о происходившем у них был вполне. Относительно «радостного приветствия» же, если оно и имело место, то вовсе не среди персидских евреев (нет сведений), а в самом Иерусалиме. Эта история известна исключительно только из «Иудейских Древностей», и у исследователей вызывает большие сомнения фантастический рассказ Иосифа Флавия о том, как Александр у входа в храм поклонился иудейскому первосвященнику. Впрочем, само по себе благожелательное отношение евреев к Александру и Александра к евреям удивления не вызывает, но причина тому не в вероломной хитрости иудеев, предавших добрых своих покровителей персов, и не в наивности македонского царя, прельстившегося лживыми «радостными приветствиями» евреев, а в совершенно уникальном утилитарном

---

и рациональном подходе Александра Великого к проблеме сосуществования народов на завоеванных им территориях. Основатель гигантской империи, особенно в начале своего пути, когда не так сильно уставал и не так много пил, обладал чудесным характером и вполне наплевательским отношением к любым религиям. По логике его характера, он вполне мог и еврейскому богу поклониться, и египетским богом сделаться (что практически и произошло), и одновременно считаться распространителем чисто эллинской культуры. А на самом деле интересы его лежали совсем в другой плоскости, о чем я, естественно, сейчас распространяться не стану. Подчеркну только еще раз, что евреи как изначально Александра и греков лживыми ласками не обольщали, так и потом его не предавали, — в еврейской культурной традиции память об императоре осталась только хорошая. Что же касается державы Селевкидов, в которой, по определению Гумилева, евреи и греки «оказались» после смерти Александра и распада его империи, то это уже совсем другая история. Можно как угодно относиться к вооруженной борьбе евреев под руководством Маккавеев (или Хасмонеев, как называет их Гумилев) за восстановление своего независимого государства в Палестине, но уж совсем странно представить эту борьбу как «кровопролитную войну», развязанную вероломными иудеями, против несчастных, доверившихся еврейским «радостным приветствиям» греков.

---

---

Далее Гумилев как бы оставляет «вернувших себе независимость» (его собственные слова) евреев в покое и начинает рассказывать о возникновении нового «этноса по Христу». Хотя тут сразу обнаруживается терминологическая путаница — «К середине II века они слились в особый субэтнос, или „этнос по Христу“». Так все-таки в этнос или в субэтнос («элемент структуры этноса, взаимодействующий с прочими», по определению Гумилева, то есть взаимоотношение субэтносов внутри этноса все же более основано на «взаимодействии», в отличие от взаимоотношения этносов между собой, где главное «противопоставление»)? Развивает свою мысль Гумилев следующим образом: «В этой фазе этнос вел себя как дитя в утробе матери. Являясь по сути новой персоной, он сам этого не признавал. Первые апостолы считали себя галилеянами. Они ощущали свое различие с соплеменниками, но приписывали это нисхождению на них святого духа. Однако одного такого факта было достаточно, чтобы евреи перестали видеть в них членов своего этноса и уже в 135 г. побили камнями архидиакона христианской общины Стефана». Тут я вынужден несколько отвлечься, поскольку приведенная фраза имеет принципиальное значение для последующего. Представляю на суд читателя собственное оригинальное утверждение: «Первые раскольники считали себя русскими. Они ощущали свое различие с соплеменниками, но приписывали это отходу последователей Никона от истинной веры. Однако одного

---

---

такого факта было достаточно, чтобы русские перестали видеть в них членов своего этноса и уже к десятилетию собора 1667 г. побили при помощи всех видов оружия, вплоть до пушек, столько раскольников, что и на иную войну хватило бы». Я не буду вдаваться в тонкости типа того, что при расколе скорее никонианцы выступили в роли христиан, просто их сразу оказалось количественно больше, или относительно большей глубины различия между иудаизмом и христианством, чем между никонианцами и старообрядцами. Мы реконструируем только логику и систему доказательств Гумилева. Для него раскольники — это тоже новый субэтнос, о чем он неоднократно писал (до этноса, правда, не договаривался). Так что моя фраза ничуть не менее доказательна, чем фраза Гумилева.

Можем продолжить аналогию и рассмотрим буквально следующую мысль Льва Николаевича: «Особенно сильно повлияли на консолидацию христиан зверские убийства их иудейскими повстанцами Бар-Кохбы (Сына Звезды) в 135 г. После этого оборвались традиционные связи между новой этнической целостностью и старой, но реформированной путем дополнения древнего предания». Соответственно представим себе и следующую конструкцию: «Особенно сильно повлияли на консолидацию раскольников зверские убийства их подданными Федора Алексеевича (сына Алексея Михайловича) в 1682 г. После этого...» (далее все по тексту Гумилева). Дела

---

нет до того, что и христиане, как, впрочем, и иудеи, по мнению Гумилева, разрослись потом в суперэтносы, а раскольники и уровень субэтноса-то не преодолели, постепенно в пассионарности своей затухая. Просто мы видим, что обоснования Льва Николаевича следуют не какой-то очевидной логике фактов, а некой главенствующей мысли автора, подчиняющей себе без труда абсолютно любую логическую конструкцию. То есть я вовсе не спорю с тем, что после 135 г. полностью оборвались этнические связи между иудеями и христианами — может, и оборвались. Только обосновывать это в данном месте единственно действиями повстанцев Бар-Кохбы так же нелепо, как утверждать полный этнический разрыв между русскими и раскольниками на основании штурма и разгрома Соловецкого монастыря или сожжения в срубе Аввакума Петровича с товарищами.

Теперь давайте обратим внимание еще на один аспект. Говоря о раскольниках и никонианцах, Гумилев ни разу не употребил слова «зверский» или любого подобного эпитета, хотя там взаимоотношения частенько были построены на отрезании языков, сожжении живых людей, их же замуровывании и самозамуровывании и прочих такого рода милых деяниях. Но Гумилеву удастся выдержать строгий тон историка и, в соответствии с неоднократными собственными декларациями, минимизировать эмоциональную окраску и нравственную оценку при рассмотрении произошедших событий. Что же такого страшно-

---

го тогда сотворил Бар-Кохба, если даже предельно уравновешенный Лев Николаевич не сдержался? Прежде всего, о самом «Сыне Звезды» практически ничего не известно вплоть до настоящего имени. Можно лишь с достаточными основаниями предполагать, что еврей, названный впоследствии церковными писателями Бар-Кохбой, примерно в середине 130-х годов возглавил восстание иудеев в Палестине против римлян. Судя по всему, он был из тех самых гумилевских пассионариев, что уж очень накашались энергии окружающего мира. Весьма характерна легенда о том, как Бар-Кохба приказал каждому из своих солдат отрубить собственный палец (естественно, солдатский) для проверки доблести. Когда еврейские мудрецы об этом узнали, им стало не очень хорошо, и они, посоветовавшись, решили настойчиво порекомендовать полководцу другое испытание для воинов: пусть каждый всадник на всем скаку вырвет руками с корнем ливанский кедр. Как уж там с кедрами дальше разобрались, дело темное, но, по крайней мере, хоть историю с пальцами замяли, уже хорошо. Еще предание приписывает Бар-Кохбе чрезвычайно наглую фразу, обращенную к Богу: «Молим Тебя не помогать только нашим врагам, мы же не нуждаемся в Твоей помощи». Короче, тот еще, видимо, был деятель. Однако сумел сплотить вокруг себя почти все население Палестины и года три вести с римлянами поначалу даже очень успешную войну. Императору пришлось срочно вызвать из Британии крупнейшего

---

полководца того времени Юлия Севера, дать ему под начало дополнительно переброшенные из Сирии лучшие легионы, и только тогда страшная военная машина римлян стала понемногу, в десятках сражений, перемалывать отряды палестинских повстанцев.

Читатель, думаю, давно уже не может понять, а при чем же тут христиане? Все очень просто. Бар-Кохбу в тот момент поддержало практически все население Палестины, вне зависимости от национальностей и вероисповеданий, вплоть до вечных недругов еврейских — самарян. Чужие евреи стекались из других стран, соседние язычники пристраивались — видать, у всех против римской администрации добра накопилось. И только единственная группа не пожелала в заварухе участвовать, захотела полный нейтралитет сохранить. И ладно еще какие-то пришлые были бы, а то ведь свои же евреи, только что-то там про святого духа рассказывающие. Бар-Кохба со своими вырывающими дубы сподвижниками Гумилева тогда еще не прочел и не понял, видать, что это уже совсем другой этнос и нельзя к нему со старыми стереотипами подходить. Явно досталось тогда христианам под горячую руку. Правда, еврейские авторы, как обычно, старались острые углы сгладить и настаивали, что кроме символического «побиения палками» (другие говорят о «бичевании») ничего особенного и не было, христианские же, наоборот, описывали такие ужасы, что волосы на голове дыбом становятся. Собственно, реально христианских историков, от которых Гумилев

---

мог почерпнуть сведения о «зверствах» евреев, всего три. Это Иустин, Евсевий и Орозий. Прочие только ссылались на названных и никаких дополнительных источников не приводили. Начнем по порядку. Наиболее авторитетным следует считать свидетельство св. Иустина. Во-первых, он был современником восстания Бар-Кохбы, во-вторых, что самое главное, нравственные устои, искренность и добросовестность самого писателя, в отличие от многих прочих, дают возможность полностью доверять человеку, доказавшему верность своим идеалам гордой жизнью и мученической смертью. Действительно, в его первой Апологии есть такие строки: «Впрочем, последние (иудеи. — *А. В.*) читают их (Священные книги. — *А. В.*), но не понимают сказанного в них; нас же почитают врагами и противниками и, подобно вам (римлянам. — *А. В.*), убивают нас и мучат, когда только могут; в этом сами можете удостовериться. Да и в бывшей последней иудейской войне Вархохева (Бар-Кохба. — *А. В.*), предводитель иудейского возмущения, велел одних только христиан предавать ужасным мучениям, если они не отрекутся от Иисуса Христа и не будут хулить его». Как будто высказывание Гумилева полностью подтверждается. Но обратим внимание на несколько моментов. Да, Иустин был современником событий, но отнюдь не их свидетелем, а уж тем более участником. К тому же, хоть и родился он на территории Палестины, но евреем по национальности и изначально иудеем по вере не яв-

---

лялся, а принадлежал к семье греческих колонистов. Так что взаимоотношения между (очень условные наименования) евреями-иудеями и евреями-христианами все же не полностью оказались близки и понятны Иустину. Его знания Ветхого завета, которые он блестяще продемонстрировал в «Разговоре с Трифоном иудеем», — это знания не иудаизма изнутри, перешедшего путем реформации в христианство, а изначально воспринятый Завет с позиции обращенного в христианство язычника. Потому, говоря о требованиях иудеев отречься от Христа, Иустин невольно, просто по полной чуждости иудаизму, упускает принципиальнейший нюанс. Иудаизму, в отличие от многих религий, и в особенности от христианства, совершенно несвойственна идея миссионерства, мысль о распространении своей веры на иные народы. Здесь начало странного логического несоответствия в высказываниях и многих последующих критиков иудаизма. С одной стороны, иудеи заслуживали упреков в основном за то, что считали себя богоизбранным народом, а Пятикнижие обращенным только к евреям и ни к кому более, а с другой — что якобы хотели кого-то заставить отречься от своей веры. Во имя чего? Даже сейчас, в наше как будто просвещенное время, если нееврей захочет принять иудаизм, то прежде всего сами правоверные иудеи начнут его отговаривать, то есть в принципе это возможно, но без всякого иудейского влияния и связано с очень серьезными трудностями. А в те времена казалось еще

---

более нереальным. Так что иметь какие-то претензии религиозного характера, а особенно выражающиеся в откровенных гонениях, иудеи могли не просто к христианам — христиане-греки или римляне их вовсе не интересовали, — а только к своим, то есть евреям, перешедшим из иудаизма в христианство. Евсевий (более подробно о котором далее) пишет: «Из письменных источников я только узнал, что до осады Иерусалима Адрианом их (иерусалимских епископов. — А. В.) было пятнадцать, преемственно сменявших друг друга, — все они были исконными евреями и Христово учение приняли искренне, так что люди, которые могли об этом судить, сочли их достойными епископского служения. Вся церковь у них состояла из уверовавших евреев, начиная от апостолов и до тех, кто дожил до той осады, когда иудеи, опять отпавшие от римлян, были разбиты в нелегкой борьбе». Последним епископом из «обрезанных» Евсевий называет Иуду, возглавлявшего христианскую общину, согласно списку архимандрита Сергия, в 135 г., то есть, по всей вероятности, именно тогда, когда и был убит Бар-Кохба. И конечно же, «исконные евреи» новой Церкви вместе с ее «обрезанными» руководителями воспринимались восставшими иудеями как «свои», только «переметнувшиеся», и похожее отношение сохранилось впоследствии (в иных, естественно, формах) к «выкрестам», оно не имело ничего общего с отношением к христианам «со стороны». Так что, если и можно говорить о времени, с

---

которого разошлись пути христианского и иудейского суперэтносов (о спорности самих определений и в целом постановки вопроса я сейчас говорить не стану, пользуясь выражением того же Евсевия, «ради соразмерности в работе»), то размежевание произошло не в тот момент, когда иудеи впервые побили камнями христианского архидиакона, а когда евреи перестали вовсе воспринимать христиан как «своих» и начали вести с ними вежливые ученые диспуты. Уже сам Иустин в «Разговоре с Трифоном иудеем» (не имеет значения подлинность разговора, важен тон писателя), несмотря на всю полемическую горячность, доводящую святого до признания совершенно «справедливым» уничтожение римлянами остатков еврейской государственности и практически всего еврейского населения Палестины, прощается с иудеями, хоть не обратив их в христианство, но вполне мирно: «После этого они оставили меня, молясь о моем спасении от опасностей путешествия и от всякого бедствия. И я молился за них...»

Но все сказанное мною далеко не самое важное для определения правильного взгляда на историческую значимость свидетельства Иустина о «зверствах» повстанцев Бар-Кохбы. Основное отнюдь не в нюансах и трактовках отдельных событий и даже не в принципиальных вопросах взаимоотношения иудейства и христианства первых полутора веков, а в самом наглядном и простом — в предназначении и адресации той самой Апологии Иустина, из ко-

---

торой и взято свидетельство. Ведь не к евреям она вовсе обращена, которые в большинстве своем были «справедливо» уничтожены и к тому моменту для христиан никакой опасности уже не представляли, а к императорам, «сенату и всему народу римскому». И поводом ее написания была вовсе не «еврейская угроза», а исключительно жестокие казни, которым подвергались христиане во всех областях римской империи со стороны официальных представителей власти. Три строчки о Бар-Кохбе выхвачены из семидесяти одной главы Апологии, из семидесяти одной главы искреннейшего и полного боли вопля: «Римляне! Перестаньте уничтожать нас только за нашу веру, отнеситесь к нам по делам нашим, будьте всего лишь справедливы!» И в этом отчаянном крике собрано все, что хоть как-то могло отвратить римские мечи от христианских голов, вот и иудеи «подобно вам убивают нас и мучат», мол, что же вы своим врагам уподобляетесь, разве могут быть плохими те, к кому плохо относятся евреи? Можно вполне отнестись с пониманием к подобному аргументу в устах человека, пытающегося спасти своих единоверцев от страшных пыток и смертей. Но вряд ли есть смысл основывать приведенную фразу как неопровержимый документ, подтверждающий реальные «еврейские зверства» в начале тридцатых годов II века. При том, что, повторюсь, свидетелем событий Иустин не был, к иудеохристианам, пострадавшим во время восстания, не принадлежал и в произведении своем намеренно и

---

оправданно цели публицистические ставил выше научной точности. «Первоначально они (апологеты), защищая христианскую веру, руководствовались отнюдь не видами учеными. Одушевленные любовью к святой вере и братьям своим, проникнутые скорбью о бедственном положении их, апологеты являлись по преимуществу ходатаями (адвокатами) за невинно гонимое христианское общество. Обращаясь с своим словом к императорам или областным правителям и вообще людям, имевшим влияние на общественное мнение, они имели в виду то, чтобы облегчить печальную участь христианского общества, освободить его от несправедливых клевет и обвинений, доставить ему безопасность и расположение или, по крайней мере, терпимость в языческом государстве» (Прот. П. Преображенский).

Но оставим святого мученика и обратимся к более строгим трудам человека, которого по праву считают основоположником христианской исторической науки. Сразу, для более предметного разговора, приведем шестую главу из четвертой книги «Церковной истории» Евсевия Памфила: «Так вот, иудеи восстали вновь, и восстание все разрасталось. Руф, правитель Иудеи, с войском, присланным ему в помощь императором, безжалостно, пользуясь их безумием, преследовал и уничтожал их десятками тысяч: мужчин, женщин, детей — всех заодно; всю страну их, по закону войны, поработил. Вождем иудеев был тогда человек по имени Варкохеба, что значит

---

„звезда“, — убийца и разбойник; он, ссылаясь на это имя, внушил рабам, будто он светило, спустившееся с неба, дабы чудом даровать им, замученным, свет. На восемнадцатом году правления Адриана война была в разгаре; осада Бетферы (это был очень укрепленный городок недалеко от Иерусалима) затянулась; мятежники гибли от голода и жажды и дошли до последней крайности. Виноватый в этом безумец понес достойное наказание; а по законодательному решению и распоряжению Адриана, всему народу запрещено было с того времени ногой ступать на землю в окрестностях Иерусалима; не разрешалось даже издали взглянуть на родные места. Это пишет Аристон из Пелы. Так пришел в запустение город иудеев; никого не осталось из старых жителей, и его заселил чужой народ...» Евсевий по человеческим качествам не столь безупречен, как Иустин, и если тенденциозность второго полностью оправдана экстремальностью ситуации и образцовой мученической кончиной, то некоторое форсирование звука первым нуждается в хотя бы кратких пояснениях. Епископ Кесарийский был далеко не святым и к личному мученичеству не очень стремился. После прихода к власти в 323 году Константина Великого Евсевий «оказывает сильное влияние на императора и сохраняет это влияние до смерти. Этому способствовало его умение хвалить покровителей и замалчивать их ложные шаги, готовность вовремя произвести нажим и на свои взгляды, и на чужие документы <...> именно благодаря его

---

искусству располагать свет и тени мы до сих пор не знаем многого важного в жизни императора и в процессе превращения христианства из религии гонимой в государственную» (И. Д. Андреев.). (Я намеренно при разговоре о христианских источниках пользуюсь исключительно мнениями христианских же ученых, так как иудаисты могут быть пристрастны в связи с тем, что практически каждый христианский деятель первых веков занимался активной полемикой с иудеями и в той или иной степени, вольно или нет, становился причиной гонений на евреев. — А. В.) А лицемерное и беспринципное поведение Евсевия на соборах 20–30-х гг. у многих даже ортодоксальных церковных деятелей вызывало столь серьезное неприятие, что упреков в тенденциозности заслуживало и порой как бы вполне объективное изложение фактов. «Главное его произведение — „История Церкви“, хотя этому сочинению не достает критического чутья, беспристрастия и равномерности в распределении материала и его обработке...» Впрочем, здесь южакские энциклопедисты, возможно и перебарщивают, «Церковную историю» Евсевий написал еще до того, как стал большим политиком при императорском дворе, и сделана она по тем временам достаточно умело, я же вовсе противник того, чтобы, ставя под сомнение абсолютность нравственных устоев автора, порочить таким образом достоверность излагаемых им фактов. Уж на что Иосиф Флавий редкостным был подонком, а умудрялся порой блеснуть

---

исключительной правдивостью. И все же следует учитывать некоторые оттенки. «Церковная история» стала классической не только благодаря своим бесспорным достоинствам, но и во многом потому, что оказалась практически единственным дошедшим до нас подобного рода произведением. Более того, исчезла и большая часть сочинений и документов, на которые ссылался и которые использовал в своей работе Евсевий, так что без него о первых трех веках христианства наши знания оказались бы и совсем скудными. Поэтому, говоря о тех временах, часто нет иного выхода, как только использовать сообщаемые Кесарийским епископом сведения. И тут главное, при самой большой доверчивости, учитывать и постоянно иметь в виду условия написания книги и ее истинную задачу. Хотя по названию это вроде бы «История», но по сути это написанное в период очень жестоких гонений Диоклетиана на христиан собрание житий мучеников, составленное с очень четкой идеологической установкой. Собственно, отсюда, видимо, и идет упрек в «несоразмерности распределения материала», хотя тут не ошибка или упущение Евсевия, просто то, что для ученых более поздних времен может показаться несколько излишним, например, многочисленные и достаточно однообразные подробности пыток и истязаний, которым подвергались при разных правителях христиане, для Евсевия как раз и было основным значимым в его произведении. Да плюс к чисто «адвокатским» функциям (заслужи-

---

вающим всяческого уважения) страдательного тона всего произведения следует отметить очень тонко подмеченную и постоянно подчеркиваемую В. В. Розановым ноту изначальной христианской тяги к мученичеству как идеалу (о Розанове в связи с этим мы после поговорим подробнее). Так что при общем тоне произведения и на соответствующем историческом фоне именование Бар-Кохбы разбойником и убийцей (хотя лично я не сомневаюсь, что убийцей он, конечно же, был), так же как представление христиан постоянно потерпевшей стороной, становится более литературной формой, чем результатом исторического исследования. Но как раз в данной ситуации особенно показательно, что, будучи по своей сути все-таки более талантливым именно историком, чем идеологом, Евсевий, возможно, бессознательно, но пропорционально расставляет акценты и в описаниях еврейского восстания уничтожению десятков тысяч мятежников вместе с женщинами и детьми отводит больше места, чем описанию трений между евреями-иудеями и евреями-христианами...

Здесь мне следует, наконец, окончательно и решительно объясниться по поводу национального вопроса, дабы грязные инсинуации определенных недобросовестных оппонентов не замутили кристальной чистоты моих беспристрастных логических построений. Честное слово, я не испытываю никакого психологического дискомфорта от того, что Гумилев не любил евреев. Ну, не любил, и ладно. Я-то сам к

---

ним тоже, мягко говоря, не очень... Столь же сильно, как евреев, я не люблю только русских. Извинение для себя нахожу в том, что европейцев, американцев, негров и прочих косоглазых тоже терпеть не могу. Видимо, лучше всего отношусь к пигмеям. Особенно после той истории, когда недавно, во время одного из межплеменных конфликтов на них началась охота с целью употребления в пищу. Несколько пигмеев умудрились добраться до Америки и явились в ООН с жалобой. Представьте себе эту картину — стоят, робко прижимаясь друг к другу маленькие человечки и вежливо так просят Генеральную Ассамблею, чтобы их перестали кушать. Лично у меня на глаза наворачиваются слезы. Кстати, мало кто знает, что пигмеи — это не нация или племя, а совершенно отдельная четвертая раса. Впрочем, вполне вероятно, что мое благожелательное к ним отношение связано более всего с тем, что я ни с одним пигмеем лично не общался и даже ни одного из них вживую не видел. Все же прочие вызывают у меня эмоции исключительно отрицательные.

Да... Ужасная история. Это я не о Гумилеве и евреях. Это я о себе. Меня много в чем можно упрекнуть. В том, что плохой писатель. Что вовсе не писатель. Но только не в графомании. К сожалению. Графоманы пишут легко, получая истинное наслаждение от самого процесса, я же вожу (аллитерация знаковая) пером по бумаге с усилием и неприязнью, страшась объема еще не сказанного и впадая в па-

---

нику от величия предстоящих усилий. Вот и сейчас, краем глаза кося на планы задуманного обзора подготовленных материалов, с трусливой тоской выхватываю взглядом имена и названия: Блаженный Августин, Розанов Василий Васильевич, Шидзин, Махабхарата, Тойнби... Особенно Тойнби. Хуже Панчатантры. Ведь ввяжешься в серьезный диалог с этим гениальным дилетантом-мистификатором (ну, как с Фрезером, примерно), попадешься на соблазнительную наживку, зацепишься языками... Все, пропал. «Напрасно будут ждать в родимом доме еще десятки беспокойных лет». Хватит мудрствовать и отнимать законное время у водки и женщин. Так что далее очень коротко и конспективно. Даже вопреки данным прежде обещаниям.

Предположим, Лев Николаевич совершенно прав, и евреи просто по сути своей существа для окружающих исключительно вредоносные, а негры африканские — тихо отмирающее прошлое человечества. Предположим, лично я готов все это принять как абсолютную истину. И что мне делать с этой истиной? Ну, не станем лукавить, что именно делать — прекрасно известно и не одно тысячелетие. Но, думаю, обычно применяемые рецепты и методы при обыденном повсеместном распространении не вызвали бы большого восторга не только у самого Гумилева, но и даже у особо истовых его приверженцев и последователей. Хотя?.. Или вот еще. О цыганах. Типа, все цыгане — воры или актеры театра «Ромэн». А если

---

чуть серьезней, то какая там системообразующая суть в этой почти мистической категории — цыгане? Общей культуры нет, общего языка нет, общей истории, по сути, тоже нет, нет общей судьбы, как у курдов, Книги, как у евреев, запойной тоски, как у русских в Америке или хитрого прищур, как у китайцев по всему миру. Остается одно — образ жизни. Кочевой табор. Кто живет по законам табора и кочует — тот и цыган. Исчезновение хотя бы одного из факторов смертельно для народа. Оседлый табор по безвыходности начинает торговать наркотиками и из этнического превращается в сообщество чисто криминальное. Кочующие же без табора уходят в область опять же не национального, а социального. Но кочующий табор просто практически не может, и никогда не мог существовать без скрытого хищения чужого имущества. То есть воровства. Вот и получается предельно простая истина: каждый цыган — вор. А если не вор, так он и не цыган (оговорку про театр «Ромэн» я уже сделал). Но, если это истина, то законно и справедливо всех цыган разом взять и посадить в тюрьму. Невинных не будет.

О законе и виновности, кстати, отдельный разговор. Можно было бы, конечно, сосредоточиться на гигантском количестве нелепостей, лежащих в основе как чистого законодательства, так и правоприменительной практики. Типа того, что пока мужчина насилует женщину, а она его убила — это полностью оправданная самооборона, но в ту секунду, как он

---

встал, трогать его не смей, потому что получится уже мечь, а за это серьезный срок. Так что для женщины единственный шанс на адекватный, но безнаказанный ответ — успеть дотянуться до утюга или молотка, пока мужик не закончил. Он же, в свою очередь, должен постараться обеспечить свою безопасность и в процессе быстренько соскользнуть, сразу же попадая под защиту закона. Или, к примеру, сроки наступления уголовной ответственности. Убил сто человек, но последнего за пару минут до наступления дня своего совершеннолетия. Все равно, больше червонца не получишь. Самое смешное, что родился ты следующим вечером, так что биологически тебе еще почти весь наступивший день быть бы несовершеннолетним. Но формальное значение имеет исключительно наступление такого-то числа. И, кстати, можно много тут смешных казусов нафантазировать, связанных, скажем, с переходом на зимнее время или с преступлениями на грани часовых поясов. Или вот еще — вещественные доказательства. Кто-то из независимых американских прокуроров сказал всего пару десятилетий назад: «Уже стало совершенно невозможно доказать убийство, если только оно непосредственно не снято на киноплёнку». Совсем немного времени прошло до того, как стало ясно, что подделывать любой видеоматериал как раз проще всего, а с появлением современной компьютерной технологии и переходом на цифру вопрос вообще ушел в заоблачные цифры абстракции.

---

Какая-то надежда появилась после начала практического применения генетической экспертизы. Когда в конце восьмидесятых в США впервые создали федеральную базу данных по отпечаткам ДНК, то на свободу пришлось выпустить сотни (!) пожизненно приговоренных за убийства и изнасилования. И это при том, что огромное количество вещественных доказательств за прошедшие с момента преступления годы было утеряно, оставшийся материал оказался в ужасном состоянии, а компьютеризация пока оставалась пещерной. И все равно, того, что удалось проанализировать и сравнить, оказалось достаточно, чтобы бесспорно доказать — генетический код осужденного и код преступника, оставившего кровь или сперму на месте преступления — разные. И так, повторюсь, в сотнях случаев. И это только в тех штатах, где за подобные преступления не полагалась смертная казнь. Относительно уже казненных, на всякий случай, решили особо не докапываться. Правосудие повинилось с неловкой смущенной улыбочкой-гримаской и успокоило общественную совесть тем, что теперь-то, наконец, создан уже абсолютно точный и надежный метод идентификации преступников. И метод этот десятилетиями совершенствовался и уточнялся вместе с развитием всех привлеченных наук от генетики до химии и молекулярной физики и всех технологий от цифровых до коммуникативных. Возникло даже такое понятие в криминалистике, как установленный, но пока не пойманный преступник. В соответствии с ним,

---

последние несколько лет в Германии искали таинственную женщину, преступницу с фантастическими криминальными способностями, которая умудрилась ограбить несколько банков, угнать множество автомобилей, зарезать старушку, поджечь дом и выпотрошить сотни банкоматов по всей стране. На каждом месте преступления находили биологические следы с одним и тем же генетическим кодом, изучая который, криминалисты выяснили мельчайшие подробности не то что внешности, но чуть ли не характера и сексуальных предпочтений предполагаемой злодейки и составили полную карту ее заболеваний. Так что оставалось только преступницу найти, быстренько осудить и можно сразу же начинать лечить в тюремной больнице. И вот, наконец, всю Германию облетела долгожданная весть — неуловимую женщину нашли! Ею оказалась работница фабрики, которая выпускает палочки с ватными наконечниками, используемые в лабораториях при проведении генетической экспертизы. Классический артефакт. Страна смеялась, но с нервной примесью ужаса. А ведь только что множество умнейших деятелей всех направлений от политиков до юристов и социологов, говорило о том, что современная наука свела риск ошибки при определении убийцы к нулю и не стоит ли подумать (естественно, в исключительных случаях) о возвращении смертной казни, отмененной во многих странах Европы отчасти именно из-за подобных ошибок (например, известное «дело о красном пуловере», по результатам которого

---

был казнен, скорее всего, невинный, что привело к отмене смертной казни во Франции).

В неменьшую нелепость вылилась попытка создать у нас программу подготовки присяжных. Подобные попытки «пробных процессов» делаются и на Западе, но там «фокус-группы» создаются богатыми адвокатскими конторами до судебного разбирательства, и только для прогнозирования возможного приговора, и реальны там только адвокаты, остальные просто играют роли. У нас же ситуацию продумали до почти идеального приближения к действительности. Берется недавно слушавшееся дело, по которому уже вынесен приговор, тот самый судья, который вел процесс, те же самые прокуроры, защитники, свидетели, эксперты. Только обвиняемый подставной, но он или молчит, или говорит дословно то, что говорил настоящий. И вот проходит десять одинаковых процессов с десятью разными составами присяжных. Половина оправдательных приговоров, половина обвинительных. И так в каждом десятке. То есть, естественно, не всегда ровно половина, но вполне в рамках статистической погрешности. В точности как орел-решка. И все это прекрасно всем известно.

Я не стану продолжать перечисление подобных частных случаев. Много лет коллекционируя разного рода юридические казусы, нелепости, трагические случаи и просто откровенные глупости, приведшие к непоправимым судебным ошибкам, я собрал тыся-

---

чи любопытнейших фактов. Но любое их количество, даже при самом профессиональном, тщательнейшем анализе и мудрейших выводах из этого анализа, не приблизит никого к хоть сколько-нибудь полезным решениям. Так как проблема не в частностях, а в коренных противоречиях любой современной судебной системы. Дело в том, что правовая практика нашего времени и мира, идущая от Рима, с разными вариациями, но включает два основных принципа. Первое — нельзя основываться при доказательстве преступления на свидетельствах со слов третьих лиц (в США — «показания с чужих слов»). То есть: «Я видел, как Петя убил Васю» — это пожалуйста. А вот: «Мне Коля сказал, что он видел, как Петя убил Васю» — это извините. И второе — свидетель преступления не может не только принимать участия в судебном решении, но вообще автоматически выводится из процесса в любой иной форме, как только именно и исключительно свидетель. То есть, если выясняется, что даже адвокат (не говоря уже о прокуроре, судье или ком-то из присяжных) лично может засвидетельствовать невиновность обвиняемого, он тут же теряет право быть официальным защитником. То же, естественно, и в случае, когда любой из обвинителей непосредственно присутствовал на месте преступления в момент его совершения. Только не подумайте, что я хоть в какой-то мере хочу поставить под сомнение незыблемость этих священных установлений. Ни в коем случае. Они абсолютно

---

оправданны, и никуда от них не денешься. Иначе соблудности объективность и беспристрастность процесса попросту невозможно. Но все дело в том, что и судьи, и присяжные как раз и принимают решения на основании «чужих слов». И получается, что любое решение не просто условно и приблизительно, но основывается на принципах, этой же юридической системой признанных порочными.

Если уж совсем огрубить ситуацию, то в предельно заболтанном случае со смертной казнью, что может быть законно и справедливо для человека, который (например, как я) считает, что намеренно и злоумышленно (отбросим для простоты миллионы всех возможных нюансов) отнявший жизнь у другого человека должен расплатиться своей? Убить убийцу в праве только тот, кто сам видел убийство, и оно для него несомненно. Но как раз этот видевший и оказывается единственным, кто непосредственно не может принимать участия в решении о наказании (только косвенно, через свои показания). Остается признать, что справедливости в судебной системе нет? Конечно, нет. И любой хоть сколько-то серьезный юрист прекрасно об этом осведомлен. Ну и что из этого?

А любой нормальный биолог, ученый, занимающийся смежными науками, да и просто хороший врач, несомненно, в курсе последних разработок английских исследовательских центров и прекрасно осведомлен, какие именно химико-физиологические процессы ле-

---

жат в основе главных человеческих мифов от любви до преступности. Какой выход? Признать любовь большой, но даже не очень ловкой аферой, отменить нынешнюю судебную систему, разделить человечество по генетическим признакам и начать уничтожать наиболее вредные в общежитии типы?

Да что там мелочиться. В основе всех философий и религий как ни крути, все равно лежат всего два вопроса: смертен ли человек и хорош ли он? И хотя ничего ровным счетом даже не намекает на это, остается признать, что бессмертен и прекрасен, дальше некуда. А что прикажете делать? Жить как-то надо. Таким образом, когда судмедэксперт дает заключение, что человек, убивший и съевший пару десятков сородичей, абсолютно здоров и пригоден для суда и наказания, он, конечно же, действует по правде, прекрасно понимая, что иначе нас всех скоро съедят. Но при этом, если он же не осознает истины, которая, несомненно, в том, что перед ним просто несчастное больное взбесившееся животное, то является элементарным идиотом. Поэтому, прошу меня правильно понимать, когда я настаиваю, что все написанное в данной Хронике — истина. Правда ли это — разговор отдельный и не со мной. Система только на первый взгляд кажется слегка переусложненной. И никакой трагедии тут нет. Просто нужно свыкнуться.

Вот и все, собственно, что я хотел сказать. Остальное сами.

Наступило время Последнего Общего Собрания, и Собрание состоялось. Собрались, естественно на Коровинском. Интерьер особо не меняли. Несколько расширили Красный уголок, на дверь зачем-то прилепили листок в клеточку с кривой надписью химическим карандашом: «Стучите». И по мебели там, по мелочам. У противоположной от входа стены поставили канцелярские столы буквой П, перекалиной вдоль этой самой стенки, ножками вперед. За центральной частью сидели (слева направо): Атлет, Англоманка, Седобородый, Семушкин, на сей раз в парадном, но все-таки майорском мундире и грудастая его оруженосица, сегодня в штатском. Между Седобородым и Семушкиным оставалось пока свободное место. (Хочу предупредить торопливых: не стоит скользить рассеянным взглядом по именам, сколь бы малозначимым ни казалось вам их перечисление. Подобную ошибку уже совершил тот, кто список кораблей прочел только до середины. Дочитай до конца, возможно, сумел бы предвидеть некоторые неприятности. Имена, как и Числа, опасно недооценивать. Недаром один не самый глупый раввин настаивал на принципиальной важности «исчислить их каждого по отдельности, чтобы оказать им почет и придать величие».) За правой ножкой буквы П сидели: Усатый, Ушастый, Варфоломеев Семен, явно с похмелья, Степан Ива-

нович Дорوفеев и следователь Николай Никодимович. А вот за правой ножкой компания совсем странная, их в другом месте и в другое время за одним столом и в дурном сне не представишь: Георгий Александрович Платов, многоблочная цыганка из соседнего зубоврачебного кабинета, только что прилетевший из Тургайских степей Саша Волков, Тося в сползающем на лоб рыжем парике и с самого краю примостился всячески показывающий свою непричастность и случайность в этом обществе Гундосый. Остальная часть комнаты была занята расставленными без особого порядка лавками и стульями. На стульях разместились: мамаша очаровательных близняшек из п. 1 первой части настоящей Хроники, Татьяна Анатольевна Томилина, Елена Антоновна Ломова и еще несколько (немного) человек, о которых мне так ничего и не удалось выяснить. На лавках места занимала также, в основном, неизвестная мне публика, чуть более многочисленная, среди которой оказалось всего несколько знакомых лиц: Вася, Варя Павшина, Наталия Томилина и бригадир автодормехбазы Хабидулин. Андрей Петрович и вовсе не садился, остановился на входе, даже не до конца прикрыв за собой дверь, так и стоял, прислонясь к дверному косяку, и смотрел. Потом слушал. Внимания на это никто не обратил. Правда, надо отметить, что здесь вообще все как-то мало обращали друг на друга внимание, вроде бы и общались, а как будто и не замечая собеседников

---

вовсе — странноватое такое царило настроение. Даже к знакомым подсесть и поздороваться никому в голову не пришло.

Некоторое время Собрание не начинали, явно ждали кого-то, даже послышался в рядах легкий гул нетерпения, наконец, поднялся Седобородый и постучал кулаком по столу. Не в колокольчик, не карандашом по стакану, а просто так — взял и стукнул кулаком. И не очень сильно даже стукнул, а тишина установилась полная и сразу.

— Внимание, граждане! Председателя, видимо, задержали неотложные дела, но он непременно будет, а пока я уполномочен временно исполнить его обязанности. Так что позвольте мне объявить открытыми традиционные культурно-просветительские чтения, посвященные памяти знатного строгальщика завода «Красный пролетарий», героя социалистического труда Иннокентия Мальцева.

— Темнилы! — послышались негромкие, но вполне четкие и ехидно-недовольные выкрики из зала. — Опять тень на плетень!.. Конспираторы хреновы!..

Седобородый опять постучал кулаком, теперь несколько громче:

— Попрошу тишины, граждане. Еще раз подчеркиваю для особо одаренных: только чтения и именно культурно-просветительские. И настоятельно рекомендую выступающим строго придерживаться заявленной тематики. Первому слово

---

для доклада предоставляется инспектору ОБХСС, майору Семушкину Виссариону Константиновичу.

Семушкин встал чуть ли не по стойке «смирно», поднял со стола листок и, упершись в него немигающим взглядом, принялся протокольно-четко рапортовать:

— Некто Годескалк, известный в определенных кругах как Орбайский, он же Готтсчок, он же Доминиканец, он же Монах...

— Ну, поехали... Ты еще Августина вспомни!.. — опять не выдержал народ. — Достали уже своей предестинарной склокой... — (Реплика про склоку прозвучала отдельно и очень гундосо, ее автор демонстративно сделал вид, что он ни при чем.) — Эдак мы до утра не евши будем!..

Но, казалось, Семушкин был даже рад такой реакции, потому что вдруг быстро и очень согласно закивал, и в голосе его появилась чуть просительная, то есть вполне человеческая интонация:

— Ладно, ладно, граждане, может быть, действительно, следует держаться несколько ближе к конкретной теме, но ведь и вы тоже войдите в мое положение, мы — люди военные, нам что предписано... А вот тут, к примеру, — майор ткнул пальцем в какую-то бумажку на столе, — тут пунктом третьим четко Лютер стоит, а что Лютер... Не говоря уже о всей последующей практике лютеранства, если даже признать его реальным и последовательным сторонником predeterminedности, ну, вот, например,

---

давайте посмотрим, типа того, что верующий не нуждается в таких делах, которые сделали бы его праведным. Но для того, чтобы он не мог вести праздную жизнь, чтобы он обеспечивал потребности своей плоти, он должен совершать добрые дела добровольно, с единственной целью — угодить Богу. Или вот еще не лучше, хотя, признаться, сформулировано и симпатично: что добрые дела не делают доброго человека, но добрый человек творит добрые дела. Ну, скажите, при всем внешнем полном соответствии, может ли все это по духу считаться...

— Не может!.. — Фуфло!.. — Долой профанацию веберизма!.. — (опять Гундосый).

Казалось, Семушкин обрадовался массовому хамству еще больше:

— Да я и сам, граждане в некотором затруднении. Конечно, можно сослаться еще на некоторые высказывания в «Свободе христианина», но, исходя из исследований мировой карьеры лютеранства, приходится признать, что там все же более элементарной бытовухи. Явно не хватает определенной жесткости, некой определяющей и направляющей линии... Прямо скажем, получается, что сам Лютер оказался на практике не совсем лютеранином, а как раз в большей степени все-таки кальвинистом. Так что, с согласия руководства, я был вынужден в качестве содокладчика привлечь более узкого специалиста, недавнего, но подающего большие надежды участника нашего семинара.

---

Встала Тося, поправила парик и заговорила со столь заметным местечковым акцентом, что все даже вздрогнули и мгновенно замолчали.

— А вы знаете, друзья, я, как ни странно, практически во всем согласна с товарищем майором. Так что более собираюсь не оппонировать ему, а всего лишь уточнить некоторые детали. Да и следует все-таки, за недостатком времени, предельно ограничить рассматриваемые тексты. И сделать это не так уж сложно. Если подходить строго, то к интересующему нас вопросу имеет отношение исключительно глава двадцать первая небезызвестного труда, хотя некоторые и настаивают на включение в тему еще нескольких, чуть не до двадцать шестой, но я продолжаю настаивать, что остальное — это, по сути, привлеченный материал, попытка обоснования традиционными текстами, не более. Так что давайте разбираться, но кратко и на нюансы не отвлекаясь.

Народ, похоже, разбираться был не против, а уж особенно — кратко и без нюансов, по крайней мере, базар на время поутих, и Тося продолжила в гораздо более благожелательной обстановке, чем ее предшественник:

— Конечно, можно и самого Жана Жераровича упрекнуть в том, что он привнес излишек личностного, нельзя, согласитесь, не восхититься высказываниями о том, что «дьявол со своими присными глубоко заблуждается, если замышляет ослабить или

---

устрашить меня столь вздорными наветами», или, еще лучше: «Я считаю, что постиг сущность христианской религии во все ее частях». Непосредственность, действительно, обезоруживающая, но ведь мы уже договорились, что занимаемся не персоналиями, а Буквой. Если же строго придерживаться Буквы, то Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он предопределил, как он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен он к смерти или к жизни. И все, и точка, чего тут дальше рассусоливать!

— Ой, я вас умоляю, — все-таки встрял Гундосый, не выдержав роли незаинтересованного и совершенно случайно зашедшего сюда постороннего. — Вся аргументация Кальвина сводится к тому, что уж если Господь возлюбил таких жестоковыйных и сварливых сволочей, такое злобное и испорченное стадо, как евреи, то о какой вообще связи между достоинствами человеческими и предназначенностью к спасению может идти речь? Чистый каприз, суверенность, по-ихнему...

— А как же тогда, — не удержался от возможности проявить образованность Семушкн, мол, тоже шит не лыком и готовился старательно, — как же «Я признаю, что Измаил, Исав и подобные им от-

---

пали от усыновления из-за собственных пороков и по собственной вине»? Неувязочка получается.

— Да не в этом главная неувязочка, — совсем что-то распутился Гундосый. — Тут основное в избрании отдельных людей, которым Бог не только дает спасение, но вселяет в них такую уверенность в нем, что они никогда не сомневаются в своем предназначении. А как же тогда «свобода в неведении»? Все же построено на том, что экзамен сдан, а оценка неизвестна до самого конца. Какой же смысл заглядывать в глаза преподавателю в поисках намека на результат, если вы все уже подглядели в итоговой ведомости? Вот где настоящая неувязочка!

— Нет, ну вы забываете, — все же решила Тося вновь взять руководство семинаром в свои руки. — Или, по крайней мере, не обращаете достаточного внимания на то, как Кальвин пришел к выводу, что предопределение увенчивает и проясняет искупительный труд, одновременно являясь его основой. Его адекватное рассмотрение возможно лишь с христологических позиций.

— Да ладно, — вдруг вмешалась как будто засыпавшая до этого момента Англоманка. — Это всё французские примечания, опять мудрствования вместо обращения к истокам, где тексты автора-то...

— И все же, — не сдавалась Тося, — предопределение не является, как часто утверждают, центральным пунктом кальвинизма, оно представляет собой не отправную точку, а завершение пути.

---

— Опять туман французских примечаний, ну что за школярство, право слово... — Англоманка как будто даже немного обиделась и ручкой так махнула, недовольно.

— А скажите, пожалуйста, — вдруг крайне оживленно заинтересовался Атлет, до того, казалось вовсе занятый исключительно своими мыслями, — а нельзя ли все-таки несколько поспособствовать, а то немного обидно получается, рабочий день не нормирован, сверхурочных никаких?...

Но Тося была неумолима:

— Он спасает по собственной воле тех, кого хочет. И это — не получение платы: она нам вовсе не следует.

— Ну, вот, опять не следует... — казалось, возмущению Атлета нет предела. — Старое, знаете ли, надувательство всех работодателей: паши, мол, с утра до ночи, как ишак и лови кайф, а как до зарплаты доходит... А что же тогда получается, вся протестантская этика — одно сплошное надувательство и построена на элементарном недоразумении?

— Может быть, и не очень к месту, но мне почему-то сейчас вспомнились слова одного моего знакомого юного азиата, — действительно не к месту, но очень эмоционально, с явной приятностью на лице от воспоминаний об этом самом азиате почти пропела цыганка. — Он говорил мне, что «Протестантская этика», может быть, и хороша как стимул для дискуссий о роли культурных ценностей в наше время, но

---

как труд по истории капитализма или основа социального прогнозирования — мягко говоря, слабовата...

— Этот азиат, мамаша, не только вам лапши на уши навешал, — еще больше, хотя только что казалось, что больше и некуда, распалился Атлет, — его послушать, так нам всем давным-давно уже пора трусы гвоздиком прибивать!

— Я думаю, — попытался все же немного утихомирить страсти Семушкин, — что в данном случае было бы уместным напомнить мысль разбираемого автора о том, что нам полезно удерживать себя от познания, переживание которого опасно и способно помутить рассудок, а, значит, вредоносно.

— Ой, мамочка, — ехидно заверещал Гундосый, явно не желая никакого утихомиривания, — тоже мне, откровения через форточку, Экклезиаст для бедных...

Майор даже привстал от возмущения:

— Я бы вас попросил!.. Тут, конечно, не все верующие, но есть же люди и вполне даже ортодоксально религиозные, надо все-таки иметь уважение!..

— Ну, с уважением, это вы идите в задницу, — не унимался Гудосый, — с уважением такие дела не делаются, с уважением, это в партбюро, а не на эдакие собрания...

— Да прекратите же базар, наконец, — не выдержал Седобородый, до того вовсе никак не реагировавший на происходящее. — Не в церкви все-таки, прости Господи, ну, мы же договорились. Здесь ведь

---

не диспут ни в коей мере, не сам спор, а всего лишь чтения, возможно, способные предоставить для него материал в каком-то неопределенном будущем. Мы на позицию становиться, или, не дай бог, решения принимать, ни в коем случае... Исключительно по нюансам терминологии и уточнению текстов в основных изложениях...

— А вот еще помню, — казалось, предыдущая отповедь совершенно не задела цыганку, и она продолжала все с той же степенью пренебрежения к логическим связям, — один неглупый польский юноша мне как-то сказал, что Богу не нужно оправдываться перед человеком, но он желает оправдаться перед человечеством...

— Что-то этот юноша последнее время много говорит, — пробурчал себе под нос Седобородый, — ему бы побережся пока...

Надо отдать должное самообладанию Тоси. Она после крохотной паузы продолжила ровнейшим и совершенно не изменившимся тоном, как будто ее никто и не перебивал вовсе:

— Дискуссия о предопределении сама по себе довольно сложна, а людское любопытство сделало ее совсем запутанной и даже опасной, ибо человеческий разум не в состоянии ограничить или сдержать себя. Поэтому он блуждает окольными путями и пытается подняться слишком высоко. И мы видим немало людей, впавших в эту дерзкую самоуверенность, хотя в других отношениях они вовсе и не так дурны...

---

— Тосенька, дорогая, — видимо, наболело у Семена Варфоломеева, если сумел преодолеть синдром абстиненции и начать разговор вполне членораздельно, — согласитесь все-таки, что у вас получается какой-то дурковатый конец истории, его как бы и вовсе нет, а то, что есть, вряд ли можно назвать концом. Даже, знаете ли, пошло несколько: вот так писать, писать, а потом взять и свалить все на текст из Евангелия, — это уж очень по-богословски... А почему тогда текст не из Талмуда? Впрочем, один автор уже делал подобную ошибку...

— Знаете, Семочка, — впервые Тосина речь получила легкую, но эмоциональную окраску, — вы с этими антисемитскими штучками... И, между прочим, прекрасно знаете, что ни Евангелие, ни Талмуд здесь ни при чем, а тот автор, на которого вы намекаете, не такое уж и обидное сравнение, вам и самому не грех было бы почаще к нему обращаться, особенно в части умеренности потребления...

Тут у Семена появилось настолько обиженное выражение лица, даже губы дрогнули, что Тося мгновенно прервала свою гневную филиппику, махнула в сторону Варфоломеева решительно, хотя в жесте и присутствовал оттенок женской теплоты, правда, в тот момент почти никем не замеченный, и продолжила тоном много более спокойным, однако все же и более назидательным, чем обычно:

— Это безумное и ничтожное утешение язычников — приписывать несчастья судьбе. Фило-

---

софы утверждают, что бессмысленно гневаться на судьбу, ибо она безрассудна и слепа и пускает свои стрелы наугад, поражая добрых и злых без разбора. В отличие от этого, правило благочестия гласит, что благоприятным и несчастливым случаем управляет длань Божья, которая не по необдуманному порывам, а по справедливости распределяет как добро, так и зло!

Сема только болезненно покривился:

— Очень ор-р-ригинально...

А Гундосый так просто не смог скрыть своего откровенного восхищения:

— Во, залепила тетка!..

В этот момент, слегка, очень вежливо, но быстро и решительно отстранив с пути Андрея Петровича, в комнату вошел Председатель. Это был тот самый Председатель ЖСК, который в самом начале Хроники разбил «шестерку», купил «Волгу», про которого мой приятель говорил, что, если его в темной подворотне... Ну, вы помните. Председатель, ни секунды не помедлив, проследовал к центральному столу, сел на свободное место между Седоусым и майором, оглядел присутствующих взглядом дачника, озирающего по осени грядку с зеленью и с удовлетворенной протяжностью произнес:

— Ну, что, как будто полный порядок... Давайте закругляться потихоньку, вечерет, пора и честь знать... Я тут только одно хочу сказать, очень принципиальное. Соглашусь, что при моем попусти-

---

тельстве, но в мое отсутствие, некоторые особо ретивые деятели, — деятели начали медленно краснеть, не отрывая глаз от стола, целым рядом, от Атлета до секретарши, — позволили себе явное превышение полномочий. До меня дошли слухи о каких-то странных намеках: мол, выбор может иметь какие-то серьезные и не очень приятные последствия... Чуть ли не угрозы нелепые прозвучали... Так вот, я вам, граждане, заявляю категорически, что бред все это! Даже и не сомневайтесь. И так многовато званых. Тут не просто свобода, тут свобода именно абсолютная, кто бы и с какими бы, возможно, и не самыми чистыми помыслами, ни ставил под сомнение само понятие. Здесь вам не ЛТП. Желающие сдать шкатулку принимаются без очереди. Так что и времени, и возможностей у вас — от пуза. Отдыхайте. Все свободны.

Народ на последних словах Председателя тихонечко и сам потянулся к выходу. Кузнецов успел первым, правильное место изначально выбрал, потому поймал машину до Пушкинской почти сразу. Почему-то только до Пушкинской, хотя денег хватало. Дальше пошел пешком. А погода мерзкая была. Мокрый, ледяной ветер. Не для прогулок. Но поднял воротник плаща и пошел.

Медленно, очень медленно по бульвару, сначала вниз до Трубной, мимо мебельного, потом вверх до Сретенки, дальше вдоль дома «России» и почта к Грибоедову, немного прямо, потом налево на

---

Харитоньевский, там еще раз налево по Большому Козловскому, взглянул с противоположной стороны Кольца на Михаила Юрьевича и исчез в розовой раковине метро.

## 15

С вечера я выпивал. Лег под утро. Через несколько часов ввели чрезвычайное положение.

Позднее многие видели причину неудачи мятежников кроме прочего и в том, что они не блокировали связь. Если это и верно, то отчасти — в моем доме телефонный кабель обрубил. Подозрение падает на пьяного экскаваторщика, активно что-то рывшего накануне со стороны Мытной. Как бы там ни было, обычные ранние звонки не нарушили моего покоя, и долгий крепкий сон оставлял надежду на отсутствие похмелья. Около трех пополудни дверь открыл Петр Юрьевич с криком:

— Ты дрыхнешь, а в городе танки!

Кернер П. Ю. — лицо историческое, многим в Москве известное и памятное, к тому времени уже несколько лет американец через женитьбу, приехал на пару недель поправить международной торговлей пошатнувшееся в Калифорнии материальное положение и несколько зажился у меня, потому имел свой ключ от квартиры и привычку орать уже на пороге спальни. Я был крайне удивлен: никто из моих зна-

---

комых никогда не рисковал будить меня в принципе, а уж тем более столь громкими и идиотскими шуточками, и собирался уже отреагировать соответственно, но Петя продолжал кричать, и что-то в его тоне заставило меня, поднявшись, подойти к окну. По улице шли танки.

Я служил тогда в «Крестьянке», контора наша находилась в Журнальном корпусе издательства «Правда», и мне показалось естественным отправиться на работу за информацией, в надежде, что не все коллеги подобно мне проспали столь важное для страны событие. К тому же, совсем недавно бывшего моего главного редактора Галину Семенову Горбачев взял в Политбюро, и нынешняя начальница, Ася Купреянова, хорошая моя подруга, могла через Семенову, с которой общалась, обладать сведениями и дополнительными. Танки расположились у Дома прессы напротив метро «Парк культуры». Далее Кольцо встало на несколько километров — большей пробки в Москве я не видел никогда. Около часа потребовалось только на то, чтобы перебраться через площадь Восстания. Машины заняли все тротуары, грозили выдавить стекла окон первых этажей. Пожилой старшина милиции забрался на бетонный блок у магазина «Ткани» и, безучастно разглядывая собственные ботинки, время от времени сплевывал — от выхлопных газов сильно першило в горле у всех. Купреянова, человек предельно спокойный до полнейшего равнодушия, встретила меня злобно-изумленным вопросом:

---

— Тут где-то должен быть российский президент, за которого я голосовала?

Сама Ася ничего толком не знала, Семенова оказалась в отъезде и без связи, толковые ребята разбрелись, остальные говорили явные глупости. Становилось похоже, что обстановку придется выяснять на месте.

Отечественный Белый дом еще никто так не называл, во всяком случае, столь широко, как сейчас, но я изначально для простоты воспользуюсь этим наименованием. Непосредственно к зданию подъезд оказался закрыт, но удалось поставить машину совсем недалеко, около Киноцентра. Дорожка, ведущая к площади перед Белым домом, была перегорожена опрокинутой телефонной будкой. На этот момент она являлась единственным препятствием предполагаемому штурму со стороны Красной Пресни. Впрочем, все последующие укрепления по надежности не сильно отличались от этого. Рядом собралось человек двадцать. Когда я подошел, очень деловой мужчина нервным высоким голосом стал спрашивать, кто умеет водить грузовик. Якобы где-то на юго-западе стоят бесхозные самосвалы с бетонными блоками, их требовалось доставить для строительства баррикад. Один парень все волновался, что забыл дома права. Угонять государственное имущество и строить противотанковые укрепления в центре столицы он уже был готов, но возможные неприятности с гаишниками его все еще беспокоили.

---

Так началась для меня героическая эпопея защиты российской демократии.

О последующих событиях рассказывать не буду. Тому много причин, назову лишь первую по порядку возникновения. Я сразу же окончательно решил, что происходящее ни журналистским, ни каким-либо иным пригодным для изложения на бумаге материалом для меня не станет. Не вел записей, не стремился стать свидетелем как можно большего числа событий и сцен. Не прослеживал хронологию и не вникал в психологию. Короче, профессионально полностью бездействовал. Более того, по окончании событий я вообще прекратил писать что-либо, то есть изменил основному занятию, которому с редкими перерывами на сон и безобразия предавался лет с тринадцати. Но все это мои проблемы, не представляющие интереса для публики. Упоминаю о них исключительно для того, чтобы объяснить и в какой-то степени оправдать не очень естественную для добросовестного хроникера скудность описания времени, достаточно важного для истории. И все же, необходимо еще одно уточнение. Журналисты, которые работали тогда именно как журналисты, для защиты от коммунистов сделали никак не меньше, а, я думаю, что и гораздо больше, чем те, кто переворачивал троллейбусы и дежурил ночами у костров. Они были в тот момент честны и искренни. Вранье началось позднее, и не журналисты стали его инициаторами, и далеко не все журналисты к нему присоединились.

---

Но историей окаменело именно вранье. Причем дважды. Не буду останавливаться на частностях, типа мифического штурма Белого дома или перехода целых воинских подразделений на сторону Ельцина. Подробности меркнут перед вариантами большой смешной лжи. Первый возник сразу. Будто весь народ, ну, хотя бы большая его часть, или хотя бы большая часть московского народа, встал грудью на защиту демократии. Бред это все. Нет, и Ельцин на танке, и трупы в тоннеле под Калининским, и бескрайнее людское море с трехцветными флагами — действительно, были. Но не так и не тогда. Бескрайность людскому морю придали под нужным углом и на нужной высоте поставленные телевизионные камеры. Однако даже для этого возможность появилась только на третий день, когда окончательно стало понятно, что мятеж провалился, и безопасная доля фрондерства позволит каждому желающему обеспечить себе толику самоуважения. Когда же ветер переменился, сразу общеупотребительным стал второй вариант. Что никакого путча всерьез вообще не было, это просто задуманная самим Горбачевым, или, по крайней мере, с его согласия, потешная афера, а Белый дом защищала кучка обманутых людей, попавшихся на лживые посулы купленных западными спецслужбами ельцинских прихвостней, да несколько невротических демо-шизофреников. И не то что гордиться, а даже упоминать о своем участии в тех событиях стало просто дурным тоном. На самом

---

деле, город, не говоря уже о стране, в волнениях не участвовал. Любой посторонний, оказавшись тогда в километре за пределами Садового кольца, уж тем более в Медведкове или Чертанове, никогда не догадался бы, что происходит нечто необычное. Мог бы привести множество любопытных примеров в стиле того, что в восемнадцатом веке называлось «анекдотом», но это материал для совсем другой книги, которую я уже никогда не напишу.

А тогда, на крошечном пятачке возле набережной, посреди десятиmillionного города собралось несколько сотен человек. Они не думали, шутейный это путч или настоящий, серьезно происходящее или понарошку. И они сами, и их отцы, и деды, и прадеды прекрасно знали, что значит, когда в город входит Красная Армия и объявляется чрезвычайное положение. И чем обычно это заканчивается для тех, кто объявленное положение демонстративно нарушил на площади перед зданием правительства. На следующий день собралось несколько тысяч. Несколько. Не десятки. И вот эти люди, действительно, были. Позднее я читал во многих мемуарах фразы типа «никогда не видел в одном месте столько хороших лиц». Обычная аберрация памяти человека, вспоминающего о событиях своего прошлого, которые кажутся достаточно важными и не вызывают чувства стыда. Лица были обычные. В основном достаточно хмурые и крайне мало приветливые. Ну, а придурков... Придурков всегда в любой компании хватает. Следует

---

признать, что тогда у Белого дома их было не больше, чем обычно. Я же упомянул о событиях августа девяносто первого исключительно для пояснения обстановки, в которой произошло единственное, имеющее отношение к данной Хронике событие.

В третьем часу второй бессонной ночи у меня в очередной раз почти закончились запасы кофе, бутербродов и сигарет, которые я развозил по крохотным группкам, дежурившим на дальних подступах к площади. Отдав последние остатки компании хипповатых ребят, возглавляемых базарного вида сорокалетней перекрашенной теткой, расположившихся рядом с кинотеатром «Стрела», вокруг крохотного, едва тлеющего костерка из нескольких щепок, я уже собрался заехать домой, забрать у Петра Юрьевича очередную партию термосов и пакетов. Но затекли ноги, появилась резь в глазах, я решил не рисковать на хотя практически пустых, но все же ночных и все же московских улицах и передохнуть несколько минут. Вышел из машины, сел неподалеку от ребят прямо на тротуар, облокотился спиной о фонарный столб, поставил рядом тихо бормочущий приемник, настроенный на «Эхо», и слегка прикрыл глаза. Видимо, на пару мгновений я все-таки задремал, потому что, открыв их, компании у совсем уже потухшего костерка не обнаружил. Огляделся, но увидел только человека, стоявшего на противоположном краю тротуара у стены кинотеатра. Это был Андрей Петрович Кузнецов.

---

Я совершенно не удивился, мне показалось естественным встретить именно его и именно здесь и сейчас. Кузнецов изобразил некий чуть заметный приветственный жест ладонью, я попытался тоже совершить нечто подобное, хотя не уверен, что мне это удалось. Молчание прерывать не хотелось, но я понимал, что все равно придется, и, наконец, нарушил его первым:

— Так что, Андрей, выбор был правильным?

— А я откуда знаю? Не мне судить. Да и не имеет это значения.

— Ну, раз ты его сделал, выходит, имеет.

— Чепуха. И ты, Васильев, все понимаешь. Ты тоже свой сделал. Такой же, как и я.

— Что за бред, ничего я не делал. А уж тем более такой же.

— Сделал, сделал. Себе-то голову не морочь. Сделал, когда решил сделать. А, значит, для себя решил, что и правильный. Сам прекрасно знаешь, тут билет только в сторону синевы, обратного в принципе не предусмотрено.

— Я тебя умоляю: не перебарщивай, все-таки не с первокурсницей разговариваешь. Конечно, это все очень благородно, и важность выбора как поступка независимо от результата, и верховенство помысла над действием, или наоборот, не помню уж точно, как там у тебя было... Только, знаешь, когда кухонная болтовня о смысле жизни сводится к провозглашению самоценности жизни как таковой, это ведь не просто

---

скучно и глупо. Тут даже не понятно, чего больше: лениности ума или обычной трусости.

— Ах, вот оно как. Значит, все-таки результат. Все-таки смысл. Это, получается, не для первокурсниц. Это уже так, всерьез и по-взрослому. Ты вообще-то понимаешь, Васильев, в какие игры сам с собой вязался? И что ты вообще здесь делаешь? Баррикады эти шутовские, костры, переклички... Ну, совсем это не твое, Александр, диковато выглядит.

— Перестань, я баррикад не строил и в перекличках не участвовал. Кофе с бутербродами людям развожу. Они голодные, устали, что тут смешного или нелепого?

— Только не надо, Васильев, только этого не надо, тебе, как никому, понятно, что голодные и уставшие люди здесь ни при чем. Когда они тебя особо волновали? Другим ты занят и к другому готовишься. И как? Готов?

— Не знаю.

— Вот то-то же. А умника строишь. Но особо не дергайся. Никто не знает. А ведь это только самое начало, тебе еще с куроводами разбираться, силы береги.

— Да пойми ты, Кузнецов, я ведь сам ни на какой выбор не нарывался, он мне принудительно и нагло навязывается, вот ты постоянно настаиваешь, что главное — сама возможность выбора, но это для меня вообще не вопрос, я другое хочу выяснить...

---

— Все, что ты хочешь выяснить, ты выяснишь. А главное, не главное... Все важно. Просто у всего своя цена. И переоценивать не стоит. Но и дешевить глупо. Успокойся, Васильев, и не дергай меня больше, не нужен я тебе. Давно не нужен.

Снова появилась резь в глазах. Я с усилием провёл пальцами по прикрытым векам и встал. Кузнецова не было. Вялое бормотание приемника прервалось, и высокий звонкий голос сбивчиво сообщил, что в окрестностях Белого дома что-то происходит, возможно, начинается штурм. Я сел в машину. Внезапно погасли фонари. Со стороны Калининского пошел с нарастанием рокот танковых моторов.

## 16

Странно и то, что Бадмаев не забыл о данном, возможно, под влиянием настроения слове, и то, что исполнил обещание с какой-то даже почти неестественной тщательностью. Еще слово «кооператор» не перестало быть ругательным в среде как высшего, так и низшего командного состава правоохранительных органов, еще фраза Жванецкого о Париже «завтра, срочно, по делам» смешила народ, а у Феди уже появились совершенно фантастические по тем временам возможности. И он позвонил Кузнецову с, совершенно, на первый взгляд, нелепым предложением.

---

Гимн еще вовсю звучал с полным текстом, но имеющие отношение к деньгам, пока не сами реальные деньги, а только отношение к ним, но очень близкое, прекрасно понимали, что Империя дышит на ладан. Возникало много идей, и одна из них сформулировалась примерно следующим образом. Южные республики неизбежно отделятся. Болгария и прочие подобные сами в аховой ситуации, судьба темна, направление взгляда разбегающееся. А в России виноград не растет. Страшного в этом мало. Наши люди всегда предпочитали водку, «красное» потребляли исключительно по экономическим соображениям, да и к винограду то «красное» чаще всего никакого отношения не имело. И все же некая любопытная перспектива вырисовывалась. Тот, кто наладит экспорт качественного и приемлемого по цене натурального вина, может оказаться монополистом на пусть еще и очень ограниченном, но все-таки весьма стабильном рынке, так как и самое непопулярное спиртное имеет в отечестве решительное преимущество перед самым популярным не спиртным. Если же случайно, хоть чуть-чуть изменится ситуация, где-то у кого-то появится легальная валюта (совершенно тогда дикая мысль, но вдруг?), увеличатся потребности, возможности и, главное, появятся интересы...

Короче, следовало кому-то поехать в Европу и посмотреть, что у них там, где и почему. Впрочем, по мнению Бадмаева, ехать следовало не кому-то, а со-

---

вершенно конкретно Андрею Петровичу. Кузнецов, как отмечено, считал мысль нелепой уже хотя бы потому, что в винах ничего совершенно не понимал, зная по литературе о сложностях профессии виноторговца, требующей высочайшей квалификации. И этой одной причины для отказа в нормальной ситуации было бы более чем достаточно. А у Андрея Петровича были и прочие. Он не владел ни одним иностранным языком. У него на руках пятилетняя дочь, которую не на кого оставить. У него даже — это сильнейший аргумент тогда для советского человека — нет заграничного паспорта!.. Бадмаев отменил все возражения с какой-то даже ленцой. На самом деле ни один человек в стране считал себя большим, чем Андрей Петрович, специалистом по европейским винам не может. Они если когда и закупались, то по сложнейшему бартеру через Финляндию, в минимальных количествах только для Кремля: ни те, кто закупал, ни те, кто пил, ни уха в том, ни рыла, то есть, в самом деле, проверяли — даже в Аквариуме инструктора отказываются объяснить будущим шпионам разницу между «Мозэ» и «Периньоном». С языком проблем никаких, на время переговоров и переводчики будут, и в любом количестве, еще не отобьешься от желающих из местных консульских пошляться на халяву по винным погребам, а потом разберешься как-нибудь, все приноравливаются. А паспорт привезут послезавтра. Нет, фотографий не надо. Есть уже фотографии. И билеты есть. Сначала в Рим. Нет, не тоже

---

послезавтра. А через три дня. Все понимают, что тебе нужно успеть собраться.

Уже когда всплыли эти непонятно откуда взявшиеся фотографии, чем-то таким повеяло будто на Кузнецова, некий послышался отзвук, казалось, подзабытого тона уверенных голосов, и сразу автоматически напряглись руки, слегка онемели концы губ, и чуть было не бросил трубку Андрей Петрович после обычного и привычного «нет»... но услышал далее имя дочери и попридержал трубку.

— Относительно Машеньки, Кузнецов, ты меня, похоже, совсем не понял. Я тебе не в командировку предлагаю съездить. То есть сначала, конечно, как бы и в командировку, но это несколько месяцев всего, такое время продержаться поможем всеми силами, возможности есть, а потом, когда определимся с местом, тебе там жить надо будет. Налаживать все, следить — работать, одним словом. И, естественно, вместе с дочерью. Слышал, она у тебя последнее время часто простужается? На каком побережье предпочтешь ее доращивать?

Через три дня Андрей Петрович вылетел в Рим. У него были документы представителя совершенно серьезной, совершенно государственной и совершенно никому не известной организации, в предельно длинном названии которой тренированное ухо могло уловить корни многих близких по смыслу слов типа «овощ», «плод», «вино», «фрукты» и тому подобное. А с Машей остались дежурить две няньки

---

и сменный шофер для мелких поручений. Обслужу приехал представлять и рекомендовать сам Бадмаев. Он вручил Андрею Петровичу не очень толстую пачку трэвел-чеков «Визы» и довольно неуклюжий машинописный перевод популярной французской книжки по виноделию. Впоследствии оказалось, что этого более чем достаточно для основания одной из самых крупных виноторговых фирм Восточной Европы.

Действительно, Кузнецову хватило всего около трех месяцев, чтобы разобраться в ситуации на необходимом уровне. В Риме, как, впрочем, и везде впоследствии, Андрея Петровича в аэропорту встретил переводчик, обладающий непонятной должностью в местном торгпредстве, отличным произношением и очень прямой спиной. Но Италия отпала сразу. Виноградники запущены, технология нестабильна, урожаи каждый раз практически непрогнозируемы, оттого скачут цены, но главное — большинство специалистов, даже в самой стране, сходились во мнении, что без очень серьезных финансовых вложений и в виноградарство, и в виноделие неизбежным станет столь серьезное падение качества продукции, что на его восстановление могут потребоваться потом многие десятилетия. При этом вложений не предвиделось. Андрей Петрович по доброй советской привычке хоть в малом, да надуть начальство изобразил без намека на правдоподобие производственную необходимость, смотался на два дня в Венецию, ничего

---

там не увидел, промок и продрог, но понял, что сюда он хочет возвращаться часто, и, очень довольный, вылетел в Париж.

После Франции были Португалия и Испания. Даже тогда еще полный дилетант, Кузнецов сразу понял, что пить надо бургундское, однако тактично-неприятные французы намекнули, что это предпочитают делать сами и показали «Бордо». Весьма неплохо. Но то, что стоило не только по имени, но и по реальному качеству, начиналось минимум от десяти долларов за бутылку в оптовой партии. К подобному российский рынок казался пока явно неготовым. Португалия могла предложить весьма приличные крепленые вина и на довольно льготных условиях, но сухое не лучшее, да и определенные проблемы с доставкой... Кузнецов честно мотался по винным заводам, офисам крупных торговцев, юридическим и транспортным фирмам, целыми днями вел переговоры при помощи вездесущих бадмаевских полиглотов с военной выправкой, которые и вправду составляли ему компанию с большим удовольствием и отлично справлялись с дегустацией обсуждаемого продукта в любых количествах. Но на самом деле уже недель через пять Андрей Петрович все для себя решил. А остальное время только подбирал аргументы для этого решения. И подобрал их достаточно основательно.

В самом начале века виноградники под Перпиньяном, на северных склонах Пиренеев, несколько лет

---

подряд подмерзали из-за ранних холодов и сильных ветров. Их хозяин решил подстраховаться и купил довольно большие участки земли по ту сторону границы, на южной стороне гор. Богатый француз не стал делать серьезных финансовых вложений в нищую Испанию, так, выращивали местные крестьяне пару заграничных сортов на всякий случай, поначалу исключительно как резерв перпиньянских погребов. В Испании были свои вина. Но всемирную славу имела только крепленая малага. А сухими занимались в Риохе, занимались неплохо, репутация имела, хоть и на местном уровне. Каталонские не шли вообще. Только как хаус вайн. И эта ситуация сохранялась многие десятилетия богатой южноевропейской истории нашего столетия. Когда же умер Франко, богатые соседи с удивлением обнаружили, что у них под боком расположился один из самых больших и красивых городов континента рядом с одним из самых больших и красивых пляжей. В Каталонию пошли деньги, Барселона расцвела, убогие рыбацкие деревушки вдоль Коста-Брава одна за другой стали превращаться в шикарные курорты. Из отлично прижившегося французского винограда несколько довольно крупных и отлично оснащенных заводов, которые по старинке называли, как и погреба, бodegaми, выпускали сортов десять очень приличного вина. Самая крупная фирма — «Фрейшанет» — специализировалась в основном на игристом, под шампанское. Она вела

---

весьма гибкую и агрессивную торговую политику, показывала явную заинтересованность российским рынком, но Андрей Петрович, по ряду в свое время вполне оправдавшихся соображений, решил с игристыми пока подождать. И уделить основное внимание более скромным предприятиям группы «Кавидас». Их бодеги были расположены между Барселоной и Фигерасом. А дом себе с дочерью Кузнецов присмотрел между Фигерасом и французской границей, возле Порт-Легата.

Нет, все по-честному. Если бы вина «Кавидаса» хоть по какому-то одному параметру не подходили конторе Бадмаева, Андрей Петрович не стал бы настаивать только по той причине, что ему до жути захотелось поселиться именно у Порт-Легата, как только он там оказался. Кузнецов проверил все досконально и потом еще во многих местах бывал и со многими людьми переговоры вел, но все же каталонское сухое победило, и Андрей Петрович снял именно тот домик, который присмотрел изначально.

Седьмое шоссе — платная трасса, которая идет от Барселоны до французской границы. Шесть рядов в каждом направлении. В часе езды, на сто двадцатом километре, находится Жирона. Местный райцентр с изумительным собором века четырнадцатого и аэропортом, примерно как наш Шереметьево, только почище. Еще минут тридцать по шоссе проезжаешь Фигерас и поворачиваешь направо, к морю. Гордок

---

крохотный, пара трехзвездочных гостиниц, десяток ресторанчиков, лавки, супермаркадо, сотни полторы домов. Все это раскидано по заросшим чем-то хвойным склонам скал, окружающих шесть бухт, самая большая из которых размером примерно со стадион в Лужниках. Дом Кузнецова стоял над самой маленькой бухтой.

Естественно, поначалу это был не совсем дом и не совсем Кузнецова. Кусочек пансиона — крохотная спальня, столовая со встроенной туда же кухней, веранда под плетеный столик с двумя креслами, отдельный вход и дворик перед ним на три кипариса и два куста мелких цветов. Это все, что хотел получить Андрей Петрович от конторы Бадмаева, да это и максимум, что тогда могла позволить себе снять еще совсем почти советская организация для своего не очень понятно для чего существующего представителя. Но если выйти из дворика и буквально через несколько шагов спуститься по очень крутой, очень высокой, но очень удобной лестнице, то становишься хозяином отличного куска Средиземного моря.

Впрочем, можно было никуда и не выходить. Кузнецов съездил в Москву за дочерью, поставил на край веранды стол с креслами, достал бутылку «Дюк де Фуа» из образцов, плеснул Марии глоток, свой стакан наполнил до края, и они сидели вдвоем и смотрели на воду до тех пор, пока вдруг быстро не стало темно.

---

Шли годы. Первое время Андрею Петровичу приходилось работать довольно много. На стареньком «Сеате» он постоянно мотался по провинции, присматривал выгодные партии товара, налаживал транспортировку, добивался долгосрочных договоров, пытался разобраться в финансовых и юридических документах. Переводчики не могли таскаться с ним вечно, пришлось одновременно с попытками улучшить ошметки институтского английского срочно начать зубрить по вечерам испанский. Через несколько лет все стало как-то само собой налаживаться. Кузнецов обнаружил, что у него появляется свободное время, и, главное, совершенно не обязательно вскакивать в семь утра, чтобы в девять на каком-нибудь таможенном терминале объяснять мрачному зевающему каталонцу особенности экспортной политики его собственного правительства. К Андрею Петровичу привыкли. Нет, испанцы по-прежнему отличным образом могли подать к складу в два раза меньший, чем нужно, трейлер, засунуть в глубь машины пару десятков ящиков более дешевого вина, а то и вовсе с осадком, наклеить потертые этикетки, перепутать сертификаты и устроить еще массу своих обычных милых сюрпризов. Но Кузнецов все-таки имел опыт работы диспетчера московской автобазы. И местный народ довольно быстро это почувствовал, потому хулиганил в меру, а эту меру Андрей Петрович научился преодолевать с достаточно небольшими затратами сил, времени и нервов.

---

---

Распался Союз. Бадмаев давно был уже не только директором, но и одним из основных совладельцев своей винно-импортной фирмы. Настали другие времена, и дело потребовало расширения. На имя Кузнецова открыли чисто испанскую фирму со стопроцентным иностранным уставным капиталом, что разрешено местным законодательством, денежные потоки пошли более хитро, значительная часть прибыли стала оседать на подставных зарубежных счетах. В какой-то момент Андрей Петрович окончательно понял, что выбор его кандидатуры изначально был сделан с большим расчетом на будущее и отнюдь не только в благодарность за старую услугу. Бадмаев получил возможность, сидя в Москве, управлять европейскими деньгами без опаски, что его обворуют. Это дорогого стоило. И Федя, теперь Федор Борисович, знал, что стоило. Кузнецову несколько повысили зарплату и, основное, обозначили в виде премии пятьдесят процентов от скидки. А это не такая чепуха, как кажется. При стандартной цене за партию в десять тысяч бутылок от пятнадцати до двадцати пяти тысяч долларов Андрею Петровичу порой удавалось сбить цену чуть ли не на треть. Когда Бадмаев расширил сеть реализации в России, и грузовики пошли из Испании каждые два-три дня, Кузнецов подсчитал месячную выручку и решил отказаться от пансиона. Идея нашла поддержку.

На берегу все той же бухты, чуть правее и выше пансиона, Андрей Петрович купил полторы тыся-

---

чи квадратных метров почти сорокапятиградусного склона. Это пятнадцать соток по-нашему, только мелочные европейцы считают на метры. Поскольку бухта самая отдаленная от главных туристских мест, да еще курс песеты в тот момент оказался крайне выгодным, ведь расчеты с Москвой шли исходя из доллара, земля обошлась тысяч в сорок. Да к тому же дали рассрочку на два года. Вполне оказалось нынче по деньгам. А кредит на строительство тысяч в шестьдесят выделил Бадмаев. Андрей Петрович договорился с местным банком, что уже под готовое строение получит эти же деньги, вернет Федору Борисовичу, а сам расплачиваться станет десять лет под восемь процентов годовых в местной валюте, то есть с учетом инфляции практически и вовсе без процентов.

И тогда Кузнецов построил свой дом. Он его сам нарисовал до последней детали, местный архитектор из коллегии только перечертил и содрал, согласно правилам, десятину от сметы. Нанятая в Жироне бригада, удивительно напоминающая наших шабашников начала семидесятых, только с современной техникой от Катерпиллера и Боша, выгрызла в скале узкую террасу и забила восьмиметровые бетонные сваи. Сооружение получилось любопытное, на взгляд испанцев странноватое, но Андрею Петровичу с дочерью чрезвычайно удобное. Основным украшением стала огромная веранда с отделанными диким камнем арками, сквозь которую через окна-

---

двери во всю стену можно было пройти в гостиную. А можно было сидеть в гостиной, распахнув эти самые окна-двери, и тогда все это, вместе с бассейном и насыпным двориком, создавало иллюзию почти усадьбы, хотя по сути являлось усовершенствованным ласточкиным гнездом. Строят в Каталонии круглый год, дом сдали весной, за лето он как следует просох, прогрелся и проветрился, в сентябре переехали.

Первые пару лет с Машей на время отсутствия Кузнецова сидела дипломированная нянька Глория с характерной для этих мест внешностью — черная, низенькая, кривоногая, но совершенно нехарактерно, опять же для этих мест, аккуратная и исполнительная. Водила девочку на детскую площадку в центре городка, записала в спортивный клуб на плавание и гимнастику, элементарно учила языку. В первый класс Андрей Петрович отдал дочь здесь же, шутил про *деревенскую школу*, но это было родительское кокетство, Порт-Легат давно уже перестал считаться деревней в глазах даже самых больших снобов из старых испанских родов, имевших поместья в окрестностях, и местная гимназия пользовалась отличной репутацией. Впрочем, уже в пятом классе сами преподаватели посоветовали Кузнецову подумать о чем-то более серьезном, девочка стала проявлять явные способности в самых разных областях, но была несколько чрезмерно резва и эмоциональна, и обстановка международного курорта

---

не всегда шла ей на пользу. Дали определенные рекомендации.

Доходы Андрея Петровича позволяли ему расплатиться за дом много ранее положенного срока, и он было хотел уже это сделать, но потом, подумавши, созвонился с Бадмаевым, получил поддержку и вложил скопившиеся несколько десятков тысяч в игристое Фрейшанета. Он действовал на собственный страх и риск, Федор Борисович обещал поспособствовать с реализацией, но ни за что не ручался — у торговли шампанским в России есть свои особенности. Однако Кузнецов угадал со сроками. Двадцать пять тысяч бутылок были растаможены в Москве восемнадцатого декабря, двадцатого поступили в продажу, а через три недели Андрей Петрович уже заработал тридцать тысяч долларов чистыми. Бадмаев поздравил, сказал, что не надо обольщаться, бесспорно, была доля везения, но смысл, видимо, есть, короче — предложил на игристом работать фифти-фифти с общим капиталом. Стало ясно, что прибыль намечается стабильная, а это очень кстати.

И Кузнецов поехал договариваться в рекомендованную гимназическими учителями частную школу при католическом монастыре в горах, практически на пересечении границ Испании, Андорры и Франции. Монахини ему очень понравились, они были в основном из северных областей — стройны, высоки, светловолосы, слегка надменны, но явно не занудли-

---

вы и на первый взгляд не очень глупы. Относительно преподавателей и качества образования составить мнения не удалось, Кузнецов положился на репутацию заведения, тут же выписал чек на весьма внушительную сумму за первый год обучения и в результате оказался прав. Перед началом осени он привез Марию в пансион при школе, и они попросились легко, без мысли о разлуке, потому что были уверены: никакой разлуки не будет.

Ее и не было. Как минимум раз в неделю Андрей Петрович приезжал к дочери во второй половине дня после занятий, бродил с ней по роскошному монастырскому парку, болел за ее команду на каких-то постоянных и совершенно непонятных спортивных соревнованиях, слушал репетиции хора воспитанниц, иногда пользовался разрешением половить ленивых раскормленных карпов в местном пруду, а случалось, если видел, что Мария увлечена своими делами, не навязывал своего общества, а просто шептал ей на ухо несколько ничего не значащих слов, чмокал в щеку и отпускал. Потом садился на лавочку в дальнем конце аллеи, выкуривал пару сигарет и возвращался домой. Всего часа полтора по очень красивой горной дороге.

Но, кроме того, он забирал дочь каждые выходные. А еще каникулы почти три недели зимой и около четырех месяцев летом. Так что они не особенно успевали соскучиться друг без друга. Да и вообще не скучали. Возможностей развлечься вокруг име-

---

лось сколько угодно. Бывало, возвращаются в пятницу вечером из школы, Мария начинает барабанить пальцами по рукаву отцовской куртки: «Слушайте, папенька, что-то у вас сегодня скучный вид...» Вид у Андрея Петровича нормальный, но он все понимает, уходит в левый ряд, давит на газ — и, не заезжая домой, к восьми вечера они уже в Барселоне. Даже номер заказывать не надо, в «Принце Георге» для постоянного клиента всегда найдут место, отель не самый роскошный, но на Рамбле, в двух шагах от площади Каталонии, только закинуть сумку и умыться, а там вечер у испанцев в самом разгаре, можно в джаз-бар, или клуб фламенко, или скрипка в Музее музыки, или, в конце концов, просто клоуны и жонглеры на бульваре, а потом в «Чураско», где аргентинский шеф-повар, еще не совсем забывший язык своих украинских предков, жарил специально для них на дубовых углях огромные стейки, сочащиеся соком и кровью, или в портовый «Фрегат», в котором со шведского стола можно взять огромный поднос свежайших устриц и заливать их соком целой горы лимонов...

Они любили танцевать, и у них получалось. Однажды в начале января попали в рок-кафе на вечер, посвященный очередной годовщине со дня рождения Пресли. Собралась в основном молодежь и поначалу с некоторым недоумением косилась на странную парочку — девочка лет шестнадцати (на самом деле ей было еще меньше) в черной тройке от Армани и

---

мужик под сорок (ему было больше) во всем джинсовом, хоть и тоже черном, но явно не очень новом. Но там, в центре зала оказалось такое возвышение, *таблетка*, на которое в момент наибольшего угара выскакивали порой лучшие, как они думали, танцоры из партера и устраивали показательные выступления. Кузнецов с дочерью посмотрели немного на эту самодетельность, вышли на таблетку и сбавали им в лучших традициях московского рока конца семидесятых. И молодняк все понял, уважительно разошелся в стороны.

...А утром, отоспавшись вволю, вызвать в номер официанта с ледяным, только что выжатым соком из только что сорванного апельсина, долго плескаться под душем и идти глазеть на Саграду Фамилию, просто на дома Гауди, которых тут множество и которые завораживали Кузнецова похмельно оплывшими физиономиями фасадов.

Или провожать яхты у памятника Колумбу. Можно и разделить: папа оттянется пивком после вчерашней текилы под платаном во дворе торгового центра, а дочка поищет в этом центре себе какую-нибудь шмотку.

Иногда наоборот. Никаких столиц, мы сегодня исключительно камерные и изысканные. Тогда по трассе налево, и меньше чем через час — французское побережье под Перпиньяном. Ресторан у воды, серебро и хрусталь, медленный танец, месье, разрешите вашу даму, спектакль с подачей полного

---

буйабеса, прогулки по полосе прибоя в перерывах между блюдами... Утром можно залезть на какую-нибудь местную крепостную стену, но, если честно, крепости довольно быстро перестали вызывать уважительное придыхание своей тысячелетней историей, уж слишком тут они на каждом шагу по обе стороны границы, и все тысячелетние, и во всех останавливался Папа. На побережье лучше сходить посмотреть картинки — часто приезжает талантливая молодежь и просто за возможность искупаться устраивает прекрасные вернисажи, яркие, без претензий и с отличным настроением.

Впрочем, не хуже и дома. Выпить вина из богатых, уже профессиональных запасов — дочери тоже разрешалось граммов сто легкого красного «Кастель Флорит» — и купаться вечером под музыку, включив подсветку темно-голубых стен бассейна. Когда появились спутниковые антенны, Кузнецов установил у себя одну из первых в городке, самую дорогую, телевизор начал принимать практически всю Европу, правда, Андрей Петрович ограничивался в основном новостями Би-Би-Си, фильмы предпочитал покупать в отличном магазине классики в Жироне, а вот Мария предпочитала французские сериалы, и не без пользы — учителя вскоре стали хвалить ее парижское произношение.

У Кузнецова формально не было отпуска, он распоряжался временем по собственному усмотрению. Но, конечно, старался организовать дело так,

---

чтобы максимально освободиться к школьным каникулам. Ездили с Марией по свету. Пару раз слетали в Америку, были в Нью-Йорке и Калифорнии. Из Лос-Анджелеса на прокатном шестиметровом, почти антикварном «Олдсмобиле», там, помните, вместо двух сидений спереди один огромный диван, через всю невадскую пустыню доехали до Лас-Вегаса, с их деньгами тогда еще не очень разгуляешься, остановились в двадцатипятидолларовом мотеле, но проиграли все, что могли во «Фламинго-Хилтоне», попали на концерт Тины Тернер, очень остались довольны. Однажды добрались даже до Сейшельских островов и лично убедились в существовании неприлично-го вида кокосов. Но больше всего любили Европу и чувствовали себя в ней удивительно комфортно. Париж вовсе не считали за границей, ночь пути на поезде (как когда-то смотаться в Питер — иногда поначалу мелькало, но все реже у Андрея Петровича возникали подобные российские ассоциации), а если захочется по пути остановиться в каком-нибудь романтическом месте, типа любимого ими Шато д'Эклимон, то можно и на машине, в середине девяностых Кузнецов купил специально для таких поездок «Крайслер Вояджер», очень удобный автомобиль с четырехлитровым двигателем и огромными кожаными диванами, совсем не дающими устать от дороги. В Париже они обычно заказывали номер на бульваре Сен-Жермен, наискосок от рынка, в подземном гараже которого только и можно было упрятать громоздкий «Край-

---

слер», для поездок по старому городу совершенно непригодный. Передвигались больше пешком, иногда на метро, скоро почти перестали чувствовать себя туристами, в Латинском квартале знали ресторанчики *только для своих*, и уже было множество мест, где давно не спрашивали, с газом или без газа они будут пить минеральную воду — естественно, молчаливый месье с очаровательной дочерью, как все нормальные парижане, употребляют ледяную «Перье» с ломтиком лимона.

Часто бывали и в Швейцарии, первый раз по неопытности остановились в «Ричмонде», оказались вынуждены сорок минут ждать у входа такси и опоздали на концерт — выяснилось, что к этому отелю положено подавать только лимузины, а в тот момент не нашлось свободных. Потом перебрались и стали постоянными клиентами «Метрополя», тоже пять звезд, но не золотые, а красные, чуть меньше обременительных претензий. Знали все тропинки во всех парках вдоль Женевского озера. Ездили на джазовый фестиваль в Монтрё. Лыжами, как большинство местных, не заболели, но в горы в районе Кранса иногда забирались и получали полное удовольствие от тяжелых деревенских санок с очень длинными, сильно загнутыми на концах полозьями. Однажды на набережной встретили Алена Делона.

В феврале обязательно старались выбраться хотя бы на пару последних дней венецианского кар-

---

навала. Специальных костюмов, конечно, не шили, но по приезде сразу же купили разноцветных париков для Марии, пиратскую шляпу для Андрея Петровича, обязательно с серебряным позументом, и маски: дочери — светлые с блестками, звездочками, на палочках и резинках, отцу — одну классическую, большую и черную. Единственная вещь, сохранившаяся у Кузнецова с советских времен, его знаменитый длинный черный плащ, как будто всю жизнь ждала своего второго рождения именно в Венеции, так органично смотрелась вместе с остальной экипировкой Андрея Петровича на площади Святого Марка под грохот завершающего карнавального концерта. Десятки тысяч людей пританцовывали в гигантских лужах, лил мелкий противный дождь, многие выпивши, некоторые выпивали тут же, что-то горланили, толкались, водили змейки, местное подобие хороводов, полное смешение языков, возрастов и стилей. Более всего поначалу Кузнецова удивляло отсутствие драк и мусора на площади под утро. Потом удивлять перестало.

Может сложиться ложное впечатление, что отец с дочерью были заиклены друг на друге и все время проводили в совместных развлечениях. Ничего подобного. Понятно, у Марии, в силу возраста и совершенного владения основными европейскими языками, круг знакомств и занятий был шире, с подругами общалась не только в школе, случалось, гостила в их семейных усадьбах от Мадрида до Орлеана, там

---

свое общество, свои компании, и мальчики, и какие-то непростые подростковые отношения. Да и у себя в городке, с детства, еще Глорией введенная в спортивный клуб — средоточие местной светской жизни, — Маша считалась одной из заводил порт-легатовской молодежной команды, в гости друг к другу здесь ходить особо не принято, но и в молочном баре, и на танцах, и на соревнованиях, и в любой бухте ее встречали приветственными возгласами вполне искренне.

Андрей Петрович общался с людьми в основном по работе. У него даже с годами сложились какие-то личные отношения с несколькими старшими менеджерами «Кавидаса», в основном скупыми и жизнерадостными каталонскими толстяками, они, конечно, не созванивались через день поделиться проблемами и не обменивались визитами на день рождения, но вполне могли иногда в обеденный перерыв пойти вместе выпить по кружке пива или раз-другой в год договориться встретиться в Барселоне на концерте в честь одного из бесчисленных городских праздников. В своей деревне Кузнецов изредка встречался с доньей Розой Колонн, пожилой испанской еврейкой, которую про себя называл исключительно тетей Розой, хозяйкой самой крупной из множества местных риэлтерских фирм, и ее мужем доном Педро, шеф-поваром ресторана лучшей на побережье гостиницы «Аква Блава». Люди непростой судьбы, их в свое время

---

помотало по миру, и порой за ужином на веранде кузнецовского дома любопытно было послушать стариковские воспоминания под огромную бутылку самодельного вина супругов — они принципиально не желали употреблять покупного. Изредка к Андрею Петровичу заходил Люк, голландец, много лет живущий в Испании представитель амстердамской строительной фирмы, следящий за обустройством местных домов богатых ювелиров-соотечественников. С Кузнецовым его объединяли в какой-то мере общие музыкальные вкусы, собственная фонотека с богатейшим собранием Андрея Петровича сравниться не могла, потому Люк любил напроститься послушать Мессиаана, а заодно и к винным запасам Кузнецова относился значительно благосклоннее дона Педро, правда, не обременял, предпочитал дешевое «Гран Троя».

Да, чуть было совсем не забыл. О женщинах. Естественно, не вел Андрей Петрович строгой монашеской жизни, хотя, конечно, после сорока уже и не испытывал желания оказывать этому предмету столь серьезное внимание, как прежде. Несколько весьма приятных и крайне легких романов завязывались у него с довольно милыми дамами начала среднего возраста, приехавшими в курортный сезон развеяться из Германии, Франции, и даже случилась одна англичанка с хорошими ногами, но уж очень вытянутой физиономией. Женщины, как ни странно, не обращали внимания на языковые барьеры и очень резво ще-

---

бетали у бортика известного читателю подсвеченного бассейна. Ездил Кузнецов и в один предельно закрытый клуб в Барселоне, куда попасть можно лишь по самым серьезным рекомендациям, это несколько не то, о чем вы подумали, там появлялись, разумеется, инкогнито, женщины и из самого высшего общества, впрочем, делать дорогие подарки не возбранялось. Но Андрею Петровичу не понравилось. Он перестал ездить. С одной женщиной, строительным инспектором каталонской коллегии архитекторов, легкий флирт перерос в почти теплые отношения. Они познакомились при сдаче кузнецовского дома муниципальной комиссии и отлично отметили радостное событие. И теперь раз в пару-тройку месяцев, если ничто не мешало, могли созвониться, договориться поужинать вместе в Жироне и даже остаться там на ночь в гостинице, но последнее уже чрезвычайно редко. Короче, с женщинами проблем не возникало. Без них тоже.

Гораздо сложнее поначалу обстояло дело с книгами. Несколько маленьких ящичков, которые только и смог привезти Кузнецов из Москвы, не создавали даже иллюзии библиотеки. Пожалуй, это стало самым тяжелым испытанием за границей — отсутствие перед глазами страницы с родным текстом какого угодно содержания вызывало ощущение буквально физического недомогания. В Испании купить русские книги сложно даже в Мадриде. Андрей Петрович пытался связываться с известными

---

парижскими магазинами, но и там, при фантастических даже для обеспеченного человека ценах, выбор оказался чрезвычайно убогий. Обременить просьбами о посылках Бадамева не получилось, один раз он прислал бандероль со словарями и однотомной энциклопедией, но сопроводил ее письмом с подробным описанием того, сколь вся процедура оказалась для него утомительна. А больше никто из оставшихся московских знакомых и вовсе не справился бы с подобным делом. Кузнецов уже начал отчаиваться, как помог случай. Транспортная контора, с которой в основном Андрей Петрович заключал договоры на доставку вина, часто на маршрутах в Россию использовала шоферов из бывших социалистических стран, и с одним болгаринцем Кузнецов как-то разговорился, угостил сигаретой, другой раз встретились почти как приятели, даже выпили по кружке пива, и шофер так вдруг проникся теплыми чувствами, что из очередного рейса приволок специально Андрею Петровичу в подарок целую винную коробку, набитую московской водкой, черным хлебом, воблой и огромными солеными огурцами с Тишинского рынка, которых не встретишь нигде в Европе. Видно, посчитал, что именно по таким вещам более всего должен соскучиться заброшенный далеко от родины русский. Кузнецов был тронут, щедро ответил ящичком местного «Торреса», но и удивился, как легко шоферу удалось провезти через границу приличное количество весьма спорного товара. Оказалось, на

---

обратном пути порожние машины дальнoбойщиков, которых уже не один десяток лет знают в маршрутах, практически не досматривают, а даже если проверят, то неприятности могут быть только за оружие и наркотики, на несколько коробок какой-нибудь чепухи внимание не обращается. Кузнецова сразу осенило. Уже за следующие несколько рейсов болгарин перевез всю московскую библиотеку Андрея Петровича, а потом согласился брать с собой длиннющие списки литературы, в России начало выходить много книг хороших и разных, выполнить заказ для него не составляло труда, тем более что силу только дружеских чувств Кузнецов не подвергал перегрузкам, барселонская фирма не особо щедро платила восточным иностранцам, и сотня-другая долларов за услуги всегда оказывалась шоферу кстати. Таким образом, не реже раза в месяц теперь из Москвы приходил ящик с книжными новинками и свежей прессой.

Но не только для себя была необходима Андрею Петровичу русская библиотека. Больше всего он боялся потерять контакт с дочерью, прекрасно понимая, что ни один из тех языков, на которых она свободно говорила, никогда не станет для него реальным средством общения. Потому дома всегда общался с Машей только по-русски, русские читал ей детские книжки и счастлив был, когда впервые самостоятельно осилила она «Детство Никиты». В школе интерес Марии к своему языку и литера-

---

туре всячески приветствовался и поощрялся как любое дополнительное знание, ее ставили в пример нескольким индийским и японским девочкам, медленно, но верно забывавшим родную речь, и даже иногда просили выступить на заседаниях школьного научного общества с докладами о Достоевском или Екатерине Великой.

Ну, вот как будто и все. Разве, возможно, стоит еще упомянуть, что изредка Кузнецов рисовал. Правда, тематика его произведений могла показаться несколько странной. С этим связана одна смешная история. Очутившись в самый первый раз в Барселоне и избегнув общества надоевшего переводчика, Андрей Петрович решил вечером сходить отведать знаменитых каталонских грилеванных креветок в первозданном, не отравленном экологическим кризисом виде, говорят, сохранившихся только в бухте Паламоса. С трудом выяснил на ресепшене адрес лучшего рыбного ресторана и явился туда, заранее истекая слюной. Вот тут ожидал его полнейший конфуз. Никакие припоминаемые Кузнецовым *шримпсы* и *праунсы*, никакие обобщающие крики про *си фут*, никакая самая изысканная актерская жестикация, подкрепляемая страстным желанием поест и выпиваемыми каждые несколько минут рюмками водки, — ничего совершенно не вызывало у obsługi ни малейшего понимания. Через час, обозленный, голодный и сильно напившийся, Андрей Петрович собрался уже уходить, с гневным видом достав бу-

---

мажник, но, к счастью, вышел из кухни шеф-повар, единственный, как оказалось, сообразительный человек из присутствующих, и сразу разрешил задачу. Взял у официанта блокнот с карандашом и протянул скандальному клиенту. Через пару минут Кузнецов предъявил всему собравшемуся вокруг него персоналу графическое изображение своего заказа. Уверен, за всю свою более чем столетнюю историю заведение не слышало подобного взрыва хохота. Андрей Петрович чуть было не обиделся, но все же взял себя в руки и попытался взглянуть на представленное творение объективно. После чего неприлично заржал вместе с остальными. Хоть профессионализм рисовальщика и чувствовался, однако полное незнание предмета вместе с водкой, злостью и спешкой привели к тому, что с листа бумаги на зрителя смотрело удивительно свирепое и отвратительное чудовище, признать в котором креветку можно было только при большой фантазии. Впрочем, выяснилось, фантазией здесь все обладали, и уже через мгновение шеф лично летел к Кузнецову с блюдом пылающих креветок на вытянутых руках. Происшествие имело несколько последствий. Прежде всего, Андрей Петрович услышал и навсегда запомнил слово *гамбас*, сделавшее жизнь гораздо приятнее, и ключевое в большинстве ситуаций. Кроме этого Кузнецов на многие годы вперед получил статус самого любимого клиента отличного ресторана, где для него всегда находился свободный столик и, действительно, искренняя улыбка.

---

Но главное, именно морские твари с тех пор стали не просто основным, но единственным предметом его художественных устремлений. Правда, самих рыб Андрей Петрович не трогал, их холодные мертвые глаза были ему неприятны, с этим существом примирить мог только сильный огонь и много хорошего соуса. А вот креветки, мидии, лангустины, лобстеры, устрицы... Кузнецов изображал их в любых видах, техниках и стилях. Сырыми, вареными, жареными, в воде, на песке, в тарелке, на досках, столах и камнях, с лимоном, вином, майонезом, зеленью, пользовался карандашом, маслом, акварелью, гуашью, фломастерами, пастелью, бумагой, картоном, деревом, шифером, изображал свою любимую еду чем угодно и на чем угодно. Однажды тетя Роза увидела его полотно метр на полтора — «Устрицы на льду с бутылкой „Дом Периньон“ 1968 года» и восхищенно стала уговаривать устроить выставку в отделе открыток главного супермаркета Жироны, где иногда показывали свои работы местные самодеятельные художники. Андрей Петрович охотно согласился с условием, что организационные заботы возьмет на себя донья, и в конце сезона многие туристы могли насладиться произведениями *дона Анрэ*, стоя в очереди у кассы магазина. Экспозиция провисела больше месяца, Кузнецов иногда специально приезжал посмотреть на реакцию зрителей и всегда оставался чрезвычайно доволен. Обещал хозяину супермаркета через несколько лет обязательно повторить удачный опыт с

---

непременным представлением новых работ. И обещание свое искреннейше собирался сдержать.

Маша закончила школу пятой из почти сорока выпускников. Ей исполнилось девятнадцать. Андрей Петрович рекомендовал дочери заняться юриспруденцией в университете Барселоны, даже почти договорился снять для нее отличную квартирку в самом начале Авениды Диагонале и имел обещание от связанных по работе с тетей Розой нотариусов помочь в дальнейшей карьере способной, старательной девушке. Но тут Мария Андреевна внезапно взбунтовалась, она заявила, что собирается заниматься русской филологией в Сорбонне, говорила что-то и о своих журналистских планах, о том, что надо наконец выбраться и в Россию... Никогда не повышавшая на отца голос, она почти кричала, торопилась, проглатывала окончания слов, не хотела слушать никаких аргументов и возражений. «Я не желаю повторять твою судьбу, ты сам себя уничтожил и похоронил, имел возможность добиться всего, стать властителем мыслей и чувств, настоящим творцом, а чем стал, да неужели судьба мелкого виноторговца так тебя заворожила, что и мне желаешь чего-то подобного, и ничего ты в жизни не добился, ничего не создал, кроме какой-то убогой эстетики отказа, твоя липовая свобода ничего не стоит, а здесь сидишь потому, что в этом захолустье над тобой просто некому смеяться!..»

---

Кузнецов слушал дочь почти без улыбки, он и не собирался с ней спорить, потому что знал — все и так будет хорошо, просто девочке нравится Латинский квартал, и пусть она едет куда хочет, это ведь не надолго, совсем скоро, через какие-нибудь пару лет она привезет ему внука или, еще лучше, внучку, и потом станет часто навещать их, и они втроем еще отправятся на карнавал в Венецию, и самый противный дождь не омрачит им радости, ведь то, что Мария с естественной, почти детской нетерпимостью неуклюже назвала эстетикой отказа, — это вовсе другое, это, возможно, единственное, что ему удалось передать дочери, что, как бы она ни сопротивлялась, навсегда вошло в ее кровь и что единственное никогда не позволит подступающей к горлу тоске выплеснуться осатаневшим воем в последние минуты перед концом душевной ночи.

## 17

Конечно, всего этого не было. Ни дочери, ни Испании, ни дома у моря. Хотелось представить, будто нечто подобное на мгновение привиделось Кузнецову, каким-то намеком мелькнуло в обрывках ледяного мокрого ветра по пути от Пушкинской до Лермонтовской... Но нет. Он прошел свой путь без соблазнительных видений. Медленно, четким, размеренным шагом. Только в последний момент, перед спуском в

---

метро, остановился на несколько секунд, оглядываясь по сторонам с неожиданной, очень благожелательной улыбкой.

Андрей Петрович прожил еще четыре дня, о которых мне ничего не известно.



---

## СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая .....	3
Часть вторая .....	253
Часть третья .....	455

---

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
В19

Литературно-художественное издание

Васильев Александр Юрьевич

## ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕСТРОЙКА

*Хроника*

Оригинал-макет *Екатерины Мормуль*  
Корректор *Татьяна Балавина*  
Ответственный редактор *Артём Белевич*

Подписано в печать 11.11.2009.  
Формат 84×108/32. Печать офсетная.  
Печ. л. 21,0. Усл. печ. л. 35,28. Бумага офсетная.

**Васильев, А. Ю.**

**В19** Последняя перестройка : Хроника /  
Александр Васильев. — М., 2010. —  
672 с.

ISBN 978-5-

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-

© Васильев А. Ю., 2010